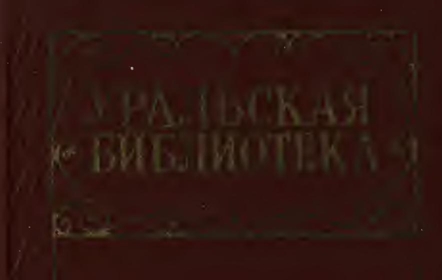
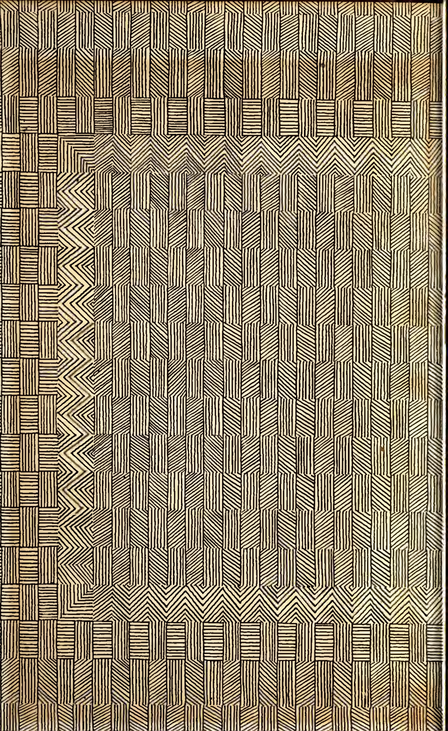


Н. ПОПОВА

●

ЗАРЕ НАВСТРЕЧУ






УРАЛЬСКАЯ
БИБЛИОТЕКА

У Р А Л Ь С К А Я Б И Б Л И О Т Е К А

Редакционная коллегия: Татьяничева Л. К. (главный редактор), Давыдычев Л. И., Дергачев И. А., Каримов М. С., Крупаткин Б. Л. (зам. главного редактора), Пермяк Е. А.

«УРАЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА» ИЗДАЕТСЯ С 1967 ГОДА. ЕЕ ЗАДАЧА — СОБРАТЬ ВСЕ ЛУЧШЕЕ, ЧТО СОЗДАНО РУССКОЙ, СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ ОБ УРАЛЕ. КНИГИ «УРАЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКИ» ВЫХОДЯТ В ДВУХ СЕРИЯХ — ДЛЯ ДЕТСКОГО И ВЗРОСЛОГО ЧИТАТЕЛЯ.

ВЫШЛИ В СВЕТ ПРОИЗВЕДЕНИЯ Д. МАМИНА-СИБИРЯКА, А. БОНДИНА, П. БАЖОВА, Ю. ЛИБЕДИНСКОГО, А. ГАЙДАРА, А. САВЧУКА, И. ЛИКСТАНОВА, О. МАРКОВОЙ, Б. РУЧЬЕВА, В. ПРАВДУХИНА, В. СТАРИКОВА, П. МАКШАНИХИНА, Н. КУШТУМА, О. КОРЯКОВА, Ю. ХАЗАНОВИЧА, В. ГРАВИШКИСА, Л. ДАВЫДЫЧЕВА, М. ГРОССМАНА, А. ГЛЕБОВА, В. КРАПИВИНА, Ф. РЕШЕТНИКОВА, К. БОГОЛЮБОВА, Б. БУРЛАКА, А. БИКЧЕНТАЕВА, Е. ПЕРМЯКА, Н. ВОРОНОВА, С. ЗЛОБИНА, Н. НИКОНОВА, Б. РЯБИНИНА, И. КОРОБЕЙНИКОВА, К. ЛАГУНОВА, А. КОПТЯЕВОЙ, А ТАКЖЕ «ПОЭТЫ УРАЛА» — АНТОЛОГИЯ В ДВУХ ТОМАХ.

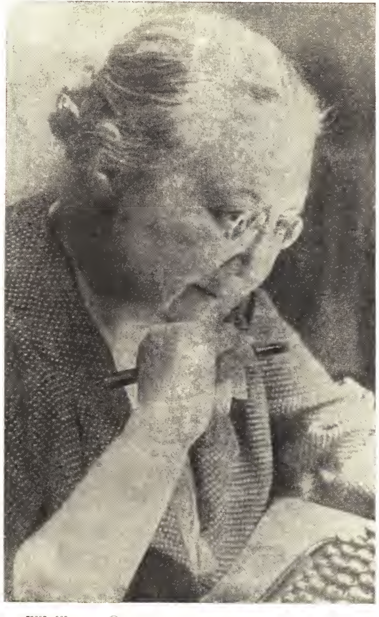
Н. ПОПОВА

ЗАРЕ НАВСТРЕЧУ

РОМАН

СВЕРДЛОВСК
СРЕДНЕ-УРАЛЬСКОЕ
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1977

Р2
П58



П $\frac{70302-069}{М158(03)-77}$

© Средне-Уральское книжное издательство, 1977.

ОТ АВТОРА

Много лет назад, когда я собирала материал для одной из моих первых книжек, на меня произвели неизгладимое впечатление документы, относящиеся к подпольной работе большевиков, к борьбе за Октябрь, к периоду гражданской войны на Урале.

Поразили воображение образы героев-большевиков, характеры которых — черта за чертой — раскрывались в воспоминаниях участников и очевидцев событий.

Так стали зримы, ожили Я. М. Свердлов, И. И. Малышев, Л. И. Вайнер, П. Д. Хохряков, Н. Г. Толмачев, М. О. Авейде, С. А. и М. А. Черепановы, С. И. Дерябина и другие.

«Я не смогу воспроизвести эти характеры, воссоздать эпоху... мало знаю, слабо подготовлена теоретически... Передо мной — годы накопления материала и знаний!» — думала я тогда, не предполагая, что свыше двух десятков лет потребуется на это.

Постепенно прототипы стали превращаться в героев будущей книги, в близких, дорогих спутников жизни.

Материал стал входить в сюжетное русло. Определился более точно круг действующих лиц. Окончательно созрела мысль написать трилогию.

«Как мне быть? — раздумывала я.— Если писать о действительных исторических событиях, если я дам подлинные имена, я не смогу свободно строить сюжет...

Нельзя столкнуть в романе людей, если в действительности один находился в определенное время в Екатеринбурге, а другой — в ссылке. Нельзя установить родственных или дружеских связей, если их не было».

И я решила: подлинных имен не давать, строить характеры и события на историческом материале, в соответствии с исторической правдой, но свободно, без документальной точности.

Когда меня спрашивают: «Сергей и Мария Чекаревы — это Черепановы?» — я отвечаю: «Нет! Это не Черепановы, хотя именно их светлые образы были передо мной, когда я писала Чекаревых». И правда. В личной жизни Черепановых не было той драмы, которую пережили Чекаревы. С. А. Черепанов расстрелян белогвардейцами в 1918 году, М. А. Черепанова умерла в ссылке.

Л. И. Вайнер, больной и физически слабый, пошел на фронт, был убит на подступах к родному городу и дважды был похоронен. Но Илья Светлаков — не Вайнер. Не было у Вайнера такого брата, и мать была не совсем такая, и у жены-сподвижницы не было ни мачехи, ни сводной сестры.

Возьмем Романа Яркова: в его характере слились черты многих, в его деятельности — факты из биографии нескольких человек.

Таким ли был начальник горного округа, как Охлопков? Функции Рысьева, Горгоньского, Котельникова выполняли ли в действительности люди, похожие на них? Не знаю. Здесь возможны лишь случайные совпадения.

Почему Екатеринбург назван Перевалом?

Сходные черты в обликах Екатеринбурга и Перевала есть, но события, происходившие в Екатеринбурге и других городах Урала, свободно соединены, и я не имела права назвать город Екатеринбургом.

К примеру, борьба за платиносодержащие земли на покосах в действительности происходила в Нижнетагильском и в Алапаевском горных округах, а не в Верх-Исетском, какой имеется в виду в романе. Мятеж «Союза фронтовиков» был, но в деталях своих происходил не так.

И во второй книге — о первых пятилетках, и в третьей — о наших днях я намерена так же свободно использовать материал, данный жизнью, как это сделала в романе «Заре навстречу».

Н. Попова

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

В конце августа тысяча девятьсот восьмого года Илья Светлаков после долговременного отсутствия возвратился в Перевал.

Проезжая в извозчичьей пролетке от вокзала к центру, Илья внимательно глядел по сторонам. Улицы, перекрестки, даже выщербленные плиты каменных тротуаров — все будило воспоминания.

По этим улицам он бродил декабрьской ночью пятого года, выжидая, когда можно будет пробраться окольным путем на платформу к самому отходу поезда. Вон там, за длинным горбатым мостом, в домике под тополями, у «тети»-ткачихи — подпольщицы Пестовой — он встретился последний раз с Андреем и Лешей... Вон механический завод Яхонтова. Знакомая проходная будка, возле которой был митинг перед забастовкой... А вон и каменная тумба, игравшая тогда роль трибуны.

Дорога пошла в гору, и скоро с высоты крутого холма, на котором рядом с церковью стоял заброшенный, похожий на греческий акрополь дворец, Илья увидел весь город и дальнюю синюю гряду пологих гор.

Перевал, раскинувшийся по берегам реки и двух прудов, окольцован хмурым сосняком. На западе среди редкого лесочка видны купол, портик и часть колоннады заводского госпиталя. За лесом — трубы и корпуса самого крупного в городе металлургического Верхнего завода, дома Верхнего поселка. Небо над заводом всегда кажется задымленным, закопченным.

В центре Перевала четыре широких проспекта пересекаются широкими прямыми улицами. Среди густолиственных садов стоят украшенные лепкой и резьбой дома... дома с ротондами, с колоннами, с кружевными литыми решетками и розетками оград... Эти дома появились, когда в Перевал хлынула волна «дикого сибирского золота».

Тут и там сверкают крестами и куполами церкви. За стеной, осененной вековыми березами, богатый женский монастырь. Близ монастыря — архиерейский дом и духовная консистория.

Индивидуальность города подчеркивают канцелярия и дом горного начальника, гранильная фабрика на плотине, магазины с изделиями из уральских камней.

Таков живописный центр Перевала, окруженный плоскими окраинными улицами.

Домишки на этих улицах то стоят привольно «при огороде», то жмутся впритык друг к другу. Мелькнет вывеска бакалейной лавки, зарешеченные мелкой железной сеткой окна «казенки», коновязи у кабака, у харчевни... покажется на углу обшарпанный окаянный полицейский участок с подвальными окнами каталажки... двухэтажный публичный дом с раскрытыми настежь дверьми... и снова бегут ряды низеньких домишек.

Несколько минут перед Ильей лежал как на ладони весь Перевал с его живописным центром и жалкими окраинами... Потом лошаденка рысцой спустилась с холма, и видима стала только одна прямая длинная улица.

Как она ему знакома!

Вот купеческий дом... Скучный фасад его оживлен лепкой, изображающей колонны,— они как бы подпирают высокий мезонин. В этот мезонин ведет со двора наружная лестница: можно войти, не тревожа купеческое семейство. Ясно представил себе Илья комнату, освещенную висячей семилинейной лампой.

Встали в воображении, как живые, товарищи — слушатели подпольной школы пропагандистов... Доски, укрепленные на табуретках, служат скамьями, но мест не хватает. Двое сидят на краешке кровати, трое на подоконниках. Под лампой стоит Андрей. Он запомнился именно таким: волна черных волос, густые подвижные брови, острый взгляд, пенсне на шнурочке. Андрей говорит, сдерживая свой могучий, богатый оттенками голос, которым он потрясает сердца слушателей, когда говорит с трибуны.

...В просвете улиц сверкнула водная гладь. Пруд! Детство, купание, лодки! Да... а потом, под видом катанья на лодках, конспиративные собрания.

Пересекая Главный проспект, Илья увидел портик горного училища, своей «альма матер». Блеснули зеркальные окна Русско-Азиатского банка, золоченые буквы вывесок: «Белье и конфекцион», «Второв с с-ми».

Проехали еще несколько улиц.

— Сюда? — спросил извозчик, указав кнутовищем

на двухэтажный белый дом, где мать Ильи вот уже двадцать лет снимала квартиру.

Между двумя раскрытыми окнами висела подновленная вывеска: «Мадам Светлакова. Верхнее платье». Слышался стук швейных машинок. Два молодых голоса пели:

Белой акации гроздья душистые
Вновь аромата полны.

Мать кинулась Илье навстречу, на ходу стаскивая надетый поверх платья халат, точно явилась к ней важная заказчица. От волнения она споткнулась и, смеясь и плача, упала на руки сына.

Было больно смотреть в лицо матери — все еще подвижной и легкой, но так сильно постаревшей. Эти морщины и эта угодливая улыбка! Так научилась улыбаться «мадам Светлакова» в те годы, когда иголкой подымала четверых детей, а Илья помогал ей только тем, что, давая уроки, зарабатывал себе на право учения, на форму, на учебники.

— Ну, расскажи, расскажи, Иленька! Ах, как ты мало писал! Ничего я не знаю... Мне очень жаль, Илья, что ты ушел с рудника... это все-таки положение: «маркшэдир»! — говорила мать, накрывая на стол трясущимися руками.

— Мне и самому не хотелось уезжать,— ответил Илья,— пришлось!

— Извини меня, я тебя осудила... Ну, хорошо, уехал с рудника, но зачем в эту глушь залезать, что тебе эта железная дорога? И разве в этом твоя специальность, чтобы простым рабочим землю копать? Ужас! Это, извини, чудачество, Илья! Ведь ты не мальчик! Но не будем вспоминать... Уже то хорошо, что ты и сам понял...

Илья горько усмехнулся: «Понял! Пришлось уйти из барака ночью, в чем был!»

— А в Вятке ты кем был?

— Конторщиком на меховой фабрике,— ответил Илья.— Ну, что ты, мама, удивляешься. Словно не знаешь...

Мать выразительно показала ему глазами на дверь, за которой работали девушки-мастерицы.

Илья замолчал. Он допил чай и отошел к окну.

— Иленька, а сюда ты в гости приехал или как? — несмело спросила мать.

Он ответил задумчиво:

— Поживу.

— И на работу поступишь?

— Обязательно, мама.

С робкой лаской она прикоснулась к его густым волосам. Хотела что-то сказать и не сказала, только вздохнула. Он понял невысказанный вопрос.

Если бы была между ними настоящая близость, он сказал бы: «Мама, я не сошел и не сойду с той дороги, которую избрал». Но он не мог сказать ей так. Слишком разные были они!

Сын промолчал, только погладил ее нервную, тонкую руку.

Она снова глубоко вздохнула.

— Я тебе буду помогать, мама,— сказал Илья,— последнее время не мог... так сложилось...

— Теперь я сама могу помочь тебе, Иленька,— внезапно просияв, сказала мать и мелкими шажками, шумя шелковым платьем, подбежала к комоду, достала из нижнего ящика книжечку в желтоватой корочке.— Смотри — восемьсот рублей в банке! Уже! — она поспешно спрятала книжечку, но все еще продолжала счастливо улыбаться.— Мишеньке я теперь не помогаю, он хорошо устроился. Он, Иля, приказчиком работает у братьев Гафизовых. И кажется... кажется... дал бы бог!.. На дочке доверенного женится, только это пока пусть между нами!.. — Неожиданно она закончила: — Я тебе отличный костюм сделаю, Иленька!

— Ни в коем случае! — Илья нахмурился.— Если мой вид вас...— он не договорил: его остановила жалкая улыбка матери.

— Иленька, может, отдохнешь с дороги?

— Спасибо, мама, не хочу... И вот что, мама, жить я буду отдельно, так лучше.

Ему показалось, что мать сдержала облегченный вздох.

— Как хочешь, милый!

Мать вышла, чтобы напоить чаем девушек-мастериц. Илья задумался, сидя у окна. Точно так же, как пять, как десять лет назад, стучат швейные машинки, торчит под окном запыленный куст сирени. Наискосок через ули-

цу та же вывеска: «Бакалейная торговля г. Петухова». Так же однообразно, уныло взывает мороженщик, катя перед собою облезлую тележку: «Сахарно мар-р-рожина!» Скучное, пыльное солнце льется в окно.

— Мама, я пойду пройдусь, — сказал Илья, на ходу поклонившись мастерицам. По укоренившейся привычке все замечать он увидел, как лукаво указала глазами на его смазные сапоги одна девушка и как беззвучно засмеялась другая.

— Илюшенька, а обед?

— Не жди к обеду, мама.

Илья пошел по направлению к плотине.

Он шел, твердо ступая, твердо сжав губы. Город казался ему вражеской крепостью...

Дело не в том, что на углу стоит полицейский и вон едет в пролетке, как аршин проглотил, жандармский ротмистр. Дело не только в грубой власти, в грубом насилии,— во все поры жизни въелась буржуазия, растлевает все живое! Это она поставила черное длинное чугунное пугало — памятник «царю-освободителю»... Вон на углу предприимчивый торгаш, расстелив брезент, разложил свой товар — дрянные книжонки о сыщиках. Общедоступную библиотеку и здесь, несомненно, захлестнуло мутным потоком: Арцыбашев, Пшибышевский, Сологуб, Вербицкая... Проповедь одиночества, разложения, буржуазный цигилизм... черт бы их взял!.. Порнография!

Вот оно, болото реакции!

...Вечерело. Солнце навстречу пронизывало желтую пропыленную листву сквера на плотине. Листья — в безветрии — плавно, замедленным движением падали на дорожку: один... другой... третий... На пруд легла мрачная тень дома с толстыми колоннами, дома горного начальника.

Вдруг густой певучий звук потряс воздух: бумм!.. еще — бумм!.. еще... Зазвонили ко всенощной в Кафедральном соборе, который стоит за плотиной на площади, замыкая Главный проспект.

Илья облокотился на узорчатые перила, как бы любуясь гладью пруда. Надо было проверить: случайно или не случайно идет за ним господин в светлой соломенной шляпе. Господин этот прошел еще несколько шагов и остановился перед бюстом Екатерины Первой. Заложив руки за спину, он стал всматриваться в бронзовое пух-

лое лицо с высоким выгибом бровей и капризными губами.

«Что это? Неужели из Вятки сообщили? Или вид у меня такой... неблагонадежный?»

Илья медленно пошел вперед. У бронзового бюста Петра Великого торчала вторая подозрительная фигура.

«Может быть, плотина опять стала биржей?»[1]

Он вышел на площадь и, не оглядываясь, почувствовал, что один из шпиков идет следом.

Илья пересек площадь, вышел на Троицкую улицу. Он помнил все дома с проходными дворами. Войдя в первый же такой двор, он, чуть не под носом у шпика, задвинул калитку на засов... и через несколько минут уже шагал спокойно по другой улице.

Через лесок, пронизанный лучами заката, Илья направился к Верхнему заводу.

Если бы не мрачные заводские корпуса, не буханье молота в листопрокатном цехе, не свист паровозика-кукушки, не шлак и уголь на дорогах да если бы не богатые дома заводской знати, поселок Верхнего завода походил бы на большую деревню.

Легким, спорым шагом шел Илья по поселку. Замедлил шаги, проходя мимо полукаменного дома с белыми наличниками. Окна были закрыты, дом казался осиротевшим. Здесь жил Андрей! Здесь в октябрьские дни девятьсот пятого года была штаб-квартира большевиков.

Дом — такой тихий, унылый — жужжал тогда, как пчелиный улей. Он пробуждался с рассветом. Члены комитета, люди из актива жили здесь коммуной. Сюда забегали рабочие, приезжали за литературой и за указаниями посланцы других городов и заводов, оставались ночевать. Пропагандисты и агитаторы получали задания...

Где-то теперь Андрей — первый учитель уральских рабочих? Вот человек! Вот борец! Ум, силища! Ссылкой, тюрьмой такого не сломишь.

И снова воспоминания... нет, не воспоминания, а живые яркие картины, тесня одна другую, встали перед Ильей.

Уже возникали Советы депутатов по городам и заводам Урала... уже освобождены были из тюрем полити-

[1] Местом встречи работников подполья.

ческие заключенные... уже сам губернатор, струсив, выполнил требование Совета — выпустил арестованных... «Вооружаться!» — твердил Андрей... И вот одна за другой стали расти боевые дружины. Если вдуматься, ведь это именно Андрей вдохновлял и областной комитет, и отдельных людей! А между тем только и узнавали о нем: «Андрей уехал в Мохов» или «Только что вернулся из Лысогорска». Когда он успевал налаживать связи, подбирать организаторов и пропагандистов?! Как он научился все предвидеть! Илье вспомнилось заседание, где рассматривался план восстания, разработанный Андреем. В плане все было предусмотрено: вооружение, постройка баррикад, расположение революционных сил, резервов, план атаки... На топографической карте были намечены объекты, которыми необходимо овладеть в первую очередь...

В последний раз Илья видел Андрея в декабре, когда узнал о зловещей телеграмме: «Арестовать вожаков крайних левых партий». Сломя голову он кинулся разыскивать Андрея.

Нашел его у «тети» на квартире, где был устроен склад нелегальной литературы. Андрей сидел на табурете в своем плохоньком летнем пальто, выбирал книги и в то же время закусывал колбасой и булкой.

Узнав новость, Андрей нахмурился, закусил губу, посидел молча, глядя в одну точку. Потом поднялся, взял книги под мышку, сказал:

— Ну что ж, нырнем в подполье!

И пошел своими широкими шагами к двери. На пороге остановился и пристально поглядел на Илью.

— Не вешайте голову. Наша возьмет!..

Илья подошел к угловому дому, постучал в ворота. Здесь жил с матерью рабочий Роман Ярков — боевой и смелый парень. Роман очень обрадовался Илье.

— В живых не чаял! — говорил он глубоким, дрожащим голосом, крепко обнимая Илью, который рядом с ним казался низеньким, щуплым и особенно бледным.— Пойдем в малуху, товарищ Давыд! Я тебя до утра не выпущу!

Роман затопил печку, поставил котелок с картошкой, разжег самовар. Илья с каким-то особенным удовольст-

вием наблюдал за тем, как ловко движется этот большой и сильный человек.

— Понимаешь, Роман, приехал сюда без явки, не знаю, куда кинуться.

Роман спросил с озорным прищуром:

— Где тебе смазали пятки?

— В Вятке... Комитет-то есть у вас?

— Как не быть комитету,— ответил радостно Роман,— есть! Живем — не тухнем.

— Кто в комитете?

— Лукиян, Евгений...

— Лукиян?! Здесь? Вот счастливо!.. А об Андрее что слышно?

Мрачно, неохотно Роман ответил:

— В тюрьме... здесь... и для побега никаких возможностей.

— Связь с волей есть?

— Налажена.

Наступило тяжелое молчание.

— А Леша?

— Взят,— ответил Роман после паузы.

— Как? Где? Что о нем известно?

Сдержанный голос Ильи стал тише и глуше.

— Он в Казани сидит... за литературу... Если не дознаются о связи с Даурцевым, тогда ничего особенного!

— А что — Иван Даурцев тоже взят?!

— Иван? Не-е-ет! Попробуй, возьми Ивана! Тима вот арестован. Усатый и Моисей. Лешу скоро судить будут.

— А ты говоришь «дела идут»... Расскажи, как работаете.

— Создан комитет, пятерки на заводах... Вот хотя бы листовку выпустили, хочешь посмотреть?

Роман вытащил из щели слежавшийся мох, достал тщательно сложенную бумажку, прочел с чувством:

— «Она не умерла, освободительница революции, как не умер рабочий класс — ее носитель, как не исчезли причины, породившие ее...»

— Кроме прокламаций,— продолжал Роман,— газеты распространяем... Собираемся... зимой на квартирах, летом в лесу... У нас на заводе эсеры начали корсшки пускать — смотритель листопрокатки сам эсер,— так мы на массовках доклады ставим о программе большевиков

и о программе эсеров. Ух! Жарко бывает, такие бои получаются!.. Рабочая масса на стороне большевиков! Вот так работаем. А в мае мы областную конференцию сгрохали. О безработице большой разговор был, о земле... Да тебе Лукиян лучше расскажет... Одно мне не поглянулось, что нас, боевиков, решили распустить!

— Ты что же,— неодобрительно сказал Илья,— ты был против?

— Был против! — смутился Роман.— Понимаешь, печенка не терпит! Так бы и развернулся, ударил бы по буржуям! Вот у нас нету шрифтов, нету денег... Да только разреши эксы — все будет! Хочешь, весь печатный цех перетащу, куда укажете?

— А знаешь ты, что указал центр? — строго спросил Илья, глядя в глаза Роману.

— Знаю... Да я ведь и подчинился... Только обидно — развернуться не пришлось.

Вскипел самовар, сварилась картошка.

— Подожди, Давыд, не ешь! Принесу свежепросольных огурчиков, луку...— Роман достал шкалик водки, весь зарумянившись, попросил: — Не откажись меня поздравить, товарищ Давыд... жениться надумал. На той неделе возьму гулевые дни и окручусь.

— Кого же ты высватал?

— Из Ключевского села... там у меня тетка... я и присмотрел. Девушка хорошая, прямо скажу.

— Как же ты задумал такой шаг? Безработицы не боишься?

— Ничего я на свете не боюсь! — с удалью ответил Роман.

Они заговорили о безработице, о кризисе. Половина рабочих сокращена. Безработные нищают, теряют силы... В первую очередь увольняют передовых, сознательных людей.

— А ты как уцелел?

— Дорожат... Да и мастер — тятин дружок... а в политике он ни бельмеса!

Наконец Илья собрался уходить. Роман вышел проводить, и они остановились во дворе.

— Что, биржа опять на плотине? — спросил Илья.— Перенести надо. Сегодня один фрукт увязался было за мной... Да, Роман, не знаешь ли, где найти комнатушку?

— Чего искать? Живи у меня.

Илья усмехнулся:

— Ах ты, горе-конспиратор!

— Да, это правда, у меня нельзя,— с сожалением согласился Роман,— но мы найдем! А к Лукияну ты завтра же сходи, будто в гости в воскресенье, на пирог... Еще, скажешь, не конспиратор?.. Он у Бариновой живет, во дворе, во флигеле, за амбаром... легко найти...

II

Техник-практик Сергей Иванович Чекарев был на хорошем счету у администрации. Неторопливый, неразговорчивый, он обстоятельно вникал в каждое дело Несколько лет Чекарев проработал слесарем в механическом цехе Верхнего завода, потом его перевели на электростанцию. Его начальник говорит: «Любого ученого Сергей за пояс заткнет!» Чекарева считали вполне благонадежным. Правда, в пятом году он бастовал... с красным флагом ходил... Но ведь тогда все бунтовали. А за последние годы никто не слышал от него вольного слова, ни в чем таком он не был замечен.

Одевается Чекарев чисто. Пиджак, воротничок, галстук — все аккуратное, отглаженное. Из жилетного кармашка спускается недорогая цепочка от часов, без всяких висюлек, брелоков.

— Он свое место знает, Сергей-ёт Иваныч! Очёсливый, уважительный! Встретится, картуз мигом скинет... и в комнату не вопрется нахально, а прежде спросит... Глаз у него самый завлекательный для бабьего сердца... А ухажерок не слышно... нету... По гостям не шляется, не пьет, не курит. В свободное время сидит книжечки переплетает, а то съездит порыбачит на остров, окуней привезет на уху...

Так говорила квартирная хозяйка — купчиха Баринова.

Одобряла она и жену Чекарева:

— Ничего не скажешь: и красива, и статна, а никакими пустяками не занимается, это — раз, второе — хозяйка! И тоже в дом копейку несет: на кондитерской фабрике в конторе служит. А я боялась пускать их на квартиру. Думаю: народ молодой, будут вечерами шляться, или к ним гости потянутся, будут в ворота сту-

каться, беспокоить... я ведь рано ложусь! А от них никакого беспокойства не оказалось.

Не знало начальство, что скромный, исполнительный Чекарев — тот самый Лукиян, которого давно разыскивают жандармы. Не знала и купчиха Баринова, что вечерами через сад к жильцам приходят тайком люди и что не зря лает цепной пес Верный — слышит чужих.

А за последнее время Верный лаял с приступом почти каждую ночь. «Совсем пустолайка стал, остарел,— думала Баринова, сидя после обедни у окна на холодке,— то ли уж задавить его велеть? Вот опять забрехал, подлый! — Она с усилием подняла голову, выглянула в окно.— Если зря брешет — велю задавить!»

На этот раз пес лаял не зря: по двору шел человек в грубошерстном пиджаке, в смазных сапогах. Он направлялся к флигелю. Купчиха погрозила собаке пальцем: «Ну, счастлив твой бог!» — опустилась в кресло, раздумывая в полусне, кто бы это мог прийти к жильцам: «Пойти зайти к квартирантам, узнать». Но ей лень было шевельнуться, лень раскрыть глаза. Приживалка Анна Тимофеевна вошла, хотела убрать со стола, но испуганно погрозила сама себе пальцем и на цыпочках удалилась, увидев, что Олимпиада Петровна започивала.

Той порой Илья пересек большой двор, уставленный каменными амбарами, кладовыми, погребицами, устланный каменными плитами, в расщелинах которых выбивалась трава, завернул за амбар и подошел к деревянному флигелю.

Дверь из кухни в сени оказалась открытой. Илья увидел крупную женщину, узнал гордую посадку головы, увенчанной толстой каштановой косой, и позвал тихо:

— Мария!

Она порывисто оглянулась. Блеснули в улыбке синие глаза, белые ровные зубы.

— Сережа! Ой, Сережа, Давыд пришел!

Под тяжелыми шагами скрипнула половица. В дверях появился Чекарев.

Он не кинулся навстречу, как Роман Ярков, а подошел обычным неторопливым шагом и, как тисками, сжал руки Ильи. Тихий свет разлился по его лицу. Он сказал:

— Нашего полку прибыло! Это здорово!

Илья с трудом пошевелил слипшимися от крепкого пожатия пальцами. Вот он, Сергей, весь тут: больше

всего обрадовался тому, что «полку прибыло!». Да и действительно. Как не радоваться каждому новому, опытному в подпольной работе человеку, когда приходится работать в такой тяжелой обстановке!

— Всех ищеек спустили с цепи,— неторопливо говорил Сергей, размешивая сахар в стакане крепкого чаю.— Провокаторов, как грибов после дождя... Постоянные обыски, провалы... Вот Лешу скоро будут судить, Натана. Особенно тяжело положение Леши: неопровержимо доказано, что он выполнял задания с группой боевиков в девятьсот пятом году.

Илья слушал, угрюмо опустив голову,— Леша был его лучший друг.

— Ряды поредели не только из-за арестов...— и Чекарев стал рассказывать, как отошла почти вся буржуазная интеллигенция и как всю партийную работу взяли на себя рабочие.

— Интересно получалось,— с суровой насмешкой продолжал Сергей,— начинает человек отказываться от заданий, дискуссии разводит по каждому поводу, начинает программу критиковать,— так и знай — норовит в кусты! Мешают работе эсеры. Они никак не бросают свои террористические штучки... кладут тень на всех: попробуй докажи, что это — их рук дело! Мешает и меньшевичье,— это прозвучало, как «воронье!» — Меньшевичье перетрусило, каркает: «Партия изжила себя!..», ратует только за легальные организации... А в наших рядах есть такие люди с мозгами набекрень, как тот же Рысьев,— помнишь его? — он теперь ярый отзовист. На областной конференции с пеной у рта требовал: «Отозвать рабочих депутатов!»

— Ты мне работу обрисуй, Лукиян!

— Работу?.. У нас есть ячейки на заводах, но недостаточно... усиливаем организационную работу... Хотим прибрать к рукам потребительское общество рабочих и служащих, есть такая возможность. Создать надо больше, как можно больше пропагандистских кружков. Плохо, что мы сейчас обезоружены,— сказал Сергей,— техника опять провалилась. А ведь до последнего времени у нас были три нелегальные газеты... Три!.. Рабочая, крестьянская и солдатская...

Они помолчали.

— Лукиян,— сказал Илья,— поручите мне технику!

— Смотри, Сережа, он даже порозовел! — ласково улыбнулась Мария. Но муж не ответил ей. Он сказал:

— Я думаю, Давыд, поручить тебе кружки высшего типа — Андрей ценит тебя как пропагандиста.

— Одно другому не помешает,— упрямо настаивал Илья.— Я постараюсь поступить в типографию, научусь набирать и верстать, достану чертежи — рабочие сделают станок...

— Изволь. Но, пока не поступил, будет тебе одно срочное поручение: забросить в деревню остаток тиража... несколько штук... Очень важный номер. Мы призываем рабочих и крестьян разоблачать проделки заводчиков и продажных землемеров... разъясняем, что только свержение царизма, революция освободят от кабалы... Фактов!.. Больше надо фактов в руки фракции... Ведь наша фракция готовит проект закона об этом вопросе!

— А ты знаешь, что Роман Ярков поедет в Ключевское? — спросил Илья.— Вот ему и надо поручить газету. Сказать, чтобы зашел?

Сергей кивнул и замолчал, что-то соображая. Но вот взгляд его упал на жену и затеплился тихой лаской.

Мария стояла у притолоки, подняв к потолку синие, с влажным блеском глаза. Она беззвучно шевелила губами, как будто заучивала урок, по временам заглядывая в ученическую тетрадку.

Встретясь взглядом с мужем, она весело рассмеялась и бросила тетрадь на стол.

— Трушу, беда как! Боюсь, что все как есть забуду...

— Забудешь — конспект посмотришь.

— А вдруг на вопросы не сумею ответить? — и она широко раскрыла влажно сверкающие глаза.

— Не сумеешь, так и скажешь: «Этого я не знаю, товарищи, отвечу вам на следующем занятии»... Она первое занятие проводит сегодня,— пояснил Сергей.

— Нет, все-таки тревожно, Сережа... Помнишь, Михаил с нами занимался,— хоть что его спроси — все-то он знает!

— О Михаиле известно что-нибудь? — спросил Илья.

— Михаил в Париже, с Лениным.

— Расскажи, Лукиян, что знаешь об Андрее.

— Андрей сидел в одиночке, но скоро его политические выбрали старостой. Ты его знаешь,— сразу стал вожаком. А тут история с Михаилом... Михаила избили,

изранили, уволокли нагишом в карцер и облили — сволочи — рассолом! «Подыхай!» Тогда Андрей организовал голодовку. Голодали больше недели, пока не выехал прокурорский надзор. Доктор мне рассказывал: выйдут на прогулку, Андрей обязательно игру затеет снежками или мячиком. Лекции читает, встанет к форточке — и давай! Книжки читает по плану. Не дает мне покоя, пока ему не достану какую надо.

Сергей подошел к шкафу, щелкнул ключом, подозвал жестом Илью:

— Вот гляди, неплохо я переплетаю?

Он улыбнулся одними глазами и подал Илье книжку в переплете «Путешествие на луну». Илья перелистал. Только несколько первых страниц принадлежало перу Жюля Верна. Дальше шла нелегальная брошюра.

Почему не дать заключенному Жюля Верна? — сказал Сергей.— А через библиотеку общества потребителей такие книги можно распространять вовсю, если своего человека поставить библиотекарем.

Илья радостно смотрел на товарища, как бы предчувствуя горячую, кипучую работу...

III

— Илья!.. Михайлович...

Слово «Илья» вырвалось радостным вскриком. «Михайлович» прозвучало тише, будто Ирина опомнилась, попыталась овладеть собой.

Девушка порывистым движением подала Илье руку, и книга, которую она несла под мышкой, упала на песок к его ногам.

— Ира...

Она с силой сжала его руку. Глаза расширились в радостном испуге.

Ира за эти три года почти не изменилась, и все же он с трудом узнал ее в длинном белом платье. Раньше она зачесывала волосы вверх от ушей и висков, заплетала их в косичку, которая спускалась от темени к шее и переходила в короткую толстую косу. Сейчас под раструбом соломенной шляпы виделся пробор. Мягкая волна волос почти закрывала уши. Заметив, что шляпа держится не на резинке, а приколота к волосам скромной

шляпной булавкой, Илья невольно улыбнулся. Он долго смотрел на девушку, ища в ней сходство с той девочкой, какую знал когда-то... Потом нагнулся и поднял книгу.

— А! Диккенс!.. Все по-старому!

Девушка не ответила.

— Хорошо, что мы встретились. Я часто вспоминал... Золушку...

Она радостно вспыхнула.

— Почему вы не написали мне, Илья Михайлович? Я долго не знала, что вы уехали.

Илья виновато опустил глаза. Как он мог забыть свою маленькую ученицу? Следовало написать ей хоть несколько слов. Девочка переживала тогда тяжелое время — первые месяцы с нелюбимой мачехой. Ему захотелось спросить, как живется Ире сейчас, но он удержался от вопроса... и невольно пожалел, что прежние отношения невозможны.

— Гимназию окончили?

— Да... но все это неважно, неважно... Вы о себе расскажите, Илья Михайлович.— Только теперь девушка заметила грубый, поношенный костюм Ильи.

— Вы... не на должности, Илья Михайлович? Вы совсем к нам сюда приехали? Да? — торопливо расспрашивала она с дрожью в голосе.

— В данное время нет, не работаю,— спокойно ответил Илья,— но думаю поступить на работу.

— Вы уже присмотрели место? Куда бы вы хотели? Пожалуйста, Илья Михайлович, пойдемте к нам! Папа вам поможет устроиться.

— Едва ли потребуется чья-то помощь... Я хочу поступить наборщиком в типографию.

— Как? Что за мысль...

— Ну, так я решил! Мне нравится эта работа,— строго сказал он, чтобы пресечь расспросы.

Молча они пошли рядом по бульвару.

Пересекли улицу и шли теперь по каменным плитам, заменяющим тротуар, вдоль садовой изгороди. Не доходя до подъезда, Илья остановился и приподнял картуз, прощаясь.

Ирина удержала его.

— Я многим вам обязана, Илья Михайлович...

— Нет,— прервал он ее с неудовольствием.

— Нет «да»!..

Илья вспомнил, как плакала маленькая, худенькая Ира, прильнув к нему: «Я Золушка... Золушка...»

Почти таким же отчаянным, прерывистым шепотом девушка говорила и сейчас, все крепче сжимая его руку:

— Позвольте мне позаботиться о вас!.. Почему вы не хотите зайти?

— В другой раз, Ира.

— Вот вы говорите, а сами думаете, что этого «другого раза» не будет... А как бы вам папа обрадовался! А я... Как вас просить, Илья Михайлович?

— Если вы так настаиваете, Ира, я зайду,— сказал Илья.

В этот вечер у доктора Албычева собрались гости, как часто бывало по воскресеньям. К преферансу еще не приступили, хотя Албычев уже раскрыл ломберный стол в гостиной, уставленной старинной мягкой мебелью. Он поставил на стол два подсвечника с не зажженными еще свечами. В доме было электрическое освещение, но по старой привычке он всегда зажигал свечи: удобно закуривать, и вообще уютнее. Албычев положил на столик запечатанную колоду карт, мелки, круглую щеточку для стирания меловых записей... и остановился под аркой, отделяющей гостиную от чопорной залы. Низенький, полный, он стоял, широко расставив ноги, и прикидывал в уме, кто будет сегодня играть. «Как нарочно, все сбежались!..— Албычев капризно оттопырил пухлые губы.— Зборовского, Полищука к барышням сплавим... и все-таки остается еще четверо! Но... позвольте... минуточку!.. Можно составить вторую игру.

И он суетливо принялся освобождать второй ломберный стол, на котором стоял большой горшок с белой цветущей камелией. Он засучил рукава парусинового пиджака, снял горшок и поставил его прямо на ковер. Поднял столик, запнулся, покачнулся и... обрушил его на камелию. Горшок разбился. Албычев шепотом чертыхнулся...

— До чего неловок! — вполголоса сказала жена, вырастая перед ним в своем синем — строгих линий — платье «принцесс». Она и впрямь походила на принцессу — с высоким валиком прически над покатым надменным лбом.— Иди к гостям,— распорядилась она,— и не к чему было второй столик... или ты и Зборовского хотел засадить за карты?

Албычев виновато молчал,— на Зборовского смотрели как на возможного жениха Ирины. Албычев расправил рукава, вытер платком лоб и шею, сердито взглянул в затылок удаляющейся жене и направился в залу к гостям.

Но тут его окликнула Ирина:

— Папа!

Такого звонкого, веселого голоса он давно не слыхал.

— Ты смотри, кого я привела!

Албычев близоруко сощурился, и губы раздвинулись в смущенной улыбке.

— А-а! Фрондер! — он хлопнул Илью по плечу.— Сколько лет, сколько зим! Рад! Антонина Ивановна, ты что, не узнаешь? Ирочкин репетитор... А?

Антонина Ивановна сухо поздоровалась с Ильей.

Илья стоял у рояля, перебирал ноты и незаметно приглядывался к гостям. Многих он знал. Инженера Зборовского помнил заносчивым мальчишкой первокурсником и позднее — высокомерным студентом. Зборовский стал спокойнее, ровнее. В движениях, в голосе, во взгляде светлых глаз видна была твердая уверенность в себе, в своей силе.

Был хорошо знаком Илье и чопорный, подтянутый Полищук, присяжный поверенный, лидер, так сказать, перевальских меньшевиков. Опустив глаза, он тихо разговаривал с хозяйкой дома.

Тяжело ступая, в комнату вошел брат Антонины Ивановны — управляющий Верхним горным округом Охлопков. Массивный, в шелковой вышитой рубахе, он задержался на пороге, обвел собравшихся взглядом жестких голубых глаз.

Никто не сказал бы, что жена Охлопкову под стать, хотя была она и высока, и полна. Сутулая спина, робкая улыбка говорили о безвольной, порабощенной натуре. Дорогое платье и золотые украшения не шли ей, не вязались с ее жалким обликом. Дочь Охлопковых, Люся, напоминала «дружеский шарж» — у нее была стройная фигурка и большая рахитичная голова.

Был среди гостей мелкий чиновник горного управления Котельников — Дон-Кихот, прозванный так за внешнее сходство с героем Сервантеса и за то, что крестьяне обращались к нему как к ходатаю. Котельников знал свое прозвище и гордился им...

Илья наблюдал... и мало-помалу начинал проникать во взаимоотношения этих людей.

Несмотря на внешнюю отчужденность, что-то глубоко интимное было в позах Полищука и Антонины Ивановны... Молодой инженер Зборовский искал глазами Ирину, а Люся Охлопкова вся так и тянулась к нему. Котельников глядел ненавидящим взглядом на Охлопкова, не чувствуя, что хозяин недоволен и смущен его присутствием...

Поодаль от других сидела тонкая, точно надломленная, девица в черном платье, с распущенной светлой косой, рассматривала журнал. Она повернула голову, блеснули очки в золотой оправе,— Илья узнал Августу Солодковскую... Недоброе чувство зашевелилось в нем. Сколько перестрадал из-за этой сумасбродной девчонки Леша — Алексей — его старый друг! Как это она говорила тогда о себе и о Рысьеве? «Он — блестящий ручей, он — для всех и ничей. Ты понимаешь, Алексей, меня к нему тянет... как к опасной игрушке...» Илье захотелось подойти, спросить Августу строго, в упор, продолжает ли она играть опасными игрушками теперь, когда Алексей в тюрьме в ожидании сурового суда? «Но что мне до нее? — подумал Илья,— недостойна она Леши... хорошо, что разошлись!»

Гостей пригласили к столу.

Илью усадили между Дон-Кихотом и старым типографщиком, крестным Ирины.

Старик некоторое время не обращал внимания на соседа. Он выпил рюмку водки, положил на ломтик хлеба шпроты, как-то подозрительно оглядел их и стал жевать. Вид у него был печально-сонный. Покончив со шпротами, он медленно повернул голову к Илье.

— Крестница мне говорила... Вы работали в типографии?

— Нет,— отрывисто ответил Илья, раскаиваясь, что пришел сюда.

— А вы знаете, что в типографии свинцовая пыль? Знаете? Ну что же, завтра можете начать. Скажите там Ивану Харлампиевичу, что я распорядился... Он вам скажет, что наборщиков не требуется, а вы сошлитесь на меня.

И старик снова погрузился в свой печальный полусон.

Илья окинул взглядом застолье. Мужчины сидели за

одним концом длинного стола, ближе к выпивке и закуске. Дамы группировались около хозяйки у самовара. Молодежь разместилась вдоль стола, наполняя комнату приглушенным веселым говором.

На мужской половине стола разговор вел инженер Зборовский. Он говорил о том, что на Урале иностранные капиталисты начинают забирать в руки добычу золота и меди...

— Придите, варяги! — весело вставил Албычев.— Что в том плохого? Они нашу отсталую технику поправят.

Полищук вмешался в разговор:

— Не говорите, Матвей Кузьмич! И оборудование остается то же, и работают так же. Им что? Им — выдоить, выцедить... они пенки снимают...

— Хищники! — сказал Дон-Кихот.— Только народ калечат.

— Впрочем, концессионеры ли, наши ли русские капиталисты,— дым остается дымом, а хозяин хозяином,— сказал Полищук.

Все замолчали. В наступившей тишине послышался голос хозяйки. Она говорила Ирине:

— Нет, ты посмотри: изящен!

— Кто у вас там изящен? — спросил Албычев.— Это они про вас, Петр Игнатьевич,— подмигнул он Зборовскому.

Ирина сказала, сдерживая гнев:

— Это мнение Антонины Ивановны.

Она никогда не называла мачеху иначе.

Зборовский серьезно взглянул на Ирину и снова обратился к мужчинам:

— Вот Матвей Кузьмич сказал: «Придите, варяги»... Не варяги, а мы, русские, должны подымать свои заводы. Наш металл увозят, а потом к нам же везут изделия. Срам! Пора понять: на дедовской технике далеко не уедешь. Что мы не могли бы, при разумном ведении дела, с Югом конкурировать? С заграницей? Могли бы! А мы барахтаемся в кризисе, тонем и топем.— И он стал перечислять заводы совсем закрытые и заводы, работающие частично.— Чуть не половина рабочих баклуши бьет... Кстати! Вот куда привел старый закон, воспрещавший устраивать огнедействующие кустарные предприятия на территории заводского округа...

В упор глядя на Зборовского своими жесткими светло-голубыми глазами, управляющий округом Охлопков произнес:

— Ерунда! Закон правильный! Только разреши — мигом сведут леса, и заводские округа станут яко плешина Матвея Кузьмича...

— «Леса!» — передразнил Зборовский.— Леса на Урале хватит!.. Дело не в лесе... Начинается голодовка... Где могут заработать мастеровые, кроме как в горной промышленности? А было бы больше всяких там гвоздарен, слесарен, кузниц, увеличилось бы число мелких хозяйчиков... А сейчас увеличивается число голодающих, безработных, санкюлотов. Назревают эксцессы, рабочее движение так называемое. Когда разыграются забастовки и прочие прелести, поздно будет...

— Чудак-человек,— прервал его Албычев.— Да и мы бы с вами бастовали, будь на их месте. Верно, фрондер? — обратился он к Илье, но тот сидел как каменный.— Как не бастовать,— продолжал Албычев,— как не бастовать, когда в брюхе урчит от голода... Возьми, шурин, икорки, а то ты, я вижу, тоже забастовал... Выпей, преобразователь!

— Не пугайте меня букой, не страшно,— отвечал Охлопков Зборовскому,— не страшно! Поменьше сантиментов, побольше твердости, и наше от нас не уйдет. Поголодают, мягче станут... Шелковыми станут! — И Охлопков выпил рюмку водки.

Дон-Кихот — Котельников, давно порывавшийся что-то сказать, схватил Зборовского за руку:

— Стыдитесь! Молодой человек!.. Какому богу молитесь? Чего в своей жизни добиваетесь? Кубышку набить?

Зборовский холодным, отстраняющим взглядом посмотрел на него, высвободил руку.

— Меня, Матвей Кузьмич, интересует не «кубышка», а... развитие техники... технический прогресс... Да, я хотел бы иметь много денег!.. Но это не самоцель. Будь у меня капитал, я бы создал предприятие, каких у нас в России еще нет.

— Нельзя,— вдруг ударил по столу захмелевший Дон-Кихот,— нельзя видеть ужасы вымирания и... долг интеллигенции бороться! — закричал он, не замечая, как испытующим, недобрым взглядом следит за ним Охлоп-

ков. Он даже перестал намазывать икру. Спросил с вызовом.

— С кем бороться?

— Не с «кем», а с чем... С произволом, вот с чем! С злоупотреблениями! С нарушениями законов!.. Вы интеллигентный человек, инженер,— накинулся он на Зборовского,— вы должны печься о меньшом брате, о рабочем, а вы...

— Дать волю меньшому брату, он меня мигом на тачке с завода вывезет,— насмешливо сказал Зборовский.— Интересы у нас с меньшим братом никак не координируются!

Албычев шутливо аплодировал:

— Любо! Хороший спор кровь полирует! А ну, Семен Семенович,— подзадоривал он Дон-Кихота,— копьем его, мечом его, консерватора!

Но Котельников не нуждался в поощрении. Его точно прорвало. Стараясь перекричать и Зборовского, и Албычева, он так и сыпал цифрами и фактами. Такой-то управляющий заводом не жалеет денег, задарил начальство, полицию...

— Да что,— вконец разгорячившись, продолжал он,— горное управление к новому году готовит всегда семьдесят пакетов со взятками! Семьдесят!

— Откуда сие известно? — процедил Охлопков, стараясь казаться спокойным.— Кто видел эти пакеты?

Албычев помирал со смеху. Давно он так не веселился.

— В горном управлении своя такса есть,— азартно кричал Дон-Кихот.— Дай-ка какому-нибудь регистратору меньше, чем положено, он тебя проманежит, а твое дело захрулит и...

— Как? Как? — стонал, изнемогая, Албычев.— Оххи-хи! «Захрулит»!

— ...и будет тянуть, пока сполна не получит.

— Это голословно,— сказал Охлопков, сердито взглянув на Албычева, который сидел весь красный, отирая слезы.

— Да что голословно? Все правда! Землемеры, например, продажные души... задарят или запугают, он и нарежет землицы в пользу завода!

Дамы поднялись из-за стола, и мужчины, споря и переговариваясь, двинулись за ними. Илья расслышал,

как Албычев, взяв под руку шурина, говорил вполголоса:

— Не обращай внимания! Он только языком чешет...

— Не так уж безобиден,— отвечал Охлопков.

Илья весь вечер наблюдал за Ириной.

Несколько раз ловил ее взгляд, как бы говорящий ему: «Потерпите, не уходите, мне надо, очень надо поговорить с вами!» И когда все поднялись из-за стола, Ирина увела его в сад.

Они сели на скамью лицом к дому. Было темно. В свежем воздухе стоял особый, садовый, теплый, запах: пахло левкоями, табаком и недавно политой землей.

— Ну, как вы думаете устроить жизнь, Ира? — спросил Илья.— Или еще не задумывались над этим?

Оказалось, что она не только задумывалась, но и сделала первый шаг: подала прошение инспектору народных училищ. Отец вначале и слышать не хотел о том, что дочь будет учительницей, потом сдался... Мачеха недовольна, но молчит.

И она заговорила о том, как тяжело жить бездеятельной, бессодержательной жизнью «барышни».

— Вот вы видели наш круг... но вы не знаете, как ужасно... все... Сейчас, например, чем они заняты? Старшие в карты играют, а молодежь... Появилась такая игра-новинка — «флирт богов», «флирт цветов», «флирт камней»... Мы в карты, в фанты играем, а в это время...

Ирина испуганно остановилась и сделала торопливый знак Илье.

На веранду вышла Августа Солодковская и медленно спустилась с лестницы. Черный силуэт ее проплыл на фоне светлого окна. Августа направилась к боковой аллее.

— Ты уходишь, Гутя? — окликнула Ирина.

— Нет...

Качнулась — прошумела листьями ветка, зашелестели кусты, шаги замерли в глубине сада.

— Места себе не находит,— тихо сказала Ирина.— Хочет ехать в Казань к Лене.

Она помолчала.

— А здесь считают, что Леня опозорил семью... Он, такой чистый... такой!..

Голос ее прервался.

Илья почувствовал, как сильно, напористо забилось у него сердце.

— Да, Ира,— медленно начал он сдержанным голосом, но сквозь эту сдержанность прорывалась суровая печаль и нежное восхищение: — Леня именно такой. Любите его! Гордитесь им!

— «И будьте, как он!» Вы это хотели мне сказать? Да? Ох, если бы Леня был на свободе, я бы не отстала!.. Я бы сказала ему: «Я уже не маленькая, Леня, не маленькая! Поделись со мной, научи... Дай мне те книги, которые тебя ведут... вдохновляют!»

Ирина внезапно замолчала, нахмурилась. На веранду скользящей походкой вышла светлоголовая девочка — ее сводная сестра Катя.

— Ира! Мама просит идти к гостям.

На Илью она даже не взглянула, не повернула к нему головы. Он видел ее профиль: нос с горбинкой, выпуклый подбородок, покатый, как у матери, лоб. В ней было что-то недетское, неприятное.

— Хорошо, иду,— сказала Ира.— Вы не уходите, Илья Михайлович,— попросила она,— я постараюсь отделаться...

Илья подумал о том, что можно уйти из сада, не прощаясь, не заходя в дом, и даже направился к калитке... но, помедлив, вернулся, поднялся на веранду и остановился на пороге, почти скрытый парусиновой портьерой.

Из-за портьеры ему видно было Ирину, она сидела на вертушке-стуле у рояля.

Зборовский с улыбкой, с какой обращается фат к некрасивой девушке, говорил Люсе Охлопковой:

— Что же я могу предложить вам? Мы успели перебрать всех кавалеров... Позвольте же предложить вам такой букет: примула, ирис!

Игра состояла в том, что надо было угадать, чьи инициалы изображают начальные буквы цветов, и выразить условным языком игры свое отношение к «загаданному» человеку.

— Я... я перевяжу букет розовой лентой,— ответила Люся, вся пылая и обмахиваясь платком.

— Нежная любовь! — вставила маленькая Катя. Она прекрасно знала значения всех цветов: желтый — измена, зеленый — надежда...— Это вы сами себя загадали, Петр Игнатьевич,— добавила она.

Все засмеялись. Люся сказала с неискренним смехом:

— Нет, нет, это Павел Ильич! Наш милый старик!

— Фант! — потребовал Зборовский.— Вы ошиблись, Люся... ты, маленькая женщина, угадала!

— Загадайте мне, Петр Игнатьевич! Загадайте же! — приставала Катя, теребя его за руку.

— Катя, перестань...

Зборовский сказал:

— Господи! Скоро маленьких отошлют спать! Пора нам прекратить детские игры... Давайте помузицируем? Или стихи почитаем?

Решили читать стихи.

Вадим громко, с каким-то вызовом в голосе прочел брюсовского «Каменщика». Задыхаясь и краснея, Люся пролепетала что-то сердцещипательное о неразделенной любви. Зборовский отчетливо, с чуть заметной усмешкой в голосе начал:

Свищет вполголоса арии,
Блеском и шумом пьяна...
Здесь, на ночном тротуаре,
Вольная птица она...

Августа Солодковская уселась за рояль и, не глядя на клавиатуру, заиграла тихую, странную прелюдию... Заговорила, как бы вспоминая о чем-то своем, сокровенном:

В час полночный в чаще леса, под ущербленной луной,
Там, где лапчатые ели перемешаны с сосной,
Я задумал, что случится в близком будущем со мной!..

Щеки слабо окрасились, глаза под очками подернулись влагой. Казалось, она бредит наяву:

...Я нашел в лесу поляну, где скликалось много сов,
Где для смелых были слышны звуки странных голосов,
Точно стоны убиенных или пленных тихий зов...

После Августы выступил Полищук. Он картинно облокотился на рояль. Напыщенно восклицал:

...Позволь же, о родина-мать,
В сырое, пустое раздолье,
В раздолье твое прорыдать!

Ирина сидела, опустив глаза. Следя за выражением ее лица, Илья понимал, что ей нравится молодой задор

Вадима, что ей жаль Люсю... Она презрительно улыбнулась, когда Зборовский начал о «вольной птице ночных тротуаров»... При словах «пленных тихий зов» с тревожным сочувствием взглянула на Августу. Когда же заговорил Полищук, девушка отвернулась к окну.

— Господа! Внимание! — сказал Зборовский.— Ирочка будет декламировать! Что вы прочтете, Ира?

«Ничего не прочтет!» — мысленно ответил Илья. Ему не хотелось, чтобы Ирина принимала участие в этой «игре от безделья». Она резко встала. Вышла на середину комнаты. Остановилась, уронив тонкие руки. Подняла голову.

Повидайся со мною, родимая,
Появись легкой тенью на миг...—

начала Ирина тихо, искренне, как бы разговаривая с самым близким человеком.

...От ликующих, праздно болтающих,
Обагряющих руки в крови...

Зрачки ее расширились. Она подняла глаза на Илью:

Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви!

«Она мне это говорит»,— с внутренней дрожью подумал Илья, не замечая, что барышни перешептываются, глядя на них, и что мачеха Ирины стоит под аркой, с трудом скрывая негодование под снисходительной улыбкой.

IV

На полустанке Романа Яркова ждала вся будущая родня, только невеста с матерью остались дома.

Выпили по стаканчику и двинулись целым поездом по залитой солнцем широкой дороге, которая шла сосновым бором. Лесное эхо откликалось на веселые выкрики, песни, на звон колокольчиков и «ширкунцов», как звали на Урале бубенцы. От полустанка до Ключевского надо было ехать двадцать верст.

Давным-давно, когда еще Демидовых и духу здесь не было, на берегу безымянной реки поселились беглые

люди — смелый крепкий народ. Вначале среди необозримого леса появились три бревенчатых дома. Дворы поневоле пришлось крыть тесом, чтобы не проникли в них лесные звери — волки, рыси. Охота давала новоселам мясо, кожу, пушнину... но русскому человеку всего дороже хлебушко. Новоселы вырубили лес, выкорчевали пни. Начали сеять на росчистях рожь, лен. Мало-помалу научились искать руды и плавить металл в домницах. Селение росло.

Когда Петр Великий отдал Демидову для вспомогательных работ на заводе множество деревень «со всеми крестьянами, с детьми, с братьями и с племянниками», жители Ключевского тоже попали в число приписных и оставались в таком положении почти полтораста лет.

Много преданий сохранилось в Ключевском об этих полутора веках. Рассказывали, как вырвалась однажды из доменной печи огненная река, залила двор... Пять ключевских мужиков сгорели тогда вместе с другими работными людьми. После того был большой бунт. Усмирять приезжал князь Вяземский с лютой командой.

Старики и старухи помнили, как много в Ключевском было разговоров, когда по Уралу прокатился слух о воле: «Нас должны наделить землей, мы сельские работники! Мы к заводу чем причастны? Уголь жечь, дрова, руду возить — это мы можем, только плати по-хорошему, не обижай!»

Но заводчики повернули дело по-своему. Чтобы не отдавать пахотной земли, не терять рудовозов, дроворубов, углежогов, большую часть сельских работников перечислили в разряд мастеровых. А раз ты мастеровой, получай покос да клок приусадебной земли!

Вот так и получилось, что жители Ключевского остались привязанными к заводу, хотя до этого завода было верных тридцать верст. Одни работали в куренях, на углежжении, другие нанимались к подрядчикам конпорабочими. Некоторые занимались камешками — искали самоцветы. Были и золотничники. Кто плел корзины, кто вырезал из коровьего рога гребни, каждый, как мог, искал себе пропитания.

Ключевское стояло на веселом месте. Издали было видно маленькую пузатенькую церковь, крест которой блестел на солнце. Дома разбежались по угору — по скатам невысокого пологого холма. Сосновый лес отсту-

пил от Ключевского и стоял в отдалении, ровный, словно подстриженный... Только одно гигантское дерево — Большая сосна — вознесло свою крону высоко над лесом. За рекой зеленели отавой поемные луга с краснозолотыми перелесками, а дальше темнел бор.

Въехав в дремотное Ключевское, кучера подхлестнули коней.

Залились колокольцы... Разбойный посвист, гиканье, уханье... Свахи замахали платками, заиграл гармонист — сразу стало видно, что жениха везут! Промелькнула школа, пошли ряды старых изб, огородов, садочков. Показался узкий, высокий старинный дом угрюмого Чертозная, с радужными от старости стеклами окон. Дорога пошла в гору. Выехали на церковную площадь, окруженную крепкими домами. Из окон волостного правления выглянули писарь и сотский... Мелькнули поповский дом, утонувший в зелени до самой крыши, недавно покрашенной в красный цвет, дом писаря, где квартирует урядник, лавка Бушуева, двухэтажные хоромины Кондратовых.

Дорога вильнула вниз, к реке. Опять пошли низенькие избы, садочки, огороды. Всем поездом подъехали к домику тетки, где Романа ждала его мать. Не заходя в дом, выпили еще по единой, и Роман остался со своими родными.

С этой минуты он как бы утратил свою волю и вынужден был то с улыбкой, то с подавленным раздражением подчиняться чужим указаниям. После чая его послали в баню, заставили переодеться. Вечером повели к невесте, где девушки пели ему величальные песни, а он дарил их пряниками и конфетами. То мать, то тетка шептали ему: «Встань, чего сидишь?.. Кланяйся! Не пей сразу-то, отнекивайся дольше!»

Поздним вечером, за ужином, дядя сказал ему:

— Ну, Ромаша, ешь как следует, завтра не дадут.

Роман знал, что в день свадьбы жениху и невесте есть не полагается, но задорно сказал:

— Велика беда, не дадут... Сам возьму.

Но тетка замахала на него руками, а мать сказала строго:

— Неужто осрамишь меня?

День свадьбы прошел, как во сне: сумбурно, шумно, быстро.

С утра Роман оделся по-праздничному. Он сидел на лавке, посмеивался в усы и качал отрицательно головой, когда дядя, подмигивая, показывал ему украдкой то шанежку, то кусок пирога.

Незадолго до отъезда в церковь вдруг он почувствовал волчий голод, пошел в чулан, нашел пирожки с бутуном — наелся.

И вот он в церкви.

Тетка шепчет ему: «Стой прямо!» — но Роман повернулся не к иконостасу, а к раскрытым настежь дверям.

Вот показался вдали поезд невесты — чинный, без песен, без криков.

Впереди дружки с иконами. За ними Фиса со свахой, своей замужней сестрой Феклушей, родня, поезжане...

Фиса идет навстречу ему...

На всю жизнь запомнил ее Роман: в ярко-розовом платье, с восковыми цветами в черных кудрях и с выражением страдания на строгом красивом лице. Фиса, попыталась улыбнуться ему... шепнула:

— Народу больно много...

Дальше все шло как полагается: стояли, держа зажженные свечи, отвечали на вопросы священника, ходили вокруг аналоя, пили вино из серебряного корца.

Наконец Романа усадили в коробок на цветастый ковер. Борясь с дикой застенчивостью, Фиса присела к нему на колени. Пара лошадей, украшенных бумажными цветами и лентами, взяла с места рысью и скоро остановилась перед вросшей в землю, черной от времени избой Самоуковых.

Молодые вошли. Приплясывая, поухивая, шла за ними румяная сваха Фекла. В дом хлынула толпа гостей.

Романа разбудил тихий плач.

— Ты, милка, о чем? — ласково шепнул он, обнимая Фису и стараясь заглянуть ей в лицо.

— Будить придут...— шепнула Фиса и снова уткнулась в подушку.

Роман промолчал. Его и самого коробила мысль о неизбежной, оскорбляющей стыдливость церемонии...

И вдруг Романа осенило!

— Не горюй-ко! — с тихим смехом шепнул он.— Да-

вай вставай, умоемся, оденемся, постелю заправим, да и выйдем к ним как ни в чем не бывало!

Счастливый вздох да милая улыбка, смягчившая строгие черты, были ответом. Фиса попросила:

— Только отвернись!

Ласково усмехаясь, Роман отвернулся и, не глядя на жену, начал одеваться. Она шуршала юбками, копошилась под стеженым бордовым одеялом, пугливо дыша. Потом вскочила и быстро оправила постель. Стараясь не стукнуть, не брякнуть, они умылись из висящего на шнурке старинного чугунного рукомойника, похожего на чайник. Анфиса заплела две косы, уложила их на голове по-бабьи и повязалась черной вязаной косынкой—файшонкой.

Роман рывком привлек ее к себе.

— Постой, милка... щечки тебе надо подрумянить...

Он поцеловал ее несколько раз, и бледные щеки молодухи запылали.

Держа жену за руку, Роман решительным шагом вышел из чулана.

Изба была полна народу. Увидя, как Роман ведет молодую, а она упирается, не идет, Фекла взвизгнула: «Да, ай, господи!» Мать Анфисы помертвела, отец, исподлобья глядя на дочь, расстегнул ременный пояс... Фекла трясущимися руками схватила со стола поднос с двумя бокалами: в одном водка, в другом красное вино, поднесла молодому с поклоном:

— С добрым утречком, Роман Борисович!

Родные с сердечным трепетом, гости с жадным любопытством ждали, какой бокал он возьмет.

Роман взял бокал с красным вином.

— Папаша и мамаша,— торжественно возгласил он,— благодарствую за воспитание вашей дочери!

Выпив одним духом вино, он поднял пустой бокал и удалым, размашистым жестом хлоп его о пол!

Что тут поднялось! Все закричали и стали бить принесенные заранее горшки, корчаги, латки.

Отец — цыганистый, кудрявый, распоясанный — бил посуду и кричал гулким, как из бочки, голосом:

— Бей! Хряпай! Бей мельче, подметать легче!

А мать Романа поцеловала Фису и надела ей на палец серебряное колечко с фиолетовым камнем аметистом.

V

На третий день после свадьбы, в самый канун престольного праздника, Ефрема Никитича вызвали на сход. Вернулся он не скоро.

— Тятька сердитый идет, ногой загребает,— сказала Фиса, увидев его из окна.

На расспросы зятя старик ничего не ответил, сердито разулся, разбросав по избе сапоги и портянки, кинул жене: «Квасу!» — расстегнул пояс, расстегнул ворот, вышел на крыльцо, сел на ступеньку. Ему подали большую глиняную кружку холодного квасу.

— Ну-ко, и я хлебну холодненького! — Роман сделал несколько больших глотков.— Об чем разговор был на сходу, папаша?

Ефрем Никитич хмуро взглянул на зятя.

— Да что, милый сын, отчуждают от нас покосы... лучше сказать: обменивают... Межевщика принесли черти, управляющий сам выехал, земский...

— Ну?

— Общество не согласно. Рассуди: за каким лядом я свой покос буду менять? Наша семья — деды, прадеды расчищали. Мой родной дедушко медведя на барине убил, спас того барина... Он навечно ему землю отдал за это! Издаля видит, сукин сын, владелец. Сам в заграницах, а на наши покосы обзарился. На кой ему наши покосы?

Он закашлялся.

— Тьфу! Даже в горле першит, надсадился, кричал...— Старик провел несколько раз по шее.— Слушай, зять, что будет, то и будет — не отдам покос! До царя дойду, а не отдам!

— Эх, папаша! — сказал Роман.— Что барин, то и царь — одной свиньи мясо.

Старик строго остановил его:

— Окрестись-ко! Не мели. Кто нам волю дал, баре или царь? Ну?

Они заспорили.

Роман горячился, чувствуя, что его слова, как в стену горох. «Давыда бы сюда или Лукияна!» — подумал он и, вспомнив об Илье, вспомнил и о газете, лежащей во внутреннем кармане.

Но и газета не убедила старика.

— Что баре — мошенники, это верно! А что царя не надо — не согласен. Царь — всей земле хозяин, как вот мужик в своем дому. Да как же это без царя? Ералаш будет, разбой... не знаю что... Кто тебе эту штуковину дал?

— В вагоне кто-то подсунул,— ответил Роман, пряча глаза от острого взгляда тестя.

— То-то! — старик погрозил ему пальцем.— Смотри! Сколько раз народ бунтовал... А что вышло? Надерут батогами да еще в гору спустят, без выхода на свет. Одна надежда — на царя.

Тесть опять начал читать газету.

— «Буржуи»,— прочел он незнакомое слово.— Кто это такие?

Роман объяснил.

— Понял,— сказал старик.— Все пишут правильно, и про обманы, и про все... А про царя врут! Мы вот что, Роман, сделаем...

Он тщательно сложил газету и, не успел Роман моргнуть, разорвал ее намелко...

...Утро престольного праздника — семенова дня, с которого начинается бабье лето, было ясное, веселое.

— Тень-тень-тень! — вызванивал колокол, поторапливал идти в церковь.

Другая на месте Анфисы надела бы свое розовое платье, взяла бы молодого мужа под руку, повела бы в церковь: пусть видит народ, какого сокола она окрутила! Но Фиса не стремилась быть на людях, дичилась, стыдилась... Она сказала:

— Я маме стряпать пособлю... да и Феня с мужиком придет, встретить надо!

Но едва мужчины вышли из избы, Фиса подбежала к окну и проводила мужа взглядом до самого угла. Потом порывисто обняла мать:

— Ох, мама! За что мне, мама, счастье?

Роман с тестем в церковь не пошли. Роман сказал: «Нечего мне там делать». А Ефрем Никитич сам был не охотник молиться. Они решили до чая прогуляться по базару.

На семеновскую годовую ярмарку собрались торгующие со всей округи. Два ряда деревянных лавчонок на площади обычно пустовали и в жаркие дни козы спасались здесь от жары. Сейчас эти лавчонки ломились

от обилия всяческих товаров. Торговля еще не начиналась, но приказчики уже успели разложить и развесить соблазнительные яркие ткани, ленты, подшалки. Рядом с куском красной материи красовался зеленый, рядом с розовым — голубой. Подшалки, ковровые шали висели на стенах. На полках стояли щегольские сапоги и ботинки. Гармоники блестели на солнце полированными крышками и металлическими пластинками. Пучки лент развевались на ветру. Душистое мыло в ярких обертках, фигурные флаконы духов, баночки помады «Жасмин» — все это так и манило: «Купи!» В одной лавчонке продавались игрушки: мячи, погремушки, копилки, пикульки.

— Года через два придется внучонку пикульку покупать, а, милый сын? — и старик подтолкнул зятя.

На площади высились карусель и балаган, но карусель была пока закрыта полотняным занавесом.

Все это должно было ожить и зашуметь, заблистать после обедни.

Роман с тестем прошли по бережку и решили возвратиться домой. Проходя мимо квартиры фельдшера, Ефрем Никитич остановил Романа.

— Постой-ка, зять, мне и праздник не в праздник... гребтит на сердце-то. Давай зайдем к фершелу, ровно его сынка голос-то, Семена Семеныча? Он и есть! Шибко грамотный человек, все законы знает, он нам не однова помогал. Зайдем посоветуем!

Они вошли.

Жена фельдшера Котельникова — седая румяная коротышка — маслила гусиным крылышком горячие шаньги.

— Посидите пока здесь,— сказала она,— у Сени земской сидит, об делах говорят. Напою их чаем, уйдет, тогда и...

— Мы на улице обождем,— сказал Ефрем Никитич.

Они вышли. Роман стал звать тестя домой, но тот хитро подмигнул и указал ему на бревна у амбара. Сидя здесь, можно было расслышать все, что говорилось в горнице.

— ...роль благородная, святая! — крикливо говорил земскому Семен Семенович.— Земский начальник — это защитник населения! Встаньте, Иван Петрович, на сторону крестьян... против разбоя заводоуправлений! Пре-

кратите нео... неописуемое беззаконие! — И тем же тоном, без всякого перехода, без паузы предложил: — Выпьем перед пирогом! Ваше здоровье! С праздничком! Я ведь именинник сегодня. Кушайте пирог! Кушайте, а я расскажу суть дела.

И Котельников с жаром, захлебываясь и повторяя, стал рассказывать.

По закону межевать наделы должны были владельцы-посессионеры. Но в течение тринадцати лет они сумели только произвести топографическую съемку. За это время между ними и населением возникло много так называемых «земельных споров». Два года тому назад посессионеры, посовещавшись между собой, отказались от межевых действий. Это дело было поручено Уральскому поземельно-устроительному отряду, работавшему в казенных дачах. Отряд этот составил и предъявил населению проекты наделов. Надельные документы поступили в губернское присутствие для совершения данных...

— Какое же право имеет завод обменивать покосы теперь? — кричал Котельников.— Покойника назад не ворочают, поймите вы!

— Но что я могу сделать? — скучным голосом сказал земский начальник.— Мне предъявлено требование об обмене...

— Да покосы эти уже на правах собственности!

— Не совсем так. Вспомните, уважаемый Семен Семенович, статьи от сорок восьмой до пятьдесят седьмой Положения крестьянских владений... Заводоуправление имеет право требовать обмена.

— Я эти статьи помню лучше вашего, уважаемый мой! А ну, до какого срока возможен обмен? Ага!

— Срок — пятнадцать лет.

— То есть?

— Экий придира! Ну, до пятнадцатого мая сего года.

— «До!» — торжествующе выкрикнул Котельников.— «До»! А их претензии поступили «после» срока! Это — раз. Второе — не поленитесь, загляните в местное Великороссийское положение, вы увидите, что обмену не подлежат угодья, которыми владеет население до девятнадцатого мая девяносто третьего года! А здесь таких много.

Земский молчал.

— Так как, уважаемый Иван Петрович?

— Мне думается, вы правы. Надо подумать...

— Подумайте, подумайте!

— ...Заглянуть еще раз в законы... А теперь я попрощаюсь. Благодарю за угощение. До свидания.

Заскрипело крыльцо под тяжелыми шагами. На улицу вышел земский начальник с недовольным и задумчивым лицом. Котельников высунулся из окна. Волосы его стояли, как петушиный гребень.

— Ефрем Никитич! Заходи, старый друг, чего ты там притулился?

Он долго ходил по комнате, потирая свой желтый блестящий, будто напомаженный лоб,— все не мог успокоиться.

— Стойте твердо на своем, упритесь, как быки! — поучал Котельников.— Противьтесь всем обществом!

— Да ведь как обществом-то? — приуныл Самоуков.— Богат бедному не заединщик!

— Там видно будет! Помни: закон за вас. В течение недели дело будет в шляпе. Земский обещал.

— Да ведь он только подумать хотел, Семен Семенович. Он пока думает, а завтра второй сход у нас. Как нам с начальством говорить? Научите, Семен Семенович.

— Доверьтесь мне. Выберите меня «доверенным горнозаводского ключевского общества».

— Вы хлопотать будете, если они после второго схода не уймутся?

— Буду хлопотать! — и Котельников потер руки, как будто предстоящие хлопоты сулили одно удовольствие.

— Денег-то много ли собрать?

— Каких? Для чего?

— Благодарственные... вам...

— Безвозмездно! Беру хлопоты на себя безвозмездно... тогда и мысли ни у кого не будет, что я из интереса за вас хлопочу. Так и другим скажи.

— Одно я не пойму никак, Семен Семенович,— задумчиво заговорил Ефрем Никитич,— какая такая сласть в наших землях? Что тут кроется? То ли в казну сено хотят ставить, что ли?

Хитро-хитро улыбнулся Котельников.

— Не знаю, дорогой... Есть у меня мыслишка, сказал бы... да ведь разболтаешь!

— Ни в жизнь! — и старик размашисто перекрестился.

Котельников указал взглядом на Романа.

— Это зять мой,— сказал старик.— Что скажешь, то и умрет в моей семье.

— Зачем «умирать»? Молчать надо только до поры до времени. Выясню — и тогда мы вслух заговорим, во все колокола зазвоним. Дело вот в чем... прииск от вас рукой подать... верно? Не понимаешь? Этакий ты... А я думаю, что и на ваших покосах есть платина! Вот где собака зарыта! Вот из-за чего сыр-бор горит!

Ефрем Никитич сжал кулаки и только одно слово проронил глухим от ярости голосом:

— Варначьё!

— До поры до времени об этом никому не говори. Я проверю... А ты иди подготовь серьезных, умных мужиков к завтрашнему сходу. Противьтесь! Понял? Действуй.

VI

Дом Ярковых в Верхнем заводе скоро стал для Фисы родным. Еще в тот момент, когда они подъехали и Фиса увидела в палисадике высокие желтые, в красных гроздьях, рябины, а за домом нежно-зеленую крону лиственницы, чем-то родным, домашним пахнуло на нее: у Самоуковых на усадьбе тоже росли рябины и лиственницы...

Анфиса быстро привыкла к новому распорядку.

Она приучилась подыматься до гудка. Встанет, умоется, причешется при свете керосиновой лампы, примешает квашню, затопит печь, напоит и подоит корову Красулю, разольет по крынкам молоко... Смотрит — пора уже ставить в печку котел с картошкой или варить гороховый кисель, жарить на постном конопляном масле румяные пряженики. Поставит Анфиса на стол кипящий самовар, нальет в умывальник воды и собирается будить Романа. А тот уже давно не спит: глядит украдкой сквозь ресницы, как жена на пальчиках летает по дому — не стукнет, не брякнет...

— Ромаша! Гудок ревет, вставай!

Роман обхватит ее шею горячими руками, тянет к себе... «Романушко, что ты! Мамаша проснулась!» — и вот уже Фиса вывернулась из рук, хлопочет у стола,

смеется, поглядывая на мужа исподлобья веселыми, лукавыми глазами.

Проводив Романа, она принимается за уборку.

Метет березовым веником пол, сплошь устланный пестрыми половиками, вытирает пыль, поливает цветы — фикус, герани, розаны. Вынет хлеб из печи, выставит горшок с похлебкой на шесток, чтобы не выпрела, наносит воды из колодца... А приберется — сядет к окну, вышивает по канве крестом черные листья и красные цветы.

Вышивает, а сама осторожно следит за каждым движением свекрови: не надо ли помочь, услужить.

Достанет старуха противень, а Фиса уже режет хлеб, знает, что надо сушить сухари.

— Соль-то у нас вся в солонке? — спросит свекровь.

— Сейчас натолку, мамаша! — и весело, охотно начинает молодушка толочь в ступе каменную соль.

Анфиса уважала свекровь и побаивалась ее. Старуха была неулыбчива, молчалива... Но зато никогда не привередничала, не придиралась к снохе. Бывало, в спешке то чашку разобьешь, то крынку опрокинешь. За это дома крепко доставалось от отца — «Дикошарая! Вертоголовая!» А свекровь не пообидит, не изругает никак, только скажет:

— Чего испугалась? Не съем!

Старушка часто страдала приступами ревматизма. Фиса помогала ей влезать на печь, натирала руки и ноги настойкой из березовых почек, водила в баню, парила.

Она от души жалела свою свекровь. Жизнь старушки была многотрудная. Муж стал калекой в молодых годах. Роман помнит, как мать, работавшая на ткацкой фабрике, прижимала ладони к кипящему самовару, чтобы «прижечь» кровавые мозоли. Нанималась она садить и полоть в огородах, мыть полы, стирать белье. Муж смотрел-смотрел на ее маяту — не мог вынести — удавился в малухе. А вскоре умер от оспы старший сын. Через год — от скарлатины дочь. И осталась она с Романом.

Сдержанная старуха не любила командовать, не совалась с указками, разве иногда скупо обронит совет. Как-то, глядя на широкие загорелые ступни снохи, свекровь проговорила:

— Ты, Анфиса, пошто ботинки-то не носишь?

— Да ну их! Жарко в них ноге... тесно...

— Обулась бы... Привыкала бы по-городски ходить... а то смотрю давечи, Ерошиха глядит на твои ноги с насмешкой.

— Ой, мамаша,— испугалась Анфиса,— что бы тебе раньше сказать? Не знала я.

И Фиса перестала ходить босиком.

Каждый вечер, с нетерпением поджидая Романа, Фиса ходила от окна к окну, выбегала за ворота. Когда муж приходил, она помогала ему раздеться, мыться, усаживала за стол.

— Да будет тебе летать-то, летяга, посиди лучше со мной, мне еда слаще покажется.

— Хорошо, я сейчас! — но опять вскакивала с места, чтобы подать ему то или другое.

После обеда жена мыла посуду, а муж курил, сидя у окна. Она уговаривала:

— Пойди ты, Ромаша, полежи, отдохни, а я пойду Красулю управлю.

Потом они сумерничали: Роман — лежа, а Фиса — сидя на краешке кровати.

Иногда Роман просил:

— Фисунька, спой «Оленя»!

И Фиса несмело, вполголоса начинала:

Во поле-полюшке ходит олень,
Белый огонь — золотые рога,
Мимо него проезжал молодец,
Роман, свет Борисыч, младешенек...
Взмахнул на оленюшка плеточкою:
— Я тебя, олешик, стрелой застрелю!
— Нет, не стреляй, удалой молодец!
На пору на время тебе пригожусь:
Будешь жениться, на свадьбу приду,
Золотыми рогами весь дом освечу,
Песню спою — всех гостей взвеселю!

Роман подпел густым баритоном. Начинал тихо, потом все громче и громче. Последние слова во весь голос. А Фиса в это время как бы опять переживала недавние дни. Ей казалось, что вот только что, только что отзвенел тонкий надорванный голос матери: «Дитятко, воротися, милое, воротися!» В груди закипали сладкие слезы, руки невольно сжимались. Анфиса начинала свою любимую песню о дивьей красоте:

Как пошла моя дивья красота
Да из моей она из горенки.
Пошла да покатилася,
С красной девицей распростилася.

Голос Анфисы прерывался и дрожал. Нега, ласка, грусть — все сплеталось в этой песне...

Доходила моя дивья красота
До порога до дубового,
Оттуль назад да воротилася,
С красной девицей распростилася:
— Ты прости, прощай, красна девица!
Прощай, умница моя да разумница...

Эту песню пели девушки, одевая Фису к венцу, а она дарила им цветы, дивью красоту.

— Перестань-ка,— унимала свекровь,— услышат люди, засмеют, скажут: «Ярковы, мол, венчались и все, а все еще дивью красоту поют!» Лучше бывальщинку бы какую-нибудь рассказала, Фиса, про старо время.

Побывальщин Фиса знала множество, но это были все мрачные, таинственные истории. Она рассказывала их, понизив голос, точно боялась, что кто-то страшный подслушает и предстанет перед нею.

— Вот в Туре женщина была, такая обиходница, чистотка. А к ней нищий пришел. Она крылечко моет, голиком с песком продирает...«Ну куды тебя с грязью тащит? Некогда мне, не до милостыни!» Он взял да свиньей ее и сделал... обратил ее. Она и давай бегать по дворам. Муж ищет, а соседка ему говорит: «У тебя ведь бабу-то свиньей сделали!» — «Кто сделал?» — «Нищий старичок, она ему милостыню не подала».— «Как же мне быть теперя?» — «Не горюй,— говорит соседка,— вот я найду человека, ее отчитают, только ты денег дай!» Ну, он дал ей денег... Недели две ли, боле ли бегала его баба свиньей. Потом пришла в человеческом обличье...

Роман захохотал:

— Наверно, эти две недели у своего любовника прогостила! Эх дичь!

— Не смейся, Романушко,— остановила Фиса,— то я и рассказывать не буду. Скажешь — и вещицы тоже неправда?

— А, конечно!

— Нет, уж вещицы — это правда истинная! У нас в Ключевском была одна, летала, как сорока, только крупнее и без хвоста...

— Это бывает,— сказала свекровь. Роман недовольно крякнул.

— А то еще огненные змеи летают.

— Деньги таскают,— сказала свекровь.— Это я знаю. Петух раз в три года яичко сносит, станешь это яичко парить за пазухой — выпаришь огненного змея. Он станет деньги таскать тебе. Только если его через три года не убьешь, он тебя задавит. Все говорили, Ромаша, что Брагину он задавил. Помнишь, Брагину-то?

— Брагину я помню, только не помню, чтобы после нее деньги остались: видно, ленивый был у нее змей-то,— сказал он с усмешкой.

— У нас в Ключевском не такой змей летал,— продолжала Фиса.— У нас баба одна, вдова, все думала о муже, он и давай к ней летать! В форточку залетит змеем, а на пол станет человеком, спать с ней ложится... Сохла да сохла, так он ее и задавил. Тятя сам видел этого змея. Пришел и сказывает: «Видел ведь я змея-то! Долгий, искры сыплются».

— Неужто веришь, Фиса? — с досадой спросил Роман.— Ведь этого быть не может!

— Тятя врать не станет. Вот приедет, спроси его, уверься... Мамаша, скажи ему: ведь бывает так? Верно?

— Слыхала,— сдержанно ответила старушка.

Романа начинал не на шутку раздражать этот разговор.

— Ну, хорошо,— повышенным голосом начал он,— у других бывает, почему у нас не бывает? Тятя не своей смертью помер, а поблазнило ли хоть раз? Не было этого, и быть не могло... Знаешь что, Фиса, пойдем-ка сходим в малуху!

Фиса так и обмерла:

— Ночью?

Она до смерти боялась малухи. Даже в ясный день вид ее казался Фисе зловещим. Пробегая в сумерках по двору, чтобы открыть Роману ворота, она никогда не глядела в сторону малухи.

Роман поднялся с кровати.

— Собирайся, пойдем!

— Не пойду я...

— Эх ты! — укоризненно сказал Роман и добавил с улыбкой:

— Ладно, нето один пойду,— пусть меня покойники задавят.

— Роман! — строго остановила мать. Но он, посмеиваясь, вышел, хлопнув дверью.

Фиса догнала его в сенях.

Романа тронула ее решимость. Баба дрожит — зуб на зуб не попадает, — а не хочет оставить мужа одного. «В беде не бросит!» — подумал он, крепко обнимая ее за плечи... но все-таки повел с собой в малуху.

Дверь со скрипом отворилась. Пахнуло печальным запахом нежилой избы. Когда Роман прикрыл дверь, они очутились в темноте. Только маленькое окошечко слабо брезжило впереди.

— Тятя! — позвал Роман и почувствовал, как сильно вздрогнула жена. — Эй, тятя! Отзовись, покажись!.. Нет, милка, не бойся, не придет мой тятя и голоса не подаст.— Он нашел губами ее лоб. Лоб был в поту.— Ну, пошли домой. Да смотри, вперед не верь бабьим запукам, не бойся.

Так день за днем Роман Ярков все больше узнавал свою жену.

Романа не раз подмывало рассказать ей, чем он живет и дышит, но он не смел... не знал еще, можно ли доверить общее дело молодой жене. Ее высказывания, ее вкусы заставляли его настораживаться. «Книжки читает все про графов да про князей, про балы да про любовь, а про простой народ читать, видишь ли, ей скучно! Нет, не скажу, как бы худа не было! Как можно доверить такое дело? Она с тещей поделится, до тестя дойдет...»

В первые же дни пребывания в Верхнем поселке Анфиса познакомилась с соседями. Рядом с Ярковыми жили Ерохины — отец, мать и сын. Смирный, богобоязненный старик заходил иногда — посудить с Фисиной свекровушкой о душе, о справедливости... Старуху Ерохину, пронырливую, громкоголосую, с морщинистым лицом старой сплетницы, не привечали у Ярковых, но забегала она «по соседскому делу» частенько. А сын Степка и порога не переступал! «Мирова их не берет с

Романом,— говорила свекровь Анфисе. — Роман холостой был, в разных ватагах они гуляли». Степка был наглым, драчливым парнем. Узкоглазый, узкоплечий, жилистый, с выдавшимися лопатками, с большим кадыком, с вытянутой вперед шеей, он, казалось, жадно тянется к чему-то, что-то вынюхивает, чтобы захватить себе... а иногда казалось, что он ищет, к чему бы придраться. Степка любил пофрантить, по воскресеньям носил галстук и суконную пару. На прогулку не выходил без толстой железной трости.

За домом Ерохиных стояла низенькая старенькая избушка Ческидихи. Пожилая, но еще крепкая вдова Ческидова дружила с Фисиной свекровью. Женатый сын ее и замужняя дочь жили в Перевале. Младшенький Паша сидел в тюрьме «за политику». Ческидиха жила тихо, бедно, работала на фабрике туалетного мыла.

Часто заходили к Ярковым ближние и дальние соседи, много бывало и незнакомых Анфисе рабочих. Вначале это ей нравилось: она видела, что Роман, несмотря на свои молодые годы, пользуется уважением. Анфиса не вслушивалась в мудреные разговоры о каком-то третьеиюньском перевороте, о каких-то столыпинских законах, о какой-то «нашей фракции» — все эти мужские дела ее не интересовали. Напоив гостей чаем, она уходила в горницу с книжкой или с вышивкой.

Однажды к Ярковым неожиданно заявился Паша Ческидов, только что выпущенный из тюрьмы. Роман обрадовался, обнял и расцеловал гостя. Анфиса постаралась, приняла Пашу «как следует» — забегала, захлопотала... Много раз слышала она от Ческидихи, что Паша «смирёный, он невинно страждет!». И вдруг он спокойным голосом начал поносить царя и буржуев... Фиса не выдержала:

— Павел Савельич, покороче бы язык-то надо держать!

Паша с недоумением взглянул на нее.

— Да ведь тут все свои...

— Свои, да не ваши!— отрезала Анфиса.

Она бы не сказала так, если бы знала, как ее слова рассердят мужа. Роман вскочил с места, налился весь кровью...

Отбросив ногою стул, сказал сдавленно:

— Айда, Паша, в малуху!

Они долго сидели в подсарайной избе, потом Роман проводил Пашу и зашел к Ческидовым.

С той поры Анфиса, поджидая мужа с работы, часто видела, как он сворачивает к дому Ческидовых,— видно, старая дружба не ржавела!

Как-то Павел пришел с тремя незнакомыми парнями. Роман не пригласил их в избу, увел в малуху. Горько это было Анфисе, но она смолчала, виду не подала.

Пришел как-то невысокий, щуплый человек, попросил передать Роману, что был Давыд. Роман, узнав об этом, не стал обедать, взял большую плетеную корзину и ушел. Вернулся он поздно, с пустой корзиной.

— Сходил ни за чем, принес ничего,— пошутила Фиса, ожидая, что он объяснит ей, в чем дело.

Роман на шутку не ответил.

Убирая на место корзину, Фиса нашла в ней металлическую пластинку, и вдруг страшная мысль пришла ей в голову...

— Я тебе про бабушку Маланью не рассказывала?— спросила она мужа, когда они улеглись в постель.— Нет? Это не моя бабушка, тятина... Ее в Ключевском звали государевой снохой — у нее муж двадцать пять лет в солдатах служил, там и помер. Ну ладно, вырастила она двух сынов: один хороший, а другой связался с худыми людями. Вот соберутся, куда-то уйдут, деньги у него появились, пить стал, гулять. Бабушка Маланья терпела-терпела — и давай молиться богу: «Господи батюшко! Если сын мой хорошим делом занимается, пошли ему удачи... а если на худое дело пошел — покарай!» Бог-то услышал и покарал! Попались! Они фальшивые деньги делали.

— Что это тебе на ум пришло?

— Не знаю...— робко ответила Анфиса.— Вот ты все от меня таишься, я не знаю, что и подумать...

— Не бойся! Не фальшивые деньги делаем.

— А какие? — испуганно спросила Анфиса.

— Да никаких не делаем... Мы про жизнь судим, книжки читаем.

— А с корзинкой куда ходил?

— Подрастешь — узнаешь,— неохотно ответил Роман.

VII

Недели через две после свадьбы к Ярковым приехал Ефрем Никитич: молодых захотелось ему навестить, и было у него неотложное дело.

Вечером, встречая мужа у ворот, Фиса так и сияла:

— Тятя приехал! Он платину нашел!

— А ты чему рада?

— А как же? Уж он нас не оставит.

Роман поглядел на нее непонятным ей, недовольным взглядом.

— Может, он даст, да я-то не возьму.

— Да отчего же, Романушко?

— Буржуем ни в жизнь не буду.

Ефрем Никитич не заметил, что дочь приуныла, а зять нахмурился. Молодцевато подкручивая усы, поглаживая курчавую бородку, он рассказывал, как нашел платину:

— Кругом один, денег-то ни шиша не было. Сам дудку пробил, сам землю воротком подымал. Упластался так, что, думаю, вот-вот дух вон! А ничего, выдюжил. Но только один сполоск и сделал... вражина-урядник помешал... изломал мою снасть... Ну, ничего, вот весна-матушка придет, я теперь знаю, где мое счастье лежит! Возьму! Ваши дети, может, в двухэтажных хороминах будут польку плясать по-городскому!... Только вот...— он не договорил, погрузился в мрачное раздумье.— Своди-ка меня, милый сын, к Семену Семенычу. Фершалиха написала, где он квартирует.

— Ну что же, папаша, пойдем сходим.

Котельников встретил их приветливо, хотя они и подняли его с постели.

— А! Гости! Милости прошу, только угощать мне вас нечем, живу по-спартански...

— Мы не за угощеньем, Семен Семенович,— степенно ответил Ефрем Никитич,— вот тебе матушка твоя гостинчиков послала, кушай на доброе здоровье... а мы посоветовать с тобой пришли.

— Платинешку-то ведь я нашел!

Семен Семенович так обрадовался, что и про гостинцы забыл.

— Преотлично! Поздравляю! Значит, правильно я угадал!

— Правильно-то правильно, только есть одна заковыка. Люди говорят, что, дескать, по верху на наших землях, то наше... а что в нутре — то господское. Правда ли это?

Котельников, накинув на плечи пальто, стал расхаживать по своей большой, пустой, ничем не украшенной комнате.

— Вопрос о недрах — вопрос серьезный, но небезнадежный,— начал Котельников.— Закон девяносто третьего года нам что говорит? Что девятнадцатого мая сего года вы получили право собственности на наделы...

— Бумаги-то ведь все еще в губернском присутствии.

— Минуточку!... До девятнадцатого мая заводы имели право разведывать и разрабатывать ископаемые в ваших угодьях... имели право потребовать обмен... А теперь — поздно!... Разведки на ваших землях ведь не было?

— Ни единого шурфа не пробили.

— Значит, все!

— Я чего боюсь,— вздохнул Самоуков,— того и боюсь, что как узнают про платинешку, так и отберут мою землицу.

— Я тебе, Ефрем Никитич, сейчас ничего не скажу решительного. Вот проштудирую новые законоположения...

— Чего сделаешь?

— Почитаю. Вооружусь! Потом я тебе скажу, стоит говорить, что у тебя платина нашлась, или не стоит. А пока молчи!...

Погасив свет, Фиса обняла мужа, прижалась головой к его плечу, ожидая ласки. Но Роман лежал неподвижно, заложив руки за голову. Он был растерян, огорчен. «Ясно, тесть вылезет в буржуи!» Все в нем возмущалось против этого, но что делать, он не знал.

— Ты на кого осердился? — шепнула жена.

— Да нет,— ответил от тоже шепотом,— я не осердился... Об жизни думаю... Загадали вы с тестем мне загадку!

— Коли счастье привалило, дурак только откажется. Неужто хочешь, чтобы всю жизнь на тебе ездили?

— Не хочу,— отозвался Роман,— но и сам не согласен на народе ездить.

— А кто тебя заставляет? Можно и богатым быть, и народу добро делать!

— Нет, нельзя!

Всем нутром понимал Роман, что прав он, а не Анфиса, но доказать ей не мог. Мысли его не могли оформиться в слова.

— Как же ты, Романушко, мечтаешь? — спросила Анфиса.

— Как мечтаю? Сбросить царя, буржуев, дать власть трудовому народу.

— Да в уме ли ты, Роман?

Фиса заплакала.

— Это все Пашка, каторжник этот тебя сбивает... Повадился реможник[1] этакой...

Но она разом смолкла. Роман откинул одеяло да так и взвился с постели.

— «Реможник»! Это твое слово...— говорил он свистящим шепотом, расхаживая по горнице.— Этого я тебе не забуду!

Анфиса испугалась и стала просить прощения.

Но вскоре она забыла и об этом разговоре, и о мыслях Романа...

Новая забота заслонила все.

Как-то под вечер к окну подошла женщина, спросила Романа Борисовича.

В белом шарфике, темно-рыжая, синеглазая, она показалась Анфисе необыкновенной красавицей.

— Нету его... он еще с работы не приходил... А вам на что его? — не удержалась Фиса от ревнивого вопроса.

Женщина не ответила.

— Передайте, пожалуйста, что заходила Петровна.— И, поклонившись, отошла от окна.

— Куда же вы? Зайдите! Дождитесь! — кричала ей вслед Фиса, сама не понимая, что с ней делается. Сердце билось так, что она придерживала его рукой. Хоте-

---

[1] Ремки — лохмотья. Реможник — оборванец.

лось одного: чтобы Роман и эта красавица встретились при ней, у нее на глазах.

Женщина покачала головой и быстро пошла прочь. Высунувшись из окна, Фиса следила за нею взглядом.

— Что это к тебе барышни запохаживали? — стараясь говорить шутливо, спросила она Романа.— Кто хоть она такая?

Муж ответил, опустив глаза:

— Не знаю никакой Петровны.

Фиса поняла, что он солгал.

VIII

В трех верстах от южной окраины города, на берегу речушки Полдневой, стояла дача купчихи Бариновой. На лето эта дача сдавалась, а зимой стояла пустая.

Однажды осенью, когда Баринова сводила счета со своим квартирантом Чекаревым, к ней пришла незнакомая девушка и заявила, что хотела бы снять дачу на зиму, так как врачи советуют ей пожить на чистом воздухе, в уединении, в тишине. Девушка и в самом деле казалась больной.

На расспросы Бариновой посетительница отвечала, что зовут ее Софьей Ивановной, она — дочь врача Березина... Отец недавно умер.

— Зачем же вы из Мохова уехали, Софья свет Ивановна?

— Свадьба моя расстроилась,— горько усмехнулась девушка.

Баринова оживилась. До страсти любила она рассказы о несчастной любви... Но девушка рассказывать ей свою историю не захотела.

— Как же вы на даче жить станете? Боязно одной-то! Сторож и тот не живет, а только находом ходит.

— Не будет мне страшно.

— А кушать что будете?

— Раз в неделю схожу в город...— И девушка пожала плечами, как бы говоря: «Не ваша забота!»

Баринова подумала-подумала...

— Так что же,— сказала она,— чем так стоять даче-то... Как думаешь, Сергей Иванович?

Чекарев сдержанно сказал:

— Я бы пустил на вашем месте.

— «Пустил бы»!.. Да ведь хлопоты! Вот ее на дачу проводить, вот прописать ее, как же не хлопоты?

— Чем могу, я вам готов помочь,— сказал Чекарев. Баринова того и ждала...

— Вот спасибо тебе, Сергей Иваныч... А сколько с нее взять? — спросила она, как будто Софьи и в комнате не было.— Пятнадцать рублей в месяц будешь мне платить, Софья Ивановна?

— Пятнадцать не буду. Десять.

— Ну, ин ладно. А как ты на меня натакалась? Как про дачу-то узнала?

— Расспрашивала, у кого есть дачи, мне и сказали,— неохотно ответила Софья.

Через два дня Софья Ивановна переехала на дачу. Ее провожали Чекаревы.

Действительно, в двух комнатах и в кухне было пусто, но кой-какая мебель все же нашлась. Стоял широкий старый диван, кухонный стол, две табуретки, небольшой бак для воды. В чулане Чекарев обнаружил три сломанных стула, которые тут же починил. Мария расстелила кошму на диване, покрыла ее простыней и развесила коленкоровые занавески на окна.

Потом Сергей Иванович продолбил прорубь на речке, натаскал в бак воды. Вскоре привезли воз дров. Стали протапливать обе печки — и русскую, и круглую. К вечеру приехал Роман. Сергей Иванович помог ему выгрузить из плетеного короба и внести в домик деревянные ящики, корзины, кой-какую домашнюю утварь. На дне короба под сеном лежали кипы бумаги. Ее сложили в угол и накрыли одеялом. Мужчины стали монтировать небольшой печатный станок.

Софья начала расставлять и раскладывать по полкам стенного шкафа жестяные банки с типографской краской, с клеем, медные линейки, верстатку, валики, накатывающие краску, кисти, щетки, куски типографской клеевой массы.

— Кассу поставьте в этот угол, за диван,— подсказала она,— тут будет и под руками, и не на виду.— И Софья худыми руками тоже схватилась за ящик, где в гнездах лежал шрифт.— А станок — под стол.

— Да отдохните вы,— просила Мария,— все равно Давыд раньше завтрашнего дня не придет.

Роман стал торопить с отъездом: он обещал хозяину лошади — возчику угля — возвратиться к девяти часам.

Оставшись одна, Софья дунула в ламповое стекло, погасила свет, легла на диван, зябко укутавшись одеялом. Ее лихорадило. Кровь стучала в виски. В комнате пахло угаром, как всегда бывает, когда затопят печь в давно не топленном помещении. За окнами медленно, важно шумел сосновый бор. Странно было сознавать, что ты находишься в безопасности, в темной, теплой тишине, после волнений бегства, после голодного и холодного скитания. Если бы не случайная встреча со знакомым рабочим-подпольщиком в Мохове, что было бы? Перед Софьей всплыло доброе круглое лицо той девушки, которая дала ей свой вид на жительство. «Берите, берите! Ну, что вы! Со мной ничегошеньки не случится, скажу, что потеряла...»

«Потом свяжусь с центром: пусть на самый трудный участок направят! А пока отдохну на технике!»

Она зажмурилась, пытаясь уснуть, но сон не приходил.

«Гордей!... Может, в ссылке, вот так же слушает, как шумит тайга... А может, тоже на нелегальном положении? Встретиться бы...» — И, не сдерживая теплые, обильные слезы, она дала волю мечтам.

Утром, когда на шестке весело зашумел чайник, вдруг стукнула калитка. Мимо окон прошел, широко шагая, невысокий, слегка сутулый молодой брюнет. Софья поднялась. Он снял шапку, обмахнул голиком снег с сапог и назвал себя.

— Давыд.

— Я вас жду,— сказала Софья.— Раздевайтесь, садитесь чай пить. Хотите?

— Очень хочу. Промерз. Но прежде...— он заглянул в дальнюю комнату.— Есть окно на той стене? Хорошо! Я выставлю раму.

Он выставил внутреннюю раму, раскрыл окно, вылез наружу, повесил на дверь замок и влез обратно.

— Кто бы ни пришел — дом на замке. Теперь только окна плотнее завесить. Хороша дача. Как раз для техники.

Они напились чаю и прошли в комнату, освещенную матовым ровным светом, проходящим сквозь легкие белые занавески. Илья выдвинул станок из-под стола. Софья спросила:

— Что будем делать? Газету?

— Нет, текст не готов. Эти дни мы с вами будем программу печатать.

— Каким форматом?

— Вот,— показал Илья маленькую книжечку.

— Тираж?

— Десять тысяч.

— Ого,— сказала Софья,— вы давно в технике, Давыд?

— На гектографе работал много, а набирать научился за эти два месяца, что работаю в типографии.

— Два месяца! — и Софья слегка улыбнулась тонкими бесцветными губами.— А я восемь лет была наборщицей в Петербурге да три года в технике работала до самого провала.

— Сколько вам лет? — спросил Илья, задумчиво глядя на Софью.

— Лет? Двадцать пять... Это меня тюрьма так износила... Ну, давайте работать.

И Софья разом точно забыла о присутствии Ильи. Рука ее так и замелькала между кассой и наборной линейкой.

Широкими, торопливыми шагами шел Илья по дороге к городу. Он спешил на завод Яхонтова, чтобы передать слесарю Васильеву программу партии и условиться о времени занятия кружка. После встречи с Васильевым — заседание комитета у Чекаревых... Потом ночная смена в типографии. Зайти в харчевню перекусить времени не оставалось. Илья купил у мальчишки-лотошника копеечную сайку.

Механический завод Яхонтова раскинулся между Северной привокзальной улицей и Вознесенской горой. Непривычная тишина поразила Илью. Не слышно знакомого шума трансмиссий, грохота клепальных молотков, кузнечных молотов, железа... Он подошел ближе и услышал гомон возбужденных голосов.

Сквозь литые узорчатые чугунные ворота видно было толпу на заводском дворе. Люди сгрудились...

И вдруг, точно поднятый ими, вынырнул, вырос над толпой молодой рабочий. Размахивая руками, как пловец, он выкрикивал рвущимся от негодования и боли голосом:

— Жертва эксплуатации!.. Пот и кровь... увечья, гибель...

Илья поспешно свернул в переулок, побежал вдоль высокой деревянной ограды. Он знал, в заборе есть лазейка — одна доска отодвигается в сторону. Сколько раз он передавал в это отверстие листовки для цехов!

На широком дворе, окруженном низкими кирпичными постройками, собрались рабочие. Их было несколько десятков. Илья вспомнил невольно забастовки пятого года... Положим, тогда на заводе рабочих было впятеро, вшестеро больше. Кризис ударил и по заводу Яхонтова.

Илья вмешался в толпу. Слесаря Васильева, очевидно, надо было искать где-то там, возле самодельной трибуны, на которой стоял молодой оратор. «Так и есть!» Илья увидел острый профиль знакомого лица, желтую щеку в оспенных рябинках и, пробравшись вперед, тронул Васильева за рукав.

— Что у вас?

— Мальчишку в станок затянуло,— ответил Васильев, даже не удивившись появлению Ильи.— Ограждений-то ведь так и не сделано!.. Решаем требования свои выставить... Не примут — забастуем! Ведь мы...

Он не договорил. Молодой парень, державший речь, спрыгнул с опрокинутого в снег деревянного ящика, и все закричали:

— Пусть Васильев скажет!

— А что говорить? — начал Васильев.— Надо не разговоры говорить, а наметить свои требования и послать депутацию к директору. Не уважит — будем бастовать! А сейчас я дам слово одному знающему человеку...

Он подал руку Илье, и тот взобрался на ящик.

Члены подпольного кружка знали Давыда. Они закричали:

— Тише! Тише! Слушайте!

Стало тихо.

— Товарищи!

Услышав это дорогое, запретное слово, толпа колыхнулась, сдвинулась теснее.

— Товарищи! Борьба за права рабочего класса требует прежде всего единения! Крепко ли вы решили бороться? Проверили ли себя?

Он обвел собравшихся суровым взглядом и прочел в ответных взглядах, что решение крепко...

— Бороться надо не только за сегодняшние ваши требования: за пенсию матери погибшего токаря, за установку ограждений к станкам... не только за прибавку платы и отмену штрафов... Цель борьбы рабочего класса — высокая!... святая цель! За политические свободы! За социалистическую революцию!

Он заговорил о связи экономической и политической борьбы, о том, что только партия социал-демократов (только большевики) ведет рабочих по верному пути.

— Вот наша программа! Познакомьтесь с нею, внимательно прочтите и передайте своим товарищам!

Илья раздал пачку программ. Руки жадно тянулись к нему.

Илья энергично и быстро вел митинг. Он понимал, что администрация скоро оправится от замешательства и разгонит собрание, может и полицию вызвать. Скоро стачечный комитет был сформирован, и Васильев начал записывать требования, положив бумагу на ящик у ног Ильи.

В это время раздались крики:

— Полиция! Полиция!

Из конторы вышел пристав с городовым.

Илья спрыгнул с ящика, замешался в толпу.

— В чем дело, братцы? — миролюбиво заговорил бравый пристав. — Несчастный случай случился? Оно, конечно... Но владелец, братцы, поступит по закону и по милосердию. Матери будет пособие выдано.

— Пенсию требуем! — закричали в ответ.— Один был кормилец! Уморили!

Пристав внимательно стал вглядываться в толпу.

— Что значит «требуем»? — с угрозой спросил он.— Что значит «уморили», когда акт инспекции — по своей неосторожности? Эт-то кто говорит? Это ты говорил? А ну, выйди сюда! Ты, рыжий! Как его фамилия?

В ответ раздались гневные выкрики.

— В кутузку захотели? — взревел пристав. — Бунтовать? Это вам не пятый год, мерзавцы!

Толпа надвинулась на пристава. Могучий кузнец наседал на него, гудел в самое ухо:

— Тебе дано право людей мерзавить? Ты сам кто такой, из каких кистей выпал?..

Васильев говорил громко:

— Мы свои требования вырабатывали!

— Какие ваши требования? — кричал пристав. — А ну, давайте их сюда!

Ему отвечали насмешливо:

— Дураков нету. Когда надо, тогда и отдадим!

— Р-разойдись! — кричали полицейские, наступая на рабочих.— Разойдись!

Рабочие двинулись к проходной будке, уводя с собой членов стачечного комитета. Илья прежним путем выбрался с завода. Он шел по заснеженным улицам, освещенным редкими фонарями.

Радостное чувство борьбы переполняло его.

В самую глухую пору реакции — забастовка!

К Чекаревым Илья всегда проходил садом, чтобы не попасть на глаза хозяйке. У него был ключ от дверцы, обитой железом, которая выходила в глухой переулок.

Закрыв за собой эту дверцу, Илья постоял в каменной нише, зорко оглядываясь кругом. Сумерки уже сгустились в саду. Отсюда не видно было большого дома,— как стена, его заслоняла пихтовая аллея. Окна флигеля светились.

Илья на цыпочках поднялся на террасу и постучал ногтем по стеклу. Ему открыли.

В комнате плавал папиросный дым. На кровати лежала гитара, на столе стояли закуска и бутылка с пивом: чужой человек, войдя, увидит, что люди собрались на вечеринку...

Все уже были в сборе, только самого Чекарева ждали с минуты на минуту. Мария начала расспрашивать Илью, как ему работалось, как чувствует себя Софья. Возбужденно блестя глазами, чувствуя прилив бодрости, силы, Илья рассказал о митинге на заводе Яхонтова.

Стукнула дверь в сенях, Мария прислушалась и просияла: «Сережа!»

Действительно, это был Сергей. Он разделся на кухне, вошел в комнату и, не здороваясь ни с кем, остановился у стола. В его обычной сдержанности было что-то угрожающее. Русые брови резко выделялись на побледневшем лице.

— Товарищи! Нашего Лешу казнили... — Дрогнувшим голосом он добавил: — Почтим его память...

При слове «казнили» дрожь прошла по телу Ильи, дышать стало трудно, словно та веревка, которой удушили Лешу, сжала и его горло.

Удар грянул внезапно. Отец Алексея совсем недавно получил письмо от Августы из Казани. Она писала, что говорила с прокурором, что есть определенная надежда: дело кончится ссылкой, а в самом худшем случае — каторгой...

...Вы жертвою пали в борьбе роковой
Любви беззаветной к народу,—

глубоким, вздрагивающим голосом начал Чекарев, и приглушенные голоса подхватили широкий, печальный и сильный напев. Только Илья стоял молча. Петь он не мог. Горло так и оставалось сжатым.

Над мужскими голосами поднялся полный слез, горя и звенящий в то же время горячей верой голос Марии:

Настанет пора, и проснется народ,
Великий, могучий, свободный!

Как-то благоговейно, точно перед свежей могилой, все закончили:

Прощайте же, братья! Вы честно прошли
Свой доблестный путь, благородный...

— А теперь за работу! — стукнув ладонью по столу, сказал Чекарев. — Все чувства наши переключим в работу... Чтобы кипело все!

Овладев собой, он заговорил:

— Товарищи! В декабре в Париже будет Пятая всероссийская конференция нашей партии. Мы должны будем послать представителя, а значит, надо собрать и подготовить материалы к отчету... О чем должен рассказать наш отчет? О кружковой работе, о связи с массами, с думской фракцией, о легальных методах... По-

казать, как мы боремся против кадетов, эсеров, как с меньшевиками... с отзовистами боремся... Фактов давайте больше! Фактов!..

Говоря о положении горнозаводского населения, не можем мы пройти мимо тяжбы ключевского общества с конторой из-за покосов... Но это я забежал вперед...

— Лукиян! — прервал Чекарева и вскочил с места маленький порывистый человечек с красно-рыжими кудряшками. — Вы что ж свалили в одну кучу и врагов революции, и так называемых «отзовистов»? Равняете?

— Не равняю я, — с досадой сказал Чекарев, — но еще раз скажу и еще раз напомню, товарищ Рысьев, что вы, отзовисты, жестоко ошибаетесь... И ваши ошибки мы замазывать не будем... Кто хочет высказаться по вопросу подготовки конференции, товарищи?

Началось деловое обсуждение.

Вдруг на дворе громко залаяла собака, и кто-то сильно и часто застучал в дверь.

— Тревога! — спокойно сказал Чекарев, откупоривая бутылку, и стал разливать пиво по стаканам.

Рысьев взял гитару, начал пощипывать струны, напевая вполголоса:

Вниз по ма-а-тушке, по Во-о-олге...

Мария пошла открывать.

Она не спросила, кто стучит. Отодвигая задвижку, беспечным тоном проговорила:

— Кто опоздал, пусть воду хлебает... пиво мы все выпили!

— Это я! — послышался знакомый голос. В комнату вбежал Роман Ярков... вбежал, не снимая облепленной снегом шапки, не обметя голиком валенок.

Быстро оглядел собравшихся, увидел, что здесь все свои, сказал:

— Товарищи! Ваню... Ивана Даурцева схватили!

IX

Дверь Ирине открыл сам отец, по-видимому, он поджидал ее у окна.

— Алексей повешен, Ируська...

И, хлопотливо бегая по передней, Албычев стал рассказывать, как дошла до него эта страшная весть.

Ирина не вслушивалась...

Когда к ней вернулась способность соображать, с тоской и ужасом подумала девушка о дяде Григории и об Августе.

Положив на подзеркальный столик стопку тетрадей, Ирина повернулась к выходу, но отец остановил ее:

— Подожди! Вот тебе записка... поручение от Григория... Да, может, пообедала бы? Нет? Так и знал... Ну, или передай ему от меня, что сочувствую и все такое... Завтра сам у него побываю.

Ирина развернула записку.

«Милая Ирочка, — писал дядя, — ты, наверно, знаешь о нашей беде. Если можешь, приведи ко мне когонибудь из Лениных близких друзей. Очень прошу. Твой дядя...»

Обычный каллиграфически четкий почерк... Только в слове «можешь» дядя пропустил две буквы и подписался неразборчиво...

«Надо найти Илью!.. Ох, где мне найти Илью?»

Стоял зимний, зябкий день. В такие дни разбухшее небо серо, снег матово-бел. Голые деревья, ребра крыш, бревенчатые старые стены — все кажется траурно-черным.

Ирина осмотрелась по сторонам. Извозчиков нигде не было. Ускоряя шаг, она пересекла улицу, вторую... и быстро пошла к типографии.

Сколько раз за последние два месяца она прогуливалась здесь по вечерам, надеясь встретить Илью! Вот домик с венецианским окном. Вот палисадник с симметрично посаженными кустами акации... Вот высокое крыльцо дома, где живет Полищук,— все ей стало знакомо, привычно. У ворот типографии девушка остановилась, чтобы отдышаться и обдумать: как ей быть, если Илью не отпустят с работы. Но эти размышления оказались лишними: Ильи в типографии не оказалось, он работал в ночную смену.

Ирина пошла к мадам Светлаковой.

— Он здесь не живет, Ирочка! — сказала Светлакова, льстиво улыбаясь, поглаживая руку девушки и заглядывая в ее расстроенное лицо. — Он вчера заходил и, может быть, сегодня заглянет перед сменой... И что ему передать? — с прорвавшимся любопытством спросила Светлакова.

— Передать? Нет, ничего не надо передавать... Мне его сейчас надо видеть непременно! Вы мне скажете его адрес?

Светлакова замялась, сконфузилась, но адрес дала.

Илья жил неподалеку от матери в большом купеческом доме. Ирина позвонила. Горничная, улыбаясь, пригласила войти, но выслушав ее, дерзко повела плечом, небрежно кинула: «Ход со двора!» — и захлопнула дверь.

«Боже! В каких он условиях живет!» — ужаснулась Ирина, пробираясь по темным сеням подвального помещения. Она с трудом открыла дверь в коридор. В лицо ей пахнуло запахом щей, кожи, махорки.

Но светлая, бедная комната Ильи произвела на девушку отрадное впечатление. Комната эта подходила к строгому облику Ильи. Два небольших, чисто вымытых окна, кровать, тщательно застланная байковым одеялом, стол под зеленой клеенкой, книжная полка — все содержалось в строгой чистоте.

В этой чистой атмосфере, наверно, хорошо думалось и работалось.

— Илья Михайлович, извините...

Волнение помешало Ирине заметить внезапную густую краску на впалых щеках Ильи. Впрочем, краска прошла волной и разом исчезла.

— Вы уже знаете, Ира?..

— Да. Я — за вами. Дядя просит вас к себе.

— Ира... не знаю... не умею я утешать...

— Утешать? Разве можно его утешить? Погорюем вместе,— сказала девушка.

Илья мрачно взглянул на нее.

— Боюсь, тяжело ему будет видеть меня.

— Но он просит!

Илья снял с гвоздя драповое, истончившееся от старости пальто. Оделся, надвинул картуз, достал из кармана дешевые штопаные перчатки... и с недоумением взглянул на Иру, которая не трогаясь с места, глядела на него блестящими, решительными глазами, как бы желая что-то сказать.

— Что, Ира?

— Не могу я видеть этого,— прошептала девушка, указывая энергичным жестом на его открытую шею. Она рывком сбросила горжетку, стащила с себя вяза-

ный гарусный шарфик и обмотала им шею Ильи. Шарфик еще сохранял теплоту ее тела, и от него пахло духами...

Илья так был удивлен, что не смог, не успел помешать ей... Но скоро удивление сменилось неудовольствием. Брови сдвинулись.

— Разве я вам чужая?.. И этот шарфик мама вязала! — торопливо проговорила Ирина. В глазах Ильи что-то дрогнуло, взгляд смягчился, и добрая улыбка шевельнула губы.

Они вышли из дому.

Прохожие оборачивались, глядя вслед этой странной паре: тоненькая девушка, в маленькой круглой, надвинутой на лоб, шапочке, в пышном горжете, и бедно одетый молодой человек.

Но вот они свернули в безлюдный переулок. Навстречу им со свистом понеслась поземка.

— Илья Михайлович! — сказала девушка.

— Да?

— Помните, я читала стихотворение Некрасова? Помните? Вы поняли, о чем я просила вас тогда?

Илья не ответил.

— Отчего вы мне не отвечаете? — взволнованным шепотом говорила Ирина, сжимая его руку. — Ведь вы поняли и не ответили... Отчего?

— Что я мог ответить, Ира?

— Что ответить?.. «Ира! Если ты твердо решила, если тебе не жаль ни жизни, ничего, иди к нам... замени Леню!» Вот что надо было ответить.

— Кем вы меня считаете?! — строго спросил Илья.

— Революционером... как Леня...

— И вы хотите?..

— Да.

— Вам семнадцать лет, вы не знаете жизни...

— А Лене сколько было, когда он?..

— Проверили ли вы свою силу... волю?.. Ведь тут всю жизнь посвятить надо, отдать...

— И отдам! Тюрьма, бедность, виселица... Я ко всему готова, Илья Михайлович.

Ирина стояла, прижав руки к груди. В ее глазах Илья увидел силу и решимость. Она стояла, выпрямившись, среди косых струй снега. Лицо горело радостной готовностью. Илья сказал:

— Революционеры бывают разные. К какой партии вы тяготеете?

Девушка смутилась:

— Я не знаю... но ведь вы научите меня?

— Ира, мы еще поговорим об этом,— сказал Илья.— Вы познакомитесь с программами различных партий. Не хочу, чтобы вы вступали в борьбу с завязанными глазами. Вы сами изберете себе дорогу... увидим, по пути ли будет нам.

Ее глаза ответили ему: «Пойду твоим путем».

Они подошли к большому кирпичному дому, поднялись на второй этаж.

Ирина позвонила у двери с табличкой: «Григорий Кузьмич Албычев». Дверь открылась, и из дальней комнаты донесся высокий крикливый голос.

— Дядя Петя здесь! — огорченно шепнула Ирина.— Вот некстати!

Деревенский учитель Кузьма Албычев долго ломал голову, как сделать, чтобы все его три сына получили образование. Платить за право учения за троих — это немыслимо... А жить где? Родни нет, а на частной квартире сдерут столько, что вовек не расплатишься. Инспектор пришел ему на выручку, поговорил с влиятельными родными, и сыновей Албычева — Матвея, Григория и Петра — приняли на казенный кошт в духовное училище. Потом все трое перешли в семинарию. Окончив семинарию, Петр, приняв сан, поступил священником и помог отцу выучить братьев в университете. Так, Матвей стал врачом, а Григорий учителем гимназии. После смерти отца братья встречались редко. У каждого было свое дело, свой круг знакомых. Отец Петр вообще редко появлялся в городе: он служил за сто тридцать верст, в Лысогорском заводе.

На этот раз он приехал в Перевал по вызову архиерея. О гибели Лени он еще не знал. Рассчитывая погостить у брата, забрал с собою свою попадью и младшую дочь.

Старая нянька открыла им дверь, всплеснула руками и заплакала. Все перецеловались с нею, разделись и вошли в столовую.

Невесело, пустынно было в доме. Сразу чувствова-

лось, что хозяйки нет уже давно. Шестилетняя Таля в черном платье вылезла из кресла навстречу гостям.

— Григорий не пришел с уроков? — спросил отец Петр.— Холодно как у вас!

— И холодно, и не прибрано,— жалобно сказала нянька,— ничего я не успеваю... а теперь и совсем руки опустились... горе-то... горе-то у нас какое!

Она заплакала, закрыв лицо передником.

— Нашего Леню смертной казнью казнили,— сказала маленькая Таля.

Попадья охнула. Девочка оцепенела.

— Вот он, родной наш, смотрит на нас своими глазоньками,— запричитала нянька, простирая дрожащие руки к портрету, увеличенному, очевидно, с кабинетного формата. Как сквозь туман глядели задумчивые глаза. Это неясное изображение в холодной высокой комнате дышало грустью.— Слышишь ли ты меня, Ленечка? Закрылись твои ясные глазоньки... не взглянут душевно на стару няньку... Ох, да как же это горе размыкати, горячи слезы расчерпати...

— Ну, полно, няня, полно,— добрым голосом заговорил отец Петр,— давай-ко сдержись, не расстраивай Талю, смотри-ко, у нее глазенки-то слезами наливаются... Григорий когда придет?

— В три часа он приходит,— всхлипывая, ответила нянька.

— Так я успею у владыки побывать!

— А чайку-то, батюшко?

— После.

И отец Петр, надев шелковую рясу, направился к архиерею.

Пришел он около трех часов — возбужденный, «боевой», как говорила со вздохом матушка, когда видела его в таком состоянии. Но расспросить не удалось, так как тут же и Григорий Кузьмич явился из гимназии.

Нельзя сказать, что Григорий Кузьмич похудел,— мундир все так же вздергивался на его полном животе. Но, высокий и полный, он казался больным. Щеки пожелтели. Мелкие морщины высыпали по всему широкому добродушному лицу. Бледной улыбкой он приветствовал гостей, рассеянно погладил племянницу по волосам. Сел расслабленно в кресло, привычным движением прижал к груди Талю и спросил:

— Слышали о нашей беде?

Попадья заплакала.

Неспешно и обстоятельно стал рассказывать Григорий Кузьмич о хлопотах, передачах, встречах с адвокатом...

— Как его, такую светлую голову, крамольники обдурили? — с сердитым сочувствием произнес отец Петр.

— Никто его не «обдурил»,— сдержанно ответил брат.— Нянюшка, скоро обед? Заморила ты тут без меня гостей!

— Расскажи о своих делах, Петр,— попросил Григорий Кузьмич вялым, расслабленным голосом.— Зачем тебя вызывали?

— По кляузе,— задорно ответил отец Петр, и глаза его опять заблестели, как у молодого. Расхаживая по комнате, стал рассказывать.

Настоятелем Входо-Иерусалимской церкви служит священник Мироносицкий, — не по шерстке кличка. Вреднейший! Отношения между Албычевым и Мироносицким все ухудшаются и ухудшаются. Отец Петр режет всем правду-матку в глаза, восстановил против себя именитых прихожан. Мироносицкий жалуется, что «это не пастырь, а бурлак, ломовой извозчик!». Не так давно Мироносицкий пытался «подсидеть» отца Петра. Написал ему записку, что уезжает и просит в праздник покрова отслужить раннюю обедню. Отец Петр отслужил. Заблаговестили к поздней, стал собираться народ («главным образом присудари, которые поздно встают!»), а служить некому!.. Кинулись к Мироносицкому — уехал! Кинулись к отцу Петру — он уже служил, потреблял дары, а канонические правила воспрещают служить вторую литургию.

Так и не состоялась праздничная поздняя обедня. Прихожане пожаловались благочинному.

Теперь — новое дело. Управитель завода хочет выдать свою племянницу за племянника жены. Мироносицкий приказал отцу Петру обвенчать. Тот без разрешения архиерея не соглашается. Управитель съездил к преосвященному, и тот сказал: «Пусть венчает, бог благословит». Отец Петр требует письменного разрешения. Но вместо этого разрешения получил вызов.

— Ну, как же тебя принял владыка?

Невысокий коренастый отец Петр остановился в бое-

вой позе перед братом. В заостренной бороде мелькали седые спиральки. Резкие морщины бороздили румяное лицо. На орлином носу сверкали грозно очки.

— Принял вначале по-хорошему. Поговорили о том, о сем... «Венчайте, бог благословит!» — «Благоволите, ваше преосвященство, дать письменное указание!» Вижу — хмурится. «Моего слова для вас недостаточно?» — «Нет, ваше преосвященство! Ваше слово к делу не пришьешь!» Он разозлился, бороденкой затряс, затопал...

— А ты что?

— А я встал перед ним таким образом,— отец Петр заложил руки за спину, отставил ногу и склонил голову, иронически поглядывая на брата,— встал так и говорю: «Вот, слава богу! Люди говорят, что у вашего преосвященства ножки болят, а они вон как оттопывают!»

Попадья взялась за сердце:

— Батьшко, доведешь ты себя до Кыртамки! Разве можно?

— Он как порскнет из комнаты! — с озорным блеском в глазах продолжал отец Петр.— Вот его нет, вот его нет... А я не ухожу! Разглядываю картины, жду. Келейник выставит свою смазливую рожу из двери, поглядит на меня с испугом, как на чумного, и опять спрячется. Тишина! Наконец выходит преосвященный тихими стопами, благочинно, как полагается, выносит письменное разрешение. Благословил меня, и все. Но злобу в своем ангельском сердце затаил! Загонит куданибудь в глушь «для пользы службы».

— Вот видишь, Петр,— начал Григорий Кузьмич,— я давно говорю тебе. Всю жизнь ты кочуешь с места на место, хочешь плетью обух перешибить.

Попадья горько вздохнула.

— Врешь! Есть правда на земле!— запальчиво крикнул отец Петр.— Никто не заставит меня кривить совестью! Не будет этого. Я — за справедливость!

Все замолчали. Окно кабинета застлало снегом, — начиналась метель.

Григорий Кузьмич в тяжелом раздумье произнес:

— Наверно, и мой мученик думал, что за справедливость идет.

Он взял в руки карточку сына и заговорил медленно, тихо:

— Много передумано за это время. Ну вот, ты борешься... ну, победишь Мироносицкого... пристыдишь архиерея... Тебе будет приятно, а в общем, останется все, как было... вся неправда и грязь и все... Ты, Петя, борешься против отдельных фактов, против частностей... Леня брал шире... благороднее...

— Григорий! Не греши! Опомнись! Горе помрачило у тебя рассудок. За Алексея молиться надо: он не только тело, но душу свою погубил.

Григорий Кузьмич светло и грустно улыбнулся:

— Вот и выходит, что молодежь щедрее нас: тела мы не щадим, а душу приберечь хочется... чистенькой... Зря ли погиб Леня или не зря? — вот что мучит и убивает.

— Опомнись, Григорий!

— Я-то не борец... Я иначе думаю... Но и его понимаю...

Дряблое лицо его сморщилось. Он поднял очки на лоб и уткнулся в носовой платок.

Быстрыми шагами вошла Ирина, крепко обняла Григория Кузьмича.

— Милый, милый дядя...

Оторвавшись, она смахнула слезы и сказала:

— Вот вам и Илья Михайлович. Поговорите с ним, а мы выйдем... Хорошо, дядя Петя?

Тетку и детей Ирина увела в детскую.

— Вот, Илюша, не стало нашего Лени...

Григорий Кузьмич опустил голову, зажал коленями руки, сложенные ладонью в ладонь... этот жест издавна помнил Илья.

— Что вам сказать, Григорий Кузьмич,— тихо начал Илья,— только одно: горе это — наше общее.

— Как это вышло, что я просмотрел? Видел: веселый, добрый... а чем жил он — не знал... Когда это началось? Как? Вот сидишь, перебираешь в памяти и понять не можешь... Последний раз он был на каникулах,— собачонка наша прибежала домой в крови, Леня ей лапу промыл, перевязал. Ведь до чего добр был... чуткий, совестливый... справедливый... Как это все увязать с его... с его тайной жизнью?

— Все это прекрасно увязывается,— сказал тихо и

проникновенно Илья.— Именно такой человек и идет служить народу.

— Не знаю, не знаю... Совсем я запутался в своих мыслях, Илюша, помогите мне! — продолжал Григорий Кузьмич вялым, невыразительным голосом.— Я всегда был рад, что Леня дружит с вами. Вы и мальчуганами были оба... хорошие мальчики, чистые. Илюша! — Григорий Кузьмич всхлипнул.— Как, Илюша, привыкнуть к мысли: виселица!.. Страшно!.. Несчастный мой мальчик... позорная смерть.

И Григорий Кузьмич горько заплакал.

— Больно, тяжко,— сказал Илья, подавшись вперед и почти касаясь опущенной головы старика,— но я бы на вашем месте, Григорий Кузьмич, гордился сыном! Подумайте спокойно... Вы знаете молодое поколение интеллигенции лучше, чем кто-либо... Каково оно в массе своей? У буржуазной молодежи нет идеалов! Незрелость мысли, слабость убеждений, скепсис... Жалкое племя! А у вас орленок вырос! Он шел к высокой цели... Леня жил полной жизнью! Радостно жил!

— Поверить бы!

— Что вы тут рассказываете? — сердито заговорил отец Петр, распахнув дверь и входя в комнату широкими шагами.— Не к «цели» его приближали дни, а к виселице! Лучше бы учился тихо-мирно, женился бы... старость отца покоил бы... Вы, молодежь, бессердечные люди, прямо скажу. Какими-то идеалами забьете себе башку, а что под носом — не видите, долга своего к семье, к родителям не сознаете... а еще ученые! Первый долг человека — семья!

— Нет! — Илья встал и ухватился за гнутую спинку стула.— Вне общественной среды нет жизни!

Их громкие голоса долетели до детской. Ирина прибежала и остановилась, тревожно переводя взгляд с Ильи на отца Петра.

— Алексей мог быть общественным деятелем,— крикливо доказывал отец Петр,— мог служить народу, но и отца не забывать!

— Как по-вашему, он должен был служить трудовому народу?

— Ну, скажем, земским деятелем, врачом... да мало ли... необязательно голову в петлю толкать, от этого народу мало пользы! Вот я борюсь же!

— И каковы результаты?

Отец Петр подумал и сказал, насупившись:

— Будут результаты.

— Нет, не будут! — сказал Илья.

И он заговорил о том, что в каждой общественной среде, в каждой исторической эпохе борются два течения: умирающее — реакционное и растущее — прогрессивное. Реакционное течение обречено на гибель.

— Нет у него жизненных сил... А революционное движение с каждым днем разгорается, растет, полно молодых сил, отваги. Служение Лени народу было плодотворно!

— Религия учит служить народу, как ни одно учение не учит! «Возлюби ближнего», «Душу за други», «Блаженны миротворцы и изгнанные правды ради» — будь таким,— что это, не служение народу?

— Служение себе,— упрямо сказал Илья, исподлобья глядя на отца Петра.— Все это делается ради «спасения» своей души. Вы верите в вечную жизнь и пытаетесь ее комфортабельно обставить...

Отец Петр торжественно произнес:

— Без веры нельзя жить, молодой человек!

— А кто вам сказал, что у меня нет веры? Есть у меня вера.

— В бога?

— Нет, в идею. В достижение цели.

— Эх, молодой человек, молодой человек! Говорить вы бойки — не заплещешь! Алексееву судьбу помните. Оставьте пагубные заблуждения.

— Жизнь покажет, кто из нас заблуждается,— ответил Илья.

Они замолчали. Григорий Кузьмич сказал:

— У меня к вам, Илюша, большая просьба: не достанете ли вы мне... — он замялся и продолжал пониженным голосом: — Не достанете ли где-нибудь таких книжек... чтобы понять, понять Ленины мысли...

— У меня нет таких книг,— опустив глаза, ответил Илья.

— Вот как! — дрожащим от негодования голосом сказал отец Петр. —Будто я не понимаю: при мне боитесь про книги сказать. Не трусьте, я — не Мироносицкий, ни лисьего хвоста, ни долгого языка не отрастил! Ну, у вас нет, так у других горячих голов поспрашивай-

те, можно бы потрудиться достать для Григория... И я бы прочитал, а потом бы мы и поспорили с вами как следует.

Илья не ответил и стал прощаться.

— Я вам достану книги, милый дядя,— шепнула Ирина, целуя Григория Кузьмича.

X

С какой бы стороны ни подъезжать к дому Охлопковых, путь лежит вдоль длинных садовых изгородей. В сумраке, среди белого дыма метели, с трудом различишь голые деревья. Они шатаются под ветром, беспорядочно отмахиваются ветками от снежных призраков. Шум, свист, скрип несутся из сада. А двухэтажный огромный белый дом дышит спокойствием, довольством. Мирно светятся большие окна.

Ирина, расплатившись с извозчиком, прошла во двор, чтобы задним ходом, не встречаясь с хозяевами, пробраться к Гуте. Во дворе у коновязи стояла лошадь Албычевых,— значит, отца вызвали сюда. Ирина заторопилась. Грызла мысль, что она является так поздно... а Гутя такая мнительная, такая обидчивая! Ради Алексея Ирина пыталась сблизиться с нею, но настоящей дружбы не получилось. В поведении Августы было что-то несдержанное, от нее можно было ждать любой выходки.

Взять хотя бы ее отношение к Лене. Познакомившись с ним, Августа так и вцепилась в него «всеми клешнями», как говорил ее брат Вадим. На простодушного Леню обрушивались самые разнообразные приемы кокетства: вкрадчивая нежность сменялась равнодушием, безудержная веселость — унынием. Была ли красива Августа? Мнения об этом расходились, но все соглашались, что она очень оригинальна. Тоненькая, высокая, с трепетными, неспокойными движениями, с пушистой косой, с меняющимся выражением серо-голубых глаз, прикрытых очками в толстой золотой оправе,— такова была Гутя Солодковская. Несколько лет она увивалась вокруг Лени. Он уже был студентом второго курса, когда они обручились.

А вскоре Августа увлеклась Рысьевым. Все лето тысяча девятьсот восьмого года прошло в ссорах, в не-

приятностях. Гутя призналась жениху: «Меня тянет к Валерьяну». Алексей сказал, что в таком случае помолвку надо расторгнуть. Пытливо глядя на него и улыбаясь странной улыбкой, Августа ответила: «Ну что ж...» Но незадолго до его отъезда в Казань Августа явилась к нему поздним вечером и в присутствии Григория Кузьмича упала к ногам жениха. Сцена вышла тяжелая, но полного примирения не произошло. Леня, усадив ее в кресло, принялся убеждать: «Не будем сейчас принимать окончательного решения. Успокойся, проверь себя, потом решим».— «Ты мне изменишь в этом году, у меня предчувствие!» — «Поверь, Гутя, ни о чем таком я не думаю, не до барышень мне». Любил ли ее Леня по-настоящему, никто не знал. Несомненно одно: он ее всегда жалел и многое ей прощал. Никогда не забывал Алексей, что детство Августы и Вадима было омрачено страшным событием.

Десять лет назад мать их убила из ревности мужа и тут же покончила с собой.

Семилетняя Ира узнала об этом случайно, услышав рассказ гостьи. С криком ужаса и жалости бросилась девочка к своей матери: «Мамочка, разве так бывает? Разве так бывает?» Мать едва успокоила ее... но по временам Ира с болезненным чувством начинала расспрашивать «о бедных детях Солодковских». Мать уверяла, что им живется хорошо: «Тетя их любит, как своих детей».— «А дядя?» Мама вздыхала, медлила с ответом, она не умела лгать... «Дядя редко бывает дома, Ирусенька!» Дело в том, что, по слухам, Охлопков не сразу согласился взять детей и обращался с ними строго, холодно.

Но это были только слухи, в те времена Албычевы и Охлопковы не бывали друг у друга.

Когда мама умерла и отец женился на Антонине Ивановне, Ира ближе узнала «бедных детей Солодковских». Выходки Августы отпугнули девочку. Она сблизилась с Вадимом.

Не только дядя — и тетка не любила Вадима. Это был неуверенный в себе, но самолюбивый мальчик. Ира угадывала, что он скрыто, тяжело ненавидит дядю и презирает недалекую тетку. За последний год Ира и Вадим вместе прочли «Былое и думы» Герцена, много говорили о социальных вопросах, о революции. Вадим

горячо мечтал о том времени, когда победит революция и «буржуи станут дворниками».

— Не в этом дело, Вадим,— строго поправляла Ира,— дело в народном благе.

— Разумеется,— соглашался юноша,— но справедливость требует и такой метаморфозы... Представьте его грубейшество, дядюшку, — с метлой, а ее высокомерие, тетушку Антонину,— с половой тряпкой!

Пройдя черным ходом, Ирина попала в кухню, где прислуга Охлопковых и кучер Албычева с увлечением играли в карты. Она поздоровалась. Все поднялись с мест.

— Зачем вы встаете? — с неудовольствием сказала девушка.— Сидите, пожалуйста!.. Кузьма, вы папу привезли?

— Барина и барыню... обех!

Ирина поднялась по внутренней лестнице и пошла по длинному коридору. Дом совсем не был таким уютным, каким казался снаружи. Мрачный коридор, комнаты в темных обоях, тяжелая мебель, тяжелые портьеры.

Мимо полуоткрытой двери кабинета Ира постаралась проскользнуть неслышно. Она успела увидеть только Охлопкова. Он сидел сбоку письменного стола, лицом к двери, подпирая рукою одутловатую щеку и брезгливо выпятив нижнюю губу.

Сдержанный голос мачехи произнес:

— Ошибка не в этом, Георгий... ошибка была допущена десять лет назад.

— Ошибка не моя,— раздраженно ответил Охлопков,— это все ее филантропические затеи.

Коридор сделал поворот, и Ирина увидела тонкую фигуру Вадима. Юноша расхаживал неуверенной, вихляющей походкой; время от времени он длинными, худыми пальцами, как граблями, проводил по волосам, откидывая их назад.

— Ну как? — спросила Ирина.

Ей показалось, что под стеклами очков блеснули слезы.

— Невыносимо,— ответил юноша,— за его «благодеяния» мы, видите ли, его «опозорили»,— он кивнул

в сторону кабинета. — На нем теперь «пятно»!.. Как будто мало на его совести настоящих пятен... как будто близость с благородным человеком, с героем пятнает...

— Гутя как?

— Что Гутя? Гутя невменяема, вот увидите.

Вадим махнул рукой и прошел дальше.

Подойдя к комнате Августы, Ира услышала прерывистое всхлипывание и голос отца:

— Будьте молодцом — выпейте брому...

Доктор Албычев всегда говорил с пациентами бодрым и уверенным голосом.

Ирина открыла дверь.

Ее поразил вид Августы, сидящей в глубоком кресле: всклокоченные волосы, странное, без очков, застывшее в злобной гримасе лицо, изодранное платье. Августа не плакала,— это Люсины всхлипы слышала Ирина. Люся стояла перед нею на коленях, тетка склонилась над креслом, упрашивая:

— Гутя, выпей лекарство!

— Ах, давайте выпью хоть что, хоть лекарство, хоть яд,— вдруг заговорила Августа истерически вздрагивающим голосом,— только уйдите все, не мучьте, оставьте меня.

В это время блуждающий взгляд Августы упал на Ирину, и она порывисто протянула к ней руки. Хлынули обильные слезы. Прижавшись к Ире, Августа жалобно стала просить:

— Ты останешься со мной? Останешься? Пусть все уйдут... Ты любила его, ты поймешь...

Все тихо вышли из комнаты. Ира помогла Августе раздеться, расчесала волосы, заплела косу, раскрыла постель.

— Нет, нет, переложи подушку на ту сторону,— слабым голосом просила Августа,— а то мне не видно будет...

— Что, Гутя?

Августа указала в передний угол, где висела не то картина, не то икона — «Моление о чаше».

— Правда, похож?

Действительно, лицо Иисуса, стоящего в молитвенной позе, чистыми чертами напоминало Ленино лицо.

— Не то выражение,— сказала Ирина,— по-моему, нельзя сравнивать.

— Можно! — свистящим шепотом ответила Августа, и снова судорога пробежала по ней.— Ничего ты не знаешь! Чаша могла пройти мимо.

— Гутя, перестань,— строго сказала Ирина.— Ты вне себя. Ложись в постель, или я уйду.

Августа со стоном легла.

— Я измучилась, Ира, милая, я не могу больше, ты пойми! Вот он мёр... его уже нет, а любовь и ненависть жгут, жгут, жгут...

— Не клевещи на себя,— сказала Ирина,— какая ненависть!

— Люблю и ненавижу! — повторила Августа, садясь в постели. — Он предпочел мне что? «Народное благо»! Дела человечества ли, народа ли — провались они! провались! провались! — стояли между нами. Он должен был выбрать меня и жизнь!

— Не в его власти было выбрать жизнь,— мягко сказала Ирина.

— Ничего ты не понимаешь!

Августа зажмурилась и откинулась на подушку.

Прошло с полчаса. Ирина, думая, что она заснула, хотела уже тихо выйти из комнаты, как вдруг Августа раскрыла глаза и вперила их в картину «Моление о чаше». Медленно поднялась с постели и, хватаясь за мебель, побрела в передний угол, упала на колени.

— Холодный мой! — нежным стонущим голосом проговорила она и протянула руки к картине. Вся трясясь, рыдая, царапая пальцами воздух, Августа молила:— Ну, улыбнись! Дай знак, что простил! Дай знак! Дай знак! Дай знак!

И вдруг дикий рев раскатился по всему дому, поднял всех на ноги.

— Он смее-е-тся! — закричала Августа и покатилась на пол в буйном припадке.

Утром ее увезли в психиатрическую лечебницу, за город.

XI

Весна, лето и осень тысяча девятьсот восьмого года прошли в напряженных, нервных хлопотах, пока дело,

которому отдался целиком Охлопков, не пришло наконец к желанному завершению.

Дело это заключалось в следующем.

Месяц за месяцем все последние годы Охлопков наблюдал, как хиреют и чахнут заводы горного округа, которым он управлял. Даже самый крупный — Верхний — и тот большую часть года стоял на консервации... Что же говорить об остальных восьми маленьких предприятиях, от которых так и веяло глубокой стариной?

Правда, нельзя было пожаловаться на продукцию этих заводов. Продукция была первосортная, так как мастера из рода в род передавали свои производственные секреты... Беда была в том, что продукции этой выдавали мало и стоила она дорого. Заводы стояли в глуши, чугун и железо вывозили гужом или на речных барках — это удорожало стоимость металла.

Охлопков отлично понимал, что теперь, когда Уралу приходится конкурировать с молодыми, сильными, быстро растущими заводами Юга, старые заводики не могут дать прибыли.

Смелая мысль пришла ему в голову.

Весной Охлопков выехал в Петербург и предложил свой проект правлению акционерного общества, членом которого был и он сам.

Охлопков хотел, чтобы акционерное общество скупило у маломощных владельцев убыточные заводы. Когда сделка состоится, можно будет все силы и средства бросить на Верхний завод. Он издавна славится своим железом и стоит возле крупной узловой станции. Если по-настоящему заняться Верхним заводом, он будет давать колоссальную прибыль. Сюда можно будет передать лучшую часть оборудования с малых заводов и перевести лучших мастеров.

Правление уполномочило одного из своих членов съездить на Урал, осмотреть все на месте. С ним выехали и консультанты — несколько видных специалистов.

Верхний завод произвел на эту комиссию самое выгодное впечатление. Неудивительно: это было одно из самых крупных старинных железоделательных предприятий Урала.

Проходя с комиссией по заводу, Охлопков убеждал:

— Домну — долой! Вот вы видели сами это допотопное водяное колесо... С таким дутьем ход ее не ускоришь.

— А если паровую воздуходувку?

— Поверьте, ни к чему нам домна!.. Невыгодная статья... Механическую фабрику сократим... пусть работает только для нужд завода...

И Охлопков принимался — в который уж раз! — доказывать, что все внимание надо отдать прокату, расширить его производство. «Ведь именно прокатом славен этот завод! Увеличим выпуск продукции и будем вне конкуренции!»

Вскоре правление акционерного общества начало переговоры с владельцами. Охлопков все время был в курсе этих переговоров, подсказывал нужные шаги. Заводы удалось купить, в сущности, за бесценок.

Летом часть малых предприятий закрылась — оборудование перевезли в Перевал. К тем предприятиям, которые уцелели при этой пертурбации, провели железнодорожные ветки. Началась кутерьма и на Верхнем заводе.

Управителем поставили инженера Зборовского. Начались увольнения служилой братии. Взяли нового казначея, счетоводов, канцеляристов, некоторых начальников цехов.

Встала домна. Сократилось производство механической фабрики. Рядом со старым листопрокатным цехом начали строить новый.

В поселке появились новые люди — мастера с закрытых заводов. Они строили себе дома или перевозили свои с прежнего места.

Однажды, в конце осени, Охлопков и Зборовский зашли в длинный мрачный корпус листопрокатного цеха. Они рассуждали о том, как при минимальных затратах переоборудовать цех. Решено было заменить паровыми машинами турбины прокатных станов и гидравлические молоты.

Вдруг Охлопков замолчал, поморщился и указал глазами на рабочего, который, достав клещами из печи разогретую сутунку, покатил ее на двухколесной вилке к стану.

— Придется ставить кран... Это в конечном счете оправдается.

Он замолчал, глядя на привычную картину напряженного труда.

В цехе было более жарко, чем в самой горячей бане. Опаляющим дыханием дышали нагревательные печи, нестерпимый жар испускали раскаленные листы, выходящие из-под валков стана. Даже в отдалении было трудно дышать и хотелось закрыть глаза или отвернуться от слепящего огня... А рабочие быстрыми движениями, которые казались постороннему наблюдателю легкими, перебрасывали раскаленные листы, направляя их между валками. Листы эти, прозрачно-красные, дышащие, проходя между валками, делались все тоньше и тоньше, все темнее и темнее. Угольная горячая пыль реяла в воздухе.

В дальнем конце на ножницах шла обрезка остывших листов. Рабочие сортировали, упаковывали их в кипы и, погрузив на вагонетки, везли в листобойное отделение. Ударил колокол. Пришла вторая смена. На ходу стала принимать работу.

Роман Ярков передал свои клещи сменщику, сказал: «Отробились!» — зубы его сверкнули. Мокрое, запачканное угольной пылью лицо широко улыбнулось.

Он непринужденно подошел к начальству, поздоровался и спросил, правда ли, что их цех будут перестраивать. Подошли и другие рабочие, стали прислушиваться. Появился смотритель цеха.

Охлопков снисходительно посмотрел на Романа. Он уже раньше обратил внимание на этого богатыря, который, казалось, не работал, а весело играл раскаленными листами, не чувствуя ни их тяжести, ни жара, ни угарного воздуха...

— Перестраивать не будем, но некоторые новшества введем,— сказал Охлопков,— новые владельцы решили увеличить прокат. Скажу вам, братцы, то, что относится к вам. Работать вы будете на четыре смены, это значит, каждый из вас будет находиться в цехе не двенадцать, а только шесть часов.

— А плата? — испуганно спросил кто-то.

— Плата останется прежней.

Радостные восклицания прервали его: «Да но-о?», «Вот спасибо! Облегчение нашему брату!»

— Но имейте в виду,— Охлопков повысил голос и холодно отчеканил: — будете прокатывать в смену не менее шестисот листов.

Кто-то присвистнул. Наступило молчание. Охлопков видел вокруг себя угрюмые лица и понимал, что он должен сломить внутреннее сопротивление этих людей.

Он сказал:

— Кто не захочет — скатертью дорога. Желающие найдутся на ваше место.— Помолчав, он добавил:— А будете давать свыше шестисот — наградные будут.

— А если меньше?

— За «меньше» и получка будет меньше... Ну, что ты так воззрился? — спросил он Романа.— Сказать что-то хочешь? Ну, говори.

— Я понял так,— начал Роман, сердитыми, сверкающими глазами глядя на Охлопкова,— давать шестьсот листов за шесть часов — это человек должен стать вроде машины. Ну ладно, стал он вроде машины... долго ли выдюжит? Выробится мигом... Поспевать не заможет, тогда его и выпихнут взашей? Так?

Он прочел жестокий ответ в молочно-голубых глазах начальника. Он понимал, что говорить сейчас нельзя, опасно, бесполезно... но гнев ударил ему в голову.

Неожиданно для себя Роман сказал:

— Какое же это — новшество? Не новшество это, а людоедство!

— Не рассуждать! — прикрикнул смотритель цеха.— Ты! Языкастый!

Охлопков же медленно произнес:

— Тебе не нравится? Что же... упрашивать никто не будет. Я думаю, цех без тебя обойдется.

Круто поворотившись, он направился к выходу, кинув на ходу смотрителю:

— Чтобы духу его здесь не было! — он кивком указал на Романа.

Оглушенный, растерянный, стоял Роман перед смотрителем цеха и, стараясь скрыть свою растерянность, посмеивался в усы.

— Так вот, Ярков, к расчету!— сказал смотритель.

— Ну, уж сразу и к расчету,— Роман надеялся еще обратить дело в шутку.— Поставьте меня, нето, в печные на время, пока не отмолю грех... Я ведь вам при-

гожусь еще... Вот переваливать валки, где вы еще такого бугая найдете?

— Прошвыряетесь... Ой, прошвыряетесь, Иван Макарович! — сказал пожилой прокатчик, с угрозой глядя на смотрителя из-под кустистых бровей.

Рабочие, окружив смотрителя, заговорили наперебой, то просительно, то угрожающе.

— Он правду сказал! За что его увольнять! Мы не позволим!

Но все понимали, что отстоять Яркова не удастся — вон сколько наехало прокатчиков с закрытых заводов! Понимал это и смотритель. Он скучающим, пустым взглядом смотрел на рабочих.

«Да что это мы просим, кланяемся этому холую?» — подумал Роман, и глаза его блеснули гордым пренебрежением.

— Хватит, ребята! — сказал он отрывисто.— Нет — не надо. Наплевать.

Он круто повернулся и пошел, посвистывая, прочь из цеха.

А на сердце у него скребло... «Что я натворил? Стерпеть надо было, смолчать... а потом и ахнуть в прокламации! Вот, мол, под видом облегчения какой хомут надевают! Нельзя мне уйти с завода, никак нельзя: только развернули работу, ячейки ожили... Эх, и всыплет мне Лукиян! Попрошусь-ка в механическую!»

Там свободных мест не оказалось. «Своих рабочих увольнять приходится»,— сказали ему.

Ярков отправился в мартеновский цех. Смотритель спросил, за что он уволен.

— Да вот не уноровил, сказал не так...

— Рассказывай, как было дело, все равно узнаю,— потребовал смотритель. А выслушав Романа, сказал:— Иди с богом. Мне такие умники не надобны.

Отказались принять Романа и на лесопилку, и в кирпичный цех, и в железнодорожный, и в копровый. Больше идти было некуда.

«Тьфу ты пропасть! — думал он, медленно шагая к проходной.— Похоже, что не устроиться».

В раздумье Роман невольно остановился у ворот листопрокатки. В эту минуту они приоткрылись. На Романа пахнуло угарным жаром. Он увидел в красном отсвете печей ловкие черные фигуры с клещами в ру-

ках. Услышал характерный звук шлепающихся на пол железных листов... Горько ему стало...

Роман так ушел в свои мысли, что не слышал ни всхрапывания лошади, ни скрипа полозьев приближающейся подводы. Сердитый окрик привел его в себя.

Отскочив, Роман споткнулся о чушку, лежащую возле дороги. Глядя вслед угольному коробу, рядом с которым шагал низенький мужик в широкой яге и малахае, решил: «Наймусь к подрядчику! Хоть так, хоть этак — все на заводе буду!»

Роман повеселел. «Наймусь руду возить, можно будет связаться с рудничными, и литературу будет легче распространять... Или наняться уголь возить? В куренях множество недовольства... как порох вспыхнут в случае... Но не стану я торопиться, с Давыдом посоветуюсь, с Лукияном... Эх, и всыплет мне Лукиян!.. А о людоедских порядках в листокатальном пусть напишут в газете».

Чекарев попросил Романа подождать, не наниматься на работу, а прежде съездить в Ключевское. Учитель даст материалы, которые надо привезти до отъезда делегата на партийный съезд.

Роман пришел домой поздней ночью.

— Собирайся! Завтра поедем гостить в Ключи! — сказал он Анфисе веселым, громким голосом, будто и не заметив ее заплаканных глаз.

— А на работу? Или тебя отпустили?

— Отпустили! На все четыре стороны,— со смехом ответил Роман,— я теперь — вольная птица.

Анфиса так и ахнула:

— Романушко?!

— Не куксись, милка, все хорошо будет, не пропадем! Да не бойся ты... посмотри-ка на свою свекровушку — бровью не повела! Молодец, мать!

— А неужто охать да причитать, в мутны очи песку сыпать? Легче от этого не будет.

Анфиса намек поняла.

— Да я ведь ничего. Тебе хорошо, и мне хорошо. «Тятя нас не бросит, пособит!» — подумала она.

Роман сказал:

— Только уговор! Солому ешь, а форсу не теряй... Перед своими там не вздумай прибедняться, милка, а то, ей-богу, осержусь!

XII

У платформы полустанка стояли три подводы. Кони, запряженные гусем, были как на подбор — сытые, лоснящиеся, в кожаной с насечкой сбруе. Они горячились, рыли копытами ямы в снегу. В ковровых глубоких санях поверх сена положены были перовые подушки в розовых и синих наволочках.

Роман Ярков поинтересовался, спросил чернобородого ямщика, какого это жениха встречают, откуда. Но тот хмуро ответил:

— Никакого не жениха... Это власти едут на следствие.

— Или случилось что?

— Убийство.. А ты иди, иди, не разговаривай... видишь, господа!

Ямщик сдернул шапку, изобразил на своем разбойничьем лице радостную преданность и схватил меховое «шубное» одеяло, чтобы укутать господам ноги.

Следователь, врач, письмоводитель, становой пристав, полицейские чины, жандармский офицер — все прошли мимо Ярковых.

Рысцой побежал степенный старшина к передней подводе, вскочил на кучерскую скамейку, примостился рядом с чернобородым кучером.

— С богом, братцы! Трогай! К большой сосне заворачивай! Поняли?

Крепко держась за доску передка, он с беспокойством оглянулся: не вывалился бы на раскате из саней какой-нибудь начальник!

Кони понеслись... и звон колокольцев скоро замер в отдалении.

— Ну что же, Фиса, лошадок у нас с тобой нету,— сказал Роман,— видно, на своих парах покатим? — И они быстро пошли по неширокой, но хорошо укатанной дороге к лесу.

Солнца в этот день не было. Казалось, небо прикрыло землю теплым серым колпаком — неоткуда дунуть ветру. Пихты и сосны сонно опустили ветви, на которых лежал рыхлый, как вата, снег. Кучи хвороста напоминали белые подушки. И только заячьи следы говорили о том, что жизнь в лесу не совсем замерла.

Идти было так легко и приятно, что Роман время

от времени, разбежавшись, катился, как мальчишка, по широкой зеркальной колее.

На еланях дорога была хуже — ее перемела вчерашняя метель, но путники наши не сбавляли ходу. Скоро им стало жарко. Роман даже расстегнул воротник полушубка и пошутил:

— Вот тех господ заставить бы пробежаться! Живо бы упарились!

Фиса не улыбнулась в ответ на его шутку, и он заботливо спросил:

— Ты что, милка, затуманилась?

— Что-то у меня сердце вещает, Романушко.

— А что оно у тебя вещает?

— Нет, ты не смейся...Большая-то сосна невдали от нашего покоса... А вдруг да это тятю моего убили? Пойдем скорее.

— И так несемся, как два добрых рысака... Нет, Фиса, напрасно ты беспокоишь себя: кто будет папашу убивать? За что?

— А за платину-то! — тихо ответила Анфиса и еще прибавила ходу.

Они вышли к широкому логу, занесенному снегом. На противоположной стороне стоял ровный, будто подстриженный лес, и только одна-единственная сосна высоко вознесла свою крону из глубины этого леса. Ее прямой ствол и раскидистые ветви резко выделялись на сером фоне неба. Фиса со страхом указала на это могучее дерево мужу:

— Вот она... даже глядеть боязно...

— А ты не гляди.

Ярковы пересекли лог, и снова попали на лесную, с зеркальными колеями дорогу. Но Романа уже не тянуло кататься, он устал.

— Давай-ка отдохнем! Эх, жалко, солнышка не видать, не узнаешь, сколько времени... Но брюхо мое говорит, что обедать пора.

Он сошел с дороги и стал утаптывать своими большими серыми валенками снег у поваленного ствола. Шапкой расчистил место для сиденья, обломал торчащие прутья, чтобы не зацепили Фисину шубу.

Они уселись рядком. Фиса вынула из узелка пшеничный калач, разломила, и в воздухе вкусно запахло хлебом.

— Ну и хлебушко! — нахваливал Роман, берясь за второй кусок. Мастерица ты у меня стряпать!.. А сама что не ешь?

— Неспокойно мне,— ответила Анфиса,— боюсь я чего-то. Вставай, Романушко, пойдем!

Они едва сделали несколько шагов, как Фиса взяла мужа за руку:

— Послушай-ко!

Слабый звук колокольцев донесся из леса.

По узкой просеке, переваливаясь с боку на бок, тянулись знакомые Ярковым подводы с начальством. Вот они выбрались одна за другой на твердую дорогу. Чернобородый ямщик гикнул. Залились колокольцы... и скоро все сани скрылись за поворотом.

Из просеки вышла еще одна лошадь, пугливо всхрапывая. Ее вел под уздцы рослый мужик. Она тащила за собой широкие розвальни, в которых под мелко плетеной мочальной рогожей лежали два тела. Ноги их, обутые в кожаные сапоги, выставлялись из-под рогожи. За розвальнями шло еще трое мужиков.

Фиса поздоровалась с ними и, пугливо косясь на розвальни, спросила:

— Ой, дяденьки, милые, кого это убили?

— Стражника да урядника, обеих разом,— ответили ей.

— Кто хоть их убил-то?

— Кто убил, тот руки-ноги не оставил! — И мужики обменялись взглядом, как будто знали, но не желали говорить.— Вот ужо начальство дознается, кто.

— Куда же вы везете покойничков-то? — спросил Роман.

— В катаверну! Доктор их завтра потрошить будет...

Лес кончился, и за широкими лугами на холме показалось Ключевское. Подводы с начальством уже въезжали в село. А у леса возле дороги, в целом снегу, билась лошадь, силясь вытянуть на дорогу большой воз сена. Низкорослый мужик помогал ей, налегал плечом, кричал тонким, сиплым голосом: «Но! Но! Милая!» Лошадь, такая же низенькая и «некормная», с длинной лохматой шерстью, остановилась, дрожа, набираясь сил для нового рывка.

К подводе со всех сторон бежал народ,— очевидно,

ямщики сказали, что убитых везут следом. Из школы высыпали ребятишки с холщовыми сумками, из которых выглядывали деревянные рамки грифельных досок, старые-престарые задачники и книжки «Родная речь». Учитель, стоя на крыльце, кричал строгим голосом:

— По домам, ребята! По домам! Слышите?

Но только несколько девчоночек послушались его, свернули в боковые улицы. Мальчишки же так и облепили подводу, чуть не взбираясь на розвальни. Молоденькая помощница учителя пыталась их отогнать и отправить домой, но ребята ловко ускользали от нее, перебегая и прячась в толпе.

Увидев, что учитель один остался на крыльце, Роман сказал Анфисе:

— Беги домой! А мне охота посмотреть, что дальше будет.

Он сделал вид, что идет вслед за толпой, но, едва Фиса скрылась из виду, подошел к учителю.

Они вошли в школу. Здание было совсем пусто: даже сторожиха и та убежала «смотреть покойников».

Момент для встречи был выбран удачно.

Роман передал литературу — несколько нелегальных брошюр, листовок, газет. Учитель вручил ему отчет о работе своей маленькой ячейки и сведения о Чернoярской сельской организации. Членов ячейки решили не собирать: в селе жандармы, полиция, народ весь на улице — трудно в такое время провести конспиративное собрание.

На прощание учитель сказал:

— Заверьте комитет, что дело с обменом покосов мы используем. Разъясняем на этом примере, что интересы народа и интересы буржуазии непримиримы... О столыпинской аграрной политике рассказываем... Да, кто это была с вами? Жена? Она тоже в организации?

— Нет, она ничего не знает, я сказал, что интересуюсь посмотреть на убитых...

— Так зайдите на кладбище, послушайте народ... Сумеете ответить на ее расспросы.

— Это верно.

Роман пошел на кладбище.

Решетчатые ворота были настежь открыты. Он прошел мимо деревянной, похожей на суслон церковки с

покосившейся колоколенкой. Волнистым слоем лежал на кладбище снег, из которого высунулись только невысокие черные, синие, белые кресты. По направлению к мертвецкой пролегла широкая, будто вспаханная, полоса: сразу было видно, что по целому снегу прошли десятки ног.

В мертвецкую никого не впускали, кроме родных. Слышно было, как на разные голоса воет там урядничиха, слышался детский испуганный плач.

Разговоры шли только об убийстве, но убитых никто не жалел.

Роман узнал, что во введеньев день стражник и урядник были сильно пьяны, ходили по богатым домам «собирали рюмки». Домой ночевать не пришли, но жены их не беспокоились, много раз бывало — запируют, уедут с собутыльниками в Черноярскую или в Лысогорский завод, прогуляют два-три дня и воротятся как миленькие.

Убийц не называли, не говорили о них прямо, но намекали на Кондратовых

— Не пойман — не вор,— сказал синегубый дед со впалыми щеками и острым не по годам взглядом.— Только одно сумнительно, православные: никто из них сюда не идет... вот это сумнительно!

Но в ту самую минуту, когда он договаривал последние слова, толпа так и ахнула: в кладбищенских воротах показался Тимофей Кондратов.

Он будто и не замечал, что все глаза впились в него, горят жадным, нетерпеливым ожиданием.

— Здорово! — Тимофей тронул шапку, но не снял ее.— Что, туда не пускают?

— Не пускают,— ответил синегубый дед,— а в окошечко можно поглядеть, не желаешь ли, Тимофей Гаврилыч?

Тимофей подошел к окошку.

Слегка нахмурившись, он разглядел убитых, а старик не сводил глаз с него... «Ну, крепок палачонок!» — думал дед, видя, что Тимофей не дрогнул, не переменился в лице.

Тимофей сказал:

— Здорово их испласталн! — И не торопясь отошел от окна.

Он вытащил из кожаного портмоне серебряный

рубль, положил в деревянную чашку, укрепленную на столбике.

— Жертвую на похороны!

И, равнодушно глядя поверх голов, пошел своей развалистой походкой к воротам кладбища.

Вечером Роман лежал с тестем на полатях в тепле. Он спал и не спал. Слышал покряхтывание Ефрема Никитича, ровный стук сечки в деревянном корыте, скрип деревянного стола, на котором в это время наминали тесто для пельменей... и в то же время в ушах у него звенели колокольцы и ему казалось, что он катится по зеркальной колее.

Но вот заговорила теща, и при первых ее словах Роман окончательно проснулся.

— Все ты молчишь, все молчишь, мила дочь... ровно подменили тебя, говорунью... Или что у вас случилось? Или плохо между собой живете?

— Хорошо живем,— ответила Анфиса и вдруг всхлипнула.

— Чего, нето, ты, Фисунька, ревешь, нас с матерью на грех наводишь? — ласково загудел Ефрем Никитич.

— Не реву я,— отрывисто ответила дочь.— А хоть бы и ревела о чем — мое дело!

— Вон как она поговаривает! — удивился отец.— Может, ты, Роман, скажешь, что у вас не поладилось?

— Она, папаша, горюет о том, что меня вытурили.

— Откуда вытурили? Кто?

Роман сказал.

— Что же теперь делать думаешь, милый сын?

— К подрядчику наймусь, а там видно будет!

— «Видно, видно»! — сердито передразнил тесть.— Все вы молодые — вертоголовые, нет у вас настоящего понятия. А вот сделай по-моему, милый сын, не покаешься, благодарить после будешь, что на ум наставил... Давай-ка жить вместе! Да мы вдвоем-то с тобой знаешь, что сделали бы? Ты, скажем, кайлить, а я на воротке — колесом шла бы работа! Потом, может, прииск бы образовался с нашего-то начинания... О жилье тоже не заботься. Чем плоха наша избушка-хороминка?

Стенная пятилинейная лампа слабо освещала невысокую, но просторную избу: стол, скамьи, посудный шкаф с выцветшей лубочной картинкой за стеклом, деревянную широкую кровать под полатями, горку сун-

дуков у задней стены, большую, чисто выбеленную русскую печь.

Роман, будто не замечая умоляющих Фисиных глаз, сказал твердо:

— Не мани, тестюшко, не выйдет это дело.— Давай, папаша, о чем-нибудь другом говорить, а то размолвимся с тобой, потом жалеть оба будем.

Ефрем Никитич некоторое время смотрел исподлобья на зятя, сердито почесывая грудь. Потом закричал на жену и дочь:

— Чего это они копаются, копаются, а все еще не отстряпаются!

— Не шуми,— тихо сказала жена,— все готово. Сейчас варить будем.

Перед пельменями тесть с зятем выпили по рюмочке, перед вторым варевом — по другой. Ефрем Никитич мало-помалу отошел, повеселел, запел песню:

Вечор поздно из лесочка
Я коров домой гнала.

— Как дале-то, старуха? Я забыл.

— Да будет тебе, право, отец,— сказала старушка, высыпая из миски в блюдо свежее варево,— чего это ты сегодня выкраиваешь? Будет, право.

— А что я выкраиваю?

— Песни орешь, что на той стороне слыхать. Люди разве не осудят? Скажут: «Такая страсть содеялась, двух начальников убили, а у Самоуковых песни играют».

— А чего мне их жалеть? Урядник скотина был, не тем будь помянут, и стражник не чище... Убили их палачата, а нам наплевать!

— Ш-ш-ш! — замахала рукой жена. Она уж не рада была, что напомнила об убийстве.

— Почему все думают о Кондратовых? — спросил Роман.

— Почему? Из-за стряпки!.. Расскажи, старуха.

И Ефрем Никитич, подперев рукою свою буйную головушку, приготовился слушать. Что-то детское было в выражении его цыганского лица.

— У них Маня в стряпках живет, наша соседка,— начала истово старушка, как рассказывают бывальщинку.— Она у Фисы на свадьбе гуляла, такая белень-

кая... Ну, ладно, живет эта Маня в стряпках. А мать дома живет. А ночью-то во введенье, перед утром, прибегает эта самая Маня домой в чем спала в одной станушке. Забилась на печку, дрожит, зубами стучит: «Ой, мама, родная! Придут за мной от хозяев, не сказывай меня... скажи, что не бывала, а то кончат они и мою голову!» — «Вот беда! Да что случилось, дочка. В уме ли ты?» — «Знать-то кого-то они убили! Я проснулась, вышла на двор, а в конюшне фонарь... кто-то стонет ли, мычит ли... Тимка говорит: «Давни ему горло-то!..» Только успели переговорить дочь с матерью — стук-стук под окошком! «Тетка Устинья! Дома Манька?» А это сам Тимка прибежал, хватились ее... Устинья говорит: «Нет, Марьи нету, она у хозяев... А это кто?» Он не сказался, убежал. Утром Устинья ко мне прибежала, рассказала все это, погоревали мы с ней... А вечером опять ко мне катится. Начала охлестываться, что, мол, Манюшка соврала, ничего этого не было, а прибежала потому, что Тимка к ней колесики стал подкатывать... Сейчас они, дескать, помирились, он ее замуж берет. Я говорю: «А кто в конюшне-то стонал?..»

— Постой, мама! — прервала Анфиса, тревожно прислушиваясь.— Кто-то к нам идет!

И все услышали, как стукнули ворота и недружные шаги проскрипели по снегу.

Кто-то поднялся на крыльцо, в сени и стал шарить рукой по двери.

В избу вошли сотский с бляхой на груди и незнакомый стражник.

Сотский поздоровался, стражник промолчал.

— Милости просим! — сказала тихо старушка, и блюдо с пельменями ходуном заходило в ее руках.

— Садитесь! — пригласил гостей Ефрем Никитич.— Выпьем... а тут пельмешки сварятся.

— Сидеть-то некогда,— каким-то виноватым голосом ответил сотский.— Мы за тобой, Ефрем Никитич, начальство тебя в волость требует.

Ефрем Никитич разом протрезвился. Острым взглядом окинул он смущенного сотского и невыразительное лицо стражника, подумал, почесал заросшую щеку, спросил:

— Это зачем?

— Нам не сказано зачем, а только сказано привести.

— Завтра приду.

— Не пойдешь — велели силой привести,— совсем робко сказал сотский и втянул голову в плечи, точно ждал удара.

— Силой? — Ефрем Никитич с недоброй усмешкой выразительно поглядел на зятя.— Силой-то, пожалуй, не удастся!

— Отец,— с мольбой шепнула ему старушка,— сходи уж, узнай, чего им так приспичило.

Ефрем Никитич подумал...

— То обидно,— сказал он,— за каким-нибудь пустым делом позовут, а ты беги ночью сломя голову... Ну, ладно! Давай, старуха, пимы!

Фиса достала с печки валенки, портянки, рукавицы. Ефрем Никитич застегнул рубаху, обулся, оделся, подпоясался и, увидев, что зять тоже приготовился идти с ним, спросил:

— А ты куда? Ложись-ко лучше спать!

— Пойду с тобой, папаша,— ответил Роман.

Село уже засыпало. Улицы были темны и безлюдны.

Только в церковном доме, у писаря, у Кондратовых горел огонь и топились печи,— там хозяйки готовили ужин для приезжего начальства.

Необычно ярко светились все десять окон волостного правления.

В первой комнате, за низенькой, по пояс человеку, перегородкой находилось все волостное начальство — старшина, писарь и два его помощника. Лампа-молния беспощадно освещала всю казенную грязноту помещения: закапанный чернилами стол, грязные балясины перегородки, рваные обои, покосившийся черный шкаф, пятна копоти над душником и над дверцей печки, немытый пол.

Увидев Ефрема Никитича, старшина слез с подоконника и осторожно приоткрыл дверь в комнату, где обычно сидел сам.

— Самоуков здесь, ваше благородие.

— Пусть войдет,— ответил начальственный голос.

Ефрем Никитич и стражник вошли, и дверь за ними закрылась.

Все жадно насторожили уши, а глуховатый старик писарь, тот откровенно стал подслушивать у двери.

После неизбежных вопросов об имени, отчестве, фамилии, возрасте, семейном положении Ефрема Никитича спросили, в каких отношениях он был с убитым урядником.

— Ни в каких,— ответил старик,— он сам по себе, я сам по себе.

— Ссорился ты с ним?

— Чего нам делить-то? — грубо ответил Ефрем Никитич.

— Наглец! Невежа! — раздался начальственный окрик, от которого невольно поежились и старшина, и писарь.— Встань как следует! Отвечай... Говори правду: ссорился?

— Сказал одинова сгоряча: «Давну, мол, тебя, пышкнешь, как порховка!»

— Как? Как? Что за «порховка»?

— Ну, поганый гриб... круглый... он высохнет, на него ступишь, он пышкнет и выпустит из себя как бы пыль или порох... Порховка!

— Так... Пон-нятно. А за что ты грозился его убить?

— Да не убить, ваше благородие! — испуганно сказал Ефрем Никитич.— Он ведь ко мне с кулаками подступает, а сам ростику маленького, кругляш... я и сказал: пышкнешь, мол...

— Из-за чего произошла ссора? Ну, что ты замолчал? Говори!

— Снасть он у меня изломал,— неохотно ответил Ефрем Никитич.

— Ка-акую снасть? Ты, наверно, шерамыжил, как говорят у вас? Золотишком баловался?

— Так точно... но на своем покосе.

— Что значит «на своем»? Ты ведь его не родил и не купил? Откуда он «твой»?.. Разрешение было? Заявка?

— Не было... Я пробный сполоск делал... а его и выбросило.

— Понимаешь ли ты, Самоуков, какое преступление ты совершил? Не понимаешь? Ты угрожал смертью должностному лицу при исполнении им служебных обязанностей.

— Да не угрожал я,— рассердился Ефрем Никитич.— Я только и сказал, что пышкнешь, как порховка... Поглядите, ваше благородие, на меня: я мужик большой, сильный.. а он — кто против меня? А тоже рысь нагоняет. И верно что: давни — пышкнет, как...

— ...как порховка. Это я уже слышал. Теперь припомни, Самоуков, другую ссору, о которой ты мне ничего не сказал.

— Не было другой ссоры.

— А первого сентября? Ты сказал: «Только попадись мне, такой-сякой, я тебя палкой окрещу по затылку!»

— В жизнь не говаривал таких слов. Это кто-нибудь по насердке меня облыгает.

— Не лгать!

— Ей-богу, ваше благородие. Первого? В семенов день? Я даже его и не видел. Ой, нет, верно, видел на кругу. Он в гости мне навеливался, приставал: «Угости да угости!» Я смехом ему возьми да и скажи: «Угощу, чем ворота закрывают».

— Хитер ты, изворотлив, Самоуков, но лучше тебе бросить хитрости... Помни: добровольное сознание смягчает вину.

— Ни в чем я не виноват, ваше благородие.

Наступило молчание. Заблестевшими глазами взглянул писарь на старшину, как бы приглашая прислушаться: «Вот сейчас он его сразит!» А старшина, угрюмо опустив голову, махнул рукой: «Погиб!» Сотский чихнул и испуганно зажал нос рукой. Все неодобрительно поглядели на него.

Звонко, отчетливо следователь сказал:

— Сознавайся! Ты убил урядника и стражника! Запираться бесполезно.

— Да не убивал я,— с отчаянием в голосе отозвался старик,— грех вам, ваше благородие...

— Не строй из себя невинную жертву. Учти: дважды ты угрожал уряднику. Молчать! Не прерывай меня!.. Дважды ты угрожал, как явствует из твоих же слов... И вообще твое поведение... Кто подбивал мужиков не отдавать покосы? А?

— Не я один.

— А еще кто?

После паузы Ефрем Никитич твердо сказал:

— Никого я не назову. Мало вам одного, вы и других невиноватых очерните, вон как все переворачиваете...

— Так,— со зловещим спокойствием сказал следователь,— очень хорошо! Увести его.

— Куда, ваше благородие? — спросил деревянный голос стражника.

— В каталажку. Родных не допускать. Еду́ пусть передадут... белье... это можно...

Ефрема Никитича повели вниз, в подвал, в каталажку. Полными слез глазами взглянул он на зятя. Роман шепнул:

— Что же ты про Маньку не сказал?

Старик хлопнул себя по лбу и хотел возвратиться, но стражник ударил его в спину, велел идти вниз.

Утром Роман пошел к Кондратовым, но дальше порога его не пустили.

— Чего надо, говори мне,— сказал Тимофей.— Манька — моя невеста, не позволю ей с чужим мужиком лясы точить.

Теща сходила к Манькиной матери, плакала, просила ее объявить следователю правду. Та сидела, опустив голову, молчала.

— Невинный человек из-за вас гибнет! Возьмете грех на душу, не будет Маньке счастья! Вот увидишь!.. Объяви, Устинья, объяви, милая, слезно прошу тебя...

А Устинья не подымала головы и только сказала прерывистым шепотом:

— Знать ничего не знаю.

Роман добился свидания со следователем. Тот пообещал допросить Маньку и допросил. Манька с плачем клялась, что испугалась Тимофея «по ночному делу» и ничего матери больше не говорила.

Через день Ефрема Никитича увезли в тюрьму, в Перевал. Устинья увела корову и лошадь к родне, распродала овец и куриц и уехала к Ярковым, чтобы быть поближе к мужу.

XIII

В начале марта тысяча девятьсот девятого года к «помощнику в Перевальском уезде начальника губернского жандармского управления» ротмистру Горгонь-

скому пришла содержательница одного из самых дешевых публичных домов. Она сообщила, что личность, пожелавшая остаться неизвестной, может указать, где печатают прокламации.

Как водится, «личность» (пропившийся чиновник) намекнул, что рассчитывает на вознаграждение. Горгоньский дал пропойце две красненьких и узнал, что типография находится в трех верстах от города по тракту, за городской бойней, в лесу, на даче Бариновой. Едва успел уйти доносчик, Горгоньский вызвал полицмейстера и вместе с ним наметил план действий: ровно в полночь пристав с городовыми и жандармским унтер-офицером должны окружить дачу и обыскать.

В то самое время, когда разрабатывался этот план, купчиха Баринова, кряхтя и сопя, вошла во флигель к Чекаревым.

— С бедой я к тебе, Сергей Иваныч! Неладно у нас,— заговорила она, стаскивая с плеч шубу.— Ну, чего ты опешил? На, повешай мою-то одежку... Стоит в дверях как столб!

Отстранив Чекарева, она вошла в комнату... да так и остановилась в изумлении: на двуспальной кровати, раскинув большие, сильные руки, крепко спал незнакомый мужчина. Крупная голова его глубоко утонула в подушку. На белой наволочке четко выделялся овал смуглого лица с синеватым отливом на бритых щеках.

— Ишь, какой видный, бог с ним!.. Откудова он к тебе залетел?

— Сродный брат,— нехотя ответил Чекарев.— Садитесь расскажите, что у вас стряслось.

Баринова отплюнулась.

— Тьфу!.. Говорить-то мерзко... Квартирантка-то наша хахаля себе завела!

— С чего вы взяли?

— Сторож судачит. Говорит, часто к ней этот фертик ходит... дохлый, говорит, такой мужчина, а что только и делает! Стукоток стоит! Тьфу!

— Ну, хорошо, ходит... а вам какая печаль?

— Окрестись, Сергей Иваныч, — строго сказала Баринова,— как это «какая печаль»? В моем доме непотребство — вот какая печаль!.. А тебя я хочу попросить: съезди, сделай милость, на дачу, вытури ее, бесстыжую!..

— Съездить можно,— сказал Чекарев, подумав.

— Съезди немедля! Спаси бог — убийство получится, попробуй сдай потом дачу! Да и по судам натаскаешься...

— Да отчего же убийство?

— Ой, да я тебе само-то главное и не сказала! Ну, ладно, сидит у нее тот хахаль, а второй под окошками слоняется, ревнует, ухо наводит... Сторож ему: «Чего, варнак, делаешь?» А тот погрозил ему пальцем, да и был таков. Беда ведь!

Чекарев нахмурился.

— Давайте лошадь, сейчас же съезжу.

— Съезди, отец родной! Хочешь, и кучера с собой возьми.

— На что мне кучер?

— А может, ее поучить придется или хахаля вытолкать... мало ли что.

— Один управлюсь.

— Ты-то как не управишься,— льстиво сказала Баринова и похлопала его по плечу.— Так я велю, нето, запрягать?

— Велите.

— А братец без тебя проснется?

— Ну и что? Проснется, подождет... да и Маруся скоро придет. Велите запрягать, Олимпиада Петровна.

Зажиревший от безделья гнедой мерин направился было ленивой рысцой, но почувствовал сильную, нетерпеливую руку и побежал как следует.

Скоро Чекарев подъехал к дому Романа Яркова.

— Ну, друг, хоть кровь из носу, а где хочешь доставай лошадь, короб, езжай на дачу... увезти надо технику... Только куда ее девать — не знаю!

— Ко мне в малуху, товарищ Лукиян! Зайди погляди, места хватить работать. По ночам — никто не догадается! Вот только товарища Софью...— Роман смутился: — И ей бы место у нас нашлось, конечно, да вот... жена...— И он опустил глаза под проницательным взглядом Чекарева.

— Софья ночью уедет в Лысогорск. Начинаем готовить областную конференцию. Ты не забыл о собрании? Всех оповестил? Ческидов знает? Хорошо. Васильев? Все должны быть... Товарищ из центра приехал, будет выступать. Ну, я покатил!

Прошлой ночью Софья, услышав возглас сторожа, задула лампу, кинулась к окну и успела увидеть, как сгорбленная черная фигура бежит, мелькает среди черных стволов. Утром она прошла по следу до дороги. Разумеется, это мог быть и грабитель... но чутье подсказывало ей, что типографию выследили, что опасность надвигается. К приходу Ильи — к пяти часам вечера — она упаковала всю мелочь, кипу отпечатанных газет, бумагу. Софья не боялась, что с обыском придут днем. Во-первых, как правило, это бывает по ночам, а во-вторых, она повесила на дверь замок и старалась не стукнуть, не брякнуть. Софья решила: «Давыд успеет привести лошадь, к ночи увезем технику!»

Всю технику уложили на дровни, опутали веревками, прикрыли рогожами, кошмой. Софья взяла подушку с одеялом да саквояж и уселась на ящик спиной к лошади. Роман, расставив ноги, утвердился сзади.

— Езжай, Лукиян, вперед!

— Нет, братец, ты ступай передовым,— ответил Чекарев.— Сообрази: я приехал сюда, когда птичка уже улетела, мой след — последний!.. Кое-где твою полозницу перееду... Понятно?

— Понятно-то понятно... Да вот на переднем пути, наверно, я где-нибудь по твоему следу проехал — не сообразил!

— Поправлю. Ничего. Но помни, Роман, как будешь на тракт выезжать, бери влево, пусть думают, что вы уехали в Бобровку, а не в город... Товарищ Софья, учтите: с собрания вы сразу на вокзал! Саквояжик возьмите, литературу... Ну, езжайте!

Они поехали.

Некоторое время Роман молчал, сторожко оглядываясь по сторонам. Ему повезло: тракт был безлюден. С полверсты он проехал по направлению к Бобровке и на твердой, наезженной дороге повернул лошадь к городу.

Наступил вечер.

Небо стало похоже на зеленовато-голубую раковину, окрашенную бледным розовым светом. Высокие, тонкие, голые чуть не до верху сосны стояли неподвижно. Потянуло сырым весенним запахом. В городе зажглись огни.

— Ну, как здоровьишко, поправилось? — с какой-то

уважительной теплой лаской спросил Роман, глядя сверху на чуть порозовевшее лицо Софьи.

— Ничего, спасибо.

Теперь она держалась прямо. Прядь волос, выбившаяся из-под платка, уже не была мертвенно-тусклой — отливала живым блеском.

— Я все хочу спросить, семейный вы человек, товарищ Софья, или одинокий?

— Муж есть, ребят нету.

— И где он сейчас?

— В ссылке,— отрывисто ответила Софья.

— Надолго вы в Лысогорск поедете? — спросил Роман после молчания.

Софья не ответила, только быстро, внимательно взглянула на него.

— Я вот к чему спрашиваю: искать вам квартиру или...

— До собрания побуду у вас...

— Так! — Роман поскреб затылок, смущенно улыбаясь. Чем ближе к дому, тем затруднительнее казалось ему его положение. Хорошо, он привезет домой Софью, а как объяснит это Анфисе? Вместе пойдут на собрание... вернется он поздно... Неприятность может получиться. И еще одна мысль мучила его: а вдруг дома есть кто-нибудь чужой, какая-нибудь соседка? Как разгрузить дровни?..

Роман въехал во двор, задвинув засов, спятил лошадь к дверям малухи и, взяв жену за руку, отвел ее к крыльцу.

— Не горячись и не реви,— сказал он строго, глядя ей в глаза.— Это не разлучница твоя, не врагиня какая, она мне никто! Сегодня же увезу ее, а имущество останется у нас. Ни о чем ее не расспрашивай... И помни: если хоть слово об этом кому болтнешь — гнить мне в тюрьме. Поняла?

Фиса поняла, что он не лжет, поверила, но тревога исказила ее лицо.

— Да господи, Роман... да я...

— Иди ставь самовар!

Фиса послушно пошла ставить самовар.

Через несколько минут Роман запер малуху на замок, проводил Софью в избу.

— Может, отдохнули бы? — робко спросила Анфиса

молчаливую гостью, которая, расстегнув, но не снимая шубы, присела на скамью.

— Спасибо. Не хочется.

«О чем с ней говорить»,— с тоской думала Анфиса, помня, что гостью нельзя расспрашивать. Она вопросительно взглянула на свекровь, но та неотрывно смотрела на Софью, и взгляд ее, обычно суровый, теплился нежным сочувствием.

Вскипел самовар.

— Выкушайте чайку,— печально сказала Анфиса.

— Напрасно вы... я не хочу...

— Давай-ка разденься, дорогая наша гостьюшка,— заговорила свекровь необычным, взволнованным голосом,— не бойся, милушка, ворота на запоре, не придет лихой человек! Разденься, родная, отдохни, отогрейся у нас! Неси, Фиса, щи, кашу, молоко... все на стол неси! Поешь, моя голубушка, перелетная моя пташечка!

Говоря так, она с ласковым насилием подняла гостью с места и повела к столу.

— Мать у вас золотая! — сказала Софья Роману, когда они вышли на темную улицу.

— Да,— отозвался он,— и мать, и жена... такое уж мне счастье... Вы можете идти скорее? А то мы опоздаем, придем к шапочному разбору.

Идти, и правда, надо было далеко. Собрание проводили в школе, где работала Ирина Албычева, версты за три от Верхнего завода. Школа стояла «на отставе» — за городом, за больницей.

XIV

Старуха сторожиха как-то пожаловалась Ирине, что сидит вечерами в школе, как «цепная собачонка»:

— Ни в церкву, ни в гости. Сиди-посиживай... А мне, старой егозе, не сидится... нет, не сидится мне, миленькая! Вот помаюсь-помаюсь, да и потребую расчет.

Когда Илья спросил, нельзя ли провести собрание в школе, Ирина сразу вспомнила этот разговор.

— Панфиловна,— сказала она,— если хотите, можете уйти в субботу на целый вечер, я побуду в школе.

— Спаснбочко, мнленькая! Я, нето, ко всеиощной схожу!

— А потом можете зайтн к знакомым.

Хнтренькие глазки Паифиловиы засмеялись:

— Ой, что вы, Иринушка Матвеевна! В гостн в субботу, говорят, ходят только вшивые!

Заметив беспокойное движение Ирины, старушонка готовно предложила:

— Коиечно, могу у крестиицы в баиьку сходить... потом почаевничать...— И, ие сдержав любопытства, спросила шепотом:— Может, у вас свидаика или что, не осудите на вольном слове... я могу хоть до полночи пробегать!

Только одно мгновение колебалась девушка... Не успела отхлынуть ударнвшая в лицо кровь. Ириид, опустнв гордый, обижеиный взгляд, сказала тихо:

— Да. Ко мне придет знакомый.

— Что же ты прямо-то ие скажешь! — весело рассмеялась сторожиха, осмелела, погладила девушку по плечу своей сморщенной лапкой.— Дело молодое! Ой, да что же это я? Собираюсь в церкву, а деиег на свечку иету!

Еще больше покраснела Ирина.

— Я дам вам денег.

В субботу вечером она дала Паифиловне рубль.

— До двеиадцати часов ночи ие возвращайтесь!.. Да не вздумайте подглядывать!

Сказаио это было так властио, так строго глядела Ириид из-под сросшихся бровей, что старуха ие посмела больше фамильярничать.

— Не приду, миленькая, ие приду. Ставии-то запереть?

— Закройте.

Панфиловиа ушла. Ирина, решив, что собраиие удобнее всего провести в третьем классе, окиа которого выходили во двор, собрала в эту комиату стулья и табуреты со всей школы, раздвииула пятиместные парты, на учнтельский столик поставила графии с водой и стакан, зажгла керосииовую лампу.

Пусто, тихо было в небольшом старом здаиии, пропнтаниом особым, какнм-то кисловатым запахом. Томительное нетерпение охватило девушку. Вот она хочет идти... она уже идет рядом с Ильей... отказалась от

беспечной, благополучной жизни ради тяжелой, опасной работы, хочет бороться за счастливую, справедливую жизнь народа...

Звук знакомых шагов привел девушку в себя. Она пошла навстречу Илье. Он уже расставил пикеты.

Один за другим вxодили участники собрания.

Ирина с уважением вглядывалась в их лица. Романа Яркова она уже знала. С интересом всматривалась в его спутницу — белокурую худенькую женщину. Илья подошел к ней: «Давайте, Софья, ваш саквояж, он вам, я вижу, мешает». С удивлением увидела Ирина Полищука. Он тоже удивился, приподнял свои красивые, будто нарисованные, брови, поклонился девушке, но к ней не подошел. Вошла Петровна — Мария Чекарева. Торопливо вбежал Валерьян Мироносицкий... «А-а! Рысьев! — приветствовали его.— Здорово, товарищ Рысьев!» Он бросил на подоконник фуражку, взъерошил жесткие кроваво-рыжие кудряшки, расстегнул пальто с двумя рядами светлых пуговиц и стал разговаривать с пожилым рабочим, оживленно жестикулируя. Ирину он будто и не заметил.

Еще раз хлопнула дверь.

Лукиян пропустил вперед себя незнакомого приземистого человека. Ирина как взглянула, так и не отвела больше глаз от него.

Невысокий, широкоплечий, поздоровавшийся со всеми наклоном головы, он прошел по комнате стремительными, четкими шагами. Повесил на гвоздь пальто и шапку, провел гребенкой по необыкновенно густым волосам и сел к столику. Силой, суровой страстностью дышало его волевое лицо.

Пока выбирали председателя и секретаря собрания, он сидел, положив на стол большие руки, с живым интересом оглядывая собравшихся.

И вдруг весь встрепенулся, побледнел, покраснел... Как ослепленный, опустил тяжелые веки... и снова поднял их. Он глядел на Софью. Глаза его горели. Софья отвечала сверкающим взглядом.

«Что за чудо? Она на глазах хорошеет!» — дивилась Ирина.

Лукиян сказал;

— Товарищ Орлов послан к нам товарищем Лениным!

Орлов поднялся с места. Едва зазвучал его глубокий окающий голос, все стихло.

— Не изменилась наша цель, товарищи, не изменились лозунги!..

Со страстью он заговорил о том, что уже не за горами новый подъем революционного движения и что надо готовить массы к этому подъему.

— Но что значит готовить? Может быть, призывать к восстанию? — спрашивал Орлов и сам же отвечал с решительным жестом: — Нет! Не время! Сейчас еще не время, товарищи!

Он стал горячо доказывать это, анализировать положение в стране. Отметил и усталость рабочего класса, и усиление реакции.

— Что же мы должны делать? Собирать силы! Укреплять партийные организации!.. И работать в легальных рабочих организациях, всякую возможность использовать. Тактика ясна... бесспорна... Правда, товарищи? Но есть люди, которые мешают, путаются под ногами, толкают палки в колеса,— грозно хмурясь и ожесточаясь, продолжал Орлов.— Я не говорю уж об эсерах, кадетах! О ликвидаторах-меньшевиках я говорю! На Пражской конференции товарищ Ленин предложил осудить ликвидаторство, и конференция осудила! И мы, большевики, будем их бить!.. Бить по рукам тех, кто действует против программы, против тактики нашей партии, против революции!

Он помолчал.

— И еще есть такие человеки... говорят они шибко революционные слова, а делу партии вредят. «Не хотим работать в легальных организациях! Это-де нам, революционерам, не пристало, это-де нам не к лицу!»

— Отзовисты! — с угрюмым презрением вставил Васильев, сидящий на первой парте.

— Да, они! — подхватил Орлов.— Правильно, товарищ, отзовисты! Вот их-то нам и надо вытаскивать за ушко да на солнышко... Разоблачать!

Орлов заговорил о положении в уральских партийных организациях. Организация страдает от частых провалов, значит, строже должна быть конспирация. Недостаточно хорошо поставлена пропаганда. Усилить надо борьбу с враждебными влияниями. Плохо, стало быть, работает социал-демократическая группа на спи-

чечной фабрике, если там эсеры снлу забрали! Он называл по нмеиам эсеров, кадетов. Сказал, что адвокат Полищук разлагает массу. Рысьев отказался работать в кооперативе. А ведь его туда иаправила органнзация. Значит, Рысьев встал на лииию отзовистов.

В прениях первым выступил Полищук.

— Разве реальна та революциоииая программа, за которую ратует товарищ Орлов? — начал ои ровным голосом, ироиическн подняв брови и точио рнсуясь своим спокойствием.— Где возможности для создания демократической республики? Для коифискации земель и так далее? Нет таких возможностей! И ие будет! Стоит подумать трезво... н вывод стаиет ясеи: должна существовать и может существовать только легальиая рабочая партия, только...

— Столыпниская! — вставил насмешлнвый, резкий и тоикнй голос.

— Прошу ие прерывать меня, товарищ Рысьев! — с неудовольствием сказал Полищук. И, ускользая от гиевного взгляда Орлова, выложил все свон меньшевистские доказательства, несмотря на то, что реплики с мест все время прерывали его.

— Дайте слово! — и Рысьев-Мироиосицкий вскочил с места и подбежал к классной доске. Ирина видела, что он разгорячеи и зол.

— Товарищ Орлов вышел и всех разбодал,— заговорил ои с насмешкой в голосе н во взгляде.— Все — врагн революции, только Орлов и его присиые иа правильном пути.

«Отзовисты прячутся за революциоииую фразу»? Нет, не прячутся, товарищ Орлов! Не прячутся, а остаются вериыми делу революции, делу народа, которое вы, товарищ Орлов, готовы р-р-аспылить в легальщиие! Ставка на Думу, на профсоюзы, на кооперативы, что это — не ликвидаторство? — стараясь заглушить возмущенные голоса, кричал Рысьев.— Да, Рысьев отказался работать в кооперативе. И не буду я там работать! Вы еще меия в торговую компанию Гафизовых пошлите...

— Будет надо — пошлем!

Тут Рысьев окончательно рассвирепел. Он пародировал, передергивал, пока наконец председатель Лукиян не пригрозил лишить его слова.

«Покончив» с Орловым, Рысьев принялся за Полищука.

— Много Орлов напутал, в одном был прав — в оценке ликвидаторства. Товарищ Полищук, знаете, куда вас клонит? К симбиозу с царизмом, в кадетские объятия! Неудивительно: выходец из буржуазии идет в родное лоно.

— Вы сам — попович! — отозвался уязвленный Полищук.

— Верно. Но я не вернусь в «лоно». Родитель правильно зовет меня «заблудшим чадом»...

— Мы, рабочие, стоим за Ленина, за его линию,— говорил Роман Ярков, глядя в упор на Орлова, точно рапортуя ему.— Не пойдет сознательный рабочий за такими, как Полищук... Такие люди — в обе стороны комлями, нашим и вашим. По-моему, гнать их надо из партии. О товарище Рысьеве я скажу лучше: ошибается...

— Голова вроде умная, а в голове — путаника! — вставил Паша Ческидов.

— Верно, Паша, в голове у него все спуталось, завилось... верно, что «заблудшее чадо»! Вы, товарищ Рысьев, учились много, у вас, видимо, ум за разум зашел. Мы — простые рабочие, а понимаем лучше: нельзя нам без легальных организаций. Я тоже вначале думал: к чему, мол, идти в Думу? Зачем это? Но товарищ Давыд, спасибо, растолковал. Подумайте-ко: наши депутаты могут там вслух говорить о всяких пакостях царизма, кадетов и прочих. На все государство их голос слышится. Рабочий почитает, послушает, подумает — поймет, какой дорожкой ему идти! Знать, крепко насолила наша фракция во второй Думе царю, если этих борцов на каторгу сослали. Царизм понимает, какой ему вред от депутатов-большевиков, а вы не понимаете, какая нам польза от работы в легальных организациях!

Рысьев вскочил. Начался отчаянный спор.

Выступил Илья. Твердо, спокойно, с железной логикой доказывал он правильность ленинской тактики. Невозмутимо принимал насмешливые выпады Рысьева... Ирина слышала, как Лукиян сказал Орлову: «На обе лопатки положил его Давыд!» А Орлов время от времени кивал Илье, как бы говоря: «Так его! Так! Правильно!»

Ирину так захватил этот спор, что она забыла о вре-

мени. После голосования она с испугом взглянула на карманные часики с чугунной крышкой и золотым ободком: было одиннадцать часов. Она сказала об этом Илье.

— Товарищи! Надо побыстрее освободить помещение! — объявил он, и все стали расходиться.

Рысьев, надевая на ходу фуражку, кивнул Орлову с веселой угрозой:

— Думаете, убедили? Мы еще поборемся!

Орлов ему не ответил. Ирина увидела, как этот сильный, суровый человек, который мог бы поднять на ладони хрупкую Софью, подошел к ней. С какой-то неистовой трепетной нежностью выдохнул:

— Друг мой!

Ирина взглянула на пылающее лицо Софьи и вышла. Но даже двух минут нельзя было оставить их наедине: следовало привести в порядок комнату.

Вернулся Роман, вышедший одним из первых. Тихим, почти виноватым голосом он сказал:

— Извозчик на углу, товарищ Софья!.. Пора...

Орлов поднялся, взглянул на жену, на саквояж... лицо его омрачилось.

Он с усилием улыбнулся, взял пальто, помог Софье надеть его, застегнул воротник и, обхватив ее рукой, скорее понес, чем вывел из школы.

XV

Григорий Кузьмич вызывал Ирину только в крайней необходимости. Поэтому, получив его записку, она немедля отправилась к нему. «Неужели болен? — тревожно думала она, все ускоряя шаги.— Или Таля захворала? Но нет, ведь папу не вызвали! Что же случилось?»

Дядя был здоров, но печален.

— Скажи мне, Ирочка, в каких вы отношениях с Антониной Ивановной?

— Ни в каких, милый дядя... вы знаете.

— А я думал... Жаль! Думал, хоть немного сблизились... Видишь ли, какая вышла у нас история...

В старших классах мужской гимназии, где Григорий Кузьмич преподавал словесность, организовался литературный кружок. Юноши читали Белинского, Писарева,

Добролюбова, горячо спорили, «приучались думать, разбираться...», обсуждали первые литературные опыты своих товарищей. «Хорошая подобралась молодежь,— рассказывал Григорий Кузьмич,— умная... честная... Но вот молодая их горячность и довела до беды! Надзиратель нашел в парте Вадима Солодковского номер рукописного журнала, прочел и обнаружил в одной статье резкие выпады против существующего порядка. Статья подписана псевдонимом. Директор требует, чтобы Вадим назвал автора, чтобы сказал, откуда у него этот журнал, кто его составляет. Вадим на все отвечает: «Не знаю». Остальные юноши тоже отговариваются незнанием. Всему восьмому классу сбавили отметку за поведение. Вадима хотят исключить.

— А вас, дядя, ни в чем не обвиняют? — допытывалась Ирина.— Наверно, и вам грозит что-то?

— Как тебе сказать, Ирочка? Может быть, и подозревают. Ведь я — отец «крамольника»! — и старик смигнул набежавшую слезу.— Но что они могут мне сделать? Сама посуди: второй раз сына не казнишь... Ничего они мне не могут сделать! Не в том дело. Мальчиков жаль... Вадима.

— Вы хотели, чтобы Антонина Ивановна вступилась за него?

— Охлопков ее послушался бы... одно слово Охлопкова — и Вадим спасен.

— А зачем его «спасать», милый дядя? — сказала задумчиво Ирина.— Мне знаете, что кажется? Мне кажется, что ему не надо ждать исключения. Он сам должен уйти из гимназии!.. Я бы ушла.

— Да зачем же ему уходить, Ирочка?

— Выразит протест против сыска, стойкость покажет.

— Ах ты, Ира, ты, Ирочка,— с печальной улыбкой возразил дядя,— разве есть у Вадима настоящая стойкость? Он — тростник, колеблемый... Прямой подлости не сделает, товарища не выдаст... но... Вадиму надо закончить гимназию, получить аттестат.

— Что же делать, дядя?

— Уж не знаю, что... Папу твоего, пожалуй, просить не стоит.

Они разом взглянули друг на друга. Григорий Кузьмич, вспомнив о Полищуке, который один только мог

повлиять на Антонину Ивановну, понял, что Ирина тоже подумала о Полищуке. Горькое, презрительное выражение появилось на лице девушки. Тяжело дыша, она сказала:

— Его просить не буду!

— Да нет, Ирочка, я и не имел в виду... конечно... я...

В тяжелом замешательстве старик не знал, что сказать, и только подчеркивал неловкость. Он решил сам поговорить с Полищуком: «Деликатно намекну ему, он человек передовой, возмутится фактом — поможет... Некрасиво обращаться за содействием к любовнику братниной жены... да что поделаешь? Спасать надо Вадима!» На том и решил.

На другой день за обедом мачеха позвала Ирину к Охлопковым.

— Кстати навестишь Августу.

Ирина согласилась. «Уже успел!» — подумала она о Полищуке и невольно взглянула на отца. Отец с наслаждением обгладывал куриное крылышко, причмокивал. «Знает он? Может, не хочет замечать?» Противно стало Ирине, и в первый раз отчетливо подумала она: «Зачем я живу здесь?» Ничто не привязывает ее к семье. Даже жалость к отцу прошла постепенно. Всем здесь она стала чужой. «Да, надо уйти!»

По дороге к Охлопковым девушка продолжала обдумывать этот шаг. «Сцены начнутся, оскорбления, но... добьюсь! Не с полицией же они меня будут удерживать? Уступят в конце концов».

Мачеха тоже молчала всю дорогу. Молча они вошли в угрюмый дом Охлопковых.

Антонина Ивановна сразу прошла к брату, а Ирина к Вадиму.

Больно ей было смотреть на измученное лицо юноши. Выпуклые глаза его стали еще больше, шея длиннее, на бледной коже беспорядочно выступили красные пятна. В движениях беспокойство, во взгляде растерянность... «Тростник, колеблемый...»,— вспомнила она слова Григория Кузьмича.

Задушевно сказала:

— Знаю о вашей беде, Вадим, и что вы держитесь стойко... Иного и не жду от вас!

Он быстро, искоса, с каким-то испугом и досадой взглянул на девушку, ничего не ответил и начал ходить

из угла в угол, мотаясь длинным туловищем. Походив, остановился перед Ириной.

— Если до вечера не сознаюсь, исключат.

— Но вы не сознаетесь! — пылко сказала девушка. Она начала убеждать Вадима, что исключение из гимназии — совсем не трагедия. «Трагедия — потерять уважение к себе!» Какие силы почувствует в себе Вадим, когда вынесет это первое испытание! И, может быть, этот шаг — уход из гимназии — будет первым шагом на том благородном пути, о котором они мечтали, читая Герцена.

В дверь постучала горничная. Вадима звал к себе Охлопков.

В отчаянии юноша провел по волосам пальцами, как граблями, одернул рубашку. Ирина проводила его до дверей кабинета. Точно боясь самого себя, он сжал руку Ирины своей холодной, потной рукой.

— Побудьте здесь, Ира, прошу вас.

Она горячо закивала в ответ:

— Держитесь!

Позднее Ирина поняла, что Охлопков, согласившись выручить Вадима, хотел все же добиться признания или хотя бы утвердить свою власть над юношей. Но в то время, когда она, стоя в коридоре, слушала допрос, ей казалось, что ходатайство мачехи Охлопков отклонил.

— Знаешь ты, кто писал эту проклятую статью? — спрашивал Охлопков.— Говори, щенок! Знаешь?

— Знаю,— почти с вызовом ответил Вадим.

— Кто?

Молчание.

— Кто! Говори!

Молчание.

— Не хочешь? В благородство играешь, сопляк? Говори, а то вылетишь не только из гимназии, выгоню из дома.

Прерывистым голосом Вадим начал было, стараясь изо всех сил сохранить достоинство:

— Уверяю вас, дядя...

Бешеным возгласом «молчать!» Охлопков прервал его:

— Говори кто!

Послышался спокойный голос Антонины Ивановны:

— Довольно, Георгий... Вадим не хочет сознаться... что же... Скажи ему наши условия.

— Говори ты.

— Хорошо. Твой дядя, Вадим, сделает так, что тебя не исключат. Тебе дадут возможность доучиться, но с условием: ты извинишься перед директором и дашь нам слово не знаться с этими... мальчиками... вести себя безупречно... Даешь слово?

После долгой-долгой паузы Ирина расслышала тихий ответ:

— Даю.

Вадим неровными шагами вышел из комнаты. Его лицо выражало стыд, злобу, страдание, и в то же время он облегченно вздохнул. Не сразу юноша понял, что Ирина осуждает его. Схватил ее за руку:

— Спасибо! Вы здорово поддержали меня.

Но девушка с ожесточением вырвала руку, круто повернулась и убежала к Августе.

Августа сидела одна.

Она поморщилась и взглянула на Ирину так, словно та ей давно надоела.

— Я мешаю тебе, Гутя?

Августа вяло протянула свою прозрачную руку:

— Ничего. Садись.

Ирину поразило тупое безразличие, погасший взгляд, тихий голос. В черном платье и платке, тускло-бледная, Августа походила на умирающую.

Изменилась и комната Августы.

Исчез розовый будуарный фонарь, висевший на цепи под потолком. Вынесена красивая жардиньерка. Убраны с комода туалетные безделушки, а с полочек вычурные статуэтки. Тафтой задернуты изнутри стекла книжного шкафика.

Тихо, полутемно, только одно светлое пятно в этой угрюмой комнате — освещенное лампой «Моление о чаше».

— Как твое здоровье, Гутя? Как ты себя чувствуешь?

— Пусто... ясно... как осенью,— тихо заговорила Августа,— знаешь, «лес обнажился, поля опустели!» Вот ты пришла, и мне странно: ты все та же... Все суета! Хочу одного — молчания! Не слышать, не видеть... зарыться куда-то... Ты знаешь, Ирина, я в монастырь иду.

Ирина тихо всплеснула руками:

— Гутя! Гутя! Ты бредишь? Это — ужас.

— Ужас? — Августа улыбнулась бледной улыбкой.— Для тебя ужас... Ты не понимаешь сладости молитвы... экстаза... А ведь только эта, только эта возможность общения с ним мне и оставлена богом!

— Гутя!

Нестерпимо захотелось Ирине откинуть глухие шторы, распахнуть дверь, чтобы свет и воздух хлынули в эту темную, жарко натопленную комнату. Она резко сказала:

— Декадентщина, Августа! Вздор!

Августа не обиделась, не рассердилась. Она улыбнулась снисходительно.

— Тетя тоже вначале испугалась, плакала, протестовала. Потом поняла, согласилась. Только ставит мне условие: не принимать пострига. «Поживи так... посмотришь. Если через год будешь на своем стоять, разрешу». Я на все согласна, только скорее, скорее!

— Гутя, милая! Как мне... чем убедить тебя? — горячо заговорила Ирина.— Ну, кончилась личная жизнь... Но разве не лучше... Пойми! Продолжать его дело... Жить! Бороться!

— Его дело? — Августа выпрямилась в кресле.— Ненавижу это его «дело»! Оно встало между нами. Я говорила тебе? Не помню, говорила я или не говорила?

— О чем, Гутя?

— Как мы разошлись... перед самым судом.

— Не говорила, нет,— медленно промолвила Ирина, ощущая какой-то неясный страх перед тем, что скажет Августа.

— Прокурор мне сказал... Ах, как я унижалась перед ним, молила! Он сказал: «Добровольное сознание! Только оно может спасти Албычеву жизнь!» Разрешил мне свидание... Я пошла.

— Сознание? В чем?

— Искреннее... во всем... назвать соучастников и...

— И ты могла?

— Какое значение имели все другие жизни? Его жизнь была в опасности! Подумай! Стоило ему сказать, и чаша прошла бы мимо! Не захотел... Он меня грубо оторвал от своих колен. Позвал тюремщика: «Уведите ее!» И так взглянул...

Ирина молчала. Негодование, скорбь душили ее. Так вот что вынес Леня перед смертью!

— И ты не понимаешь, что толкала его... на подлость?

— «Подлость», «честность» — слова! — сказала Августа.— Ты не можешь судить, ты еще девочка... не знаешь любви... А любила бы...

— Нет! — Ирина так и взвилась с места. На миг она ясно представила Илью на месте Лени, себя на месте Августы...— Нет! Никогда!.. И я не прощу тебе!.. Не приду к тебе... Мы — чужие!

— Как хочешь,— устало ответила Августа. Глубоко ушла в кресло и закрыла глаза.

XVI

Ротмистр Константин Павлович Горгоньский расхаживал по своему кабинету и диктовал сиплым, радостно-возбужденным голосом.

После бессонной — тревожной и счастливой — ночи он не мог глядеть на солнце, чувствовал резь в воспаленных глазах. Разбухшие ноги ныли в тесных сапогах. Хотелось поесть, раздеться, вымыться, заснуть... но еще больше захотелось закончить рапорт начальнику губернского жандармского управления. И Горгоньский не шел домой, а, чтобы поддержать силы, пил темный, как сусло, чай и беспрерывно курил.

В то время когда он обдумывал следующую фразу, его письмоводитель Ерохин (двоюродный брат Степки Ерохина) распрямлял затекшие пальцы и покачивал в воздухе вытянутой правой рукой. «Шел бы спал, неугомонный черт!» — думал он сердито, сохраняя на широком лице напряженное выражение внимания и радостной готовности.

— Открой форточку, Ерохин,— приказал Горгоньский,— дышать нечем!.. А теперь прочитай мне все.

Сел в кресло, вытянул ноги, прижал подбородок к груди, от чего морщины вырезались на его бритых щеках, а взгляд из-под загнутых ресниц стал мальчишески лукавым.

Сладко повеял ветер, запахло весной... но ни Горгоньский, ни Ерохин не заметили этого.

— «Его превосходительству, генерал-майору...»

— Пропусти! Читай суть! — лениво приказал Горгоньский.

Пробежав про себя начало и дойдя до слова «рапорт», Ерохин начал громко и раздельно:

— «По агентурным сведениям, в начале марта сего года состоялось городское совещание социал-демократов с присутствием приезжего представителя большевистского центра. На совещании обсуждали вопрос об образовании областного комитета, прекратившего деятельность в декабре прошлого года вследствие произведенных нами арестов. Решено провести областную конференцию, где должен быть избран областной комитет. Негласно было дознано, что конференция назначена на двадцать восьмое марта с. г., а именно, наш агент Шило, массажист...»

— «Именно» вычеркни, — сказал Горгоньский, — и «массажиста» убери.

— «Наш агент Шило, в доме которого квартирует бывший студент Томского технологического института, ныне счетовод на фабрике Комаровых, сын священника, Мироносицкий Валерьян Степанов, установив слежку, обнаружил список адресов квартир, совпадающий по числу с числом иногородних делегатов, долженствующих приехать на конференцию из окрестных городов и заводов. Выяснить предполагаемое местонахождение конференции Шилу не удалось.

Исходя из этого, я приказал в ночь на двадцать восьмое произвести облаву и обыски как на упомянутых квартирах, так и на квартирах лиц подозрительных, состоящих под гласным или негласным надзором. Облавы и обыски, производившиеся с участием местной полиции, дали следующие результаты.

В квартире безработного Яркова, по улице Раскатиха, номер семь, при обыске по осмотру помещения подсарайной избы обнаружены следы подпольной типографии. В русской печи большое количество жженой печатной и чистой бумаги (по остаткам текст выяснить не удалось). На шестке бензиновая и спиртовая кухни, ковш для плавки олова. В печной золе обнаружен стержень от вала, в шкафу жестяная кастрюля с признаками варившейся клеевой массы. В корзине на полу: 1) роговой ножик, запачканный типографской краской;

2) каток для раскатки краски; 3) две жестяные банки с типографской краской; 4) зеркальное стекло с натертой на нем типографской краской; 5) железная рукоятка длиной в аршин с четвертью. На полу, в углу, под столом, деревянный ящик, в котором медные линейки и верстатка, бабашки, двойники, бруски, в жестяной банке квадраты и полубабашки. В шкафу на первой сверху полке две коробки с краской, две кисти, очищенная сода, четверть фунта столярного клея, флакон лака, флакон соснового масла, на второй полке коробка с кусками свинца, гуммиарабик в сухом виде, два листа наждачной бумаги, четыре стальных подпилка, молоток, стальное зубило, клещи, шило, отвертка, паяльник.

Опись вещественных доказательств, изъятых при аресте, прилагается.

Типографский станок и кассу с типографским шрифтом обнаружить не удалось, по-видимому, они находятся в другом месте.

Состояние найденных предметов (жженая бумага, наполовину уложенные корзина и ящик) свидетельствует о том, что обыск прервал сборы к перенесению этих вещей на другое место и помешал сокрытию следов...»

— «Состояние предметов»,— задумчиво сказал Горгоньский,— ну ладно, потом я поправлю, читай!

— «После обыска Ярков Роман Борисов, двадцати двух лет, взят под стражу, причем его жена, Яркова Анфиса Ефремовна, восемнадцати лет, пыталась оказать сопротивление, вела себя, как невменяемая или одержимая...»

— Про Анфису вычеркни, черт с ней,— махнул рукой Горгоньский!

— «При обыске по Воскресенскому проспекту, номер пятнадцать, в квартире наборщика частной типографии Вальде, Светлакова Ильи Михайлова, мещанина города Перевала, находящегося под негласным надзором полиции, при личном обыске такового обнаружен полулист бумаги с записями, каковые можно счесть планом лекции с такими пунктами: 1) Сущность социалистического общества; 2) Неизбежность социализма с точки зрения классовой борьбы; 3) Неизбежность социализма с точки зрения развития общества; 4) Политическая программа партии социал-демократов (большевиков); 5) Экономическая программа; 6) Тактика.

Обнаружена газета «Социал-демократ» № 2 от 28/I 1909 г. с обведенной цветным карандашом статьей «На дорогу» о решениях недавно состоявшейся всероссийской конференции социал-демократов. После обыска Светлаков Илья Михайлов, двадцати шести лет, взят под стражу.

При обыске по Фелисеевской улице, номер два, в квартире бывшего студента, ныне счетовода, Мироносицкого Валерьяна Степанова, в чемодане с двойным дном обнаружены книги: 1) «Коммунистический манифест»; 2) Ленин «Две тактики»; 3) Бебель «Женщина и социализм»; 4) Либкнехт «Наши цели»; 5) Лафарг «Благотворительность»; 6) Лассаль «О сущности Конституции». После обыска взяты под стражу Мироносицкий Валерьян Степанов, двадцати трех лет, и ночевавший у него в эту ночь человек лет тридцати, сильный брюнет, отказавшийся назвать свое имя и известный под партийной кличкой Орлов, приезжий из центра (фотографические снимки прилагаются)...»

Время текло... Солнце ушло за угол и уже не резало глаза ротмистра Горгоньского. С тоскливой злостью глядел Ерохин на своего начальника, ругал его «двужильным чертом» и прикидывал в уме, сколько еще потребуется времени, если «вникают» они в семнадцатого арестованного, а всего в эту ночь забрали около сорока. «Да еще перебелить сегодня же велит, знаю я его, ему выслужиться надо, коли в прошлом году типографию прозевал, вот и лезет из кожи. Хоть бы пообедать отпустил, черт, так ведь и сам не жрет и другим не дает!» — думал Ерохин.

Оставив Ерохина перебелять рапорт, Горгоньский с особенным наслаждением открыл дверь своей квартиры. Давно ли эти высокие комнаты дышали холодом холостяцкого жилья? И вот — гляди-ка! — пуфики, подушечки, накидочки, множество цветов... канарейки заливаются в клетках, мурлычет, лежа на диване, кот. А вот слышится звонкий голосок, шуршат юбки, и молодая жена кидается ему на грудь.

Жена! Пришлось-таки ему поухаживать за своей Зинаидой Алексеевной! Капризы, кокетство, ребячливость, то «да», то «нет»... но действительно стоило тру-

да! Жена из этой ребячливой, бойкой барышни вышла замечательная! Податлива, ласкова, игрива. А как ведет дом! Как одевается! Даже начальник губернского жандармского управления — взыскательный, неприступный старик — и тот, пообедав у них, сказал: «Вы счастливец, Горгоньский,— обладаете такой... гм... изюминкой! Поздравляю».

Жена повисла у него на шее. Посыпались вопросы:

— Где был? Почему так долго?

Но Горгоньский положил за правило не говорить о делах дома. В свою очередь он стал расспрашивать:

— Ну, а что ты? Как ты, бэби?

Она оживленно начала рассказывать, что делала вчера вечером, как спала, что видела во сне. Поминутно перебивая себя, она говорила и говорила. Кончился обед. Унесли посуду, сняли скатерть...

— А утром была у портнихи с Линой. Ты знаешь, жакет резал мне вот тут. И, представь, она сказала, можно выпустить в пройме и не будет резать... И она просила... Да! Представь, там была Ирка Албычева, моя соученица... Боже, какая надутая, неприступная! Вот так кивнула и удалилась. Кон-стан-тин! Я кое-что по-до-зре-ва-ю: мне завидуют. Да, так о портнихе... Ты, Котька, что делал ночью? Что? Что? — С каждым «что» она дергала его за ухо.— Правда, что ты посадил в тюрьму этого бедного мальчика?

— Какого еще мальчика? — с неудовольствием спросил Горгоньский.

— У него, представь, верхняя губа вот так, мыском... страшно мило... Котька! Сейчас же выпусти!

— Бэби, я тебя просил не вмешиваться в мои дела.

— Ка-а-кой сердитый! Я сказала мадам Светлаковой, что ты его выпустишь, значит, надо выпустить. Убери морщины!

Но Горгоньский нахмурился еще больше, резко поднялся.

— Зина, я устал. Я требую!..— Он мгновенно овладел собой: — Прошу, Зина, ни-ког-да не говорить со мной о моих служебных делах.

Жена, как испуганный ребенок, съежила плечи, прикрыла глаза рукой... но Горгоньский видел, как злобно изогнулись губы. Неприятно удивленный, он подумал:

«До этого «мальчнка» тебе нет дела, зверюшка, ты меня хочешь забрать под каблучок».

В это время раздался несмелый звонок.

— Она! — вскрнкнула Зннанда н бросилась в переднюю.

Растерянностн, злостн как не бывало! Она ласково и весело упрашнвала гостью:

— Разденьтесь! Муж дома... он вас выслушает... сделает все, что можно, он мне обещал.

«Какова?!» — Горгоньскнй серднто прикусил ус. От его именн обещано: «выслушает», «сделает»! Ну... посмотрим! Пора показать, кто хозяин в доме. Кончилось мнндальничанье!

Прямой, как аршнн проглотнл, он вышел в переднюю. С холодным презреннем взглянул иа испуганное, умоляющее лнцо Светлаковой, слегка наклонил голову, кннул замороженным голосом: «Прошу!» — и пропустил ее впередн себя в кабинет.

На пороге остановился н, не глядя на жену, сказал тоном вежлнвого, но строгого главы дома:

— Распоряднсь, пусть прнготовят ванну.

И плотно запер дверь.

Предлагая Светлаковой сесть, Горгоньскнй мельком взглянул на нее: на скулах горячечные пятна, глаза красные от слез, губы дрожат, но одета старушенция безупречно — в корсете, в черном шелковом платье, золотая брошь у ворота.

— Чем могу служнть?

— Я говорнла этому ангелу... Ваша супруга, господнн Горгоньскнй,— ангел-утешнтель! Я бы не посмела...

Он грубо прервал:

— Вы прншли говорить о сыне, о нем н говорнте. Мне, откровенно говоря, даже любопытно: что можно сказать в защнту крамольннка? Говорите же!

— В защнту? Я прншла проснть... милостн, господнн Горгоньский, велнкодушня... Я не верю, что сын... но даже, еслн это так,— она, умоляя, подняла дрожащие рукн с кольцамн на худых шершавых пальцах,— если он в чем вcase... пощаднте!.. Он уже кашляет... он совсем исчахнет в тюрь... в тюрьме! — Тороплнво отерев слезы, старушка продолжала: — Может быть, и вам господь пошлет сынка...

— Пошлет? — снова прервал Горгоньскнй.— Что же,

воспитаю его верным слугой отечества. А буде он нарушит священный долг, я первый скажу: собаке собачья смерть!

— Илюше смерть грозит?

Прошептав эти слова, Светлакова пожелтела и бессильно поникла в кресле.

— Меру наказания определит суд. Вероятно, его ожидает крепость или ссылка... А вы на что рассчитывали? Не плачьте, сударыня! От души вам сочувствую, но должен сказать, что ваш сын сам сковал себе кандалы. Кого винить ему? Только себя и вас.

— Меня? В чем? В том, что растила их... трудом... иголкой...

— Вы видите плоды дурного воспитания и спрашиваете, в чем виноваты. Вы со мной хитрите, сударыня, вы хитрая женщина, может быть, вы сами революционерка?— неуклюже пошутил он.

Светлакова с минуту пытливо глядела на него, потом резко поднялась с места. Горгоньский тоже встал.

— Не буду больше задерживать вас, господин Горгоньский... Извините. Желаю вам всего... всего... что вы заслуживаете,— говорила она с любезной улыбкой и с мстительным блеском в прищуренных глазах.— Прошу об одном — не говорите сыну, что я к вам обращалась. Илюша — хороший сын, почтительный сын... но он не одобрит меня.

— Не говорить ему? — весело удивился Горгоньский.— У нас с ним разговор пойдет на темы более интересные.

Мать содрогнулась. Вспомнились ей глухие отголоски о том, как «допрашивают» политических. Любовь, боль, тревога — все это нахлынуло волной и чуть не бросило ее к ногам Горгоньского. Но Светлакова сдержалась и быстрой нервной походкой вышла из кабинета.

XVII

Пока Роман был на свободе, он не представлял, что значит лишиться ее.

Уже в жандармском управлении, где арестованных держали с вечера до утра, Роман дошел чуть не до бешенства от невозможности действовать, от сознания бессилия.

Он отгонял мысль об Анфисе, о матери... но не мог подавить тревогу о типографии. Когда открывалась дверь и вводили нового арестованного, он боялся увидеть Пашу Ческидова,— ведь это значило бы, что станок и касса в лапах жандармов!

Арестованных было много, но знакомых лиц Роман пока не встречал. Но вот в комнату ввели Орлова и Рысьева. Орлов шел спокойно, четким шагом, высокомерно подняв голову. Рысьев, бледный от ярости, пробежал в угол, сел и стал обкусывать ногти.

Дверь еще раз открылась. Втолкнули Илью.

Роман чуть не бросился к нему... но, помня правила конспирации, сдержался и ни словом, ни взглядом не выдал, что знает Орлова, Рысьева, Светлакова. Среди незнакомых людей мог быть — и, наверное, был — шпик.

Илья пошатнулся и почти упал на стул. Он часто кашлял и старался плотнее закутаться в свое ветхое пальто. Тяжело и быстро дышал. Лицо воспалилось, губы запеклись, и он беспрерывно облизывал их — хотел пить.

Роман поглядел-поглядел и начал барабанить в дверь:

— Эй, жандармы! Несите воды сюда!

Грубый голос из-за двери ответил:

— Ма-а-лчать! Здесь тебе не гостиница!

Орлов сказал Роману строго:

— Больше выдержки, товарищ!

— Да я не для себя... вон для него... видите, больной?

— Вижу. Товарищи, освободим стулья, уложим его.

В полубреду Илья все же понял, что говорят о нем, и отрицательно покачал головой. На этот слабый протест никто не обратил внимания. Составили в ряд стулья, уложили, укрыли Илью. Он заснул.

На рассвете арестованных повезли в тюрьму. За отправкой наблюдал сам Горгоньский. Увидев, что Илью ведут под руки, проговорил насмешливо:

— Наклюкался или труса празднует?

— Болен!— резко ответил Орлов.— Вы что, пьяного от больного не отличаете? Извольте его в госпиталь отправить!

— Там в тюрьме разберутся куда,— равнодушно сказал Горгоньский.

Временами Роману казалось, что он видит дурной сон. Все было какое-то ненастоящее — и черные кони, и бледные лица, и мундиры жандармов в синем предутреннем свете. Странно отдавалось в ушах бряцание шашек, звякание сбруи. Романа втолкнули в мрак тюремной кареты. Он чувствовал, что их везут и карета кренится на поворотах. Это тоже было как во сне.

Потом он с отвращением вдохнул воздух тюрьмы — запах промозглого погреба, смешанный с запахом керосинового чада, услышал лязг дверей, гул шагов в пустом коридоре.

Вслед за Орловым и Рысьевым, поддерживая Илью, Роман вошел в камеру, где на деревянных топчанах спали пять человек.

Все они проснулись и молча выжидали, когда уйдут конвоиры. Едва закрылась дверь, невысокий курчавый брюнет в белой рубашке спрыгнул с топчана. В утренних сумерках Роман не сразу узнал его. Это был товарищ Андрей!

Андрей надел пенсне в черной оправе, сделал знак молчать, стал прислушиваться к удаляющимся шагам. Прислушиваясь, он вопросительно глядел на Орлова. Тот ответил ему глазами: «Со мной люди надежные... свои!» — и они крепко пожали друг другу руки.

Роман так обрадовался, что на время забыл обо всем. Он широко улыбнулся:

— Здорово, товарищ Андрей!

— А,— быстро обернулся тот,— старый знакомый. Здравствуйте, товарищ! Позвольте... а что это с Ильей? Илья, вы слышите меня? Что с вами? Ложитесь на мою койку.

Илья взглянул на него и снова закрыл глаза. Его уложили.

— Большой провал?— спросил Андрей Орлова.

— Большой. Вся областная конференция.

— На месте?

— Нет, на квартирах.

— Всех?

— Приезжих, мне кажется, всех.

— Значит, кто-то получил адреса! У кого они были?

— У меня были адреса,— сердито сказал Рысьев,— были у меня в течение одной ночи. Утром раздал их на явочные квартиры.

— Вы в семье живете?

— Один. На квартире.

— Дверь на ночь запираете?

— Не запираю я дверь, это хуже... Подозрительнее. От кого мне запирать? Хозяйка — глухая перечница, ее сын — франтишка, массажист, ни бум-бум в политике.

— Вы наивны, товарищ! — строго сказал Андрей. — Где хранились у вас адреса?

— В заднем кармане брюк, — раздраженно ответил Рысьев, — а брюки лежали на стуле у кровати, а кровать стоит в углу за печкой, а печка...

— Напрасно горячитесь, — оборвал Андрей, — обнаружить провокатора необходимо, это мы сейчас и делаем. Ваш франтишка-массажист, возможно, давным-давно следит за вами, обыскивает ваши вещи по ночам, когда вы спите. Вы крепко спите?

— Бессонницей не страдаю, — ответил Рысьев и замолчал.

— Послушайте, товарищи! — тихо заговорил Андрей. — Они постараются создать громкое дело. Надо сейчас, немедленно выработать линию поведения, подготовиться к допросам... именно сейчас... через два часа могут «подсадить» в камеру шпика. А от подготовки зависит многое... все зависит! Подумаем вместе, обсудим, как кому держаться... Им известно, кто ты, Гордей? — обратился он к Орлову.

— Знают партийную кличку Орлов, знают, что послан центром.

— Больше ничего?

— Больше ничего.

Андрей еще больше оживился.

Восторженно наблюдал за ним Роман. Вот человек! Три года... три долгих года он сидит в неволе: год предварительного, два — крепости. Говорят, участвовал в двух голодовках... замертво его выносили из карцера... А вот не сломили! По-прежнему он полон отваги и готовности бороться, любит жизнь, любит товарищей, предан народу... Вот таким и должен быть настоящий борец.

От выматывающих душу допросов, от безделья, от грубости тюремщиков, от тоски по воле, по жене пылкий Роман Ярков, наверно, заболел бы, если бы това-

рищи не научили его, как надо жить в этой страшной обстановке.

Кроме тюремного, в камере существовал свой строгий распорядок, обязательный для всех.

Утром после уборки занимались гимнастикой. Это как-то восполняло недостаток движения и даже несколько подымало настроение. В переполненной, грязной тюрьме в то время начался сыпной тиф. Оберегая товарищей, Андрей потребовал, чтобы они соблюдали правила личной гигиены... В камере поддерживалась строгая чистота. После обеда (пахнущей ржавым котлом баланды) шли гулять на тюремный двор. «Гулять» полагалось цепочкой, быстро и безостановочно шагая друг за другом. Но эти пятнадцать минут скрашивали весь день. Целую четверть часа можно было глотать свежий воздух, ненасытными глазами глядеть в небо, налитое весенней голубизной, глядеть на траву, пробившуюся вдоль каменных беленых стен. Видны были из тюремного двора и вершины распускающихся берез на кладбище, птицы, летающие над кладбищенской белой колокольней.

После прогулки Андрей говорил с бодрым напором:

— Заниматься, товарищи! Заниматься!

Занимались по восемь часов в день: четыре утром, четыре вечером.

Учился и Роман.

Андрей на второй же день после ареста Яркова, подсев к нему на нары, заговорил об этом:

— Учти, товарищ, тебя долго не выпустят из тюрьмы. Надо приспособиться к жизни здесь. Это нелегко. Если будешь просто слоняться по камере — скука заест, тоска... а это удобная почва для малодушия. Я бы советовал учиться. Но ты обдумай. Если скажешь «да», подчиняйся нашему режиму.

Говорил он строго, по-деловому, но живые его глаза ласково глядели на Яркова.

— Думать нечего, учиться я буду,— ответил тот,— только тебе, товарищ Андрей, со мной туго придется... грамота у меня небольшая, не знаю, что получится.

— Отчего же не получится, если есть желание? Для начала я научу тебя читать,— весело сказал Андрей.

Ярков даже обиделся:

— Читать я научен.

— А вот посмотрим!

Живой, легкий Андрей подбежал к своей постели, достал толстую тетрадь, показал Роману. Тетрадь до половины была мелко исписана конспектами ленинских произведений «Задачи русской социал-демократии», «Что делать?», «Шаг вперед, два шага назад» и отдельных работ Каутского и Плеханова. Андрей объяснил Роману Яркову и даже показал наглядно, как надо конспектировать прочитанное.

— Это верно, записывать я ничего не записывал, в памяти держал, что прочитано,— в раздумье сказал Роман,— но думаю, что научусь мало-помалу.

— Учиться тебе придется многому,— с воодушевлением говорил Андрей.— Подумай: ведь твоя работа в массах требует этого. Пользуйся свободным временем, вооружайся! Пусть черные силы думают, что в тюрьме ты оторван от народа... а эта твоя учеба пойдет на дело революции!

Время от времени Андрей и другие товарищи делали доклады по различным теоретическим вопросам. Позднее Роман не без основания считал, что именно в тюрьме он по-настоящему познакомился с основами марксистского учения. После докладов начинались обсуждения, споры.

Весной вышла в свет книга «Материализм и эмпириокритицизм». Эта работа Ленина прошла и сквозь тюремные стены. Андрей и Орлов читали ее вслух в течение нескольких дней. Камера горячо обсуждала каждую главу. Только Роман, не подготовленный, не понимающий философских терминов, не знающий истории философии, многого не уяснил. Он понял одно: совершилось огромной важности событие — большевики получили новое могучее оружие в идейной борьбе.

Андрей занимался с ним отдельно, по особому плану.

И он учил не только словом. Наблюдая за ним, Роман все больше понимал, что это — необыкновенный человек, высокий образец для подражания.

Ярков много раз встречал Андрея в тысяча девятьсот пятом году: на рабочих собраниях, на митингах в дни свобод, на собраниях боевой дружины. Впервые Роман услышал его, когда Андрей пришел к ним на Верхний завод. Могучий, звучный голос раскатывался по всему длинному цеху и точно переливал в души слу-

шателей глубокие чувства оратора, его боевой жар.

Так было всегда. Андрей умел вести за собою.

Романа поражало его самообладание. Андрей никогда не терялся. Мгновенно разбирался в обстановке, подмечал то, что ускользало от внимания других. После схватки с черносотенцами, например, напавшими на участников митинга, Андрей сразу понял:

— Это — урок! По вине комитета самый большой и крепкий коллектив (он имел в виду рабочих Верхнего завода) опоздал... А боевая дружина слабо подготовлена.

Вот после этого и стал встречаться с ним Роман на собраниях боевой дружины, начальником которой поставили Ивана Даурцева.

Сам храбрый, быстрый в решениях, Роман восхищался смелостью и находчивостью Андрея. Запомнился ему случай в театре на митинге. Черносотенцы, чтобы разогнать митинг, заорали: «Пожар! Пожар!» Андрей, заглушая эти крики, прогремел: «Никакого пожара нет! Спокойно, товарищи!» — и шепнул несколько слов Ивану Даурцеву. Боевики с веселой злостью перехватили громил, заперли их в отдаленном помещении и продержали там до окончания митинга.

Роман не был на заседании комитета, где обсуждали план вооруженного восстания, но Иван Даурцев восторженно отзывался об этом плане.

Словом, Ярков знал Андрея как вожака масс, умного и бесстрашного.

Теперь перед ним раскрывались новые черты.

Андрей, этот непреклонный боец, умел быть ласковым и заботливым. Быстро отзывался на чужое горе. Чутко улавливал настроение. То он проводил сбор в пользу такого-то, то налаживал кому-то связь с волей, то хлопотал о переводе заболевшего заключенного в больницу, писал кому-то черновики заявлений...

Умел он скрасить тюремные дни веселой шуткой. А с каким удовольствием проделывал по утрам гимнастические упражнения! От него веяло здоровой бодростью, и Роман невольно подражал ему. Ему хотелось стать таким же ловким, неунывающим.

На разные лады, по разным поводам Андрей внушал товарищам мысль: в любых условиях работать не покладая рук на дело революции.

Пасмурный день, какие на Урале называют «нерассветай». В камере так темно, что глаз едва различает строчки. Андрея нет «дома» — он ушел к соседям. Гордей Орлов, заложив руки за спину, мрачно шагает взад-вперед, издавая по временам особенное, густое: «Гм-м-м». Все молчат.

Тоска навалилась такая, что Роман бросился на постель, уткнулся в подушку. Он услышал, как лязгнула дверь, узнал четкие шаги Андрея, но не шелохнулся.

— Товарищи, от Лукияна писулька,— сказал Андрей тихим, возбужденным голосом.— Работа идет, силы растут...

— Сизифов труд!— вырвался у Рысьева злобный истерический выкрик.

Роман не знал, что значит «сизифов труд», но он понял, что Рысьев сказал что-то «поперек», отозвался о работе нехорошо. Он открыл глаза.

Андрей стоял посреди камеры. Лицо его горело возмущением.

— Рысьев, вы действительно так думаете?

Молчание.

— Говорите же.

— А что мне говорить?— ворчливо отозвался Рысьев.— Не думаю, конечно, кой черт... просто нервы сдали.

— Вы не верите, что силы революции множатся, что наши ряды растут?— с искренним удивлением заговорил Андрей.— Да вы откройте глаза...

— Ну, открываю,— окрысился Рысьев,— ну, вижу,— он обвел камеру глазами,— наши ряды действительно растут, скоро ни одного человека на воле не останется... небольшая подмога революции наши ряды.

— Вот что я вам скажу, Рысьев,— строго начал Андрей,— вы умный человек, вы не можете не понимать, что действительно силы революции растут. Ваши слова выразили вашу слабость... усталость, что ли... разочарование... Не так ли? Скажите честно.

— Я сказал — нервы сдали, и довольно. Никакого разочарования у меня нету. И не будет. И я еще себя покажу! Увидите!— он ударил по коленке кулаком.

— Тем лучше.— И, взглянув на Рысьева не то задумчиво, не то предостерегающе, Андрей отвернулся от него.

— Кружки новые создаются. Надо будет передать

Илье, порадовать. Роман, твоя семья здорова, все благополучно... Как по-вашему, товарищи? Я бы посоветовал Лукияну смелее выдвигать молодых — Пашу, Ирину. Все мы начинали в ранней молодости.

И Андрей начал вспоминать свои первые шаги. Рассказывал он живо, интересно, то с глубоким чувством, то с искристым юмором.

— Хо-хо-хо,— развеселился Орлов.— А вот со мной тоже было...

И он в свою очередь вспомнил о молодости.

Разговор стал общим, настроение поднялось. Только Роман сидел на нарах, понурившись. Его мучили тяжелые мысли.

После вечерних занятий все, кроме Андрея, улеглись. Он принялся переводить стихи Гейне с немецкого и долго сидел, изредка заглядывая в словарь. Наконец оторвался от книги и только тут заметил устремленный на него взгляд Романа.

— Ты сегодня что-то не в себе, а?— шепнул, приблизившись к нему.

— Не в себе,— шепотом ответил Роман и сел на нарах.— Растужился, понимаешь, о жене...— Его бледные щеки слабо окрасились, и он заспешил:— Ты не подумай, я не о том, что, мол, жена... что нету ее со мной...

Андрей с глубоким пониманием пристально глядел на Яркова и молчал.

— Я о том, что вот женился, завязал ей голову... а сам по тюрьмам. Не надо было мне жениться.

— Она... не сочувствует тебе?— мягко спросил Андрей.

— Она-то? Да она за мной в огонь и в воду пойдет,— убежденно зашептал Роман.— Но она не знала... Арестовать меня пришли, а она знать ничего не знает.

— Почему же ты не доверился ей?

— Да первое время она все тянула меня в сторону буржуазии. Тесть платинешку нашел, так вот, мол, будем жить на тятины денежки. Ну, я и не смел. Меня-то бы она не выдала... а вот не говорил... Может, я маху дал в этом деле?

— Думаю, что действительно ты ошибся, Роман. Надо было воспитывать ее, делиться мыслями, а то, что же за жизнь — мыслями врозь? Великое счастье — жена друг, товарищ по работе.

— А твоя жена где теперь?

— В тюрьме.

— Ой! Ну, прости, я не знал, разбередил...

— Нет, ты не разбередил,— тихо сказал Андрей, и лицо его озарилось.— Не горюй,— продолжал он,— у вас вся жизнь впереди. Ты сам рассказывал, какая она у тебя работящая, смелая, умная. В чем же дело? Не сомневаюсь, поймет тебя, пойдет за тобой. Вместе будете работать.

— Кабы этак-то...— и, не зная, как выразить свои чувства, он до боли крепко сжал руку Андрея.

Однажды в обеденный час Роман стоял у стены, глядя в зарешеченное окно под потолком, в котором видно было только вершину березы да клочок неба. Он слышал, как повернулся в замке ключ, как отворилась дверь. Это один из «уголовщиков» (так здесь называли заключенных по уголовным делам) принес обед. Вдруг прогудел знакомый, родной голос:

— Кушайте-ко на доброе здоровье!

Голос этот точно пронзил Романа. В ушах зашумело, сердце затрепыхалось. Роман бросился к старику:

— Папаша!

— То-то, сынок,— сказал дрожащим голосом Ефрем Никитич,— от сумы да от тюрьмы... Вот где бог привел встретиться... Я-то хоть безвинно стражду, а ты-то...

— А он за народное дело,— сказал Орлов.

— Фиса здорова?— порывисто спрашивал Роман.— Ходит к тебе? А мама? Как они живут?

— Здоровы все... Ходят ко мне... Живут небойко... Вот передам от тебя поклон, может, повеселеет... Ох, горе наше горькое.

Роман, пораженный, смотрел на длинную грязную шею тестя,— она вся сморщилась, как у глубокого старика. В остриженных волосах белела проседь.

— Как ты постарел, папаша!

— И тебя горе не покрасило, милый сын... но ты моложе... Что станем делать?— горестно спрашивал старик.— Меня-то скоро сулятся выпустить «за бездоказанность», а тебя, знать-то, крепко заперли... Ну, ладно, горе горевать — не куска лишаться, ты бы поел, а то проговоришь со мной, останешься без обеда.

— Мне с тобой повидаться — лучше всякой еды! Мне кусок в горло не лезет!— говорил Роман, глядя в

глаза тестю.— Увидишь Фису, скажи, что я... кланяйся ей, маме от меня кланяйся, мамаше, тетке Дуне, дяде Паше Ческидову, всем, всем...

Дверь открылась, надзиратель сказал:

— Съели свои разносолы? Бери котел, Самоуков!

Свидание кончилось. «Как во сне привиделся!» — подумал Роман.

На другой день после этой встречи он испытал новое потрясение — прощание с Андреем.

Срок заключения кончился, а в городе Андрею жить запретили. Прямо из тюрьмы его должны были доставить на вокзал, отправить на родину, в Поволжье.

Все в камере радовались за Андрея: выйдет на свободу, снова будет работать в подполье, встретится с женой... Вот он еще тут, среди них... Крепко жмет руку, глядя живыми, горячими глазами тебе в душу... Вот взял мешок с вещами, идет быстрой походкой к двери...

— До встречи, товарищи!

И дверь за ним захлопнулась. Шаги и голоса глуше... дальше... Где-то в отдалении лязгнула еще одна дверь...

Тишина. Молчание. И вдруг... расправив плечи, раскинув руки, Орлов сделал несколько крупных шагов по камере и —

Ожил я, волю почу-у-я! —

раскатился под сводами его глубокий окающий бас.

— «Славный корабль — омулевая бочка!» — резко и быстро проговорил Рысьев, весь ощетинившись и указывая на отвратительную бадью в углу.— Что вы дразните? Что вы... чему обрадовались?

Весело, ярко блеснули белые зубы Орлова при взгляде на «корабль»,— любил он крепкую шутку и не однажды раздавался в камере его раскатистый хохот... но гневные слова Рысьева поразили его.

— Экой злой?— от души удивился Орлов.— Во-первых, я не дразню никого, глупо так думать... Разве у вас не бывало, что вдруг воссияет мысль: «День за днем — ближе к воле!» И даже почувствуешь: это будет! Обязательно! Скоро!

— Ничего у меня не «воссияет»,— огрызнулся Рысьев, невольно передразнивая округлый жест Орлова.— Что же «во-вторых»?

— Во-вторых?.. Это, верно, вы мою привычку подде-
ли, пересмешник вы! Во-вторых, когда глядел я на эти листочки,— он кивнул на окно,— вспомнил один свой побег. Вот в такую же весну... с этапа... Ах, здорово получилось! Как по нотам! И вот я уже далеко, иду по лесу... голодный, вольный! Кругом березы... листки молодые светятся, блестят, как мокрые... зелено кругом... Раскинул я руки да как гряну: «Ожил я, волю почуя!» — вольно, широко стало на душе! Хорошо!

Он помолчал.

— В вас много хороших задатков, Рысьев,— сказал Орлов, поглаживая иссиня-черную щетину, отросшую на щеках,— умница вы, колючий, злой... только одна беда — запутались в разногласиях...

Они заспорили. Роман сидел молча и мысленно следил за Андреем: вот он вышел из тюрьмы, вот едет на вокзал, садится в вагон... Потом воспоминание о доме, об Анфисе стало мучить его. Вспомнил лиственницу в огороде. Она зеленее, нежнее, краше березы! Тяжело стало ему. Он спросил:

— Товарищ Орлов, у вас свободна та книжечка? Можно почитать?

Книжечка, о которой говорил Роман, была шестнадцатым выпуском сборника «Знание» с повестью Горького «Мать».

До своего заключения Роман почти не читал художественной литературы. Времени ему на это не хватало... да и книги, которые приносила Анфиса из общедоступной библиотеки,— романы Шпильгагена, Вернера, Дубровской — ему не нравились. Он начал читать «Мать» лишь потому, что Андрей восторженно отозвался о ней.

Повесть захватила его с первых же страниц, с описания рабочей слободки. Как все это было ему знакомо! Читая о парнях, которые по праздникам являлись домой поздно «с разбитыми лицами, злорадно хвастаясь нанесенными товарищам ударами», он ясно видел перед собой Степку Ерохина. Образ угрюмого слесаря Михаила Власова слился в его представлении с обликом покойного Ческидова — Пашиного отца...

Книга заставляла его думать, учила понимать людей. Когда Павел Власов сказал, что революционную работу он ставит выше личных чувств, любви, перед

Романом точно раскрылась душа Ильи... Вместе с Павлом Власовым рос и сам Роман. Он много раз перечитал речь Павла на суде. Почти наизусть заучил ее. Ночью, лежа с закрытыми глазами, мысленно произносил эту речь — с пылом, с гневом, с воодушевлением.

— На третий ряд читаю,— говорил он с широкой улыбкой,— на третий ряд читаю, а за живое берет! Вот это — книга!

Через несколько дней страшная весть пронеслась из камеры в камеру: Ивана Даурцева, Натана и Моисея присудили к смертной казни.

Смертников держали строго. К ним не допускали уголовных для уборки камеры, их не водили на прогулку.

А слухи просачивались неуловимыми путями... Говорили, что товарищи держатся твердо. Однажды утром все заговорили о том, что казнь совершится этой ночью. Непривычная, настороженная тишина стояла в этот день в тюрьме.

«Только одно бы сказать Ване: не беспокойся за Володьку, за Наталью, не оставим! — терзался Роман, мыкаясь по камере.— Да неужели и записку нельзя передать?..»

Рысьев и Орлов молчали.

Медленно-медленно тянулся этот мучительный день. Наконец смерклось. В камерах под потолком зажглись мутные лампы.

Тюрьма затаилась. Ни разговоров, ни песен... Все знали, что до полуночи казнить не будут, но невольно каждый прислушивался: не загремят ли двери, не зазвенят ли кандалы... Муку ожидания переносили не одни осужденные.

Ровно в полночь послышался отдаленный лязг двери, топот. И разом все камеры ожили: заключенные начали стучать в двери, закричали:

— Ведут! Ведут! Прощайте, товарищи!

— Месть палачам! Месть палачам! — кричал кто-то в соседней камере.

Осужденные отвечали. Глубоким басом крикнул «Прощайте!» Иван Даурцев. Нервно выкрикивает Натан: «Товарищи, завещаем вам наше дело!»

Надзиратели бегали по коридору, приказывали молчать, закрывали волчки.

Роман, прильнув к глазку, увидел, как из-за поворота, окруженные конвоирами, вышли осужденные. Навеки запомнилось бледное, решительное лицо Ивана Даурцева в рамке черной бороды и волос. Роман вцепился в решетку.

— Ваня! Володьку не бросим... Наталью...

— Знаю. Спасибо.

— Ваня!..

Но тут волчок захлопнулся.

Роман кинулся к окну.

Он готов был лезть, цепляясь за неровности стены. Орлов остановил его. Подтащили стол. На стол поставили табурет. Роман подтянулся к решетке.

Несколько невыносимых минут — и замелькали во дворе огоньки, блеснули обнаженные шашки.

— Моисей! Моисей! — послышался с верхнего этажа обрывающийся голос.— Прощай!

— Прощай,— откликнулся Моисей,— передавай привет... там...

— Ваня, что сказать Володьке? Ваня!

— Натан! Натан!

— Молчать! — кричали надзиратели в коридоре.— В карцер захотели? Молчать!

— Молчать! — кричала стража во дворе.

На минутку раскрылась дверь тюремной канцелярии — светлый четырехугольник вырезался во тьме. Осужденные и конвоиры вошли. Дверь закрылась. Все умолкло. Стало так тихо, что явственно слышен был шелест кладбищенских берез.

Наконец дверь канцелярии открылась. Осужденных повели на задворки, куда тюрьма выходила глухой стеной. В свете ручных фонарей опять сверкнули шашки, блеснул золоченый крест в руке, высунувшейся из широкого рукава.

— Володьке скажи...— звучно начал Иван, но точно захлебнулся: по-видимому, ему зажали рот. Видна была какая-то суматоха, возня... Прыгающий луч упал на чьи-то связанные за спиной руки. Конвой сомкнулся теснее.

— Понял! Передам! — кричал Роман.

Голос его заглушили другие голоса.

Сначала они звучали разрозненно, потом слились... и вся тюрьма запела «Вы жертвою пали».

Роман оттолкнулся от решетки и упал бы, если бы не Орлов.

XVIII

О провале Ирина узнала от Полищука.

Он встретил ее по дороге в школу рано утром. «Наверно, только мы с вами и остались, провал грандиозный... Если есть у вас документы, литература — немедленно сожгите!»

— А Илья Михайлович?

— Забрали.

Ирина молча приняла удар.

«Не так-то уж они близки!» — подумал Полищук.

Кое-как провела она два урока, распустила ребят и побежала к Светлаковой. Та уже знала о несчастье, у нее ночью побывал сосед Ильи.

— Главное — болен,— тихо, чтобы не расслышали мастерицы, говорила старушка.— Он не переживет!.. И Мишенькина свадьба может расстроиться... Такой позор!.. Горе...

Она собиралась хлопотать об Илье через свою заказчицу — жену Горгоньского. Ирина неодобрительно заметила, что Илья был бы против этого и что «он не примет милости из рук врага», но старушка твердила свое.

От Светлаковой Ирина пошла, сама не зная куда. Холодно, пусто, бесприютно было ей. «Лучше бы меня арестовали...» Ее мучило, как жажда, желание действовать, бороться. «Нет, не может быть, чтобы вся организация провалилась, не может этого быть! Но где, как искать связи?»

И тут Ирина вспомнила о Романе Яркове: она не раз бывала у него по поручению Ильи.

Увидев нечесаную, с обезумевшими глазами Анфису, девушка поняла, что и Роман арестован.

Анфиса с судорожной силой обняла ее.

— То обидно,— говорила она, всхлипывая,— зачем он таился так долго, зачем не говорил, что он — политика? Я выходила за него, в голове своей держала:

куда иголка, туда и нитка — одна нам дорога в жизни... Ох, Романушко, сил моих нету никаких... никаких моих сил больше нету!

— А сил много нам с тобой, доченька, понадобится,— сказала тихо свекровь.— Теперь мы с тобой сами большие, сами маленьки. Тешить сердце слезами-то вроде и нельзя. Надо думать, как Ромаше пособить, а о своем горе уж не станем думать-то.

— Как ему пособишь? — прорыдала Анфиса.

— А вот и надо рассудить, как. Опустим руки-то, нам с неба ничего не свалится... а что мы ему в тюрьму-то понесем? Сухую корку!

Мало-помалу Анфиса затихла, и Ирина спросила, нельзя ли позвать к Ярковым товарища Романа — «круглолицый, румяный, улыбается все... кажется, Пашей зовут».

Анфиса виновато опустила голову.

— Он приходил... да я его выгнала... под запал... Нашло на меня, что это, мол, Пашутка сманил его в политику. Я и к вам вылетела не с добром, да увидела, что вы вся в большой перемене — и оттаяла. У вас тоже взяли кого?

Ирина молча наклонила голову.

— Наверно, Давыда-то?

— Не спрашивай, Фисунька,— тихо сказала свекровь,— лучше сходи за Пашей... да прощения у него не забудь попросить. Подумай! Он тоже, поди, живет под этаким страхом... а ты его... Нехорошо.

Паша пришел. Ирина ждала его в не прибранной после обыска малухе.

Без обычной улыбки он поздоровался с ней, и девушка в первый раз заметила, какие у него тяжелые надбровья и решительный взгляд.

— Я скажу Лукияну, повидаетесь с ним, уж он даст вам работу! — сказал Паша.

— Кто это — Лукиян?

— А председателем-то был на собрании, помните?

Они поговорили о провале техники. Паша предполагал, что «технику вынюхал» Степка Ерохин — сосед Романа.

— Я его с малых лет знаю: дрянь человечишко!... Я думал — у нас дома можно будет наладить технику, но теперь сомневаюсь... Степка, пес, опять выдаст.

На другой день Ирина встретилась с Лукияном. Он долго говорил с нею, проверил знания и поручил вести кружок на механическом заводе.

— Хорошо, что аресты вглубь не пошли, остались ячейки на заводах. Теперь, товарищ Ирина, надо нам, оставшимся, сеять, сеять ленинские искорки да пополнять ряды новыми борцами!

— Но одного кружка мало! Поймите, я большого дела хочу!

Он мягко улыбнулся:

— Работы хватит, дорогой товарищ. Было бы хотенье.

Действительно, жаловаться на недостаток работы не пришлось.

Работая, и отдыхая, и ложась спать, Ирина не переставала думать об Илье.

Свиданий с подследственными не разрешали. Через Лукияна Ирина узнала, что Илья болел воспалением легких, потом — плевритом. Одно время жизнь его была в опасности. В эти страшные дни она приходила домой только ночевать, так ей опостылело там. Совсем уйти из дома Лукиян не советовал:

— Уйдете — заработают языки... начнут любопытные люди дознаваться, что, да как, да почему... к вам присматриваться будут. А сейчас не время привлекать к себе внимание.

Изредка Ирина навещала семью Яркова и все больше сближалась с молчаливой матерью Романа и с порывистой Анфисой. Через две недели после ареста мужа Анфиса нашла временную работу — поступила уборщицей на спичечную фабрику. Страшное это было место... но выбирать не приходилось: на плечах Анфисы — две старухи и двое заключенных, которые без сытных передач просто «замереть» могут. Помогала, сколько могла, сестра Фекла, но этого не хватало. Однажды Паша Ческидов принес деньги, собранные потихоньку среди рабочих для семьи Романа. Анфиса денег брать не хотела.

— Мы не нищие! Своими руками зароблю сколько надо.

Но свекровь твердо сказала:

— Не козырься, Фисунька! Перед кем свою рысь показываешь? Перед миром? Неладно это. Не буржуй

тебе подал, а рабочий люд трудовую копейку. Бери да кланяйся!

Анфнса взяла и долго сидела, задумавшись и вздыхая.

— Мужнкн-рабочие вон как дружно жнвут... А мы, бабы, отчего это все спорим да спорим?

Прндя с фабрнки, она рассказывала дома, как там трудно, вредно для здоровья, как там все между собой вздорят, как мастер «кого схочет, к себе волочет для утехн».

— Дуня вышла ночью от него нз конторкн, глаза до утра не просыхалн, стыдно на нас глядеть... Я ей говорю: «Зачем поддалась? Плюнула бы ему в рыло-то!» А Даша Ннконова как на меня поднимется: «Бойка ты очень! Без году неделя, а нас судишь! Как это Дуня бы не поддалась? Да ведь он ее сразу бы выгнал. А куда Дуне деваться? Она снрота!» Вот я н думаю, мамаша, нам, бабам, еще тяжелее, чем мужнкам. Политнкн правнльно говорят. Была бы я мужнком — сама пошла бы на политнку.

В фомино воскресенье, первое после пасхн, Ирина пришла к Ярковым, чтобы передать Анфисе небольшую пачку лнстовок.

— Романушко не повернл бы, кабы кто ему сказал, что я тоже втянулась в это дело,— сказала Анфнса со вздохом, пряча лнстовкн.— Ты, Ирнша, не знаешь, как во мне все перевернулось за это время. И не страшусь я ннчего, хоть сейчас режь меня, н даже радость берет, когда листовкн эти туда-сюда растолкаешь н смотришь, кто их возьмет. Вот, мол, знайте нашнх!.. И что я тебе скажу, Ирнша: бабы их потнхоньку одна другой передают — ни одна мастеру не сказала! Вечор Даша Поле Логнновой говорит: «Повндаться бы с этнми людьми, поговорить бы... может, н про нашу пренсподню напнсалн бы!» — «С кем?» — спрашнваю. Но онн только друг на дружку взглянулн вот так и — молчок. Ну н я молчу, будто дело не мое.

— Фиса, дорогая, будь осторожнее!

Онн замолчали: вошла Анфиснна мать.

— Скучно... в празднику тоскливее, чем в будни,— начала она,— ннчего в праздники делать нельзя. Вот я кружево начала плестн, а сегодня не плету — грех! В разгулку бы сходнть — устарела!

Она поглядела по сторонам — на новые обои, на цветущие герани, потрогала филейную скатерть на столе.

— Чисто убрана горенка, хорошохонько... а не веселит! Вы бы, девки-матушки, хоть в поле сходили. У нас вон в Ключах через неделю, в будущее воскресенье, все бабы в лес пойдут, одни, без мужиков. То воскресенье — жены-мироносицы, бабий праздник: пой, гуляй, пляши... и мужики ни гу-гу! Такой обычай.

Когда старушка вышла, Ирина предложила встретиться с работницами спичечной фабрики в лесу. Условились, что Анфиса пригласит прогуляться надежных женщин в Мещанский лес к урочищу Каменное Городище. А Ирина выйдет из лесу и присоединится к ним.

— Фиса, виду не подавай, что знаешь меня. Помни, пусть будет случайная встреча!

Хорошо было в лесу в день жен-мироносиц!

Кто не знает соснового леса, тому кажется, что сосны никогда не меняются, всегда они одинаковы. Это не так. В разное время года сосновый лес выглядит по-разному.

Весной ветки украшены пестиками, похожими на зеленые свечи, покрытые серебристыми иголками, и крупняками, состоящими из круглых зерен. Прозрачно-желтые чешуйки слоистой коры кажутся масляннстыми, теплыми. Ветки, которые зимой опускались под тяжестью снега, теперь распрямились, тянутся к солнцу, и на их зеленую хвою льется голубой свет с неба. Зелень пробивается сквозь слой игл у подножия сосен. Мохнатые кремовые подснежники уже отцвели. Им на смену пришли сине-алые медуники. Тянется ввысь крепкий крапчатый стебель — скоро зацветет лилия-саранка. А вокруг «башен» Каменного Городища широкой волной курчавится и румянится шиповник всех оттенков — от бело-розового до густо-малинового.

По обомшелым плитам, точно набросанным как попало друг на друга, Ирина поднялась на башню со впадиной, похожей на выдолбленную чашу. Ржавая хвоя устилала эту чашу. По бокам из трещин высовывались травинки, бледная зелень заячьей капусты, узорчатые листки полыни.

С высоты башни видно было озеро на юго-востоке, на берегу его горбились валуны — следы древнего ледника. На западе виднелся город: кресты, купола, сады...

Ирина знала от Ильи, что в тысяча девятьсот пятом

году у Каменного Городища проходили массовки, здесь выступал Андрей... Вспомнив об этом, девушка невольно стала всматриваться в глубину леса, точно ожидала увидеть невысокую, слегка сутулую фигуру Ильи... Потом села на край чаши и замечталась.

Вскоре услышала она заунывную песню. Пение приближалось. Замелькали между стволов разноцветные платья. Фиса громко сказала:

— Вот тут и обогнездимся!

Ирина не спешила спускаться с башни.

Женщины сбегали за водой к ключику, набрали хворосту, развели костер, повесили чайник и сели в кружок на лужайке. Вдруг одна из них сказала, понизив голос:

— Ой, девушки, на Городище-то барышня! Черненькая... давайте уйдемте!

— Еще чего? — сказала Анфиса.— Мы пришли гуртом, а она одна. Не будем мы место уступать. Хочешь — сиди, а мешаем — уходи.

Ирина перегнулась через гранитный барьер.

— А можно мне с вами посидеть? — спросила она застенчиво и ласково.

И, не дожидаясь ответа, спустилась, прыгая с плиты на плиту.

Девушка очень волновалась, но вид у нее был спокойный.

— Какие бледные! — невольно вскрикнула Ирина, вглядевшись в их молодые, но уже увядшие лица.

— Хлебни-ко из нашего горшка нашей-то солоной каши, деушка, как мы, позеленеешь,— отвечали ей.

— А вы на какой работе?

— Спичечницы мы...

Слово за словом пошел разговор. Девушки стали рассказывать о своей работе, жаловались, что вот вянет молодость и не заметишь, как она пройдет.

— Но, если будете только горевать и плакать, все и останется, как сейчас... Ваши сестры или дочки из того же горшка хлебнут,— заговорила Ирина.— А надо так сделать, чтобы таким горшкам не быть на свете!

Никогда она еще не говорила с таким жаром. Вначале следила за собой, старалась выражаться проще, понятнее, потом и следить перестала. Понимали ее женщины. Понимали и доверчиво ловили каждое слово.

— Мы — бабы, что мы можем в политике, кто нас послушает? — после молчания заговорила печальная девушка в синем платье.— Вот поговорили, ровно в окошечко поглядели на светлую жизнь... Поглядели, и захлопнулось оно... и все!

— Нет, не все! — пылко сказала Ирина.— Если захотите, я буду приходить к вам, будем книжки читать, газеты, учиться жить... бороться. Прийти?

— Приходите! Приходите! Мы никому не скажем! Никто не узнает! — раздались голоса.

Условились, что летом, через два воскресенья на третье, будут встречаться здесь, а зимой подыщут себе место.

Белые в траурной рамке листовки о казни Ивана Даурцева и его товарищей появились на всех предприятиях Перевала. Когда представлялась возможность, рабочие расклеивали их по стенам цехов, по заборам, забрасывали в инструментальные ящики. Верные, надежные люди увезли эти листовки в Лысогорск, в другие заводские селения, в деревню.

Текст составил Лукиян. На гектографе работали Мария и Ирина.

Однажды поздним вечером, закончив свою работу и спрятав «технику», Мария сказала:

— Сходим к Наталье?

Несколько раз они пытались зайти к вдове Даурцева, но это им не удавалось: родные не оставляли Наталью даже ночью.

На этот раз, заглянув с завалинки в окошко, Мария увидела, что вдова сидит одна, подперев руками голову, уставив глаза на огонек ночника. Володьки не видно было, должно быть, мальчуган заснул.

— Можно,— тихо сказала Мария, выйдя из палисадника. Осторожно, не брякнув щеколдой, она открыла калитку, пропустила Ирину вперед.

В мраке крытого двора ощупью пробрались к крыльцу. Дверь была не заперта. Они вошли.

— Кто это? — спросила Наталья неприветливо и с усилием поднялась с места.

Она была такая же рослая и статная, как Мария.

— Кто это? — повторила она, мрачно вглядываясь.—

Никак Манюшка Добрынина? Ты чего это по ночам ходишь?

— Комитет нам поручил...

— Какой это комитет? Не знаю никакого комитета.

— Подпольный комитет... Наташа... милая...

— Подпольный... ну, садитесь, поговорим,— сказала Наталья.

Все уселись: хозяйка и Мария к столу, Ирина — на скамейку.

— Подпольный! — повторила Наталья.— Ты, значит, в политику пошла... А зачем? Живешь со своим барином во всяком удовольствии...

— С барином?!

— А как ино? Все ж таки он — техник, у начальства на хорошем счету.

— Сережа как был рабочим, так и остался,— с пылом сказала Мария,— так и думает по-рабочему. А я сама и сейчас работаю на фабрике!

— Сергей-то твой... тоже в политике?

Мария не ответила.

— Нет, видно. Ну, и не давай ему встревать, — заговорила Наталья, подперев рукой свою темно-русую голову. — И сама брось это дело. Добра от него не будет.

— Наталья!

— Дура ты, Манюшка! Смотри на мою судьбу и казнись.

— Никогда!

— А вот останешься одна — не то запоешь!

— То запою! — ответила Мария быстро, страстно. — Хоть на части меня рви!

Ирина сидела молча.

Нищетой и горем дышала просторная изба, срубленная для большого семейства, изба, где теперь остались только Наталья с Володькой. «Невелик мальчуган!» — думала Ирина, глядя на раскинувшегося на кровати Володьку.

— Так чего же ты хочешь? — говорила напористо Мария.— Ты хочешь, чтобы рабочие смирились? На колени перед буржуями встали? Чтобы рабочее движение остановилось?..

— И так все запало.

— Нет, не запало! Народ соединяется, готовится... Или ты хочешь, чтобы и твой Володька в рабстве жил?

— Не хочу, чтобы ему петлю на шею надели, как отцу.

С тяжелым упреком, без колебаний, без раздумья Мария сказала:

— Не думала я, что ты...

— Ну, что я? Что?

— Что Ивану изменишь...

— Я!!! — крикнула Наталья. — Это кто — я изменю? Да кабы не Володька... может, я на осинке бы болталась...

И припала к столу.

Володька вскочил с кровати. Озираясь спросонок, поддернул штанишки и бросился к матери. Теребя ее за руку, заговорил нетерпеливо плачущим голосом:

— Опять ревешь?.. Не реви-и!

Мальчик сердито взглянул на Марию круглыми глазами в пушистых ресницах:

— Кто ее расхвилил? Ты?

Лицо у мальчика было умное и смелое не по летам. Мария спросила:

— Володя! Сказать тебе папкины последние слова?

Круглые глаза налились слезами, но продолжали глядеть на Марию сердитым спрашивающим взглядом:

— Папкины?.. А ты почем знаешь?

— Товарищи передавали... которые в тюрьме сидят.

Наталья подняла голову.

— Кому он говорил? Какие слова?

Сдерживая дыхание, она ждала. Мария начала рассказывать. Она уже не глядела на Володьку и обращалась к Наталье. Та сидела с неподвижным, измученным лицом. Вдруг из глаз покатилась одна капля, вторая, и слезы все быстрее и быстрее побежали по щекам. Наталья не замечала. Володька стоял со сжатыми кулаками и весь дрожал.

Мария достала листовку:

— Вот тут все сказано.

Наталья бережно взяла шершавую бумажку, разгладила ее, медленно начала разбирать:

— «То...това...рищи! Но...новым... зло... дея...нием...» Нет, — с тоской сказала она, — мала моя грамота! На, читай, Володька!

— «Товарищи! Новым злодеянием запятнал себя царизм. Новую тяжелую утрату потерпел рабочий

класс...» — начал мальчик громким напряженным голосом. Закончив чтение, он всхлипнул и сказал: — Вот вырасту, дак... — и погрозил кому-то загорелым исцарапанным кулаком.

Потрясенная Наталья молчала.

— Теперь, Наташа, о тебе поговорим, — сказала тихо Мария. — Комитет велел нам узнать, в чем вы нуждаетесь и какая нужна помощь.

— Ничего не надо, пока я роблю. Спасибо.

— Ты на свечном?

Наталья кивнула. После паузы заговорила медленно:

— Я думала: все, мол, задавили, уничтожили... Они, мол, как последышки, убиты... Думала: пошел на смерть мой... никто его не проводил, не оплакал. А вся тюрьма переживала! И теперь не я одна переживаю, а... прости, ради Христа, Манюшка, я тебя мужем попрекнула! Это я от великого горя... Спасибо скажи комитету. А ты смотри у меня, — погрозила Наталья сыну, — молчок! Никому не пикни! Этого не читал, их не видал. На улке встретишь — не здоровайся! Ты их знать не знаешь.

— Что я, маленький? — с обидой ответил Володька. — Меня тогда полиция спрашивала... мне тогда восемь было, а разве я сказал? Я ведь не сказал, что папка к нам ходит!

XIX

Следствие тянулось всю весну и лето. Очень хотелось Горгоньскому создать громкое дело — послать «крамольников» на каторгу... Не вышло.

Что ты станешь делать хотя бы с Ярковым, если он твердо стоит на одном: знать не знает никакой типографии! Все эти линейки, бабашки (он нарочно говорил: «балаболки») и прочее куплено с рук на толкучке у пропойцы за дешевку, — думал, пригодится, так как решил научиться паять, лудить, слесарничать. Жженая бумага? Кто его знает, может, старые обои сожгли. Типографская краска? Ска-а-жите! А он думал, клей такой!

Отвечает явно издевательски, но его не собьешь. И карцер не помогает. Отсидит, придет с ввалившимися щеками, а все улыбается и несет свою чушь.

Светлаков сказал только одну-единственную фразу:

«Отвечать отказываюсь» — и превратился в глухонемого.

После допроса Мироносицкого следователь вынужден бывает пить бром. В печенки въелся он следователю.

А об Орлове так и не удалось ничего узнать, хотя карточки с него были посланы во многие города.

Словом, сколько ни бились, кроме ссылки, ничего не вышло. И ссылка «пустячная»: от года до пяти. Только Яркова приговорили к тюремному заключению.

Перед отправкой разрешили свидание с родными. На свидание выводили поочередно — камеру за камерой.

К назначенному часу пришли мать и жена Яркова, какой-то тщедушный рыженький попик с копной мелких кудрей и жиденькой бородкой, сквозь которую просвечивал розовый подбородок.

Пришли Светлакова и Ирина Албычева. Чтобы получить разрешение на свидание, девушка назвалась невестой Ильи.

Посетителей провели в большую комнату со скамьями вдоль пыльных стен, с ободранным грязным полом. Сквозь зарешеченные, рябые от дождя окна видны были полуголые вершины кладбищенских берез.

Ссыльных вводили поодиночке.

Первым вошел Роман Ярков и сразу попал в объятия родных.

За ним вбежал Валерьян Мироносицкий. Вбежал с таким возбужденным и радостным лицом, точно ждал встретить счастье. Увидев рыжего попика, он разом помрачнел, заложил руки в карманы и резко спросил:

— Это зачем?

— Меня послал к тебе владыка, — ответил попик.

— Чей владыка? Не понимаю.

— Преосвященный Вениамин.

— Странно! Мы с ним не знакомы.

— Валерьян! Владыка надеется, что тебя тронет его забота о твоей душе...

— Вот балда!

—... и мои слезы и мольбы.

— Слезы? А где ваша луковица, родитель?

Попик изобразил на своем остреньком личике недоумение.

— Ваши же псалмодеры говорят: «Выйдет с пропо-

ведью, а в платочке луковка. Надо пустить слезу — понюхает!»

С такими злыми и забавными ужимками произнес это Рысьев, что надзиратель, стоящий у двери, не выдержал, фыркнул и кашлем заглушил смех. Чтобы исправить оплошность, он сказал:

— Будешь комедьянничать, обратно в камеру!

— Ах, пожалуйста! — повернулся на каблуках Рысьев. — Это самое лучшее в данный момент. Что вы ждали от меня, родитель? Ничем вы меня не тронете, не удивите, видал я всякие ваши штучки... Довольно...

Ирина слышала только отдельные слова из этой «родственной» беседы.

Едва Рысьев произнес: «Это зачем?» — вошел Илья.

Он был худ, страшно бледен, но спокойно и ласково улыбался. Твердыми широкими шагами подошел к матери, обнял. Ирина ждала, не дышала... Он обернулся к ней с протянутыми руками. Естественным, живым движением девушка закинула руки ему на шею и припала к плечу. Ни слова они не сказали друг другу. Илья дрожащими горячими губами поцеловал ее в лоб.

Потом они втроем сели на скамью.

Мучительно хотелось Ирине рассказать ему, что жива организация, снова растут ее ряды. Но как об этом скажешь при надзирателе?

Она сказала:

— Наши все здоровы, все хорошо... Есть прибавление семейства.

Илья понял. Сильно сжал ее руку.

— Ты будешь мне писать, Илья? — спросила Ирина, всю силу любви вложив в слово «ты».

Илья ответил ей долгим взглядом.

— Может быть, Ирочка поедет к тебе, Илья? — спросила мать.

— Нет! — ответили враз Илья и Ирина и враз засмеялись от счастья, ощутив душевную крепкую связь. Светлакова глядела с недоумением: не понимала, что, по их мнению, Ирина должна остаться здесь, где она может быть более полезна для общего дела.

Но вот свидание кончилось.

Последнее объятие, поцелуй в губы — и девушка вышла вслед за Светлаковой.

Тихо они пошли домой мимо раскрытых настежь

кладбищенских ворот. У паперти стоял пустой катафалк. Из церкви слышалось: «...гоиителя фараоиа видя потопляема...» Лил дождь. На песчаных потемиевших дорожках лежали мокрые листья берез. На надгробных плитах скопились лужицы. Пихтовые ветки, по которым везли покойника, утонули в грязи.

Выехала тюремная карета и покатилась по направлению к вокзалу: «Может быть, это его увозят?» — подумала Ириа.

Но оиа не испытывала вязкой тоски, которой напитан был этот ненастный деиь. Девушка чувствовала счастливую уверенность и особенный прилив сил.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

«Сережа! Приходи, друг, к тете! Жду. Гордей».

Все так и всколыхнулось в Чекареве, когда он прочел эту записку: Гордей Орлов на воле, здесь!..

— Я заглянула в почтовый ящик, вижу — газета и письмо... без штемпеля... и почерк знакомый! — возбужденно говорила Мария. — Иди, иди! Сейчас же иди, Сережа! Он, наверно, без денег, без всего!

Она подала мужу высокие сапоги, помогла надеть брезентовый «непромокай», ласково и нетерпеливо подтолкнула Сергея к выходу.

Выйдя, Чекарев оглянулся по сторонам.

Народу на улице не было, даже скамеечки у ворот и те пустовали.

В такую непогоду только необходимость выгонит на перевальские улицы, особенно на те, которые лежат в низине. Сюда с каменистых холмов стекают в ненастье бесчисленные ручьи. Улицы превращаются в болото.

Чекарев добрался до Главного проспекта, перепачкавшись до колен.

Центральные улицы тоже были безлюдны. Пройдет человек с зонтом или в макинтоше — и снова пусто на каменных тротуарах. Напрасно зажигается буква за буквой над дверью кинематографа «Р...о...н...а...», — сегодня в «Роне» мало зрителей.

В пивнушке крики, звон посуды. Вот дверь распахнулась, и чье-то тело плюхнулось в лужу. Городовой лениво, нехотя идет на шум скандала...

Кончилась вечерня... Три старухи вышли из церкви и, спустившись с паперти, подобрали черные юбки, пошли осторожно, как кошки, переступая с камешка на камешек.

Чекарев зорко вглядывался в эту привычную картину: нет ли слежки, не привязался ли к нему «хвост»...

Он шел по направлению к станции Перевал.

Скоро показалось приземистое вытянутое здание вокзала, послышались свистки маневровых паровозов и лязг буферов. Чекарев пересек три болотистых улицы

Мальковки — первую, вторую, третью — и хотел уже повернуть налево, туда, где за длинным горбатым мостом жила «тетя» — старая большевичка, работница ткацкой фабрики... как вдруг он заметил подозрительную фигуру в пальто до пят, в бесформенной шляпе, с тоненькой тросточкой в руке.

«Шпик!» — подумал Чекарев и замедлил шаги, не зная еще, пройти ли мимо или сделать большой крюк.

Шпион то выглядывал в переулок, то прятался за угол. Заметив Чекарева, он выпрямился и направился в переулок, ведущий к мосту.

На середине моста спиной к перилам стоял человек в черном плаще и в капюшоне, похожем на башлык. В те годы многие носили плащи без рукавов. Они надевались на плечи, застегивались под подбородком на бронзовую пряжку. Человек этот сделал нетерпеливый жест, и Чекарев узнал Гордея Орлова.

Гордей отделился от перил и решительным шагом направился навстречу шпиону. Сапоги гулко застучали по настилу моста.

Шпион остановился.

Орлов пошел быстрее... еще быстрее... и вдруг побежал бегом. Он несся прямо на шпиона, размахивая руками. Плащ полоскался на ветру, хлопал и свистел, как черные крылья. В рамке капюшона видны были резкие черты, сложенные в свирепую гримасу, горящие глаза Гордея.

— Я тебя! — гремел он, налетая на шпиона.

Тот поднял было тросточку... но миг — и трость эта, описав в воздухе дугу, нырнула в реку.

Шпион пустился наутек. Он пролетел мимо Чекарева, втянув голову в плечи, отчаянно работая коленями и локтями. Орлов гнался за ним по пятам. Не изменяя выражения лица, он моргнул одним глазом Чекареву и кивком головы велел ему идти дальше. Просвистел плащ, пробултыхали по лужам сапоги, и Чекарев остался один.

Приостановился, посмотрел вслед, как это сделал бы любой случайный прохожий, и неторопливо поднялся на мост. Об Орлове он не беспокоился: ни в переулке между огородными изгородями, ни в пустынных Мальковках полицейских не было. А жители... Шпион отлично сознавал, на чьей стороне жители этих улиц, — ра-

бочие железной дороги и паровой мельницы. Он даже «караул» не закричал.

«Тети» дома не оказалось. На двери висел замок. Чекарев сел во дворе под навесом и стал ждать.

Скоро в распрекрасном настроении появился Орлов.

— Ах, здорово я его гнал! Ах, любо! — говорил он, крепко пожимая руку Чекарева. Поймал, встряхнул: «Не сметь за мной ходить!» Ну, он и задал стрекача!

Чекарев спросил, почему Гордей не дождался его у «тети».

— Да я и не был еще у нее, — сразу помрачнел Орлов. — Явка-то у вас провалилась!

— Так нечего здесь сидеть и ждать, — сказал Чекарев, — пойдем к нам!

Перелезая в сумраке ненастного вечера из огорода в огород, друзья выбрались на отдаленную улицу и через поселок Верхнего завода возвратились в Перевал. На каланче било десять часов, когда они добрались до дома.

Только тот, у кого нет своего угла, постоянного жилья, чья жизнь полна опасностей, лишений, неожиданностей, может испытать полное, глубокое наслаждение передышками, когда радость встречи с друзьями, связанными с тобой общностью дела, сливается с физическим ощущением тепла, сытости, покоя, безопасности.

Орлов не ел с утра, продрог, устал. С великим удовольствием он выпил стопку водки, наелся горячих щей, напился чаю, закурил.

Пока он ел, велся тот отрывистый разговор, какой ведется после долгой разлуки:

— Рысьев приехал из ссылки!

— Добре! А Роман? Илья?

— Скоро будут дома... Где Андрей?

— Опять в ссылке!

— А Софья?

— Софья моя за границей в партийной школе, в Лонжюмо.

— Почему думаешь, Гордей, что явка провалилась?

— На этой явке я хвост заполучил!

Утром с вокзала Гордей отправился на явочную

квартиру к часовщику Афонину. «Часовщик» ему сразу не понравился: пустился в расспросы — раз; старался удержать подольше у себя — два! И третье — навязывался в провожатые. А тут еще женщина мелькнула в дверях — бледная, расстроенная, с прижатым к губам пальцем. Мальчишеский звонкий голос запел: «Зеленая веточка, ты куда плывешь, берегись несчастная, в море потонешь!»... Тревожно, нехорошо стало Орлову в этой квартире. Выйдя, он увидел, как с завалинки противоположного дома поднялся шпик и пошел за ним. Пришлось водить его по улицам, не подавая виду, что заметил слежку. Зашел в трактир, спросил пива, написал записку. Шпик не входил в трактир, но мог узнать через полового о записке. Проходя мимо почты, Орлов опустил в ящик пустой конверт. Повел шпика мимо дома Бариновой. У ворот поскользнулся, ухватился за скобу и незаметно сунул в щель письмо...

— Налить еще чаю? Да вы пейте, грейтесь, — упрашивала Мария, — не хотите? Тогда полежите, отдохните! О делах — потом! Ночь-то ведь долгая! А вы просто отдохните, полежите, снимите пиджак, сапоги.

Орлов не чинился. Снял пиджак, разулся, расстегнул ворот и с наслаждением вытянулся на чистой постели.

Чекарев подсел к нему. Мария вышла в кухню мыть посуду.

— В прошлом году Андрей побывал здесь, — начал рассказывать Чекарев. — Приехал в августе, из Нарымского края бежал. Сразу вник в работу, очень мы с им хорошо побеседовали. Так счастливо совпало, встретился здесь Андрей с женой. Мы помогли им уехать. Поехали они через Мохов... оттуда на пароходе должны были отправиться до Казани, потом — в Москву. Приезжал из Петербурга товарищ, рассказывал, что в Москве они связей не нашли, поехали в Питер. Андрей включился в работу. Борется за издание партийной газеты, готовит народ к тому дню, когда Дума будет обсуждать проект об отмене смертной казни.

— Это все старые новости, — сказал Гордей, — у меня — посвежее. В прошлом году в ноябре Андрея арестовали, провокатор выдал. Забрали и его жену. Андрей долго сидел в предварилке, все хотели состряпать «дело». Но улик — ни при нем, ни в квартире — никаких! Ни тинь-тили-линь! Ни синь пороха! Пришлось

ограничиться ссылкой. Дали Нарым... Ему там встречу какую устроили: все ссыльные собрались. Ох, и закипела работушка, завихрилась... Не по дням, по часам — библиотека, кооператив, касса взаимопомощи — все это, как грибы, росло. Партийную школу открыли, наладили связь с другими колониями ссыльных. Но... — Гордей помрачнел, — в прошлом месяце его отправили в гиблое место — в Максимкин Яр. Губернатор перетрусил. Неделю Андрей в каталажке просидел. Товарищи предлагали устроить побег, — отказался.

— Отказался?

— Да. Сейчас ссыльные в Нарыме хоть маленькой свободой, да пользуются, а после такого дела им не поздоровилось бы. Вот почему отказался... А как он будет жить в том гиблом месте, страшно подумать.

— Откуда ты все это знаешь, Гордей?

— На днях встретился с Семеном. Он как раз из Нарыма приехал.

— Бежал?

— Нет, срок вышел.

Они помолчали.

— Ты что, Гордей, из Якутии прилетел?

— Эка! — усмехнулся Орлов. — Да я там и не бывал! Два года назад с этапа махнул!

— Да ты рассказывай! — попросил Сергей.

— А и верно, расскажу! — Орлов живо перевернулся на бок, подмял подушку под локоть. — Люблю вспоминать такие штуки! Весело делается, хорошо!

Гордей бежал вечером, когда на тайгу внезапно налетел вихрь.

— Ехали на перекладных... Ось сломалась... Буря... Конвоиры перетрусили, орут: «Шагай! Шагай!» Им только одно: добраться поскорее до села. Я и махнул в тайгу! Решил идти не назад, а вперед, обойти сторонкой село. Думаю: что бог даст! Хороший человек встретится — поможет мне, дурной — выдаст. Но мне повезло: натакался в темноте на заимку... Ах, какие встречи бывают! Век не забудешь, — тихо закончил Орлов и, точно отмахнувшись от воспоминаний, спрыгнул с кровати, застегнул ворот, уселся к столу. — Хватит побасенок! Делом займемся, товарищи, делом! Мария! Довольно вам там чистоту наводить!.. Давайте расскажите мне, товарищи, как работаете, что думаете о положении на-

ших партийных дел, какое настроение у рабочей массы. Все выкладывайте!

— В общем положении мы понемногу разбираемся, — медленно начал Чекарев. — Вот недавно получили два документа: извещение об июньском совещании и резолюции второй парижской группы. Собирались, обсуждали... Да постой-ка, мы сегодня письмо от Романа из тюрьмы получили...

— О письме — потом.

— Нет, нет! Ты выслушай. Это тоже к делу относится, раз о настроении спрашиваешь.! Вот...

Чекарев достал из кармана письмо — клочок бумаги, свернутый в трубочку, — медленно прочел:

— «Товарищ Лукиян! Спасибо за материал. Мы проработали. Мнение у нас такое: примиренцы — это буржуйские прихвостни. Голосовцы, впередовцы, Троцкий — какого черта они на партийные должности лезут. К чертовой матери! Пора дать им по загривку, очистить партию от них. Обеими руками голосуем со второй парижской группой».

— Сказано по-рабочему, попросту. Но ты видишь, каково настроение? — спросил Чекарев, кончив читать.— У основной части настроение именно такое: к чертовой матери ликвидаторов, каких бы мастей они ни были! Собирать наши силы, «идти в бой за РСДРП, очищенную от проводников буржуазного влияния на пролетариат», как призывает товарищ Ленин. Таково настроение. А о делах тебе секретарь комитета расскажет, — и Чекарев указал глазами на Марию, которая сидела, положив круглые руки на стол. — Выросла, — сказал Чекарев с невольной гордостью, — вот ее недавно избрали секретарем! — и он положил широкую ладонь на голову жены.

Медленным застенчивым движением Мария высвободила голову, отвела руку мужа. Орлов ласково глядел на нее — такую женственную, милую, точно созданную для тихих радостей семьи. Что-то юное, чистое виделось ему в овале ее лица, в складе румяных губ. Только властная посадка головы и серьезный синий взгляд говорили об ее воле и уме.

— Слушаю вас, товарищ Мария! — сказал Орлов. — Прежде всего скажите о составе организации... Что, здесь рабочие преобладают или?..

— Рабочие. Из интеллигенции сейчас у нас Ирина Албычева и Рысьев только... Из рабочих выросли хорошие пропагандисты, организаторы...

— А численность как?

— Силы... значительные! — подумав, ответила Мария. — Группы на всех предприятиях. В каждой мастерской, магазине, больнице — связи. Летом восстановили городской комитет... Учимся... Все это — с большими трудностями, — охранка-то ведь не спит! Нынче было несколько забастовок... Самые значительные на Верхнем заводе и в Лысогорске...

Из проекта Охлопкова — давать шестьсот листов за шесть часов работы — ничего не вышло. С четырех смен каталей перевели на три восьмичасовых, а потом объявили, что вводится двухсменная двенадцатичасовая работа.

Листопрокатный цех забастовал.

К нему вскоре присоединились рабочие электростанции, которым снизили заработную плату... дальше — рабочие других цехов, и вскоре встал весь завод.

— Держались товарищи больше двух месяцев, — рассказывала Мария, — только голод вынудил их стать на работу... Вот кабы мы могли денежную помощь дать, другое было бы дело... В Лысогорске забастовкой тоже руководил партийный комитет, и тоже долго держались. На Урале партийные силы растут, товарищ Гордей! — заключила она с глубоким убеждением.

— Я к вам со специальным заданием приехал, — торжественно объявил Орлов, помолчав, — наладить подготовку к общепартийной конференции! Силы у вас есть, работа идет, значит, можно будет послать делегата?

— Можно. Делегата пошлем! — ответили враз Мария и Чекарев.

— Учтите, товарищи, — переводя суровый взгляд с одного на другого, сказал Орлов, — подготовиться надо основательно, все формальности соблюсти, вплоть до... Есть у вас печать?

— Мастичная, — ответила Мария.

— Резолюция, мандат — все должно быть оформлено как следует... чтобы нельзя было забраковать эти документы! Помните! Охотники найдутся, будут трепать

языком, что-де нет нормы представительства или что документы липовые. В ЗОК[1] засели примиренцы... Обстановка очень сложная!

В два часа ночи у Чекаревых улеглись наконец спать: мужчины на кровать, Мария на кушетку. Убаюкивая, мерно, неустанно стучал дождь по крыше, слышалось усыпляющее «тик-так» часов-ходиков. Но Марии не спалось. Она лежала с открытыми глазами. Временами ей казалось, что уже начинает светать. Услышав, как раскашлялся Орлов, она позвала тихим голосом:

— Товарищ Гордей!

— Что? — откликнулся тот, разом собравшись весь, готовый вскочить, если надвинулась опасность. — Что вы? Я ничего не слышу!

— Нет, ничего... Мне показалось, вы не спите... Удобно вам?

— Спрашиваете! Лежу, как богдыхан, каждая косточка нежится!

Мария помолчала.

— Значит, вы нас свяжете с Крупской?

— Сказал: свяжу! Спите... А то Лукияна разбудим и заведем разговор до утра.

— Сережа и так не спит... Верно, Сережа?

— Не сплю. Но надо спать, дай покой товарищу Гордею.

— Это правда, — со вздохом сожаления сказала Мария. — Только еще один вопрос. Вы уверены, что мы конспекты получим?

— Получите. Без сомнения.

— Подумать! Ленинские лекции!.. А где сейчас товарищ Серго?

— Серго где-нибудь на Кавказе... или в Киеве... в Ростове, может быть, орудует.

— Я подумала: вот бы они все собрались — Ленин, Серго, наш Андрей, вот бы...

— Придет время!.. Да вы спите, Маруся! Завтра дела у нас закрутятся... Надо со свежей головой. Не думайте сейчас ни о чем. Спите.

— Да уж очень не хочется, — сказала Мария и разом заснула, как ребенок.

---

[1] ЗОК — Заграничная организационная комиссия.

II

Комитет послал Валерьяна Рысьева в Лысогорский завод провести подготовку к конференции. В эти дни все, кто мог, не возбуждая подозрений, отлучиться из Перевала, выехали в города и на заводы Урала. Рысьев, страховой агент, не сидел в конторе, и ему легко было уехать на день, на два.

Поезд в Лысогорский завод уходил вечером, и Рысьев, уладив с утра неотложные дела, пошел домой, чтобы отдохнуть перед поездкой. А главное — хотелось ему побыть одному, подумать, решить кое-какие вопросы.

Он уже подходил к дому, когда его окликнул Вадим Солодковский.

Рысьев слышал, что Вадим исключен из университета, выслан в Перевал, живет у дяди и нигде не работает... а встретиться им еще не пришлось.

И вот он перед Рысьевым — длинный, жилистый, очкастый, с нагловатым некрасивым лицом, с разболтанными движениями.

— Куда несешься, Валерьян?

— Домой. А ты куда?

— К тебе.

Рысьев не постеснялся бы отделаться от него, но вдруг нестерпимо захотелось ему поговорить об Августе, разузнать об ее житье-бытье.

— Ну что ж... пошли! — буркнул Рысьев.

— Знаешь, Валерьян, купил бы ты пивка! А?

Рысьев быстро взглянул на Вадима:

— А своего «купила» нету?

— Нету, — с вызовом ответил Вадим, — ма тант отказала: на нее иногда находит «исправительное» настроение.

— Чего же не работаешь, никуда не привинтился?

— По дядюшкиной протекции не хочу, а без протекции поднадзорного не берут.

Рысьев купил пива и повел гостя к себе.

Он снимал комнату в небольшом домике мещанки Глаголевой.

Дом оказался на запоре. Рысьев пошарил рукой под крыльцом, достал ключ, и они вошли.

Войдя в комнату, Вадим невольно улыбнулся, — очень уж не соответствовала обстановка характеру

жильца. Цветочные горшки обтянуты были розовой гофрированной бумагой, тюлевые шторки, разделенные на два полотнища, подхвачены у подоконников розовыми лентами. Мягкое креслице в полотняном чехле стояло у окна. На стене красовалась полукружием гирлянда бумажных роз, обрамляя открытки с портретами актеров и актрис, с рождественским серебристым пейзажем и «лесной сказкой».

Вадим ткнул Рысьева кулаком под бок.

— Ты здесь живешь? Или хозяйка? Или оба вместе? Как ты можешь в такой безвкусной бомбоньерке? Батюшки! Фонарь висит! Розаны стоят!

— А не все равно? — огрызнулся Рысьев.— Хоть черта поставь или повесь, мне не мешает... Сядь, Вадька, не слоняйся... мотается по комнате!.. Еще разобьешь какую-нибудь штуковину! — Рысьев сходил в соседнюю комнату, принес стаканы.— Садись. Пей. Рассказывай, как живешь.

— Живу — теткин хлеб жую,— начал было развязно Вадим, но как-то разом осекся и заговорил вновь уже другим, серьезным тоном.

Он рассказал Рысьеву, как его исключили в числе других студентов — членов нелегального кружка, как тяжело ему дома без дела, без перспективы, как несносен ему весь «этот мерзкий порядок»... Постепенно разжигаясь, юноша скоро пришел в ярость. Потом заплакал, закрыв лицо длинными пальцами.

— Умоляю, если можешь, если связи не утратил, введи меня в организацию! Взорвать к черту весь этот строй! Предамся делу с головой! Валерьян! Помоги!

Сжавшись в низком креслице, Рысьев пытливо наблюдал за ним.

— В подполье с такими нервами делать нечего,— сказал он.— В подполье хочешь работать, а истерики закатываешь! Нечего тебе там делать... да и связей у меня не осталось!

— Нервы! Послушай, Валя, пойми, что я только так сейчас, выбился из колеи — поэтому. Клянусь чем хочешь — буду стоек, спокоен. Ты думаешь — от меня вред делу революции будет? Да?

— Вреда не будет, да и пользы столько же.

— Ну, слушай, Валя, ну, договоримся: если я в чем провинюсь — убей меня?

— Дурак ты, Вадька!

— Нет,— все больше загораясь, убеждал Вадим,— у тебя моя записка будет: «В смерти моей» и так далее...

— Брось фокусничать, пей.

— Ты не веришь, что я честный человек?

— Положим... верю... И что дальше, «честный чилаэк»?

— Не отталкивай меня,— трагическим голосом продолжал Вадим,— ты вот передразниваешь меня, как злой мальчишка, в душу не хочешь заглянуть, а я на грани...—Он всхлипнул без слез.— Валя, ты не любишь сантиментов, но ты — верный друг!.. Прошу тебя, когда меня не будет...

— Никуда ты не деваешься!

— Заботься о моей сестре, как о своей!

Он снова закрылся пальцами, просунул их под очки.

Угрюмо слушал его Рысьев, сжавшись в комок в креслице. Угрюмо спросил:

— Почему это мне такое... поручение?

— Ты один, Валя, любишь Августу!

— Уж и «любишь»! — фыркнул Рысьев.— Да если бы так... какое мне дело до Христовой невесты? Пусть о монашке другие монашки заботятся. Им это от безделья даже интересно.

— Она не монахиня,— сказал Вадим,— да никогда и не примет пострига, она мне сама сказала. Мне кажется, ей надоело там... Да ты что?

Рысьев не вскочил, не двинулся с места, но лицо его выразило дикую, почти свирепую радость. Он побледнел, а волосы его словно запылали ярче.

— Хватит об этом,— сказал он, прислушиваясь,— вон и хозяюшка моя катит. Пей пиво, убирайся, мне некогда! — И, услышав шаги хозяйки, продолжал своим обычным резким голосом: — Люблю студенческую вольницу! Ах, и жили мы в Томске! Погуляно было!

Прищелкивая пальцами и притопывая, он запел своим резким тенором:

За то монахи в рай пошли,
Что пили все крамбамбули,
Крам-бам-бим-бамбули,
Крамбамбули!

За стеной послышался смешок.

— Дать вам гитару, Валерьян Степаныч? — спросил сладкий голосок.

Тогда всех женщин черт возьми! —

продолжал Рысьев.

Я буду пить крамбамбули.
Крам-бам-бим-бамбули,
Крамбамбули!

Баракановая портьера распахнулась, вошла с гитарой в руках жеманная полногрудая женщина, угодливо улыбаясь всем своим глуповатым лицом.

Как-то странно осклабившись, Вадим вскочил с места, учтиво наклонил голову и окинул вдовушку быстрым блудливым взглядом. «Э, да ты бабник!» — подумал Рысьев и сказал с насмешливым добродушием:

— Заставьте-ка его, Ефросинья Васильевна, песни петь! Превеликий мастер! Да забрали бы вы его в свои апартаменты! Некогда мне, а он не уходит.

— Может, им со мной неинтересно будет,— жеманилась Глаголева,— им моя компания не понравится!

— Понравится,— с веселым пренебрежением ответил Рысьев, подталкивая Вадима к двери, и, не обращая больше на них внимания, стал собираться в путь.

Несколько раз повторив мысленно адрес явки, разорвал записку намелко. Пересмотрел тщательно бумаги в письменном столе и в своем бумажнике. Он стал осторожен.

Вадим между тем запел своим бархатным голосом, которому тщетно старался придать оттенок сдержанной удали:

В гареме нежится султан... да султан,
Ему блестящий жребий дан, жребий дан:
Он может женщин всех любить...
Ах, если б мне султаном быть!

Рысьев нахлобучил фуражку, захватил с собой плащ на случай дождя, помахал рукой хозяйке, прощаясь, и запер за собой дверь. Пробегая под окнами, он услышал заключительные слова песни:

В объятьях ты, в руке стакан,
И вот я папа и султан!

«Ну и помогай вам бог!» — насмешливо подумал Рысьев.

До отхода поезда оставалось еще часа два, и Рысьев спешил не на вокзал. Ноги сами несли его к женскому монастырю.

Монастырь стоял в черте города, к юго-западу от центра, за белокаменной, словно тюремной, стеной с приземистой башенкой над входом.

Над стеной, из-за столетних раскидистых берез видны были лишь купола пятиглавой церкви: огромный полусферический в центре и на равном расстоянии от него четыре «луковки».

Звонили ко всенощной, и сестра-привратница даже не спросила Рысьева, зачем и к кому он идет,— приняла за богомольца. Сняв фуражку, он прошел по сводчатому каменному помещению монастырских «врат».

Рысьева поразила особенная тишина, в которой со странной настойчивостью раздавались удары колокола.

Монахини в клобуках, с которых спускался до земли черный тюль, послушницы в бархатных куколях, красиво оттеняющих их бело-розовые лица, выходили из корпусов беззвучными шагами. Не глядя по сторонам, не разговаривая друг с другом, подходили к паперти, крестились, кланялись и исчезали в церковном полумраке.

Желая видеть Августу, но остаться незамеченным, Рысьев прошел на кладбище и остановился у первого попавшегося памятника — грубо изваянного ангела. Выглядывая из-за этой фигуры, он ждал. У него началась нервная дрожь.

Августы все не было.

«Может, одна из первых в церковь забралась, а я, как дурак, стою жду...» И он уже решил подняться на паперть, как вдруг неясный шорох заставил его оглянуться. По песчаной дорожке кладбища медленно шла Августа в одеянии послушницы. Он хотел броситься к ней — и не посмел!

Худая, желтая, безучастная ко всему, она шла с опущенными глазами. Рысьев заметил, как глубоко ввалились синие подглазицы, как горько сложены губы. «Ей смотреть на все это противно! — с дикой радостью подумал он.— Кончились амуры с небесным женихом! Кончились!»

Августа подняла глаза.

Пусть бы она испугалась, отшатнулась... Но нет. Ав-

густа взглянула на него с неудовольствием, слегка наклонила голову и прошла мимо.

Измученный, злой прибежал Рысьев на вокзал: «И что я к ней приболел? Что в ней? Драная кошка, истеричка! Ефросинья — и та больше женщина, человек, чем эта кукла... Пусть себе богоблудствует, какое мне дело?..» Но он знал, что никогда не отступится от Августы, дождется своего часа.

Не скоро успокоился Рысьев, отогнал от себя образ Августы. Но вот он встряхнулся, оглядел вагонных своих соседей и понял, что везет «хвостика».

Хвост этот — прыщеватый, верткий юноша — не навязывался ему, не лез в разговор, но все время держал его в поле зрения. Стоило выйти на платформу промежуточной станции, юноша выходил на площадку вагона, чтобы успеть соскочить, если Рысьев тут останется.

И поиздевался же над ним Рысьев! То подойдет к железнодорожнику на платформе, то к какому-нибудь фланирующему пассажиру — заговорит тихо, оглядываясь по сторонам... и наслаждается мучениями шпика, который изловчается и не может подслушать, о чем идет речь. А то сделает вид, что решил остаться здесь, выйдет через вокзал к подъезду и стоит... Раздается второй звонок, и Рысьев знает, что шпик готовится соскочить со ступенек вагона... третий звонок... свисток... Шпик на платформе... а Рысьев бегом бежит вдоль поезда, уже набирающего скорость, и вскакивает на площадку.

На последних станциях Рысьев не выходил из вагона.

В Лысогорске Рысьев убедился, что шпик не отстает от него. «На явку нельзя! — подумал он.— Что ж... поеду в гости к родителю!»

Старое горное гнездо — селение Лысогорский завод — подковой охватило западный, северный и восточный берега огромного пруда, широко раскинулось по берегам реки Ерзовки.

С Лысой горы над прудом, а еще лучше — с каланчи на горе — ясно видны прихотливые очертания этого крупного селения. У подножия в низине, за плотиной, дымил черный, прокопченный старинный железный завод, принадлежащий потомку русского мастера, итальянскому князю, Сан-Бенито.

Над заводом на взгорье, между узким высоким серо-белым собором и домом заводоуправления с колоннами и лепным фронтоном, стояла, огражденная чугунными цепями на чугунных столбиках, литая группа: коленопреклоненная фортуна подносила дары князю Сан-Бенито. В народе считали, что это царица Екатерина «вымаливает денежки у его, у срамца».

К северо-западу от завода виднелась невысокая смугло-желтая гора, на гребне которой уцелела еще еловая бахромка. Склон горы походил на правильно расположенные гигантские ступени — это шли один за другим горизонты открытых выработок железного рудника. На этих гигантских ступенях рудовозные упряжки казались букашками.

К северу от Лысой горы стоял вздутый холм со странным названием Шея. На вершине его уселась широкая церковь, в которой находилась княжеская усыпальница. За церковью в отдалении дымил медный завод.

На юге выдавался далеко в синий пруд ярко-зеленый холмистый полуостров, с домами, садочками, огородами, сбегающими к самой воде. Ослепительно-белая церковка, казалось, перескочила сюда с литографии. Полуостров этот назывался Голяцким,— здесь жила непокрытая беднота. Люди состоятельные боялись «голяцких хулиганов».

В центре Лысогорска обосновались купцы, золотопромышленники, чиновники. Было здесь горнозаводское училище, двухклассное городское, женская гимназия, богатые магазины, богадельня, приют, больница, городской сад, кинематограф — словом, Лысогорский завод скорее походил на уездный городок, чем на заводское селение. Мягкая линия лесистых гор с кое-где вздыбившимися шиханами окружала его.

Проезжая по тихим улицам, Рысьев невольно вспоминал те радости, которые скрашивают самое безотрадное детство: лазанье по горам, купание, хождение в лес, катушку, коньки... Но, чем ближе подъезжал он к дому, тем больше хотелось ему избежать встречи с отцом. Но избежать было невозможно — шпик ехал следом.

«Если бы мать была жива — другое дело! — досадовал Рысьев.— А тетка — точное подобие своего братца: снаружи кротость, тихость, благочиние, а нутро мироно-

сицкое, жесткое... волчья хватка! Замордовала, наверно, совсем девчонок... Надо было хоть конфеток им привезти!» — подумал он о сестрах; но магазины были уже заперты и купить гостинцев не пришлось.

Когда Рысьев увидел полукаменный церковный дом с закрытыми ставнями нижнего этажа,— разом всплыло все, что заставило его бежать отсюда без оглядки.

Рысьев еще раз оглянулся. Прыщеватый малый ехал следом.

Пришлось войти.

Ворота еще были не на запоре, в кухне и в кабинете отца горел свет.

Незнакомая ему кухарка испуганно остановила его: «Если вы с требой, так надо к другому батюшке, у нашего свободная неделя!» Узнав, что гость — сын отца Степана, она хотела разбудить тетку и сестер, но Рысьев не велел их тревожить...

— Дайте молока с хлебом. Постелите на диване в столовой.

— Самоварчик поставлю?

— Ничего не надо.

Со свечой в медном подсвечнике он прошел в столовую. Поел и закурил.

Через некоторое время из кабинета послышался тихий, прерывающийся от волнения голос отца:

— Ну, вот я прочел... И не понимаю: желая подкопаться под меня, зачем вы, отец Петр, притащили мне свою кляузу?

— Вот именно, чтобы не «подкапываться», а действовать прямо! — внушительно, раздельно произнес отец Петр.— Я — не тать в нощи... Говорю вам: иду на вы! — сбившись с торжественного тона, он произнес запальчиво: — Обещали не трогать кружку — и опять туда свою лапу запустили! Что же мне прикажете делать?

— У меня семья,— приниженно, скорбно сказал отец Степан.— И не жалко вам моих детей? И со спокойной душой их позором покроете?

— Это вы покры...

— Постойте, отец Петр! Не надо, голубчик! Ну, каюсь... виноват... Ну, больше не повторится... Не будем ссориться!

— Да какая тут ссора. Тут не ссора. А разоблачить вас я обязан. За сим имею кланяться...

— Пос-стойте!

Рысьев не видел отца... но, услышав тихий, свистящий голос, ясно представил его побледневшее лицо, вздрагивающий подбородок, злой взгляд.

— Что ж... подавайте свою кляузу, только как бы не покаялись потом!

— Он мне грозит!

— Худо вам будет, худо, почтеннейший, очень худо будет вам! Кошка скребет на свой хребет!

— Правильно! Вот вы, блудливый кот, и наскребли!..

— Просчитались! У меня есть заступники, какие вам и не снились, не дадут в обиду!

— Вот и это следователю доложу!

— А я отопрусь! Мы ведь один на один с вами...

— Ах-х, вы... рыжая гнида!

— Прекрасно, «гнида»! Вот об этом я следователю доложу... а вы, пожалуй, по высокой честности не откажетесь...

— Я не тебе чета,— не отопрусь!

Они разом замолчали, точно силы их иссякли в этой перепалке. Потом отец Степан сказал тихим, убеждающим тоном:

— Рассудите, неужели епархиальное начальство позволит запачкать... Кого? Настоятеля собора, протоиерея! Награжденного наперсным крестом!.. Кому позволит? Злобному попишке, который с места на место кочует, нигде не может ужиться... попу, даже камилавки не имеющему... скуфейнику! Не позволят вам меня пачкать!

— Кто вас пачкает? Вы сами себя об...ли своими поступками. Ну, я пошел.

И, не прощаясь, отец Петр вышел из кабинета, направился в переднюю, быстро сбежал с крыльца, хлопнул калиткой. Немного погодя вышел и хозяин, чтобы закрыть за ним дверь. И тут увидел сына. Отец Степан не мог скрыть неприятного удивления.

— А ты откуда взялся?

— В гости приехал... А что?

Они даже не подали руки друг другу.

— В гости? Что-то не верится мне, Валерьян. Сам знаешь: денег не дам, обрадовать мы друг друга не можем... Зачем приехал?

— Я сказал: в гости.

— Если бы ты выслушал увещевания владыки и мои...

— Раскис бы, расслюнявился, товарищей бы выдал,— вставил Рысьев.

— Ты бы сейчас имел положение и средства и родную семью — нашу и свою драгоценную Августу.

Рысьев никак не ожидал, что отцу известно об Августе.

— Кой черт! — вскинулся он.— Что Августу? Как это? Вас это не касается!

— Касается,— спокойно ответил отец Степан,— такую невесту иметь приятно. А «как» — очень просто: владыка хотел повлиять на нее и на Охлопкова...

— Вот старый сводник!

Отец Степан произнес вдруг мягким, почти слащавым тоном:

— Жалеешь теперь, что не выслушал меня тогда?

— Подите к черту! — хмуро отозвался Рысьев, и отцу показалось, что он действительно раскаивается в своем упорстве.

— Предложение и сейчас в силе,— вкрадчиво заговорил он.— Рассуди, Валя, сам: ты мне об идеалах говорить не будешь? Верно. А насчет честолюбивых помыслов — рассуди: что лучше — иметь положение, вес, деньги, жену или до седых волос слоняться поднадзорным голяком? Ты по младости лет просчитался, думал: разраз! — и республика... и ты наверху! Нет, Валя, если и будет новый образ правления, так, может, увидят его разве только внуки твоих детей!.. Если ты бросил свои заблуждения — что же? Приму тебя, как любимое чадо... тельца заколем... отпразднуем... Скажу тебе тогда: милости просим, милости просим, мой любимый сын!.. Так как? Могу я радоваться твоему приезду? Или, может, ты не ко мне приехал, а для исполнения преступных замыслов?

«Донесет, ей-богу, донесет!» — подумал Рысьев. Ясно представил он, каким убитым, плаксивым голосом скажет этот старый лис: «Душа моя скорбит, но долг повелевает мне... и я прошу: последите за моим сыном. Он приехал сюда, чтобы встретиться со здешними крамольниками».

— Утром поговорим обо всем, я спать хочу,— сказал Рысьев, думая в то же время, что ни ему отца, ни отцу его — не обмануть.

— А сам, поди, утром убежит, только его и видели! — с деланно добродушным смехом сказал отец.

«До утра убегу!» — мысленно ответил Рысьев и сказал:

— Некуда мне утром идти... разве позднее пойду пройдусь.

Когда в доме все стихло и в этой тишине послышалось носовое сонное посвистывание отца, Рысьев тихо поднялся, оделся и, не надевая штиблет, в одних носках, пробрался во двор. Через сад он выбрался на берег реки Ерзовки.

«Вышло не так уж плохо,— думал он, пробираясь на явочную квартиру. Утром родитель еще подумает, что ему делать: донести? А ему скажут: «Как же вы поздно хватились? Где вы ночью были?» А если и донесет — черт с ним! Разгуливать по заводу не буду, носу никуда не покажу! А уж на собрание пройду либо затемно, либо в каком-нибудь маскарадном виде! Нет, не так уж все плохо!»

III

Пьяный от вольного воздуха, от сознания свободы, шел Роман Ярков домой. Два с половиной года отсидел он в страшной уральской тюрьме, носящей название «Николаевские роты». Немного кружило голову — «обносило» по временам. Он боялся: не ушла бы Анфиса из дома как раз в эти часы, не встретился бы кто-нибудь из знакомых — не задержал бы его.

И вдруг нетерпеливая радость сменилась раздражением: он увидел на завалинке Степку Ерохина.

«Сидит, змей, нежится на солнышке, а я из-за него...» Он с ненавистью взглянул на Степана и прибавил ходу. Но Степан поднялся, растопырил руки, словно хотел обнять его, и сделал навстречу несколько ленивых шагов.

— Гордый стал! Идет — шапки не ломает!.. Ну, как ты, Роман, жив ли, здоров ли?

Роман руки ему не подал. Ответил мрачно:

— Позавчера умер, сегодня похороны.

— Все такой же, ей-богу, нисколько не тухнет,— рассмеялся Степка.— Видно, кому — тюрьма, а ему — мать родна... Что теперь делать-то собираешься?

— Долги платить,— многозначительно ответил Роман и сделал шаг в сторону.

Степка настороженно, злобно глянул из-под белесых бровей. «Неужто знаешь?» — прочел в его глазах Роман и ответил взглядом: «Знаю!»

Степка сказал торопливо:

— О-о! Долги платить? Тогда наперво придется тебе с Пашкой Ческидовым рассчитываться!

И он скверно ухмыльнулся.

— Ты про что?

— А про то, что он за тебя два года работает.

Степка сделал непристойный жест.

В глазах помутилось у Романа. Он оглянулся. На улице не было ни души, даже ребятишки и те сидели по домам,— время было обеденное.

Но он увидел, как в доме напротив высунулась из окна женщина и, жмурясь от солнца, жадно вслушивалась в разговор.

Роман сердито поправил заплечный мешок, сжал кулаки. Сказал с угрозой:

— Проверю! Если наврал — не обессудь, Степа, по морде получишь.

Замедляя шаг, стараясь успокоиться, охлынуть, пошел Роман к своему двору. Взвеял ветерок, тихо, сладко зашелестели рябины в палисаднике. Он взглянул на зеленую полянку, на синее чистое небо, представил себе лицо матери, Анфисы, Паши,— на сердце у него посветлело.

Осторожно, не брякнув щеколдой, он прошел во двор, неслышно пробрался мимо окон, на цыпочках поднялся на крыльцо, потянул за скобу, ступил на порог.

Мать, охнув, упала к нему на грудь.

Обнимая, Роман ужаснулся ее худобе. Лицо матери истаяло, сморщилось. Из-под платка выбились совсем седые, как у какой-то чужой старухи, волосы.

Страх охватил его.

— Все ли ладно у вас? Вы, поди, голодуете?

Мать помотала головой и снова припала к нему. Он бережно усадил ее и сам сел рядом.

— Мама, лучше сразу скажи!

— Да что говорить-то, Романушко? Все у нас подобру-поздорову.

— Анфиса как?

— Фисунька, как дочь рожоная: куска без меня не съест, не согрубит!

У Романа язык не повернулся спросить: не изменила ли?

— Ну, а с хлебом как?

— Зарабливает Фисунька, сват помогает... твои дружки-товарищи, спасибо им, не забывают. Голодом не сиживали.

— Так зачем ты, мама, так похудела? — с болью спросил он.— Зачем такая старая стала?

Старушка крепче прижалась к нему.

— А слезы-то, а бессонны-то ночи?

— Обо мне?

— О ком же, сынок? Об тебе... Сам знаешь, всяко горе в моей жизни бывало, но слез никто не видал моих! А нынче — и при людях льются. Сердце у меня все запеклось, Ромаша. Сидишь думаешь ночь-то ноченькую: с ворами посажен, как самый распоследний человек... может, голодом морят, бьют... на виселицу повели. А он у меня, как стеклышко, чистый! Эта мука меня и сокрушила. Ну, слава богу, кончилось мученье мое!

Мать выпрямила сгорбленную спину, заправила волосы под платок и как-то стыдливо вытерла слезы. Минуты слабости прошли. Перед Романом сидела старая, но все еще сильная духом женщина.

— Прошло лихо — и вспоминать не будем! — сказала она.— Только одно знаю: обиженная слеза мимо не канет. Отольется проклятым, все отольется! И в наше окошечко глянет солнышко!.. А ты, Роман, руки не опускай, на нашу бабью слабость не взирай, делай свое дело — и никаких!.. Ну, иди, сынок, к Анфисе, она в огороде лук дергает. А я самоварчик поставлю да баньку тебе истоплю!

Анфиса уже выдергала весь лук и теперь сидела под лиственницей на траве, обрезала пожелтевшее грубое луковое перо, а луковицы рассыпала на брезентовый полог, чтобы их пообсушило солнышком.

Она сидела задумчивая, но руки ее быстро делали привычное дело.

Ветер тихо шевелил нежную хвою лиственницы, траву, черные Анфисины кудри. Незнакомое Роману серое платье сливалось с серой корой лиственницы, будто Анфиса вышла, как в сказке, из этого ствола.

— Милка моя!

Анфиса поглядела на него... вскрикнула... вскочила... Топча картофельную ботву, ничего не разбирая, полетела она к Роману.

После долгой разлуки всегда присматриваешься к близкому человеку: то узнаешь его, то не узнаешь... пока черты нынешнего облика не совместятся с теми, какие ты хранил в памяти. За два с половиной года изменился и сам Роман, изменилась и его жена. Роман казался теперь вполне сложившимся мужчиной, и не только потому, что отрастил себе густую бороду... Лицо его утратило мягкость линий, а взгляд — озорной огонек. Воля и разум светились в глазах. Анфиса стала самостоятельнее, уверенно двигалась, громко говорила. Милая ее застенчивость сохранилась только в улыбке. Когда Паша и еще несколько мужчин пришли навестить Романа, она не дичилась, как раньше, разговаривала, спорила с ними.

А оставшись наедине с мужем, ответила на его ласки со всем пылом зрелой женщины.

Среди ночи Роман вдруг захотел есть. Жена зажгла ночник, принесла ломоть ржаного хлеба, луку, квасу. Закусывая, он стал рассказывать ей о встрече со Степкой Ерохиным. Роман рассказывал и поглядывал на нее, ожидая любовных уверений, нежной ласки...

Она же сказала удовлетворенно:

— О-о, вот хорошо!

— Да уж чего хорошего,— с неудовольствием отозвался муж.

— Как это «чего»? Не на политику подумал, а на это самое... ну, и наплевать.

— Фисунька, а правда ничего не было?

Ему все-таки хотелось уверений.

Анфиса взглянула на него. Глаза сверкнули так гордо и обиженно, что Роман смешался, поперхнулся, закашлялся... Прокашлявшись, притянул ее к себе.

— Ну, ладно, милка, верю... знаю... прости меня, дурака!

— Все могу простить, одно не могу,— заговорила Анфиса после долгого объятия,— от кого ты таился столько времени? От меня таился!

— Фиса, да ведь я тебя и так и сяк пытал... а ты мне

что говорила? Куда меня тянула? К буржуйской жизни! — шептал Роман на ухо жене, крепко обнимая ее.— Вот тогда какие твои взгляды были. Сама посуди, мог ли я... доверить такое дело бабьему языку?

Она враз оттолкнула его, вырвалась из объятий, вскочила с постели. В свете ночника лицо ее горело, сверкали слезы на щеках.

— Спасибо, Роман! Попомню! Это я попомню! Нечего было пытать меня, надо было прямо... Я за тебя шла — на всю жизнь тебе предалась!.. И очень ты себя считаешь грамотным, нет ты не грамотный, а ты темный, совсем как есть темный! Большевики не говорят — «бабьему языку», они нас зовут «товарищи женщины»!

Стыдно и радостно стало Роману. Он поднялся и стоял перед нею с виноватым и счастливым лицом.

— Милка моя! Фиса!

Она отталкивала его руки и продолжала гневно и горячо отчитывать. Наконец мало-помалу утихла, успокоилась. Роман привлек ее.

— Вот какая ты у меня стала,— шептал он, баюкая ее, как ребенка, и заглядывая в лицо ее, лежащее у него на плече.— Грамотная ты у меня стала... боевитая...— С нежной шутливостью он продолжал: — А ну, если ты такая грамотейка, скажи мне, к примеру, кто такие «правые»?

— А это, которые расстрелы устраивают... погромщики-то эти...

— Так. А за что, нето, их, сволочей, «правыми» зовут?

— Ясно, не за эти дела! Тогда бы их виноватыми звали... Зовут за то, что сидят они на правой стороне.

— Где сидят?

— В Думе... думаешь, и этого не знаю?.. А тебе стыдно, Ромаша! Не ты мне глаза открыл, а добрые люди.

— Ну, полно, милка, виноват!

О многом они переговорили в эту ночь. Может, и двух часов не заснули. А утром Роман встал сильный и свежий.

В этот день в Мещанском лесу было назначено собрание и Паша зашел за Романом, чтобы под видом катания на лодке выбраться незаметно из поселка. День был праздничный, удобный для массовки.

Весело переговариваясь, они вышли из двора Ярковых, как вдруг Роман остановился, нахмурился:

— Постой, Паш... забыл я...

Подошел к соседнему дому, постучал в окно.

— Эй, Степан, выйди-ка на одно слово!

— Да брось ты, да пойдем! — звал Паша, но Роман сказал:

— Погоди. Должок надо отдать.

Вышел Степан. «Чего тебе?» — хотел он сказать, но не успел. Роман размахнулся и...

— На! Получай задаток! Мало, так скажи — добавлю.

Степка отскочил, согнулся, оскалил зубы, как злая голодная кошка перед прыжком. Но, увидев, что Роман приготовился отразить наскок, сжал кулаки, утвердился на широко расставленных ногах,— Степка в драку не полез. Он только пригрозил:

— Погоди, каторжник! Попадешься на узкой дорожке!

У берега Паша и Роман повстречали рабочего Дудина. Он шел с дробовиком, но друзья знали, что направляется Дудин не на охоту, а на собрание. Видят — Накоряков с удочками, Егоров с гармошкой, будто на гулянку.

Охранка, очевидно, знала, что готовится собрание,— на берегу у лодок слонялся похожий на сову человечек. Паша сказал, что этого шпика всякий рабочий Верхнего завода знает и никого ему не поддеть! Разве только привяжется к человеку, как банный лист, помешает ему прийти на собрание.

— А вот мы его с собой прихватим! — сказал Роман.

Паша подумал, что он шутит, но Роман говорил всерьез. Он подошел к незнакомому и тоном заговорщика спросил:

— Вы тоже на сходку?

— Я? Да... хотелось бы...

— Поедем со мной, только осторожно! При этом человеке молчок!

— Разве я не понимаю! — сказал шпик, дрожа от радости, влез в лодку и, цепляясь за борта, пробрался на корму.

Отчалили.

Роман, не отвечая на вопросительные взгляды

Паши, греб себе да греб... и лодка шла не к Мещанскому лесу, а забирала все дальше на запад.

Уже скрылся за горой Верхний завод, и пруд величественно развернулся во всю ширь. Ни лодок, ни вертких батиков не встречалось здесь. В тишине слышался только скрип уключин да плеск воды. Показался вдали каменистый островок и стал расти на глазах. Роман, ловко перебирая веслами, подвел лодку к острову не носом, а кормой.

И вдруг скомандовал:

— А ну, шпик, вылазь! Приехали!

Тот замер, вцепившись в борта.

— Тебя высаживать, что ли, ваше благородие? — и Роман сделал вид, что встает.

— Кому сказано? Ну!

Человек стал вылезать, цепляясь за камни. Очутившись на берегу, он плачущим голосом закричал:

— Вы ответите за это! Вы ответите!

— Об нас не заботься,— весело сказал Роман, оттолкнувшись веслом от островка,— об себе подумай — не навтыкал бы тебе Горгоньский по загривку. Ты как свою службу исполняешь? Сова ты, сова!

И товарищи поплыли прочь от острова, где маячила одинокая фигурка.

Паша сменил на веслах Романа. Минут через сорок они втащили лодку на отмель и углубились в Мещанский лес.

Место для собрания — на берегу лесного озера, в шести верстах от Перевала,— облюбовал Чекарев во время своих охотничьих скитаний. Сосновый бор с двух сторон обступал полянку. С третьей стороны стеной стояла каменная гряда, поросшая сосняком. Заросли ольхи, черемухи, тальника, переплетенные хмелем с побуревшими шишками, защищали поляну со стороны озера. Невдалеке от каменной стены была даже естественная трибуна из обомшелых, усыпанных желтой хвоей двух каменных глыб, когда-то скатившихся с гребня на эту полянку.

Когда Роман и Паша, ответив на вопросы пикета, добрались до поляны, собрание уже началось.

На поваленном стволе, на камнях, на пеньках и прямо на траве сидело и стояло около пятидесяти человек.

Орлов говорил о тех препятствиях, которые мешали созыву общепартийной конференции в течение почти трех лет. К этим препятствиям он относил и разгул реакции, и усталость рабочего класса, и сложное внутреннее состояние партии.

— Теперь дела улучшаются, товарищи! Хотя правительство не смягчает своих репрессий, а, наоборот, за последнее время опять усиливает... Но...— он поднял руку и голосом, торжественным и звучным, продолжал: — Рабочие снова заговорили о борьбе! Летние стачки — в прошлом году, нынче — говорят об этом! Растут наши ряды. Мы научились новым способам работы. Поняли, как необходимо сочетать нелегальную работу с легальной. Стараемся руководить экономической борьбой рабочих...

Он помолчал.

— Дела улучшаются... хотя и не сломлено еще до конца сопротивление антипартийных элементов в нашей партии. Все вы знаете, как в годы реакции бывшие члены партии — особенно интеллигенты — зарылись в обывательщине или к буржуазии перебежали. Это, так сказать, дезертиры явные. А есть еще дезертиры в маске: они уже перестали быть социал-демократами... Вы понимаете, о ком я говорю?

— О ликвидаторах всех мастей! — откликнулся резкий тенор.— Пр-равильно!

Это крикнул Рысьев, высунув рыжую голову из-за рыжих ветвей мертвой сосны, на поваленном стволе которой он устроился.

— Ваши слова, товарищ Рысьев, мы принимаем как полный отказ от той линии,— сказал Орлов.

— Разумеется,— откликнулся Рысьев.

Орлов продолжал:

— Пока ликвидаторы не раскрыли своих гнусных планов,— мы воздерживались от полного разрыва. Есть люди — зовут еще и теперь «мириться» с ними, идти на уступки... Нет! Довольно! Не позволим губить наше дело! Вносить в наши ряды раскол! Не позволим еще раз сорвать, оттянуть нашу конференцию, которая необходима для нас, как воздух!

Орлов остановился, стараясь овладеть собой. Провел рукой по волосам, отхлебнул из кружки глоток воды.

— Ликвидаторы из кожи лезут, только бы сорвать конференцию!

Он заговорил о примиренцах, которые засели в заграничной комиссии, о том, что необходимо как можно скорее создать русскую комиссию, о целях и задачах конференции и о том, что надо сделать на местах. Говорил он больше часа горячо, взволнованно. С порывом произнес последние слова:

— Будем бороться, товарищи, за общепартийную конференцию! За чистоту рядов партии! За создание руководящего центра в России! Время не ждет!

— Вопросы будут? — спросил Лукиян.

Да, вопросов оказалось много.

Спрашивали о положении партийной работы в других областях, о сроках созыва конференции, будут ли участвовать в конференции ликвидаторы. Просили рассказать о новых работах Ленина.

Начались выступления. С волнением слушал Роман участников собрания. Пока он сидел в тюрьме, его товарищи много сделали. Перед выбором в русскую комиссию председатель Лукиян сказал, сколько человек представляет каждую организацию:

— От железнодорожной станции семь, от Уральской железной дороги шестеро, от механического завода пятеро, от Верхнего завода восемь человек, от мелких фабрик трое, от мелких рудников восемь, от ткацкой фабрики трое, от спичечной один, мелких ремесленников десять, интеллигентов восемь...

В РОК[1] выбрали Орлова.

— А делегатом — Андрея! — выкрикнул чей-то молодой голос.

Все участники собрания закричали:

— Андрея! Андрея! Товарища Андрея!

Начинало смеркаться, с озера дохнуло холодком, когда собрание закончилось.

Подымающая дух речь Орлова, горячие выступления, овация, устроенная Андрею, красный флаг, вид старых товарищей, ощущение свободы, порыв к борьбе, звуки «Варшавянки» — все это потрясло Романа. На обратном пути он молчал. По саженным взмахам весел видел Паша, что волнение его еще не улеглось.

---

[1] **РОК** — Российская организационная комиссия.

А дома его поджидал гость — Степкин отец.

По глазам матери Роман понял, что она знает об утреннем происшествии и недовольна сыном.

— Пришел к тебе, Роман Борисыч,— степенно начал старик,— пришел я спросить, пошто не по-соседски жить хочешь, моего сына ни за что ни по что побил? Смотри, ведь на таких и управа есть! Ты ему зуб выбил, щеку вот эдак вот взбарабанило — все как есть знаки налицо! Если на мировую не сойдемся — в суд подам.

— Эх, дядя Митрий, дядя Митрий,— с укором сказал Роман,— да ты бы хоть разобрался раньше, а ты сразу «суд». Говоришь: «ни за что», а сам не знаешь! Посуди сам: иду я из тюремного замка... страдал...— за дело ли, без дела ли,— это не Степкина печаль, верно?

— А он разве тебя укорил?

— Да уж лучше бы укорил... я бы плюнул да растер... Он мне... Какими он словами мою жену обнес! А! — загораясь гневом, заговорил Роман.— Еще раз скажет эти слова — опять бит будет! Как ты считаешь, имеет он право безвинно обносить мою Анфису?

— Да но-о? Вот варнак! Мне ведь он этого не сказал... Ах, он!..

— Я еще одну вину знаю за ним, да... не пойман — не вор... пока помолчу...

— Скажи, Роман, начал, так скажи!

— Не скажу, дядя Митрий... Только одно скажу: напрасно он дружит со своим сродным братцем — горгоньским писарьком... Больше ничего не скажу.

— Да уж чего еще добавлять-то,— убитым голосом сказал старик и, повесив голову, пошел к выходу.— Прости, ради Христа, Роман Борисыч...

Гудят ноги, слипаются глаза... в голове среди приятного шума — обрывки речей, плеск весел, «Вихри враждебные...» Хочется рассказать Анфисе, как поозоровал со шпиком... но язык уже не повинуется... Роман блаженно улыбается, бормочет невнятные слова. Хмель вольной волюшки бродит, не улегся еще... Томит желание работы, борьбы. Вот приедет Давыд — любимый боевой товарищ!.. Из мрака возникает лицо Ирины... И вместо слов о скором приезде Ильи Роман бормочет:

— Давыд... скоро женится!

IV

Илья не помышлял о женитьбе. Он любил Ирину бережной, чистой любовью, которая не знает еще жажды полной близости.

А Ирина, та жила мыслью о браке.

Она не задумывалась над сущностью будущих отношений, хотела только быть всегда с Ильей, заботиться о нем. В мечтах ей представлялась комната со сводчатым потолком... Илья, оторвавшийся от книги, чтобы ласково взглянуть на нее.

Незадолго перед его возвращением, в ноябре девятьсот одиннадцатого года, она сходила к ломовому извозчику, который сдавал весь полуподвал. Комната Ильи пустовала. Ирина тотчас сняла ее. Вместе со Светлаковой они навели порядок. Девушка постелила у кровати коврик, принесла несколько книжек, поставила на полку, положила в ящик стола стопу чистой бумаги, коробку перьев, налила в чернильницу чернила,— больше она не посмела ничего сделать: Илья был очень щепетилен.

Мать позаботилась о белье, о посуде, повесила на гвоздик теплый стеганый халат.

Накануне приезда Ильи Ирина решила переговорить с отцом. Она знала, что предстоит тяжелая борьба, но избежать этого было нельзя: до совершеннолетия она не могла выйти замуж без разрешения отца.

За последнее время отношения с отцом разладились. Он не мог простить отказа Зборовскому, которого давно привык считать будущим зятем. «Из-за девичьей придури», как он говорил, Зборовский не вошел в их семью, мало того — женился на Люсе Охлопковой и, говорят, живет с нею по-хорошему. Отец упорно дулся на дочь, не говорил с нею, не глядел на нее.

Ирина не обращала на это большого внимания. Она отвоевала независимое положение в семье. Свой заработок, за исключением денег на одежду, девушка отдавала отцу, возмещая таким образом расходы на питание. Она пользовалась относительной свободой: приходила и уходила, когда вздумается: где бывала, с кем встречалась, отчета не давала. При гостях отсиживалась в своей комнате.

Мачеха не одобряла ее независимый образ жизни,

но молчала. Немое, холодное пренебрежение падчерицы говорило Антонине Ивановне, что ее тайна известна девушке,— обострять отношения она не хотела.

Об Илье Ирина дома никогда не говорила, и, когда она объявила, что выходит замуж за Илью Михайловича, Албычев принял это как внезапный удар.

— За кого? — переспросил Албычев.— Это за Ильюшку-то? — Он затопал, начал стегать кресло шнурками халата, завопил: — Эй, Тоня! Тоня, черт побери! Иди скорее, Антонина!

Сиплый дикий голос разнесся по всему дому.

Албычев бросился навстречу жене, будто ждал защиты.

— Ты подумай! Она... Ты только подумай!..

Антонина Ивановна выслушала его сбивчивую крикливую речь, опустив глаза. На ее надменном лице выражалось только одно: нежелание вникать в это дело. Она сказала:

— Что ждать, если девушке с таких лет предоставлена полная свобода?

— Позор! Позор! — топал и кричал отец.

— У нас различное представление о позоре,— сказала Ирина, меряя презрительным, хмурым взглядом свою рослую мачеху.

Она увидела, как сжались зрачки Антонины Ивановны и долго скрываемая ненависть на миг оживила это холодное лицо.

— Много воли дал! — кричал Албычев, бегая по кабинету в развевающемся халате.— Но хватит! В монастырь запру!.. Впрочем... к Петру — в Лысогорск!.. Я все могу, ты несовершеннолетняя!.. А сбежишь — с полицией назад!

Он задыхался и с трудом выкрикивал угрозы.

— А всегда говорил о своих свободных взглядах!

— «Свободные взгляды»! — Албычев остановился, отдуваясь и пыхтя.— Дай, Тоня, воды!.. Все хорошо в меру,— продолжал он, выпив залпом стакан,— ты вот пользовалась свободой, не оправдала... Молчи!.. Теперь изволь давать отчет вот ей,— указал он на жену,— где бываешь, с кем бываешь.

— Спрашиваться у Антонины Ивановны? Нет, я не буду этого делать,— твердо сказала Ирина,— Антонина Ивановна не может руководить мной.

— Что? Что?

Глядя через плечо на Ирину и каким-то ленивым движением поглаживая широкие бедра, Антонина Ивановна сказала:

— Матвей Кузьмич, уволь! Отвечать за ее поведение? Она не ребенок. Как вы с ней там знаете...

И царственной походкой вышла из комнаты.

— Бабий бунт, бабий бунт,— ворчал Албычев,— распустил я вас, горе мне с вами...— Как всегда после вспышек, его начало мучить раскаяние.— Ну, Ируська, что ты там? Стоит дуется... Смотрит, как Красная Шапочка на волка...

— Папа! Почему ты против Ильи?

— Против? Да я совсем не против... наоборот... человек он порядочный... с принципами... Но мужем твоим ему не бывать!

— Почему?

— Ну, «почему, почему»... А кто он?.. Так себе... фитюлька!

— Папа! Я верила, что твои взгляды...

— Взгляды, взгляды,— пробурчал отец,— дались ей взгляды... Не серди меня! Какая-то ты уж очень прямолинейная... Ира, ты жизни не знаешь! Если он честный человек, он и сам не захочет жениться — сделать твое несчастье. Вот пусть-ка он придет ко мне, мы с ним поговорим!

— Хорошо, он придет к тебе,— сказала дочь.

Ирину испугала суровая бледность Ильи и... следы страданий на его благородном лице.

При встрече Илья не поцеловал ее, только крепко сжал руку. С болезненным удивлением подумала она: «Как чужой!» — и радость ее погасла.

Потом эта радость снова затеплилась, когда Илья, очутившись в своей комнате, поблагодарил ее глубоким взглядом. «Он матери стесняется!» — решила Ирина.

После чая тактичная старушка ушла. Илья почтительно проводил мать до ворот. Ирина, стоя посреди комнаты, слышала, как приближаются его неторопливые шаги. Сердце у нее билось бурно, быстро. Вся она разгорелась, разрумянилась. Блеск дрожал во влажных глазах. Илья вошел. Она побежала навстречу:

— Здравствуй, Илья!

Ее остановил непонятный ей серьезный и печальный взгляд. Руки ее опустились. Илья прикоснулся губами к горящей щеке Ирины, погладил по голове, усадил на стул и сел по другую сторону стола.

Ей хотелось заплакать. Всегда такой чуткий — Илья будто и не замечал ее волнения.

— Расскажи, Ирочка, как вы тут...

Стал расспрашивать о друзьях, о работе, о подготовке к общепартийной конференции. Мало-помалу он оживился, и девушка узнала прежнего Илью. Он жил!.. Но он жил только общими интересами!

«Неужели человеческие чувства умерли в нем? — со страхом думала девушка.— Он не любит меня... он не может никого любить!»

Она порывисто спросила:

— Ты не любишь меня?

— Люблю, Ира.

— Я буду твоей женой?

— Да... со временем...

— Почему «со временем», Илья? — Она не смела обнять его и только сложила руки, как бы молясь.— Я хочу быть тебе родным человеком! Я жить не могу без тебя! Зачем «со временем»? Поцелуй меня!

Холодно, как ей показалось, он поцеловал ее в лоб. Неопытная, она не заметила внезапную вспышку чувства. Нахмурившись, Илья отошел и стал расхаживать по комнате.

— Условимся, Ира... Ты — моя невеста!.. И не будем больше говорить об этом. Ты — девочка. Не знаешь, любовь ли у тебя,— говорил он отрывисто,— проверь себя. А сейчас.. и ты и я... должны все силы, все помыслы отдать нашему делу!

— Чекаревы... Гордей Орлов... Роман... Господи, никому еще не мешала женитьба!

— Ира, я слишком сильно люблю тебя,— сказал Илья, остановившись,— не мучь меня! — вырвалось у него.

Она замерла на месте. «Слишком люблю тебя,— пело у нее внутри,— сильно люблю тебя...» Замирающим голосом Ирина шепнула:

— Приласкай!

— Нет, Ира, нет! Я уважаю в тебе мою невесту!

Смутно она поняла смысл этих слов... Застенчивость сковала ее. Девушка закрыла лицо руками.

Илья сказал:

— Ирочка, если ты не устала и никуда не торопишься, сходим к Чекаревым!

— Вот он и съездит, Маруся,— сказал облегченно Чекарев, сжимая в объятиях Илью. — Поезжай, Илья, в Питер! Немедля!

— В чем дело, товарищи?

— Надо ехать в Питер, к Гордею!

Накануне Перевальский комитет, обсудив положение, решил послать человека в Петербург. Ехать должен был опытный конспиратор и человек, не занятый на постоянной службе. Илья подходил во всех отношениях. А откладывать поездку было нельзя: за последнее время обстановка еще усложнилась.

Русская комиссия сделала уже многое. Но примиренческая ЗОК бойкотировала ее, лишала средств, отказывала в техническом обслуживании — словом, мешала готовить конференцию. Ликвидаторы торопливо сколачивали блок против большевиков.

Третейский суд должен был решить вопрос о возвращении большевикам их средств. Они хранились временно у трех «держателей». Суд распался. Каутский, не желая содействовать большевикам, вышел из состава суда.

Орлову в Перевал (а его давно уже здесь не было!) пришло несколько писем из-за границы. Они где-то задержались. В этих зашифрованных письмах настойчиво повторялось одно: РОК должна требовать от держателей немедленного третейского суда, предупредить, что дело о проволочке будет вынесено на общепартийную конференцию, а потом и на партийный съезд, если деньги не будут немедленно переданы в РОК. В письмах сквозило беспокойство о Серго, от которого перестали приходить вести. А ведь он провел гигантскую работу и держал в руках все нити подготовки к конференции! Если он «провалился», остальные члены русской комиссии должны связаться с избранными уже делегатами, «обеспечить их явку на конференцию и найти средства, дать возможность перейти границу».

На имя Перевальского комитета пришли из-за границы литература, конспекты ленинских лекций и письмо. Оказалось, резолюция из Перевала не получена — застряла где-нибудь в полиции. А отсутствие резолюции позволит примиренцам и ликвидаторам заявить, что делегат неправомочен, что в Перевале нет организации, что мандат — фальсификация...

Ехать в Петербург надо до зарезу! Передать Орлову письма, резолюции, получить инструкции. На почту сейчас надеяться никак нельзя. А время не ждет.

— Разумеется, поеду,— сказал Илья.— Хорошо бы предлог найти... для полиции... но можно и без предлога.

Щеки у него разгорелись, глаза тоже.

— Тебя лихорадит,— тихо сказала Ирина.

Он не ответил.

— Готовьте документы, письма. Явка есть в Питере?

— Есть... Ты в этом пальтишке поедешь?

— Я никогда не зябну.

— Нет, так дело не пойдет! — категорически заявил Чекарев.— Надень-ка мой полушубок... Великоват!.. Ты когда поедешь?

— Очевидно, завтра.

— К завтрему найду тебе видную шубу... буржуйскую!.. Денег достану.

— До завтра,— сказал Илья.— Пойдем, Ира!

Мария стала упрашивать:

— Да посидите вы! Успеем все сделать! Вы, Давыд, нам ничего еще о себе не рассказали!

— А нечего и рассказывать,— ответил Илья.

— Нечего?

И Мария с нежным лукавством перевела взгляд с Ильи на Ирину: «Ну, ладно! Скрытничайте! И без рассказа все на виду!»

Проводив Ирину, Илья столкнулся у подъезда с Матвеем Кузьмичом, который совершал ежедневную прогулку, сам себе предписав моцион.

— А,— сказал тот, здороваясь с Ильей,— вас-то мне и надо, молодой человек. Попался, голубчик!

Он говорил шутливо, но не мог скрыть раздражения.

Албычев так и впился глазами в Илью: заметил худобу, лихорадочный румянец на скулах... И вдруг осенила его мысль, что он может отказать Илье под благовидным предлогом. Албычев даже руки потер от удовольствия.

Шутливо подталкивая, он заставил Илью войти в переднюю, раздеться и, подхватив под руку, провел к себе в кабинет.

Ирина вошла следом и села в кресло у топящейся печки. Начинался ранний зимний вечер, и в комнате с коричневыми обоями и портьерами стало совсем темно. Албычев включил свет. Задернул тяжелые гардины. Водрузился за огромным темным письменным столом. Все молчали.

— Дочь мне сказала, что вы решили... сочетаться браком! — начал Албычев.— И я, признаюсь, был озадачен...

Илья молчал.

Он мог бы успокоить Албычева, сказать ему то, что недавно сказал Ирине... но он боялся оскорбить, задеть нежную восприимчивость девушки.

Не дождавшись ответа, Албычев продолжал:

— Должен вам сказать прямо: я, врач, не могу рисковать здоровьем и жизнью единственной дочери!

Илья удивленно поднял глаза.

— Что вы удивляетесь, милейший? Не можете же вы не знать, что вы тяжко больны...

— Чем же я, по-вашему, болен?

— У вас чахотка.

Ирина вскрикнула. Илья усмехнулся:

— Нет у меня чахотки.

— Есть.

— Вы, Матвей Кузьмич, не прослушивали меня, а диагноз ставите. Я здоров.

С суровой прямотой поглядев на Албычева, Илья сказал:

— Все это одни увертки, и давайте говорить начистоту!

— У меня глаз наметанный,— упрямо сказал Албычев,— уж вижу я!.. Я здесь лучшим специалистом считаюсь... Но, чтобы не быть голословным, давайте я вас прослушаю. Выйди, Ируська!

— Что за комедия,— с неудовольствием начал Илья,

делая шаг к двери, но умоляющий, отчаянный взгляд девушки остановил его.

Ирина не пошла к себе, осталась в передней. Присела на подзеркальный столик, в отчаянии ломая пальцы. Слово «чахотка» звучало как смертный приговор. «Если окажется действительно чахотка — сейчас же уйду к нему! Пусть хоть отталкивает, хоть что, буду с ним! Буду с ним!»

— Дышите глубже,— услышала она голос отца,— еще глубже!.. Кашляните!.. Так, так!.. Потеете?.. При быстрой ходьбе задыхаетесь? А нуте-ка, здесь послушаем... Глубже дышите.

Ответов Ильи она не могла разобрать, он говорил тихо.

Через несколько минут отец разрешил ей войти.

— Так, молодые люди,— начал он, торжественно усевшись за стол,— вот вам мое решение и как отца, и как врача: брак надо отложить на неопределенное время...

— Он правда болен, папа?

Албычев посмотрел на трагическое лицо дочери, и жалость шевельнулась в нем.

— Как тебе сказать? — он задумчиво посмотрел на Илью. — Чахотки еще нет, но легкие слабые... предрасположение налицо... Вы что, не верите мне? — вдруг вскипел он. — Достаточно хар-р-ошей простуды — и все! Вам необходимо хорошо питаться, не утомляться, избегать простуды, беречь нервы... а летом обязательно на кумыс!.. Вот такие ваши дела. Не верите — идите к другому врачу... но я — лучший здесь специалист! Лучше меня диагност по этим болезням только профессор Владимирский... но до него рукой не дотянешься, он в Петербурге!

Ирина увидела, как блеснул взгляд Ильи при слове «Петербург», угадала его мысль: «Вот и предлог!» — девушка не знала, досадовать ей на Илью или восхищаться им...

Илья сказал:

— Что же, съезжу в Петербург. Здоровье надо беречь!

И он улыбнулся не свойственной ему насмешливой улыбкой, как будто заботиться о своем здоровье было и смешно, и недостойно его.

Албычев сказал:

— Я думаю, Илья Михайлович, вы как честный человек...

— Разумеется, брак будет отложен на долгое время,— сказал Илья.

V

Илья с Ириной вышли на платформу и уже направились к зеленому вагону третьего класса, как вдруг Ирину окликнули два голоса — мужской и женский.

— Ира!

— Ирочка! Куда поехала?

Она оглянулась.

К ней приближался священник Албычев — в меховой рясе, в треухе, с ручным саквояжем. За ним шла, укутанная поверх шубы шалью его жена, вела за руку маленькую Веру.

— Куда тебя бог понес?

— Это не я...— сказала Ирина.— Едет мой жених в Петербург, к профессору Владимирскому.

— Я тоже в Питер,— объявил отец Петр каким-то многозначительным задорным тоном.— Вместе поедем, Илья Михайлович? Вы тоже в третьем классе?

— Да.

Илья ничего не имел против совместной поездки со священником. Для конспирации это было даже хорошо.

Они сели в один вагон, заняли нижние места по обе стороны столика.

Матушка хлопотливо проверила, не дует ли от окна, затоплена ли круглая чугунная печка, обогревающая вагон, надежно ли укреплены верхние полки,— не обрушился бы на отца Петра «верхний» пассажир! Маленькая Верочка внимательно наблюдала за матерью и облегченно вздохнула, когда та сказала: «Ну, все в порядке!»

— Если будет крушение...— тихо начала девочка.

Мать испуганно прервала ее:

— Что ты! Что ты! Бог милует!

— Я так буду молиться, что ты, папа, не бойся,— с чувством сказала Вера, прижимаясь к плечу отца,— если и будет крушение, ты будешь «чудом спасен», как император.

Отец похлопал ее по румяным щекам, которые подпирали шаль и воротник шубы.

— А вы сами верите в чудеса? — спросил Илья.

— Верую! — строго ответил отец Петр и обратился к жене, давая ей последние указания. Проводил ее из вагона.

— Береги себя,— шепнула Ирина и, заметив удивление Ильи, добавила: — От простуды!

Отец Петр откинулся на спинку и спросил с вызовом в голосе:

— А вы, стало быть, в чудеса не верите?

И стал приводить случаи чудесных исцелений в Семеновском монастыре. Илья слушал внимательно.

— Верю,— заговорил Илья,— если паралич, слепота, немота — следствие нервной болезни, или, вернее, сама нервная болезнь выражается таким образом, больной может излечиться при помощи самовнушения.

— У моей жены глаза болели, и доктор не мог вылечить... она помолилась, помазала елеем, и все прошло!.. Это вы как объясните? — азартно кричал отец Петр.

— Как я уже сказал: самовнушение... а может быть, просто совпадение. Вот вы привели несколько случаев исцеления... Почему они исключительно редки? Почему чаще всего больной не выздоравливает?

— Вера оскудела.

— Вот! Без глубокой веры в результат молитвы исцеления быть не может. Значит, не от внешней силы оно зависит, а от силы самого больного — от внушения.

— Стой-той-той,— задумчиво заговорил отец Петр,— в это надо вникнуть... Ох вы, демон вы, искуситель! На какие мысли меня наталкиваете!..

Отец Петр Албычев ехал в Петербург по кляузному делу.

— Три года живу в Лысогорске и три года воюю со Степкой Мироносицким!

И он, горячась и взрываясь, поведал Илье о своих неприятностях.

До переезда Албычева в Лысогорск Мироносицкий завел обычай: делить между членами причта содержи-

мое церковной кружки, предназначенной для пожертвований на «вдов и сирот». Албычев сразу же отказался в этом участвовать... и не только отказался, а пригрозил, что, если хоть раз еще будет такой дележ, он, Албычев, сообщит духовному начальству. Недавно отец Петр узнал, что все эти три года беззаконное дело продолжалось. Он написал об этом архиерею и в консисторию. Ответа не последовало. Отец Петр подал еще несколько ядовитых и задорных «покорнейших прошений» в стиле протопопа Аввакума. «Весь портрет Степкин нарисовал... и как он тайну исповеди нарушает, и как луковкой исторгает притворные слезы, говоря проповеди... все его склочные дела описал... и как он помыкает псаломщиками да трапезниками... Все!» В конце он подчеркнул, что терпение его истощилось и что если нарушение канонических правил подсудно только духовным властям, то ограблением кружки могут заинтересоваться власти светские.

Это — пятое по счету — прошение не осталось без последствий и не кануло в Лету, как опасался отец Петр. Вскоре в Лысогорск приехал благочинный.

Благочинный стал его уговаривать:

— Отец Степан виноват, это верно... но зачем вам дело подымать? Владыка наложит на него епитимью... келейно... А духовное следствие вызовет толки... слухи пойдут. Подумайте, отец Петр, распуская такие слухи, как мы грязним свое сословие! Не надо, голубчик! Это озлобление в вас говорит.

— Нет! Правдолюбие!

— Все сутяги так говорят,— рассердился благочинный.

После беседы с отцом Петром благочинный уехал в Перевал, а Мироносицкий — в Семеновский мужской монастырь. Игуменом там был дядя Мироносицкого. Игумен этот был в особой чести, так как ему покровительствовал Григорий Распутин, часто наезжавший в этот монастырь.

Дня через три отец Степан вернулся и, как ни в чем не бывало, принялся за исполнение обязанностей. «Полизал... игумену и успокоился,— злился отец Петр.— Вот какой бальзам пользительный!»

Вскоре архиерей вызвал отца Петра в Перевал «для увещания».

— Вы мне прямо скажите, ваше преосвященство,— приосанившись, начал дерзкий поп,— должен или не должен служитель церкви обличать неправду?

— Чего вы добиваетесь?

— Гнилую траву из поля вон!

Архиерей как-то особенно поглядел на отца Петра. Левое веко его непроизвольно задергалось.

— Зачем вы приняли сан, если нет в вас кротости, тихости, любви христианской? Зачем?

— Разве я знал...— отец Петр вовремя удержал слова, которые так и рвались с языка.

— Что знали? Нуте? — с ехидной ласковостью расспрашивал архиерей.

— Не раскаиваюсь, что принял сан,— сказал отец Петр,— и готов пострадать за правду!

Отец Петр понимал, что повредил себе, говоря так с «владыкой». Вернувшись в Лысогорск, он, правда, храбрился, насмешничал, представлял в лицах свой разговор с «архипастырем», но на душе у него кошки скребли.

Он чувствовал, как растет в нем ненависть к Мироносицкому. Не мог не думать о нем постоянно. Он строил планы, как вывести всех на чистую воду. Пришедшего к нему гостя он торопился увести к себе в кабинет и доводил до одури, читая черновики своих многочисленных прошений.

Духовного следствия, на которое так надеялся отец Петр, все не было. Дело, очевидно, опять «кануло в Лету».

Потеряв терпение, он настрочил жалобу в святейший синод и стал ждать ответа. Но вместо бумаги из синода пришел указ из епархии: отца Петра Албычева перевести «для пользы службы» настоятелем церкви села Ключевского.

Его чуть удар не хватил от гнева, от возмущения. Он с раздражением отводил взгляд от матушки... Она же, скрывая от него слезы (о Лысогорске, о квартире, о том, что дочь будет учиться «за глазами»), с кротким сожалением глядела на него. Увидев, что начата большая стирка, что матушка хлопочет о рогожах, о веревках, ящиках,— словом, готовится к переезду, он сказал:

— Не торопись, мать! Я еще не решил!

— Да чего же еще решать, Петенька? Перевели, надо ехать.

— Погоди, я сказал! Вот съезжу в синод, тогда...

Он взял от врача справку, что нуждается в лечении аорты, получил отпуск по болезни... Тогда только матушка поверила, что он в самом деле поедет в Петербург.

— Отчего вы так возмущаетесь нарушением тайны исповеди? — заговорил после молчания Илья с суровой насмешкой. — Чему удивляться?

— Подлости его.

— Вы считаете себя законником, а законов не знаете... Со времени Петра Первого действует закон, синодом подкрепленный,— ваш брат обязан доносить «по начальству», если услышит на исповеди о «злодейственных» революционных намерениях!

Отец Петр, смущенный и сердитый, помолчал.

— А наплевать! Честный поп предавать не станет... Бог не так учил.

— «Бог», «бог»... отлично вы понимаете, что священник — слуга и раб светской власти.

Начался спор.

В последний вечер они спорили втроем,— к ним присоединился хорошо знакомый Илье адвокат Горбунов, когда-то близкий к революционным кругам человек.

Они остановились в тамбуре.

В вагоне смеркалось. Пустые печальные поля за окном потускнели, словно их припорошило пеплом. Слабо мигнули огоньки в сиротливой деревеньке, состоящей из двух десятков черных избенок с нависшими снежными шапками, под которыми угадывались соломенные крыши. Усатый кондуктор неодобрительно взглянул на сигару отца Петра, от которой сине стало в тамбуре, зажег свечу в фонаре над дверью.

— Пойдемте лучше в вагон,— сказал Илья.— Что я буду еще говорить? Все равно вы меня не понимаете.

— В дураки меня зачислили, молодой человек?

— Вы, Петр Кузьмич, человек умный, но страшно узкий.

— Это я? Я узок?

— Вы. И узок, и непоследователен. Нет у вас стройного мировоззрения. Вы христианин... а почему не подставляете щеку для битья?

— Да, я — христианин,— с достоинством сказал отец Петр,— но вы и думать бросьте насчет щеки! И нету тут неувязки... Сам-то Иисус Христос как понужнул торгашей? Ка-ак резнет ремнем!.. Правда, справедливость — ни перед чем не должны отступать!

— «Правда», «справедливость»... Хоть раз подумали вы о том, что в разные эпохи, в разных странах... у представителей разных классов различные представления о правде и справедливости? Почему именно ваше представление должно быть правильным?

— А почему — ваше?

— Мое... потому, что мое мировоззрение на твердом основании покоится!

— На каком это?

— На строго научной основе. Основа эта — законы истории, законы развития человеческого общества... И что бы вы и вам подобные ни делали,— прогрессивных сил вам не удержать.

Они помолчали.

— По-моему, вы зарвались и хватили через край, Светлаков,— насмешливо сказал адвокат, поправляя пенсне. — Настоящая христианская философия должна вам быть понятной, близкой. Недаром марксисты поговаривают о создании новой религии...

Илья остановил его резким жестом.

— «Поговаривают» те, кто отошел от марксизма,— ответил он.— Что такое богоискательство, богостроительство? Извращение научного социализма. Вот что это такое!

Отклонившись от первоначальной темы и точно поддразнивая Илью, Горбунов заговорил о «разладе в стане марксистов», о философских шатаниях, о «критике», ревизии марксизма.

— И что из этого следует? — сурово спрашивал Илья.

— Только то, что марксистская философия несостоятельна,— с издевкой отвечал Горбунов.

— Нет! — напористо говорил Илья. — Не философия наша несостоятельна, а несостоятельны те предатели, те ублюдки, которые проповедуют реакционную теорию и в то же время маскируются под марксистов!

— Но позвольте, когда такой светоч марксизма, как Богданов, обнаруживает идеалистическую основу...

— Какой он «светоч»! — оборвал Илья, поморщившись.— Охота вам толковать о его метафизической болтовне!

Спор разгорелся. И чем больше имен отошедших, изменивших или замаскировавшихся людей называл Горбунов, тем резче делался Илья.

— Что же вы считаете передовым... «правильным», марксистским словом? — спрашивал Горбунов.— Ну, скажите!

— Философский труд «Материализм и эмпириокритицизм».

— Ага! Я так и думал!.. Но вам не доказать, что этот труд правильнее, выше других книг... Чем он выше?

— Во-первых, тем выше неизмеримо, что автор разработал основные вопросы марксистской философии... Разработал их, говорю я, на новом материале... на новом материале естественных наук и классовой борьбы...

— «Классовой борьбы»! — презрительно фыркнул Горбунов.— Везде вы видите классовую борьбу... даже в несходстве философских систем! Черт знает что!

— Я не ожидал, что вы так невежественны! — с каким-то удивлением сказал после паузы Илья.— Неужели вам не ясно, что борьба идеализма и материализма — это борьба партий? Что философия последователей Маха и Авенариуса — это философия реакционная? Откройте глаза пошире: вы увидите, что разногласия философские идут об руку с разногласиями политическими!

И с неожиданным пылом Илья произнес гневную речь о позорных годах реакции, об отходе интеллигенции...

— Вы на личности переходите? — обиделся Горбунов.

— Лучше прекратим разговор, — сказал Илья, — ни к чему он не приведет. Мы ведь начали о религии,— обратился он к отцу Петру,— так давайте я вам раз и навсегда скажу, Петр Кузьмич, то, что я думаю о религии и о духовенстве!

— Занятно! — с вызовом сказал отец Петр.

— В этой гнилой атмосфере упадка, о которой я только что говорил, религиозные настроения усилились... Это, к сожалению, факт. Ударились в религию

царь, царица, всякие там Пуришкевичи... кадеты, октябристы... интеллигенция... все тонет в этом дурмане... Религия — орудие реакции. Ее задача — одурманить трудящихся, отвлечь их от классовой борьбы. Как она вредит рабочему делу, просветительной работе в массах! Религия вредна! Роль духовенства постыдна!

— Ого, «постыдна»! — с крикливыми нотками в голосе начал отец Петр. — Я — честный поп! По убеждению! С принципами!

— Тем вы вреднее!

— Вреднее?! Вы думаете хоть, о чем говорите? — рассердился поп.

— Думаю... Подумайте вы! Подумайте: следуете ли вы правилам вашего вероучения... способны ли, к слову, пострадать «за правду», «быть изгнанным правды ради», защитить обиженного, обличить «неправедного судью»? Ну?

— Конечно, я не святой... Но неправду обличаю... вот хоть Мироносицкого... Да что вы ко мне привязались? Вы и сами-то похвастаться принципиальностью не можете!

— Я?

— Вы. В бога не веруете, попов презираете, а венчаться придете.

Помолчав, Илья тихо и твердо сказал:

— Не приду.

Отец Петр с недоумением поглядел на собеседника.

— Вот куда споры заводят,— с сердитым смехом сказал он. — Заспорил, раззадорился, от невесты готов отказаться!

— Я не отказываюсь.

Отец Петр вспылил:

— Опять за то же! Понес ерунду, вожжа ему под хвост попала. Теперь я не отстану: говорите внятно то или другое? Вы отказываетесь, или вы венчаетесь?

— От Ирины не откажусь никогда. Венчаться не пойду.

— Без венца! — даже задохнулся отец Петр. — Да кто же вам отдаст ее на всеобщее посмеяние? Не бывать этому! «Жених»!.. У моей коровы такие-то женихи!.. Нет, Матвей вас мигом выставит из женихов.

— Только Ира может «выставить» меня,— ответил Илья, с суровой печалью глядя в окно.

VI

В Петербург приехали в воскресенье утром.

Илья прежде всего отправился в лечебницу Владимирского, узнал, что профессор принимает вечером по средам и пятницам. Можно было, не возбуждая подозрений, посвятить эти дни осмотру города, как это сделал бы всякий провинциал, впервые попавший в столицу.

Бродя по Петербургу, Илья узнавал знакомые места.

Стояла серая, сырая оттепель,— даже представление о петербургском климате не нарушилось!

Впечатление от репродукций, фотографических снимков, от прочтенных описаний давно уже превратилось как бы в личные воспоминания, в воспоминания, несколько потускневшие, утратившие живость красок и деталей. Так он узнал Медного всадника, Исаакия, Адмиралтейскую иглу, Неву, широкие проспекты.

Он сверялся с планом города, заглядывал в путеводитель, купленный в вокзальном киоске, и шел себе да шел. Ориентироваться здесь было так же легко, как в Перевале, Илья улыбнулся сравнению, но, подумав, признал, что сравнение это имеет основание: Перевал, построенный по приказу Петра Первого, спланирован наподобие Петербурга: те же широкие проспекты и пересекающие их улицы.

Чем пристальнее он вглядывался в Петербург, тем сильнее чувствовал этот город.

По этим улицам когда-то Пушкин ходил!..

Вдруг Илья вздрогнул, ему показалось: пламенные глаза Белинского, «голубые, с золотыми искрами», обожгли его... Он даже посмотрел вслед худощавому студенту, который так походил на Белинского...

В глаза бросилась афиша с крупными буквами: «Собинов»... В витрине книжного магазина увидел он портреты Чехова, Толстого, Блока, Бальмонта, Леонида Андреева...

Мертвенно-тихий Зимний дворец глянул на Илью с холодной угрозой, напомнил ему о Кровавом воскресенье... Серая громада Петропавловской крепости — о сырых казематах, о виселице, о палачах...

Но не о смерти и уничтожении думал Илья, глядя на крепость. Он думал о силе идеи, о гордой силе че-

ловека-борца! «Труды, написанные Лениным в тюрьме, вечно будут жить! Вечно!.. И разве не здесь создал «Что делать?» Чернышевский?»

Поздним вечером в понедельник в квартире старого путиловца-рабочего Илья сидел в ожидании Гордея Орлова. Ждал он недолго. Скоро послышались на лестнице знакомые шаги.

Торопливо, сильно пожимая руку, Орлов спросил:

— Привез резолюцию?

У него даже пальцы подергивались от нетерпения, пока Илья осторожно распарывал подкладку пиджака, чтобы достать документы.

Гордей прочел резолюцию вполголоса, вдумываясь в каждую строчку.

Поглядел на оттиск печати и вспомнил ночь у Чекаревых... С улыбкой сказал задумчиво:

— Мастичная!

Илья не понял:

— Да! А что?

— Нет, я так... А с делегатом как у вас?

— Андрею бежать не удалось. Выбрали Назара... его все знают... Вот мандат. Назар в Париже. Вот протокол выборов.

— Оч-чень хорошо!

— А вот тебе письма.

Орлов уткнулся в письма. Илья заметил, что тяжелые веки Гордея красны: видно, давно недосыпает.

— Серго нашелся! — сказал Орлов, бросая прочитанные письма одно за другим в топящуюся печку-голландку.

— Он за границей?

— Там. Уехал отчитаться перед Лениным. Пишет, что кое-как добрался, значит, трудно, опасно было!.. А как только приехал — ринулся в бой.

— Значит, РОК сейчас без Серго работает? — спросил Илья.

— Нет, не значит! — отрезал Орлов.— Он из-за границы здешние дела доделывает! Указывает, кому куда ехать, что делать... Одного боится — не заскрипела бы наша работа из-за провалов... Все время тормошит, везде ли прошли выборы, правильно ли поставлены.

А впереди еще сколько острых моментов! Вот он мне пишет насчет нашего делегата, что, как, мол, только он перейдет границу, пусть телеграфирует из первого города, тогда дадим явку или сам приеду... «Приеду сам!» — повторил Орлов.— Как у него на все хватает времени и сил?

Скрипнула дверь. Прихрамывая, вошел хозяин квартиры, который с момента появления Орлова удалился в коридор, сказав: «Ну, а я вроде пикета постою там...»

— Товарищи! Мне в ночную смену пора... это я не к тому, что, мол, и вам пора... Вот ключ... а там, как сами знаете... Можно и ночевать здесь...

— Вместе выйдем, — сказал Орлов, — запирайте свою комнату... Ты в жилье нуждаешься, Давыд?

— Нет. Я на легальном положении, в гостинице... в одном номере с духовным лицом.

— Ого! Как это тебе помогло? Ну, ладно... Когда едешь?

— Послезавтра.

— Хорошо. Завтра получишь инструкции, приходи сюда к пяти часам.

Приблизившись к номеру, Илья услышал вибрирующий, неспокойный голос: «Не рыдай мене, мати, зряща во гробе...» Он открыл дверь. Отец Петр в одном белье расхаживал из угла в угол. На щеках горели пятна. В комнате слоями плавал сигарный дым.

— А, молодой человек! Ну как, были у врача?

Илья ответил и в свою очередь спросил, как дела отца Петра.

— Как сажа бела,— отозвался тот.— Ходил я к обер-прокурору святейшего синода, спросил, какой результат прошения... Сперва он завилял, как лукавый бес, но я его припер к стенке: «Где же мне в таком случае правду искать?» — Он воздел очи горé: «Правда, отец Петр, на небеси! В нашу судьбу темные силы вмешались. Ничем помочь нельзя. Смиритесь, поезжайте на новое место!» Ну, дела!.. Завтра пойду к думскому депутату, к священнику Троицкому... если и он не поможет, уж просто не знаю, куда и толкнуться... Разве царя побеспокоить?

Илья без улыбки смотрел на странную фигуру в

подштанниках и рубахе, с распущенными по плечам длинными волосами, пронзительно глядящую на него сквозь очки. Ему было скучно слушать отца Петра, хотелось подумать о своем. Он сказал:

— К царю вас не допустят. А если бы и допустили, тогда поедете из дворца не в Ключи, а в места отдаленные!

— Не думал, что вы-то меня расхолаживать будете,— упрекнул отец Петр.— Сам говорит о борьбе, а...

— Да какая у вас борьба,— с досадой сказал Илья.

И, не слушая больше отца Петра, разделся и лег.

Поезд пришел в Перевал поздно вечером. Убедившись, что слежки нет, Илья пошел к Чекаревым, чтобы не ждать встречи целые сутки: днем их дома не бывало.

Он не хотел идти через двор, будить дворника, а ключа от садовой калитки у него давно не было. Решил перебраться через ограду. Он знал, помнил столб с выщербленными кирпичами. Изрядно помучившись,— то руки обрываются, то ноги скользят,— он наконец оседлал стену и переметнулся через нее.

Утопая в снегу, Илья добрался до пихтовой аллеи... и разом остановился: как-то чуждо, непривычно показалось ему здесь. Раньше стоило войти в аллею, и ласковый свет из окна точно согревал ночную темень. Сейчас огня в окнах не было.

Он зашагал к флигелю, дивясь, что идет по целому снегу: «Видно, не пользуются калиткой, Сергей перестал разметать дорожку».

Илья поднялся на террасу, постучал ногтем по стеклу. Никто не отозвался, никто не приник к окну, чтобы рассмотреть ночного гостя. Он постучал громче, прислушался... и только тут заметил, что на окне нет занавески. Замерзшее темное окно сказало ему, что дом опустел.

Выбравшись из сада, он постоял в переулке, соображая, куда же сейчас ему идти. Он чуял недоброе... К Ирине ночью ворваться нельзя. Он перебрал в памяти всех товарищей, но не знал, здесь ли они или в ссылке, в тюрьме. Приходилось ждать до утра. Илья пошел к матери.

Она встретила его так, словно он воскрес из мертвых:

— Приехал! Приехал, Иленька! Я вся изволновалась...

— Да отчего же, мама?

Старушка оглянулась боязливо по сторонам, хотя они были одни в ее маленькой квартирке.

— У Бариновой квартирантов арестовали,— прошептала она,— я ей примерку принесла, шубу — атласное сукно, на белке... соболий воротник... но фасон, фасон безвкусный,— что с нее спросишь?.. Она говорит...

И мать, как умела, передала слова Бариновой: «Я ему верила!.. Срамина он, подвидной! Опозорил он мой дом! Вот тебе и Сергей Иваныч! Так бы вот взяла да всю рожу ему вилкой истыкала бы... А ты за своим-то поглядывай, мать моя! Знать-то они одного поля ягоды с Сергеем-то... Недавно твой приходил с барышней, с Албычевой сюда... Смотри!»

Но так и не сказала Светлакова сыну, как униженно она просила Баринову не говорить никому о визите Ильи и о подозрениях, как рассыпалась в благодарностях, когда купчиха пообещала молчать об Илье.

— Иленька, радость моя! Мучение мое! Будь осторожен!

— Буду осторожен, мама,— сказал сын.

Илья почти не заснул в эту ночь. Мать тоже не спала. Несколько раз принималась она расспрашивать его о визите к профессору.

— Да ведь я сказал, мама: он признает малокровие.

Ни за что на свете не передал бы Илья матери слова профессора Владимирского о крайнем истощении.

— Иленька! Знаешь, кто еще арестован? — сказала мать, прерывая тонкий сон Ильи...— Вадим Солодковский!

— Ну, уж это они промахнулись,— в полусне усмехнулся Илья.

Через несколько дней Илья выяснил размеры провала: забрали всех членов комитета, технику, казначея. Организации на предприятиях уцелели.

Ущерб нанесен большой, и много понадобится труда, чтобы опять «пустить машину».

Об этом беседовал Илья с Ириной в своей сводчатой комнатке вечером, когда сумерки еще боролись с дневным светом.

Стойдя к окну, Илья медленно заговорил:

— Да, Ира, я должен, хоть мы и условились не говорить о личных делах... Ты должна знать...

Он не договорил, опустил взгляд, но тут же, точно рассердившись на свое малодушие, вперил в нее строгие глаза.

— Ты должна знать, Ира, что венчаться я никогда не буду.

— Венчаться?

На миг перед Ириной мелькнула вуаль, восковые цветы, букет — все поэтические атрибуты свадьбы... Но ни вздоха сожаления не позволила себе девушка, ни удивленного взгляда. Она поняла, что наступила решающая, поворотная минута... и с легким сердцем отказалась от своей мечты.

— Но невенчанная ты будешь в ложном положении.

Она прошептала:

— Гордиться буду таким положением!

...И вот Илья стоит в своей комнате один... он еще слышит последние слова невесты, ощущает ее присутствие... Самый воздух, кажется ему, согрет ее дыханием...

Но чувствуя ее присутствие, свою неразрывную связь с нею, он думает сейчас не о личной их судьбе. Эта судьба решена. Больше нет места сомнениям и колебаниям!

Илья думает о революционной борьбе.

Не стало областного комитета. Разгромлен и городской комитет.

Зимой трудно будет провести большое собрание и выборы. Надо кропотливо, осторожно собирать силы, восстанавливать связи. И почувствовал, что большое, сложное дело собирания сил ему по плечу.

VII

За несколько дней до провала комитета Вадим Солодковский пришел к Рысьеву. Хозяйки не было дома, и приятели могли говорить не стесняясь.

Рысьева удивило настроение Вадима, его независимый вид.

— Сияет, как медный грош,— сказал насмешливо Рысьев.— Ну, садись рассказывай!

Вадим загадочно улыбнулся:

— Да что... вот на службу привинтился... в горное управление.

— Ага! Мы теперь — люди независимые! Взрослые!

— Смейся!..

— Дяденька поддержит... повытянет нас за уши, и пойдем мы вышагивать по служебной лестнице, только держись!.. У нас уж и теперь в предвкушении рожа замаслилась, как блин. Заарканим богатую невесту и будем сыты, пьяны и нос в табаке! Признавайся, Вадька,— продолжал он,— это куда приятнее, чем судьба подпольного работника. Скажи спасибо мне. я отговорил тебя от революционной работы.

Юноша обиделся.

— Почему думаешь, что, если я поступил на службу, мои идеалы изменились? И, во-вторых, ты не отговаривал меня, а отказался ввести в подпольный кружок,— это вещи разные. Но знай: меня глубоко оскорбило твое недоверие.

— Чудак! Я тебе русским языком сказал: не имею отношений с подпольщиками! Ожегся один раз, больше, мамочка, не буду!

— Значит, не я, а ты изменил идеалам.

Рысьев молчал, грыз ногти, насмешливо поглядывал на Вадима.

— Идеалы! — наконец сказал он. — Хочешь, скажу, кто мой идеал, мой образец и все такое? Епископ Николай, вот кто! Не знаешь такого? Фофан ты! Мало читаешь. «Борьбу за престол» Ибсена читал?

— А-а, этот! — обиженно сказал Вадим. — С ним говорят серьезно, а он...

— Мой Николас умница! Сила! А изворотлив как! Как лукав! Куда там Маккиавелли! Далеко ему до Николаса!.. Вадька, не злись ты! Если хочешь преуспеть в жизни, Николасовой линии держись.

Вадим потерял терпение.

— Послушай, Валерьян,— заговорил юноша, расхаживая по тесной комнате,— оставь этот тон. Зачем издеваться? Ты совсем меня не знаешь, приписываешь

мне чужие чьи-то побуждения... желания... Я, Валерьян, не так легко схожу с намеченного пути.

Рысьев, потушив насмешливый блеск глаз, казалось, сочувственно слушал Вадима. «Чем-то он меня ошарашить хочет!»

— Я — член революционной организации! — отчеканил Вадим, остановившись перед Рысьевым и наслаждаясь его изумлением.

— Вадька, не ври!

— Не лгу,— с достоинством ответил Вадим.— Может быть, я не должен говорить об этом тебе, ты отошел от нашего дела... Но я, Валерьян, верю в твою порядочность, знаю тебя... Как видишь, роли у нас переменились,— добавил он с некоторым самодовольством,— теперь я — бунтарь, а ты благонамеренный.

— Кто же тебя вовлек в это дело?

— Не спрашивай. Ты понимаешь, я могу говорить о себе, но не о товарищах.

— Ух, как бла-а-родно! Да ты, оказывается, и конспиратор хоть куда! И что же ты делаешь в организации? Не секрет?

— Нет, отчего же? Тебе я могу сказать, не вдаваясь в подробности: провожу беседы с рабочими, письма зашифровываю.

Рысьев встрепенулся:

— Доверие тебе оказано большое! Письма... Какие письма, Вадим? Ну, удивил ты меня!

— Содержание я не могу тебе передать, не имею права. Но я назову адресат, и ты поймешь важность... Письма идут в Заграничную организационную комиссию.

Эти слова, как молния, осветили Рысьеву все: «Письма примиренцам в ЗОК! Попал Вадька к мекам в лапки!.. Значит, они нам все-таки палки в колеса... ясно!»

— Сознайся, Вадим, это Полищук тебя оседлал.

По растерянности Вадима видно было, что стрела попала в цель.

— Как ты?.. Почему Полищук? Совсем не Полищук!

— Да уж не отпирайся, знаю я. Доверие так доверие... а не доверяешь — пошел к черту!

— Валерьян,— с достоинством сказал Вадим, придя в себя после испуга,— я тебе доверяю, но не имею

права говорить о партийных делах... пока ты вне организации. Иди к нам! Будем работать вместе... Это еще больше укрепит нашу дружбу.

— Нет уж, спасибо на угощении! — хмуро ответил Рысьев. После долгого молчания он сказал, поднявшись с креслица: — Если свою Фроську ждешь, не жди! Уехала, дура, в Пермь, женихом сестра поманила, наклевывается там женишок.

— Ты намекаешь, чтобы я ушел?

— Намекаю.

Вадим не обиделся.

— Я ведь к тебе, Валя, по делу зашел. Августа просила, чтобы ты ее навестил. Когда сможешь?

Вспышка дикой радости обожгла Рысьева.

— Какого же черта ты молчал? Пойдем. Сейчас же пойдем.

Монастырь, казалось, спал под снегом.

Вадим повел Рысьева по тропинке между сугробами к отдаленному, тихому корпусу.

Августа жила в угловой келье. Одно окно выходило на широкий монастырский двор, второе — на кладбище.

«Все время — моменто мори, — подумал Рысьев, и сердце у него сжалось.— Сидит, лелеет свою грусть печальная невеста!»

Он почтительно склонил голову перед Августой и, не имея силы взглянуть на нее, стал осматриваться по сторонам.

В келье стояли узенькая, застланная белым покрывалом кровать, стол под клеенкой, шкафик с глухими стенками, сундук. Пол покрывали тканые шерстяные половики в бордовую и синюю полосу. Все было чисто, строго. В углу перед «Молением о чаше» слабо мигала лампадка синего стекла.

Августа пригласила садиться. Вадим передал сестре поклоны от тетки, от Люси, спросил, не надо ли чего ей принести... Вытащил из-за пазухи книгу,— Августа сунула ее в шкафик. Судя по обложке, это был сборник стихов Блока.

Посидев несколько минут, Вадим поднялся:

— На днях зайду к тебе, Гутя. Бальмонта принести или Ибсена?

— Принеси книг побольше.

Вадим ушел.

— Вы звали меня? — тихо спросил Рысьев.

Ни словом, ни взглядом он не смел обнаружить чувство. Он стал осторожен, как охотник... точно по трясине пробирался: «Не оступиться! Не вспугнуть!»

Рысьев задушил, загнал внутрь все, что могло оттолкнуть, насторожить Августу. Глядел в ее изжелта-бледное бесстрастное лицо, стараясь изо всех сил выразить во взгляде почтительную дружбу. Некоторое время Августа молчала... но вот она подняла на него взгляд, почти лишенный выражения.

— С годами мы делаемся мягче, человечнее...

— Да, Гутя?

— Я сурово, слишком сурово обошлась с вами, Валерьян, в последний раз. Это меня мучает... И вот я решила...

— ...Подачку сунуть нищему,— закончил ее мысль Валерьян, холодея от оскорбления. Поборов это чувство, он сказал с почтительной нежностью:

— Разве я не понимаю вас, Гутя? Давайте поговорим откровенно! Хоть раз! Я знаю, что вас мучает... В ваших глазах я не живой, страдающий человек, а тяжелое напоминание... Словом, вы не можете простить ни себе, ни мне то, что были известные отношения, обидные для... Лени...

Она наклонила голову.

— А меня это разве не мучает? — с неподдельным страданием заговорил Рысьев, буквально изнемогая от ревности, от жажды ласки.— Гутя, Гутя! Я сам благоговею перед его памятью.

И слезы ярости покатились по его щекам.

Августа протянула ему руку.

— Валерьян! Простите! Я не знала вас...

Он поспешно взял эту руку, удержал в своих горячих ладонях, но пожать не посмел.

— Гутя! Будем друзьями! Будем говорить о нем... чистом... светлом... пусть в сердцах у нас, как алтарь ему...

Радуясь, что нашел тон, в котором можно говорить с Августой, он нанизывал слово за словом, обволакивал ее нежностью... и побоялся одного: а вдруг не сдержит порыв?

Тогда все будет кончено.

VIII

Из уважения к Охлопкову Горгоньский не нарушил покой его дома обыском и арестом,— он вызвал Вадима Солодковского в канцелярию.

Сидя у высокой двери в кабинет, Вадим придумывал остроумные резкие ответы на те вопросы, какие может задать ему Горгоньский. Но где-то, в глубине сознания, начинала шевелиться глухая тревога.

Юноша прошелся по канцелярии, ярко освещенной электричеством, взглянул на стенные часы, сверил их со своими карманными...

Дверь распахнулась, выбежал красный, сердитый писарь Горгоньского. Вадим подтянулся, ожидая, что сейчас позовут... но писарь даже не взглянул на него.

— Меня вызывали к четырем, а вот уже семь,— сказал Вадим с достоинством.

Писарь невидящими глазами посмотрел на него, сказал: «Обождите!» — и, разгладив сердитые морщины на лице, вошел в кабинет.

Вадим достал папироску, но не закурил, так как секретарь сурово остановил его взглядом.

Вдруг в кабинете послышался крик Горгоньского... угрозы... брань... В канцелярии никто и ухом не повел. Вадим же окончательно разнервничался. Истомленный ожиданием, он хотел одного: уйти отсюда поскорее. Вышел в холодный, темный коридор, постоял, но уйти не посмел и вернулся в канцелярию.

Снова открылась дверь. Из кабинета, в сопровождении жандарма, вышел молодой коренастый фабричный рабочий. Он грозно хмурился. Одна щека у него вспухла и побагровела.

— Войдите,— сказал писарь Вадиму.

С Горгоньским юноша изредка встречался в обществе, они, как говорится, были «шапочно знакомы»... и в его представлении ротмистр был ловким, льстивым дамским угодником, умелым рассказчиком рискованных анекдотов.

Теперь Вадим увидел другого Горгоньского. Этот Горгоньский стоял, как монумент, за тяжелым письменным столом и нахально, как показалось Вадиму, выпускал из ноздрей струи папиросного дыма.

Ротмистр бегло взглянул на юношу, руки не подал.

Велел... именно — не пригласил, а приказал сесть. Протянул бумажку, сказал:

— Прошу заполнить листок.

И твердыми, начальническими шагами стал прохаживаться по кабинету.

Не веря глазам, Вадим прочел написанный рукою писаря заголовок:

«Сведения о лице, привлеченном в качестве обвиняемого по делу соучастия в подпольной организации социалистов».

На одной отграфленной половине листа тем же почерком написаны были вопросы о фамилии, возрасте, вероисповедании («если выкрест, отметить особо»), об образовании, занятии или ремесле, об отношении к воинской повинности и так далее. Десятый пункт был сформулирован так: «Основания привлечения к настоящему дознанию и статьи Уголовного уложения, по которым предварительно обвиняется...» В строке для ответа писарь написал: «I часть, 102 статья Уголовного уложения».

Дальше шло еще девять вопросов, отвечать на которые, очевидно, должен был сам Горгоньский, ибо речь шла о времени и месте дознания, о допросах, о предметах, обнаруженных «по обыску», о принятых «мерах пресечения», о содержании под стражей, о заключении...

Юноша прочел... и растерянно уставился на тонкую ножку настольной бронзовой лампы.

— Что же вы не пишете? — холодно осведомился Горгоньский.

— Но, Константин Павлович...

— «Господин ротмистр»,— оборвал Горгоньский.— Пишите же!

Когда Вадим добросовестно заполнил все графы «листка», какие должен был заполнить, и ротмистр бегло просмотрел написанное, начался допрос.

Он начался несколько необычно. Горгоньский достал из папки зашифрованное письмо и показал, не давая в руки (то, что на официальном языке называлось: предъявил):

— Это вы писали?

— Нет, не я,— сказал юноша, но тут же сообразил, что в руках ротмистра листок, только что заполненный

тем же почерком, и что запираться бесполезно.— То есть я писал, но не я составлял.

— А кто?

С внезапной вспышкой возмущения Вадим сказал прыгающими губами:

— Можете меня мучить... пытать... Товарищей не предам!

Он ждал крика, угроз... но Горгоньский только поглядел на него пытливо, как будто прикидывая что-то в уме, примеряясь к чему-то.

— А содержанием письма поделитесь с нами?

После энергичного «нет!» он больше ни о чем не стал спрашивать. Написал несколько фраз в «листке», пояснил почти добродушно:

— Принятая мера пресечения — содержание под стражей. Заключен в Перевальское арестное отделение номер один... Так. Хорошо... Вам придется обождать здесь, а ночью вместе с вашими соучастниками — милости прошу на новоселье!

Вадима увели в отдаленное помещение, где уже сидело несколько арестованных.

Позднее, вспоминая эту ночь, он видел перед глазами бледное, расстроенное лицо Полищука и незнакомую ему пару, сидящую у окна. Это были Чекаревы. В своем смятении Вадим то и дело обращал к ним глаза, точно искал поддержки. Мария сидела, слегка откинувшись на руку мужа, в горделивой позе. Яркая краска на щеках, огонь синих глаз говорили о внутренней буре, но она сохраняла полное самообладание. Муж обнимал ее за плечи, прижимался щекой к ее волосам. От его крупной фигуры исходила добрая сила. С завистью смотрел Вадим на эту пару,— как уверенно глядели они в темь будущего!

...Когда улеглись взрывы отчаяния и Вадима охватила холодная, давящая тоска, он стал вслушиваться в разговор и споры и скоро заметил, что в камере как бы два центра: Чекарев и Полищук. У каждого были свои сторонники... Сам Вадим в споры не вступал и целые дни то кружил по камере, то валялся на неубранной койке. Он опустился, перестал следить за собой. Думал только об одном: погибла жизнь!

Вадим не знал, что на первом же допросе Горгоньский раскусил его, понял, что «не велика птица» попалась в его сети. Ротмистр мог бы удовлетворить просьбу Охлопкова — отдать Вадима на поруки, но у него был свой план...

На втором допросе Горгоньский, взяв еще более грубый, не терпящий возражения тон, сказал, что в расшифрованном письме (а оно действительно было расшифровано!) говорится о подготовке к террористическим актам и что это подтверждается показаниями других обвиняемых.

— Определенно пахнет пеньковым галстуком! Учтите! — Перед Вадимом встал призрак виселицы. Ужас, жажда жизни, сознание беспомощности — все эти чувства раздирали ему сердце.

— Нет! Нет! Клянусь! Честное слово!

— Честное слово крамольника здесь не котируется!— сердито усмехнулся ротмистр. — Вы уже запирались в том, что вашей рукой писано письмо. И опять запираетесь... Ну, что же, еще раз я вас изобличу! Вот смотрите, эта группа цифр что обозначает? Что? Не «подготовка» ли? А? Что?

— Да... но ведь не к террористическим актам!

— К светлому Христову воскресенью? — иронически тоном, подчеркивая недоверие к Вадиму, спросил Горгоньский.

— Речь идет о подготовке к конференции... К общепартийной конференции,— повторил Вадим, не замечая, что сам идет в сети. — Если хотите, содержание письма как раз оправдывает меня... и других... Мы пишем, что конференцию следует отложить, что выборы перевальского делегата произведены неправильно... что нет здесь организации, а только отдельные члены партии... И мы высказываемся за легальную рабочую партию! Вот о чем письмо, а совсем не о терроре!

Горгоньский внимательно, но с тем же насмешливым, недоверчивым выражением выслушал юношу.

— Бросьте! — сказал он.— Вишь, какая невинность! Флерд'оранж какой! Цветочек! Кто состоит в организации?

Вадим молчал.

— Живо,— свирепо сказал Горгоньский. — Мне некогда!

— Я знаю только одного человека... он давал мне поручения... я... не назову его!

Задумчиво поглядел на Вадима Горгоньский. Проговорил как будто про себя:

— А вот Полищук не столь благороден... он назвал...

— Не может быть!

Но, произнося эти слова, Вадим уже начал сомневаться в Полищуке.

— Сам же он вовлек вас и сам же оболтал... Хорош гусь?

— Что же...— горько сказал Вадим, проводя пальцами, как граблями, по волосам.— Что же...— повторил он с горькой усмешкой,— значит... остается... только подтвердить его показания!

Он «подтвердил».

Через некоторое время Горгоньский кивком пальца подозвал писаря, который, не разгибаясь, строчил что-то в углу. Пробежал глазами написанное и передал Вадиму:

— Прочтите и подпишите.

— Что?

— Протокол допроса.

Вадима неприятно поразила форма протокола; здесь не было, как в «листке», вопросов и ответов: «Спрошенный обвиняемый Солодковский Вадим Михайлович добровольно признался, что...», а дальше был сжато изложен смысл его ответов. Выходило, что он сам рассказал о том, что был вовлечен в организацию Полищуком, выполнял такие-то задания, писал такое-то письмо за границу.

Словом, будто кто-то слегка нажал кнопку, и Вадим излил все, что знал,— без мучений, без колебаний, охотно!

— Ваших слов тут нет, господин Горгоньский,— сказал юноша, обмакнув перо и нерешительно глядя на ротмистра.

— А зачем мои слова? Разве я — обвиняемый?

Вадим подписал.

— Выйди, Ерохин! — приказал Горгоньский.— Пусть конвой приготовится!

А когда они остались одни, подошел к Вадиму, хлопнул его по плечу и весело сказал:

— Теперь вы, говоря высоким штилем, предатель! Податься вам некуда, и...

У Вадима в глазах позеленело...

— Я? Как? Да ведь Полищук...

— Ни черта Полищук не сказал! Это моя военная...

— Подлость! — выкрикнул Вадим и, охватив руками голову, стал раскачиваться из стороны в сторону.

— Военная хитрость! — как будто не слыша его выкрика, продолжал Горгоньский. — Вот вам выбор: или работа для нас — с подпиской, форменно! — или тюрьма, ссылка, презрение «товарищей».

— С собой покончу!

— Ничего, обойдется,— пренебрежительно уронил ротмистр и вызвал конвоиров.

По дороге в тюрьму Вадим с трудом сдерживал истерические рыдания. «Приеду, упаду на колени... признаюсь... Пусть, пусть презирают! Я достоин презрения... Идиот! Тряпка! Несчастный я человек!»

Он шел по тюремному коридору, не замечая, куда его ведут, и желая только оттянуть миг встречи с Полищуком, с Чекаревым... Когда открыли дверь камеры, он невольно попятился. Конвоир грубо втолкнул его.

Вадим оказался в одиночке!

В первый момент он обрадовался этому: их нет здесь! Они не взглянут на него с омерзением, не назовут предателем!..

В тусклом свете лампы юноша разглядел изжелена-серые стены с черными трещинами, окошечко под потолком. В камере пахло угаром. Отсыревшие стены слезились.

Он кинулся на соломенную, дурно пахнущую постель. От угара стучало в висках, шумело в ушах. Клопиные укусы жгли тело. Одно желание было у него: перестать чувствовать.

«Надо спокойно обдумать, как покончить с собой!»

Рыдания его перешли в истерический смех, когда мелькнула мысль: «Боялся виселицы, а сейчас сам ищу...» Заплаканными глазами поглядел на оконную решетку. Если подтащить стол, а на стол поставить табурет... Вадим, еще не вполне веря своему решению,

поднял хромоногий стол, понес... Чей-то грубый окрик остановил его,— в волчок за ним наблюдали. Он снова лег и стал перебирать в памяти все известные ему способы самоубийства. Можно, разбив очки, стеклом вскрыть вену... но хватит ли силы воли? Все в нем нервически сжималось, когда он представлял себе это... Разбежаться и размозжить голову о стену?.. Нет! Надо найти смерть скорую и — главное — безболезненную!

Вадим решил умереть от голода. Да, это медленная смерть, но смерть без особых мучений, ничего не надо делать над собой, а только терпеть... Ему казалось, что он вытерпит муки голода... тем более что в данный момент он чувствовал отвращение к пище.

Решение это оставалось непоколебимым в течение двух дней, пока возбуждение не пошло на убыль. На третий день он с трудом отказался от еды. Запах противной баланды вызывал аппетит! На четвертый день начались настоящие муки. Незаметно для себя Вадим перешел от мыслей о своей никчемности и подлости к гастрономическим мечтаниям. Закрыв глаза, он представлял себе пасхальный стол, окорок, крашеные яйца, куличи... дразнил его воображение гусь с яблоками... буженина... жирные оладьи... пироги...

На пятый день он с жадностью съел и баланду, и кашу, и хлеб! И, хотя ему показалось, что он не наелся,— желудок к вечеру заболел. Мучаясь от боли и отрыжки, Вадим мысленно винил во всем дядю: «Как с пасынком, со мной обращался... сам толкал этим к протесту... вот и довел до тюрьмы... до болезни...»

Потом, когда боль прошла, он задумался над своим будущим. Революционная работа его больше не привлекала. «Нет, довольно! Глупости — по боку! Любой ценой выбраться отсюда — и никакой политики! Спасибо! Сыт по горло! Отныне одна «политика» — устроиться, выбиться, выйти в люди!»

Утром совесть снова начала мучить его.

Он решил, что жить не стоит. Но надо выбрать смерть легкую и приятную.

«Выйду из тюрьмы, добуду морфию, выпрошу у тетки денег, пойду в ресторан... Эх, и напьюсь же я!.. Пьяный приму морфий... и все!»

Через десять дней Горгоньский вызвал Вадима к себе.

«Что же,— думал юноша, подымаясь по лестнице в сопровождении жандарма,— ведь я не в силах больше видеть эти стены с трещинами и дышать угаром! Только одного хочу: выйти на свободу и умереть. Для этого надо дать подписку? Извольте, дам... воображайте, что я — ваш, а вы мне только руки развяжете!»

И, размягченный, расслабленный жалостью к себе, он предстал перед Горгоньским.

Жизнерадостный Горгоньский ласково встретил его:

— Ну, упрямец нехороший, что скажете?

— Я дам подписку,— через силу ворочая языком, ответил Вадим и упал в кресло.

— Нервы-то! Нервы-то! Как у барышни! Нате, выпейте воды.

Стуча зубами по стакану, Вадим выпил.

Горгоньский распорядился принести коньяку, сунул Вадиму в рот папироску.

— Успокойтесь, примите нормальный вид — ничего трагического не произошло! Выпьем за юность!

IX

В полуденной весенней тишине погромыхивал завод. Из подворотен лаяли собаки. Во дворах квохтали куры, кричали петухи. Воробьи, бранчливо чирикая, то опускались стайкой на дорогу, на комья свежего навоза, то взмывали ввысь.

Софья шла по улицам Верхнего поселка, тщетно стараясь найти дом Ярковых, где она когда-то провела вечер. Ей помнилось, что дом стоял на углу, а на задах его возвышалось раскидистое дерево. Остальные приметы забылись.

Найти Яркова ей надо было обязательно. Связь с Перевалом опять прервалась. Напишешь письмо, и оно как в воду канет. Очевидно, адреса провалились. Провалилась и явка.

Софья шла, и невольно мысль ее обращалась к Гордею. Он много раз бывал здесь, ходил по этим улицам. А неожиданная встреча в Перевале была для них ярким праздником.

Почувствовав слезы на глазах, она приказала себе не думать о муже.

Стучать в окна, расспрашивать Софье не хотелось. Она знала въедливое любопытство поселковых «кумушек». Софья предпочла бы спросить мужчину, но в это время дня мужчины работали или отсыпались после ночной смены.

Но вот послышалось шарканье пилы. Софья вышла из переулка. Возле сруба работали пильщики. На высоких козлах, расставив ноги по обе стороны толстого бревна, стоял распоясанный мужик, а внизу под козлами румяный парень, весь обсыпанный свежими опилками. Сильными, мерными движениями они гоняли пилу вверх — вниз, вверх — вниз.

Софья направилась к ним, но в это время мужик воскликнул весело:

— Здравствуешь, Анфиса Ефремовна! Сладко ли мужика накормила?

Софья оглянулась и узнала Анфису. Та, видимо, носила обед мужу на завод и теперь возвращалась с пустым глиняным горшком в кузовке.

Анфиса подурнела, ее безобразили коричневые пятна и большой живот. Но стоило ей улыбнуться, и былая привлекательность возвратилась к ней.

— Здравствуешь, дядя Миней! — и, проходя мимо Софьи быстрым, тяжелым шагом, приветливо кивнула ей по деревенской привычке здороваться со всяким встречным.

Софья пошла за нею и, когда они отдалились от пильщиков, спросила:

— Фиса! Вы не узнаете меня?

— Я... помню... только я не знаю, как вас назвать-свеличать.

— Зовите Софьей... Муж ваш на работе, как я понимаю? Скоро ли придет?

— Ох, не скоро,— ответила Анфиса с сожалением,— они в шесть только шабашат, да он еще, может, куда пойдет по делам. Что бы вам раньше прийти! Я ему паужну носила, сказала бы.

Софья нахмурилась. Целый день пропадет без дела! Она испытующе взглянула на Анфису... Та поняла, заговорила тихо:

— Которых я знаю товарищей — все на работе, вот разве Давыд...

— Он здесь, на свободе? Что же он...

— Я не знаю в эту неделю он в какой смене. Вы пока пьете чай, отдыхаете,— сбегаю, узнаю.

— Скажите адрес, я сама схожу.

Но Анфиса так просила побыть у них, отдохнуть, так горячо доказывала, что лучше встретиться не у Давыда, а где он сам укажет, что Софья согласилась наконец.

Так, разговаривая, они шли, и скоро Софья увидала лиственницу в весеннем нежном оперении, узнала дом.

У ворот стояла сгорбленная седая старушка, мать Романа. Заслонившись ладонью от солнца, она всматривалась в Софью. Софья подошла.

— Матушка ты моя! — всплеснула старушка руками.— Привел-таки бог нам свидеться! А я смотрю, кто это идет с Фисунькой? Глаз у меня стал тупой... Проходи, дорогая гостьюшка.

Илья сказал, что лучше, удобнее встретиться в городском саду.

Сад этот, вернее парк, примыкающий к заброшенному дворцу, в середине прошлого века принадлежал золотопромышленнику, о котором сохранилась в народе недобрая память. Рассказывали о засеченных насмерть крепостных рабочих, об опозоренных или изувеченных девушках, о диких кутежах, о потайных раскольничьих молельнях... Теперь дворец с его лепными потолками, извилистыми переходами, тайниками пустовал. Последний его хозяин был выслан за уголовные преступления, которые нельзя было ни замять, ни «замазать» золотом. Он умер. Наследников не осталось. Парк стал городским садом. Ротонда, где когда-то кутили скороспелые магнаты, превратилась в летний ресторан; вместо затейливых павильонов, где немало пролилось девичьих слез, стояли аляповатые беседки и киоски.

В центре маленького озера высился островок, окруженный подстриженными акациями, как венком. Илья прошел по берегу до мостков, которые вели на остров, и остановился у перил.

Здесь его и нашла Софья.

Видя, как заботливо ведет ее Илья под руку по мосткам, легко было принять их за влюбленных. Они уселись на скамейку среди акаций. Софья одобрительно взглянула на Илью: хорошее место он нашел для встречи! Подобраться к ним можно только по мосткам,

а мостки — вот они перед глазами, пересекают серой лентой залитое солнцем озерко!

— Гордей получил мои письма? — спросил Илья.

— Нет. Гордей арестован,— сказала Софья с суровой простотой, ничем не выражая своих чувств.— А вы — наши?

— Нет. Ни писем, ничего...— глубоким взглядом Илья высказал ей свое сочувствие,— ни извещения, ни резолюции!

— Как? Извещение не дошло до вас?

— Провалы! Что сделаешь... Вы привезли?

Софья достала из-под подкладки дамского ридикюля тщательно сложенные бумаги. С улыбкой, чуть раздвинувшей губы, но смягчившей резкие черты, сказала:

— Нате, читайте!

Жирным шрифтом напечатанный заголовок точно ослепил Илью.

«Извещение о Всероссийской конференции РСДРП».

У Ильи дух занялся. Обо всем на свете позабыл он. Наконец, победа. Он читал про себя:

«Товарищи!

Очередное дело наконец выполнено. Наша партия собрала свою конференцию, решила на ней все важнейшие вопросы, уже давно требующие разрешения, создала русский ЦК и вообще сделала самые энергичные шаги для восстановления разрушенного центрального аппарата партии...»

Окончив читать, Илья, охваченный каким-то не свойственным ему бурным нетерпением, потребовал:

— Резолюции!

Софья подала ему резолюции, он прочел. Сказал торжественно:

— Кончено с кризисом! Кончено... вот наша программа борьбы,— он указал на пачку резолюций.— Софья, а кто в русском бюро ЦК?

Она перечислила, назвав первыми имена Свердлова, Сталина и Орджоникидзе.

Светом наполнились карие глаза Ильи. Он задумался. На чистом, строгом лице его дрожали отблески солнечного озера.

С суровой лаской Софья сказала:

— Давыд! Очнитесь!

Он медленно перевел на нее взгляд. Она продолжала:

— Сейчас же надо познакомить организацию. Нужна от вас резолюция: присоединяется ли организация к решениям? Понятно? Это надо сейчас сделать!

— У нас был грандиозный провал...

— Знаю!

— Лукиян, Мария, Коля — все взяты! Слежка за «подозрительными» непрерывная... я бы сказал, изнурительная! Связи с местами есть... можно собрать представителей низовых организаций. Они у себя проработают, а представителей соберем... в лесу... Теперь это возможно.

— Хорошо, Давыд! Но это быстро надо... немедленно!

— Сколько вы мне дней дадите? — спросил Илья.— Учтите — размножить извещение, резолюции... собрать группы, проработать...

— Три дня на все.

Она сказала это твердо, безапелляционно.

— Будет сделано,— ответил Илья и, посоветовав Софье остановиться на квартире у «тети», а не у Романа, за которым неослабно следят, попрощался с нею.

Прошло три дня. Софья уехала. Перед отъездом они с Ильей разработали новый шифр, установили адреса. Софья обещала прислать материал к Первому мая.

Едва она успела уехать, прилетела в Перевал весть о ленских событиях. Размножили на гектографе листовки, раздали на предприятия. Всюду прошли подпольные собрания. В резолюциях рабочие выражали возмущение, протест.

Начали собирать трудовые гроши для семейств убитых.

В то самое время, когда Илья был занят по горло на партийных собраниях, от Софьи пришла обещанная ею первомайская прокламация.

Илья получил эту листовку, зайдя к адресату перед ночной сменой. У него не осталось времени, чтобы передать ее кому-либо для переписки. Отложить до завтра? Нет, нельзя! Не успеешь к Первому мая распространить листовки.

Дерзкая мысль, которая была бы под стать Яркову,

а не предусмотрительному, осторожному Илье, вдруг пришла ему в голову. Он вначале отбросил ее, но, обдумав, решил: да! Надо тиснуть прокламацию в типографии! Наборщики и метранпаж — свои, испытанные люди. Корректор до утра просидит в конторке, уткнув нос в оттиски. Опасен только Иван Харлампович!

Илья пошарил по карманам, подсчитал мелочь: на бутылку водки набралось, а на закуску не хватало... Но это не смутило Илью. Товарищи, узнав, для чего надо «споить» Харламповича, добавили свои деньги. Один из наборщиков — болезненно-бледный, но всегда веселый и бойкий молодой человек — отнес вино и закуску Харламповичу:

— В честь тезоименитства моего наследника, прошу не побрезговать!

Харлампович не побрезговал. Он любил даровое угощение. Обойдя типографию и строго наказав «работать как следует и набрать к утру эту штуковину», он заперся в своем кабинетике и скоро заснул.

У Ильи не было времени раньше прочесть листовку — дорога была каждая минута,— он читал ее, набирая слово за словом, фразу за фразой... Но скоро прокламация целиком захватила его. Он подавлял нетерпеливое желание — прекратить набор и вчитаться, вдуматься в текст. И методически ставил в наборную линейку литеру за литерой.

Илью взволновала революционная страстность, которой дышала каждая строчка. Поразили воображение широкой кистью написанные картины наступления рабочего класса, облик революционера, в котором подчеркнуты были основные черты: спокойствие, сила, гордость, целеустремленность... Сам поэт в душе, Илья живо откликался на все это.

Рассматривая положение в России, автор листовки охарактеризовал последние два-три года (когда Первое мая не праздновалось) как период «контрреволюционной вакханалии и партийного развала, промышленной депрессии и мертвящего политического равнодушия».

Убедительно доказав, что в стране — и прежде всего среди пролетариата — начинается политическое оживление, листовка утверждала, что русские рабочие должны нынче «в той или иной форме» праздновать Первое мая.

Илья отложил наборную линейку и залпом прочел листовку до конца:

«...Смерть окровавленному царизму! Смерть дворянской поземельной собственности! Смерть хозяйской тирании на фабриках, на заводах и рудниках! Земля — крестьянам! 8 часов работы — рабочим! Демократическая республика — всем гражданам России!

Вот что должны еще провозгласить в сегодняшний день русские рабочие...»

«Такая прокламация каждого зажжет, подымет на борьбу!» — думал Илья.

Его поразила сила обличения, гневная, уничтожающая, поразил бурный поток мыслей. Мимоходом оброненное слово прилипало к душителям народа, как раскаленное клеймо: «черная Дума», «мертвая рука», «развратники Распутины»...

«Как здорово сказано: «Николай последний!» В этом непобедимая уверенность, что революция совершится в ближайшие годы, что она не за горами!»

X

После трех лет тюрьмы Ефрема Никитича Самоукова выпустили «за отсутствием улик», но оставили под подозрением. Первое время дома он отлеживался, неохотно говорил, много ел, много спал. Но вот силы вернулись, он поднялся с постели, и заботы обступили его.

— Все хозяйство испорухалось! — тужил старик.

Надо было чинить крышу, качающееся крыльцо, покосившийся забор. Корову и лошадь ему родственники возвратили, но никто не догадался предложить сена и дров,— приходилось думать и об этом. Помогли дочери. Анфиса и Фекла оторвали от себя — дали отцу денег. Фекла привезла курочек-молодок, а Фиса купила и пригнала во двор барана и овцу:

— Вот тебе, тятя, парочка — баран да ярочка! Не тужи-ко ты, не тужи!

Но печальные думы продолжали томить старика:

«К зятю на печку рано мне! Не любо мне будет из чужих рук выглядывать! А в курене робить мне теперь

непосильно... Куда толкнуться? Где хлеб насущный добывать?»

— Мать! А если мне мрамором заняться? Сидел бы, ширкал бы беззубой-то пилой?

— Не мели-ко, отец, чего не скислось! Мрамор-от не с неба падает, его выворотить надо да привезти... и себя и коня надсадишь... А куды мы без коня?

— Верно, мать! — опустив кудрявую голову, грустно отвечал Ефрем Никитич.— Ну, а если камешками заняться? Камешки искать? Ходи день-деньской по вольному воздуху! А? Глаз, сама знаешь, у меня востер!

— К этому делу, старик, с малолетства приучаются!

— И это верно говоришь! Ведь мне — что? Мне бы только первое время перебиться, силушки подкопить... Платинка-то, она лежит в земле, ждет меня, матушка!.. Обожди, мать, распыхаемся и мы с тобой, заживем... милых дочерей наградим за их любовь, за ласку...

Зиму кое-как старики прожили с помощью дочерей и родни.

Ефрем Никитич нанимался к Кондратовым — возил мясо в город, купцу-мяснику. Старушка пряла, вязала чулки и шарфы. Бабы платили хорошо: одна яичек принесет, другая кус мяса, третья крупы на кашу или овсеца сыпнет...

Девушки заказывали ей кисеты с вышивкой. Каждая хотела подарить своему милому дорогой кисет, а вышивать дома стеснялась.

Так дожили до весны. Весной Ефрем Никитич решил:

— А займусь-ко я, мать, бураками! Деревья в соку, кору сдирать легко,— нагротовлю снимков и стану потихонечку-помаленечку работать. Все копейка в дом.

В лес с Ефремом Никитичем поехала и старушка, костер развести, варево сварить, за гнедым Бабаем приглядеть, чтобы не зашел в рамень или в шурф не оступился.

В лесу старик повеселел, запосвистывал. Выбрал гладкую березу, свалил, отрубил вершину, принатужился, поднял бревно, положил одним концом на пенек. Сердце у него не очень зашлось — значит, силы прибывали.

Дальше работа пошла легкая. Он сделал вокруг ствола надрез, просунул тонкую лопаточку-сачалку

между лубом и древесиной, стал осторожно водить ею вокруг ствола, все дальше и дальше проникая под кору. Отделив, он бережно снял кусок коры, как муфту, стал мять в руках, чтобы луб отпал от нее.

Он не мог налюбоваться десятивершковым снимком: вставь дно, сделай крышку — и бурак готов!

Проработав допоздна, Ефрем Никитич привез домой множество снимков и берестяных сдирков, чтобы снаружи покрыть ими бураки.

До косовицы успел Ефрем Никитич и бураков наделать и дом починить. Летом он немножечко пошерамыжил, намыл платины, сколько ему было под силу, продал ее лысогорскому богачу Ухову. Зиму они со старухой прожили сытно.

Потихоньку от упрямого Романа Самоуков не один раз подкидывал деньжонок Анфисе.

К весне тысяча девятьсот двенадцатого года деньги кончились, но Ефрем Никитич не тужил. Котельников уверял его, что правда восторжествует — земли будут признаны крестьянскими.

Летом Роман Ярков взял гулевые дни, чтобы помочь тестю на покосе. Анфиса с двухмесячной «Марьей Романовной» должна была домовничать в Ключевском, а старушку мужчины увезли с собой кашеварить.

Покосы ключевского общества расстилались в широком логу, вдоль речки Часовой, за Медвежкой, за сосновым бором, над которым высилась Большая сосна.

Медвежка — любимое место жителей Ключевского. Весной ребятишки бегали туда за пестиками, за крупянками, потом — за мохнатыми пиканами, за полевым луком для начинки вкусных, но резко пахнущих пирогов.

На просеке рано поспевала земляника. Теперь первый «слой» ее уже сошел,— у пеньков кое-где лишь можно было увидеть ссохшуюся темно-бордовую ягоду. Зато в бору земляники хоть ведром черпай! Крупные, душистые, влажно блестели ягоды, точно рассыпанные щедрой рукой. Кустистый нежно-зеленый черничник скоро будет усеян сине-черными ягодами... Отойдет черника,— есть места, где богато будет брусники... Это все в бору. А в зарослях, по берегам Часовой, в потаенных местах, зреет смородина черная и кисленькая

красная. На высоких кустах видимо-невидимо буроватых ягод черемухи.

Много на Медвежке грибов. Весной ходят сюда за масленниками. В жару, после дождей, напрело много сыроежек, груздей, обабков. Ближе к осени появятся рыжики, а еще позднее опенки высыплют на просеке.

У самого леса над склоном, приткнувшись к сосенке, стоял невысокий балаган Самоуковых — шалаш с тесовыми стенками и дерновой крышей. Почти у входа чернела плешь прошлогоднего кострища.

Любо было глянуть отсюда на дальние лесистые синие горы, на прохладный блеск Часовой, на зеленую ширь покосов, оживленную яркими пятнами платков, рубах, юбок... Зной. Безветрие... Звякают боталами стреноженные кони, кричат птицы, кричат ребятишки, скачущие по приволью, как козлята, слышится девичий смех...

Вечерами девушки своей компанией, парни своей купаются в речке, а потом собираются все вместе, играют песни на берегу.

Роман, как и подобало женатому мужчине, не шел на берег, хоть и поглядывал временами в ту сторону, подпевал вполголоса. Впрочем, Самоуковы недолго оставались одни. После ужина несколько мужиков собралось у них, чтобы расспросить Романа, что нового слышно в городе, о чем в газетах пишут. С той поры, как арестовали и увезли неизвестно куда старика учителя, не с кем стало словом перемолвиться. Крестьяне уважали Котельникова, но он приезжал не часто и всегда впопыхах.

Разговор шел о ленских событиях и деле Бейлиса, о приближающихся выборах в четвертую Думу, а главное — о стачечной борьбе рабочих. Роман, как умел, отвечал на вопросы, стараясь, чтобы слушатели поняли антинародную линию правительства.

Ефрем Никитич зятя не прерывал, а только время от времени покрякивал и задевал его локтем: «Поосторожнее бы, сынок!»

— А скажи ты мне, братец, кто такие про... про...— забыл, как их зовут,— протресисты ли, как ли. Их Семен Семеныч Котельников хвалит,— спросил Чирухин, высокий молодой мужчина.

— Прогрессисты? Это, которые себя друзьями рабочих зовут? В центральном комитете этой партии сидит, например, Поплавский. Он немало потрудился: черные списки писал, забастовки срывал! Там же другой вампир — фабрикант Четвериков... этот устроил кассу борьбы с забастовками... да ну их к ляду!— Роман нетерпеливо взмахнул рукой, будто отбросил всю эту шваль, и продолжал задушевным тоном: — Одна только фракция социал-демократов борется за народ! Вот послушайте, братцы, чего добивались эти борцы...

Он с жаром рассказал о втородумской фракции, о суде над депутатами, о работе фракции в третьей Думе.

— Вот скоро начнутся выборы в четвертую Думу... С умом надо выбирать, братцы!

— А мы че? Мы люди темные, нам кого скажут, того и выберем,— сказал пожилой, сгорбленный, весь заросший волосом мужик с недоверчивыми узкими глазами.— Ну, братцы, хватит, послушали побасенок, айдате спать! Кичиги-то, глядите, где-ка!

Он встал и пошел медвежьей походкой по склону. За ним потянулись и другие. Остался с Романом один Чирухин.

Торжественно спустилась ночь. Затихли песни. Перестала скрипеть выпь за рекой. Потянуло холодком, погас костер. А они все еще разговаривали, освещенные красным светом углей...

Но вот и Чирухин ушел. Роман потянулся, напился квасу и, наклонив голову, вошел в балаган, где, лежа на шубном одеяле, тихо бредила во сне старушка. Ефрем Никитич еще не спал.

— Зря, сынок, ты поносные слова про сенат говоришь: сенат дело правит по-божески, по-справедливому.

— Чем тебе, папаша, сенат помог?

— А как не помог! Охлопкову-то кукиш натянул!

— Обожди и тебе натянет! Эх, папаша, папаша! Мало, видно, тебя в тюрьме томили... недодержали еще!

— А что — в тюрьме?— добродушно сказал Ефрем Никитич.— В тюрьму я из-за Катовых попал да из-за своего долгого языка. Не язычить бы мне с урядником, ко мне бы ничего и не прилипло. А начальство... оно свое дело исполнило: надо было виноватого найти...

Роман махнул рукой. Они замолчали, легли спать.

XI

Время близко к полудню. От земли — пар. Жарко блестит река. Только голубые горы да снежные облака кажутся прохладными... В пеклой жаре слышнее запахи вянущей травы, аниса, лабазника. Пахнет сосной, пахнет дымом, который лениво тянется от костров, почти не видимых при солнце. Стряпухи, вытирая фартуками потные лица, крошат кислую капусту и лук в деревянные чашки, режут на крупные куски пшеничные булки и калачи, варят кашу и сушеную рыбу-поземину или щи из солонины, а то из вяленой свинины.

Косцы нетерпеливо поглядывают на солнце и на стряпух. Ленивее запомахивали литовками девицы. Ни песен, ни разговоров, только свистящий шум литовок да крики ястреба-канюка...

— Что это, Романушко, будто кто едет сюда?— слабым от жары голосом спросила теща и указала пальцем на дальнюю дорогу.

Роман оторвался от бурака с квасом, стал всматриваться. Опершись на косу, посмотрел в ту сторону и Ефрем Никитич.

На двух подводах в широких коробках-плетенках ехало несколько человек. Мужики узнали осанистого нового старшину Николая Кондратова, сухонького, как сморчок, писаренка, земского начальника, стражника и урядника.

— Что-то в Зуевой содеялось, начальство туда покатило,— сказал Ефрем Никитич. Но подводы остановились, седоки вылезли и пошли к покосам, путаясь в густой траве.

Кондратов крикнул:

— Э-эй, православные!

Тяжело дыша, с встревоженными лицами сгрудились мужики перед начальством. Воро́та у всех были расстегнуты, косы положены на плечо. Бабы, прижимая к себе ребятишек, стояли поодаль.

— Мужички,— металлическим голосом объявил белокурый земский, обводя всех начальническим взглядом,— вышло решение: не-ме-дленно обменить эти покосы на другие покосные угодья, отведенные и отмежеванные заводоуправлением еще два года назад! Об этом вам

было объявлено не однажды, но вы упорствовали, противились... Прекратить косьбу!

Прошла минута какой-то тревожной, кипящей тишины, и враз все загалдели, замахали руками:

— Незаконно! Сенат указал!

— С будущего года, если что...

— Смилуйтесь, отцы родные! Труды ведь! Пот, кровь!

— Жаловаться, жаловаться! До царя дойдем!

Некоторое время белокурый земский спокойно стоял среди кричащей толпы, не отвечая на просьбы и угрозы. Потом он скомандовал:

— Старшина... Или нет... Афанасий Иванович, прикажите стражнику отобрать косы... если русского языка не понимают. А ты, старшина, прикажи писарю всех их переписать... Вечером соберешь сход.

Стражник шагнул к мужикам. Грозно повел сивыми усами и схватился за литовку Самоукова. Тот не выпускал.

— Отдай! Начальство приказывает!

Распоясанный, с расстегнутым воротом, со взъерошенными кудрями, Ефрем Никитич вдруг тяжело и быстро задышал, стал пепельно-серым. Не своим голосом сказал:

— Не шаперься! Литовка вострая... не порезаться бы тебе!

— Грозить?! Да я вас!— блажным криком закричал урядник Афанасий Иванович, побагровел и затрясся.

— Никто не грозит,— вмешался Роман, заслоняя тестя,— но пусть стражник ваш не лезет туда, куда голова его не пролезает. Понятно?

— Дураки,— лениво сказал земский начальник.— Не хотите, наложим штраф за самовольное сенокошение. Писарь, перепиши их всех!

— Меня не пишите! Я согласен!— со слезами в голосе крикнул заросший волосом мужик, который ночью спорил с Романом.— Да будь оно проклято!.. Жизня вся...

Наступила тяжелая тишина.

Вдруг послышался в этой тишине быстрый топот копыт, и все увидели скачущего верхом Котельникова. Он подпрыгивал, взмахивая локтями. Лошадь была в мыле. Котельников спрыгнул, но не удержался на но-

гах, упал, поднялся и побежал к мужикам. Все увидели, какое у него отчаянное, потное и пыльное лицо.

— Друзья мои,— истошно закричал он,— неправда победила! Министр внутренних дел взял сторону завода! Все погибло!..

Он истерически зарыдал, сжал руками голову и побежал в лес.

XII

Выслушав на кухне плачущую старушку, отец Петр завернул в епитрахиль запасные «дары», надел рясу и поспешно пошел к двухэтажному дому Кондратовых.

Маленькая, сухонькая старушонка, в заплатанной кофте, в широких обутках на босу ногу бежала за ним дробными шажками.

— Сам-от с Тимофеем на сходку ушли... а на сватью мне-ка наплевать,— говорила она, трусливо и жалобно глядя в затылок священнику.— Я и думаю: спокоить надо Манино сердечушко! А ругаются — пусть ругаются!

— Они что, без исповеди хотели ее на тот свет отпустить?— строго спросил отец Петр.— Дотянули чуть не до последнего дня!

— Не знаю, батюшка, что к чему... Может, думали, что, мол, потом... в смертный час... глухую исповедь...

— Вот я им задам «глухую исповедь»!— горячился он.— Вот опоздаем мы с тобой, умрет без покаяния, ни за что отпевать не буду!

— Кровопивцы они! — пискнула старушонка.

Отец Петр вошел во двор, уставленный высокими амбарами, каменными кладовками. Из завозни, где поблескивало в полумраке лакированное крыло летнего экипажа, выскочил пес, забрехал гулким басом. Длинная цепь, передвигаясь по железному пруту, позволяла ему бегать чуть не по всей ограде, но не допускала до ворот и крыльца.

— Перестань, дурак!— ласково сказал отец Петр, но пес совсем осатанел и стал царапать когтями по воздуху. Тогда священник сердито крикнул:— Уймите собаку!

Из-за угла выглядывал Сережка, младший сын Кондратова, но собаку не унимал.

Из конюшни вывернулся батрак, схватил полузадохшегося пса за ошейник. На крыльцо вперевалку выбежала безбровая широколицая Кондратиха и остановилась, с ужасом глядя на священника.

— Батюшка... Милости просим!.. Мужиков-то вот нету... Я не знаю... послать ли, что ли, за ними...

Она задыхалась от волнения.

— Чайку выпить... пожалуйте...

— Я не чаи пришел распивать,— строго произнес отец Петр, переступив порог устланной шерстяными полосатыми половиками прихожей.

Из прихожей три двери вели в комнаты. Кондратиха распахнула дверь столовой — комнаты, которая служила не для еды, а только для приема гостей.

Отец Петр в столовую не пошел,— заглянул в боковушку — в спальню молодых Кондратовых. Бывая с крестом и кропя святой водой весь дом, он знал эту глухую маленькую горенку, с сундуками, покрытыми тюменским мохнатым ковром, с двуспальной кроватью под ярко-сиреневым одеялом.

В спальне было пусто.

— А где болящая?— строго спросил отец Петр.

— Да вы пожалуйте, батюшка, в столовую.

— Где болящая, я спрашиваю?

Стонущий глухой голос ответил ему откуда-то:

— Здеся я...

Звуки шли из-за третьей двери, из спальни самих хозяев. Отец Петр удивленно взглянул на Кондратиху. Та заплакала.

— Перевела ее к себе... Тима, он — мужик... он лягет да заснет... а ей напиться или что... Сама хожу... как за дочерью... Бог видит!

«Нет, тут что-то не то,— подумал отец Петр,— похоже, боится с глаз спустить...»

За ширмой в темном углу, на узкой опрятной койке, лежала молодая сноха Кондратовых. Уход, по-видимому, был за нею хороший. Эта исхудалая женщина в последнем градусе чахотки была умыта, причесана, прибрана как полагается.

— Думала, совсем не придете,— тихо, с горьким упреком сказала больная.— Все вам некогда... Думала — без покаяния...

— Ко мне сейчас только пришли, сказали, что ты,

Марья Кузьмовна, желаешь исповедаться. Я сейчас же и пошел.

Говоря это, отец Петр смотрел не на больную, а на ее свекровь. На растерянном лице у той выступили красные пятна.

— Фершел не велел ее тревожить, мы и...

Опять она не договорила... Посуда зазвенела в ее неспокойных, пухлых руках. Маня всхлипнула:

— Так это вы не допускали! Бог тебе судья, мамонька...

— Мужики-то нас с тобой...— пробормотала тихо Кондратиха, приглаживая волосы снохе.— Ты, Маня, лучше бы повременила... не сейчас умирать-то.

— Выйди отсюда,— приказал отец Петр Кондратихе,— и последи, чтобы ни одна душа не помешала таинству исповеди!

Кондратиха нехотя вышла из комнаты в прихожую и стала, ступя не ступя, спускаться по лестнице вниз. Отец Петр сам закрыл на крючок входную дверь и дверь спальни.

Он помог Мане подняться, сесть. Она повесила голову на грудь. Он накрыл эту опущенную голову узким полотнищем епитрахиля, прочел молитву, в которой говорилось, что сам бог стоит тут и слушает ее исповедь. Стал задавать обычные вопросы.

Из-под темного, прочеркнутого позументным крестом епитрахиля, пропахшего ладаном, слышались всхлипы и прерывистый шепот:

— Грешна... грешна...

— В чем еще ты грешна?— задал обычный вопрос священник и получил необычайный и как будто не относящийся к делу ответ:

— Блазнит...

— Объясни!— сказал он добрым, отеческим голосом.

Прерывистым шепотом умирающая рассказала ему, как она жила в этом самом доме «пострадкой»-батрачкой, как Кондратовы, когда было кругом «пьяным-пьяно», волокли стражника и урядника в конюшню, как те мычали, стонали... и стонут до сих пор каждую ночь...

— Это совесть твоя стонет,— сказал потрясенный священник дрожащим голосом.— Выходит, Самоуков безвинно пострадал?

— Я, грешница, дяденьке Ефрему не смею в глаза глянуть... Простит ли меня господь?

Он помедлил.

— Если ты искупишь свою вину, восстановишь справедливость, господь тебе простит. Искупить надо.

— Как?

— Объявить начальству.

Больная затрепетала. Она отбросила епитрахиль, схватила холодными, потными пальцами руку священника. По лицу, по шее высыпали вдруг пупырышки, как от холода. В глазах стоял ужас.

— Они... тогда... меня кончат, батюшко... много ли мне надо... как куренка...

Он погладил ее по голове.

— Не бойся! Волосу не дам упасть! Завтра приду к тебе с властями, запишем твое показание... И к родителям тебя перевезем.

Она мелко-мелко задрожала.

— Ой, нет! Тима-то... Тимошу-то тогда засудят ведь!

— Засудят. Он должен пострадать за свой грех.

— Батюшка, родимый, пожалей ты меня! Ослобони!

— Я жалею,— сказал растроганный отец Петр.— Но и ты пожалей свою душу. Кого ты жалела и укрывала? Убийцу! Из-за вас невинный человек какую муку принял? Как ты думаешь, может бог это простить? «Ладно, мол, Марья, так и быть, иди себе в рай»... Нет, он не простит.

Маня уронила голову. Плечи опустились. Она сидела покачиваясь, едва не падала.

— И свою душу погубишь и мужа,— строго сказал отец Петр,— он не пострадает, так не раскается. Будет гулять, да пить, да баб ласкать, а о душе не подумает.

— Ладно,— прошептала Маня,— зови...

И повалилась навзничь.

Отец Петр снова накрыл ее епитрахилем.

— «Разрешаю ти, чадо...» — прочел он отпущение в грехах и, сняв епитрахиль, увидел, что наступила агония.

Он перекрестил ее, позвал домашних и стал читать отходную.

Выйдя от Кондратовых, отец Петр пошел не домой, а к волости, откуда несся смутный гул голосов. Сам

не знал, зачем идет туда. Может быть, надежда толкала его: «Скажу, что жена умерла, Тимофей домой поспешит... Тут я с ним и поговорю... Не камень же он...» Только сейчас, в минуту потрясения, можно пробудить в этой черствой душе человеческие чувства.

Если же нет, если Тимофей не сознается сам, никто никогда не узнает имен преступников. Сам отец Петр был бессилен: он не смел, не мог нарушить тайну исповеди. Сознание бессилия, мысль, что он не может восстановить справедливость, раздирали ему сердце.

Он вошел в раскрытые настежь ворота на волостной двор.

У крыльца за столом сидели земский и писарь. Перед ними неспокойной и шумной толпой стояли мужики. Старшина Кондратов, стоя на ступеньке, держал речь. Даже в этот душный вечер он не снял суконную поддевку и только ежеминутно вытирал лицо платком.

Отец Петр поискал глазами Тимофея. Тот сидел в отдалении под навесом, на передке пожарной машины. Вид у него был скучающий.

— Твоя жена скончалась, Тимофей Гаврилыч,— вполголоса сказал священник.

Ничего не отразилось на грубом лице Тимофея, только узкие глаза враждебно насторожились.

— Отмаялась,— сказал он равнодушно,— царство небесное! В таком случае мне надо домой пойти.

— Постой!

— Чего мне стоять, ваше преподобие? Посудачить надо, так пойдемте... нечего людям мешать.

Последние слова заглушили шум и крики.

— Э, да ты догадлив!— сказал отец Петр громко, раздраженный спокойной наглостью Тимофея.— Знает кошка, чье мясо съела! А если я не пойду с тобой, а вот сейчас, перед всем честным народом возьму да и скажу, в чем мне твоя покойница призналась.

Тимофей не дрогнул. Ни одна черта его не шевельнулась, но лицо налилось кровью, и шея враз стала короче и толще.

— Бабы — дуры, они такое наскажут... Но я одно знаю: чего на духу сказано — поп молчать должон.

Тимофей почтительно поклонился и хотел уйти. Отец Петр удержал его, положил руку на плечо.

— Опомнись! Раскайся! Как умирать будешь?

Медленным движением Тимофей отвел локоть, и плечо его точно ушло внутрь. Отец Петр снял руку.

— Просим вас заупокойную всенощную отслужить,— сказал Тимофей, уходя.

Отец Петр так и остался на месте, точно взгляд — насмешливый, грозящий — заморозил его.

— Н-ну и зверина лихая! Как тот пес!— прошептал он про себя...

— И кто это смеет говорить, что-де не подпишусь?— громко и раздельно продолжал старшина.— Бесстыжий варнак говорит, тюремщик! А вы, мужики, слушайте! Господин министр приказал, и мы без разговоров обязаны обменять земли. Мне, думаете, самому не жалко покоса? Но понимаю! Поспорили, поговорили, хватит! Так, старички, принимаем?

Богатенькие, всегда державшие сторону начальства, закричали:

— Принимаем! Принимаем!

Но большинство не соглашалось:

— Эку даль ездить!

— У меня дарственная!

— Не согласны! Не согласны!

— Ваше благородие,— сказал Ефрем Никитич, выступив вперед,— если законно, так и без нашей подписки законно. А если без подписки незаконно,— не подпишемся, что ты хочешь делай!

Он стоял, высокий, худой, в той же распоясанной холщовой рубахе, как был на покосе. Цыганское лицо побледнело, но не от страха, а от гнева.

— Э, да ты, я вижу, впрямь опасный человек! Посмотри, старшина, глаза, как у волка, горят... Это он сегодня грозил стражнику «вострой» косой?

— Он.

— Мы все грозили!— крикнул молодой мужик Чирухин, загораясь гневом.— Что вы к нему привязались, в самом деле?

— Помолчи, Чирухин,— сказал старшина,— постарше тебя есть люди тут!

— Покорись лучше, Самоуков,— сказал земский,— а то мы можем тебя и из пределов губернии выслать! Есть еще за ним замечания?

— Ишь, зубами, злой, кирчигает,— сказал старшина.— Научился в тюрьме-то людей пужать.

— За что он в тюрьме сидел?— заинтересовался земский.

— А за душегубство,— не моргнув, ответил старшина,— один двух ухайдакал, стражника и урядника. И зять у него в тюрьме сидел... за крамолу.

Не мог больше вынести отец Петр.

— Старшина!— задыхаясь от возмущения, крикнул он, и вся толпа повернула к нему головы.— Как ты смеешь, старшина! Разве он убивал?

По толпе шелест прошел... Старшина точно онемел и несколько раз провел по лбу скомканным клетчатым платком. Лоб у него побледнел, а покрытые загаром щеки пожелтели.

— Что вы имеете в виду, батюшка?— недружелюбно спросил земский.— Ведь факт, что он сидел!

— А невинные разве не сидят?— запальчиво спросил отец Петр.— Преступление не доказано! Я уверен, что Самоуков не убивал! Больше не могу... не имею права сказать...

Он с болью оглядел лица, обращенные к нему, и ему показалось, всем теперь ясно, что он имеет в виду. А не ясно сейчас, поймут завтра, когда узнают, что на сход он пришел от Кондратовых, где исповедовал Маню. С надеждой глядел на него Самоуков. Отец Петр с трудом отвел от него глаза. Слова обличения так и рвались с языка... Боясь, что не совладает с собой, отец Петр поспешно пошел к воротам. У ворот остановился, оглянулся и, грозя пальцем, крикнул:

— Накажет бог убийцу! Найдет!..

В крайнем раздражении возвратился домой отец Петр.

Попадья бросилась ему навстречу. Брови у нее стояли вертикально, подбородок дрожал.

— Нарочный приезжал от отца благочинного... владыка по епархии ездит, скоро здесь будет!

XIII

Архиерей Вениамин любил показать свою власть, любил попов покорных, любил блеск, пышность... В поездках по епархии его сопровождал клир (хор) в пол-

ном составе. С ним ехала вся его свита: звероподобный отец-протодьякон, сутулый льстец-ключарь, прозванный за мздоимство и мстительность Ванькой Каином, красавец послушник с льняными кудрями и синими подглазницами, сумрачный эконом, шпионящий за всеми, вплоть до самого «владыки», и толстый повар-весельчак.

Архиерейский поезд в селах и заводах встречали, как крестный ход, колокольным веселым трезвоном «вовся». Духовные лица вместе с домочадцами, трепеща, шли под благословение — целовали пухлую, обезображенную экземой руку Вениамина.

Обычно архиерей останавливался у настоятеля церкви вместе с ключарем, экономом, послушником и поваром. Хор и протодьякон размещались в домах остальных членов причта, у второго священника, у дьякона или у церковного старосты, если тот был из богатых мужиков.

Такие поездки были приятным развлечением и для архиерея, и для его свиты, но надолго выбивали из колеи духовенство епархии.

Перед приездом владыки срочно белили и мыли церковь, начищали до блеска потускневшие подсвечники и паникадила. В доме настоятеля спешно оборудовали «покой» для преосвященного. Комнату чистили, скребли, украшали. Сами хозяева спали эти ночи в бане или на сеновале. Малышей растаскивали по соседям, а старшим ребятишкам вдалбливали житие святого, чье имя носит ребенок, проверяли, помнит ли он молитвы, тропари, знает ли числа двунадесятых праздников и царских дней. Горе и срам тому отцу, чье чадо не ответит на вопрос преосвященного... горе и самому чаду, выпорют его так, что всю жизнь будет помнить архиерейский приезд!

Хозяева квартир, предназначенных для хора, озабочены другим: надо купить водки, наварить побольше хмельного пива, запасти для этой прожорливой саранчи съестное. О чистоте и украшении покоев здесь не думают, — все равно пьянчуги загадят все комнаты, хоть скребком чисти после них! Малых ребят уносят в соседи, чтобы от звериного рева не случился родимчик. Удаляют на эти дни из дома и молодых девиц.

Перед отбытием владыки в другое село староста

вскрывает одну или две церковные кружки,— надо дать сотни две-три ключарю Ваньке Каину. Это называется «пожертвованием на хор». Взятку обычно вручает сам настоятель церкви.

— Которую кружку распочнем?— пугливым шепотом спросил староста отца Петра в день отъезда архиерея...

— Никоторую! — ответил тот резко, с сердцем.

— А как же?

— А вот так же... пусть облизнется да и утрется!

— Так и не дадите ключарю, батюшка?

— Отчего не дать? Дам... на пиво... Пусть соловьиные горлышки промочат. Но кружку распечатывать, староста, не смей! Не велю!

Отец Петр скрепя сердце выполнял весь ритуал приема. Его раздражала пугливая услужливость жены и то, что дочь с благоговением взирает на капризного старика епископа и на смазливого послушника.

Отцу Петру казалось, что архиерей чувствует недружелюбное отношение своего хозяина, отвечает ему тем же и всячески старается принизить его. То пустится в длинный разговор, не приглашая сесть... а без его разрешения не рассядешься!.. То, глядя на висящее в рамке над столом свидетельство о награждении набедренником и скуфьей, посетует, что долго не может выслужить отец Албычев себе камилавки... И неуловимо даст понять, что тут характер виноват... Могла бы быть и камилавка!

В день отъезда преосвященный пообедал, приказал закладывать и пригласил отца Петра в сад, чтобы поговорить с ним наедине.

Они прошлись раза два по недлинной рябиновой аллее. Архиерей сел, а отец Петр остановился перед ним, утешая себя тем, что уже считанные минуты остаются до отъезда, «потерплю еще...»

— Так вот, отец Петр, даю вам напоследок поручение... Это относится к предвыборной нашей деятельности... Прошу вас, до епархиального съезда представьте мне такие сведения: каковы ваши прихожане, что они представляют в смысле политической благонадежности!

— Ваше преосвященство, — сказал, приосанившись, отец Петр,— благоволите обратиться по сему вопросу к жандармам! Тайна исповеди священна,— коротко добавил отец Петр.

— «Тайна исповеди»,— брюзгливым старческим голосом повторил владыка,— все-то он носится с тайной исповеди... Это у вас идея фикс!— Он пожевал губами, поморгал, почесал руку.— Вы должны знать, ваше преподобие отец Петр, что такие сведения даются не только о крестьянских десятидворках... и о вашем брате также! Вот! О влиянии священника на крестьян... о политических убеждениях... Я уже получил такие сведения!

— С чем и поздравляю, ваше преосвященство,— вставил дерзкий поп.

— Хор-р-ошие вещи я узнал об отце Албычеве!— продолжал архиерей, моргая и выбивая дробь посохом по земле.— Священник Албычев вмешивается в светские дела!.. Служитель церкви... которому по положению и по задачам надлежит стоять в стороне от мирской суеты...

— Позвольте осведомиться у вашего преосвященства,— с каким-то зловещим спокойствием заговорил отец Петр, заложив руки за спину и выставив вперед правую ногу,— пролезая в Думу, духовенство встает в сторону от мирских дел?.. Чем вы меня укорили? Тем, что я за справедливость борюсь?.. И дальше буду жить по велению совести!.. Одно мне больно, горько: не могу назвать убийцу по имени... не могу обелить невинного!

— Старшина умнее и тактичнее вас... Ему известно это имя...

— Еще бы!

— Но он молчит, так как считает Самоукова вредным членом общества, ну и не желает порочить умершего... его судит господь своим судом!

— Не понимаю вас... Какого умершего?

— Кузьму, кажется... отца своей невестки... убийцу, словом.

Некоторое время отец Петр молчал, разинув рот...

— Так он, прохвост, на покойника Кузьму свалил? — разразился он, получив способность говорить.— Кровопийца!.. Гадина!.. Обличу... Перед всем народом обличу!.. Кончилось мое терпение!

— И мое — также,— почти прошипел архиерей.

Через две недели жена отца Петра с горючими слезами провожала его на епархиальный съезд.

— Болит у меня сердце... болит! Боюсь я... батюшко! Богом молю: захочется тебе сгрубить или обличить кого,— подумай о дочери! Сдержись! Кабы мы одни с тобой были, а ведь у нас дочь... ее учить надо, на дорогу выводить!

Вера со слезами поцеловала отца и убежала в сад. Невеселое вышло прощание.

Отец Петр взял саквояж и вышел за ворота. Пара коней ждала его. Коренником шел мерин, а в пристяжных — резвая дьяконская кобылка. Прежде чем садиться в широкий коробок, отец Петр огладил лошадок, проверил, не высоко ли на седле, как затянута супонь. Но вот он влез в коробок, плюхнулся на мягкое сиденье и сказал кучеру:

— С богом!

Они отъехали несколько десятков сажен, как вдруг послышался прерывистый женский плач и невнятное тихое причитание.

Из-за угла показалась странная группа.

Между стражником и сотским, сильно загребая левой, когда-то сломанной ногой, шел Самоуков. За ним бабы вели под руки жену. Она спотыкалась, как ослепшая, причитала надорванным, чуть слышным голосом.

— Стой!— приказал отец Петр.— Это что такое?

Все остановились. Сотский и стражник сняли фуражки. Стражник сказал:

— Приказано Самоукова отправить по этапу в Вятскую губернию. В волость его ведем.

— За что?!

— За правду меня,— горловым голосом сказал Ефрем Никитич.

— Самоуправство какое!— задохнувшись, произнес отец Петр и быстро выскочил из коробка, чтобы идти в волость.— Слушай, Ефрем Никитич, если я возьму тебя на поруки, не подведешь, обещаешь жить тихо-мирно?

Старшина, урядник, писарь и его помощники — все высунулись из окон волостного правления, услышав голос отца Петра. Старушка перестала всхлипывать и открыла глаза, точно начала возвращаться к жизни.

— Тише-то моего как жить?— проникновенным голосом ответил Самоуков.— Никому от меня обиды не было... сам изобижен кругом, а других не обижал... Выпью — только песенки пою... больше ничего!

— Знаю, милый, знаю.

И широкими шагами пошел отец Петр в волостное правление.

— Отпусти Самоукова домой,— повелительно сказал он старшине Кондратову.— Я поручусь за него.

— И рады бы, кабы льзя, а только нельзя этого,— ответил Кондратов, мрачно выбуривая на попа.— Не за то ведь его высылают, что песни поет, а за то, что политицки ненадежен.

— Это откуда видно?

— И не обязан я вам все говорить...

Отец Петр вскипел:

— Ты с кем говоришь? А? Забылся?

— Я не забылся, ты забылся,— грубо ответил старшина.— Я при долге службы, а ты на меня кричишь криком! Хоть ты поп, хоть кто, а не тронь царского слугу!

Как ни был рассержен отец Петр, он невольно рассмеялся сердитым смехом:

— «Царского слугу»! Эх ты, министр сопливый... шишка на ровном месте!

Кондратов, обведя всех взглядом своих оловянных глаз, спросил торжественно:

— Все слышали надсмешки? Будьте свидетелями: при долге службы...

В голове зашумело, засвистало на разные голоса... Отец Петр чувствовал, что еще немного — и он бросится на Кондратова. Все насторожились. Все чего-то ждали, следя за ним глазами. Казалось — перед ним капкан...

Одно неверное движение — и капкан этот захлопнется...

Отец Петр выбежал из сумрачного волостного правления на залитый солнцем двор. У крыльца ждали его стражник, урядник, Самоуковы.

— Ты прав, Ефрем Никитич,— каким-то пересохшим голосом сказал отец Петр,— но я ничего не мог сделать... Крепись, мученик, крепись!

Оградил его широким крестом и сказал, уходя:

— О жене не заботься.

Весь дрожа и задыхаясь, влез в коробок, выхватил у кучера вожжи, стал что есть сил нахлестывать лошадей.

XIV

Осенью двенадцатого года Илье опять пришлось ехать в Петербург, так как связь снова нарушилась, прервалась в ответственный, серьезный момент, во время предвыборной работы.

Большевики придавали большое значение кампании выборов в четвертую Думу. На Пражской конференции была выработана обстоятельная резолюция по этому вопросу.

Большевики хотели получить думскую трибуну, чтобы, обличая правительство, говорить на всю страну «о полных неурезанных требованиях пятого года».

Предвыборная борьба разгоралась...

По дороге Илья простудился, в Питер приехал больным. Несмотря на это, он нашел Орлова, получил от него указания, литературу, оставил ему адреса для связи и хотел уже выезжать обратно, как вдруг к вечеру впал в бессознательное состояние.

Началось воспаление легких.

В многодневном бреду Илье чудилось, что он едет в Перевал и что в вагоне его подвергают пытке: втыкают в бок длинную иглу. При каждом вздохе игла колола все сильнее. Илья метался, искал взглядом, кому бы передать документы. Потом ему чудилось, что литература и документы уже у Романа, но Роман не хочет оставить своего друга в руках палачей. Илья кричал: «Уходи! Беги!» Вдруг Илья оказался не в вагоне, а на железнодорожной насыпи. Он знал, что до Перевала надо бежать сотни верст и что бежать надо как можно быстрее... Он побежал. Игла так и заходила у него в боку. Дыхания не хватало... Со всех сторон вертелись огненные колеса, и из паровозных топок летели искры. Он бежал и думал только об одном: как бы не сгорели документы, адреса, явки...

Но вот Илья вырвался на простор, подуло прохладой.

— Как он вспотел!— сказал знакомый женский голос.

Илья открыл глаза. Был тусклый день. Вначале комната показалась ему совсем незнакомой, потом он узнал круглую печку, в которой когда-то Орлов сжигал

письма, узнал коврик у кровати, желтый карниз, нависший над дверью.

«Пора на вокзал!» — он хотел подняться и не мог. Софья наклонилась к нему.

— Ну, что, Давыд? Как вы?

И, видя его мучительное беспокойство, сказала:

— Ни о чем не беспокойтесь, шесть дней назад в Перевал уехал один товарищ. Скоро вести от него будут.

«Шесть!.. Значит, я неделю без памяти лежал... и в такое время!»

Появилась еще одна женщина — пожилая, степенная. Это — жена Волкова, рабочего-путиловца, в чьей квартире лежал Илья.

Она подошла к постели с рубашкой и кальсонами в руках:

— Давайте-ка переоденем его!

Нехотя он подчинился. Его переодели, умыли, напоили с ложечки горячим чаем. Он почувствовал себя бодрее.

— Когда можно будет ехать?

— Не скоро. С этим придется примириться.

— Дела как?

— Гордей придет вечером, расскажет, а пока — спите, отдыхайте...

Через три дня Илья уже мог садиться в постели, читал газеты,— силы прибывали... как вдруг снова скакнула температура, заболел бок, начался бред. «Ползучее воспаление легких!» — определил врач.

Никогда еще — разве только в тюрьме — не страдал так Илья от сознания бессилия. В светлые промежутки между приступами болезни он думал только об одном: о трудном, напряженном положении в Перевале. Сейчас, наверно, каждый работает за двоих, за троих... а он лежит здесь бесполезный!

Орлов и Софья спешили порадовать его вестями из Перевала:

— По нескольку сходок в день проводят!

— Роман на свободе?

— На воле! Действует!

— А Паша Ческидов?

— Пашу наметили уполномоченным. Его было придержал у себя Горгоньский, но рабочие добились — от-

пустил! Ликвидаторы пытались навязать вместо Паши другую кандидатуру — не вышло!

Глаза Ильи продолжали беспокойно выпытывать... Но он больше ни о ком не спросил. Софья сжалилась:

— Не мучай уж, Гордей! Сам он не спросит...

— А вот пусть спросит! Пусть не чинится перед нами... чудак! Ну, изволь: Ирина жива-здорова, на воле, работает.

Вот уже несколько дней Орловы перестали приходить к Илье. Хозяин стал возвращаться поздно. Илья понимал, что предвыборная борьба разгоралась и не остается у них свободной минуты.

Он только по рассказам хозяина следил за этой борьбой.

Однажды ночью Волкова вызвали на заседание путиловской заводской социал-демократической группы. Жена встревожилась. Проводив его, спать не легла, села штопать белье. Илья тоже не мог заснуть больше. Несколько раз женщина выходила в коридор и во двор, прислушивалась, выглядывала из ворот. Мужа все не было. Илья от души сочувствовал ей. Глухая тревога передавалась и ему.

Рассвело. Женщина машинально выполняла свою домашнюю работу. Сходила в мелочную лавчонку, разожгла керосинку, подмела пол, вскипятила чай. Она не говорила о своей тревоге и только тяжело вздыхала по временам. Заглянула соседка:

— Ой, где у тебя мужик-то? За ним кто это приходил-то?

— На ночную смену вызвали... не приходил еще,— спокойно и холодно отвечала хозяйка.

Волков явился около полудня не то смущенный, не то радостный.

Прихрамывая, покрякивая, прошелся по комнате. Сказал:

— Бастуем, значится!

— Так и знала, что накрякаешь чего-нибудь,— любовно, но строго сказала жена.

— Напои меня, Поля, чаем, да я опять побегу!

— Ох ты! Все хоть скажет «побегу»! Все еще резвый конь!

Торопливо прихлебывая чай, Волков рассказал Илье, какие дела начались.

Накануне уездная комиссия по выборам выкинула трюк: так «разъяснила» правила, что уполномоченные Путиловского и других крупных заводов оказались лишенными права выбирать выборщиков.

Буквально через час после того, как стало известно это «разъяснение», собралась исполнительная комиссия Петербургского партийного комитета. На заседание явился представитель Центрального Комитета.

Он заговорил о забастовке протеста. Все его поддержали.

— Резолюцию мы приняли такую,— рассказал Волков,— протест выражаем против нарушения наших избирательных прав! В резолюции мы заявили, что только тогда будет действительно возможна свобода выборов, когда царизм будет свергнут и когда республику завоюем.

— А ликвидаторы,— нетерпеливо спросил Илья, загораясь весь,— они не совали вам палки в колеса?

— Предлагали свою резолюцию насчет всеобщих выборов в Думу... вообще резолюцию они предлагали на основе своей платформы... Но мы победили! И на митингах наша резолюция прошла!

Через день встал Невский судостроительный завод. К бастующим стали присоединяться другие заводы и фабрики Петербурга.

Тысячи бастующих рабочих собирались в колонны, ходили с пением революционных песен. Многотысячные митинги шумели на улицах.

Грозные размеры протеста испугали губернскую комиссию, и она отменила «разъяснение» уездной. Коллективы заводов получили право выбирать по рабочей курии.

С замиранием сердца следил Илья за разворотом борьбы. Когда опубликован был результат выборов и он узнал от Гордея, что из девяти депутатов, избранных по рабочей курии, шестеро — его товарищи, большевики, Илья не мог сдержать радостной дрожи.

Это была настоящая, большая победа.

Перед отъездом в Перевал Илья встретился с членом Центрального Комитета, получил установку для дальнейшей работы.

XV

Перевальские большевики, укрепляя свои подпольные ячейки, усилили работу и в легальных организациях.

Ирина Албычева в воскресной школе обучала молодых рабочих. Она преподавала русский язык. Учителя истории и арифметики также принадлежали к подпольной организации большевиков. Только географ был «беспартийным либералом». Среди учащихся создали небольшую подпольную группу, которая распространяла нелегальную литературу на предприятиях.

Рысьев, пользуясь положением страхового агента, играл роль связного, распространял литературу и, кроме того, вел кружок чтецов-декламаторов в Народном доме Верхнего завода, разучивал с ними такие произведения, как «Буревестник», «Каменщик», «Алый цветок», отрывки из Горького, Щедрина, Чехова.

А Роман Ярков, выполняя задание комитета, руководил на Верхнем заводе борьбой за больничные кассы.

В июле девятьсот двенадцатого года царское правительство издало закон о страховании, о создании больничных касс на крупных предприятиях «для оказания помощи рабочим в случаях болезни и увечья». «Правда» разъяснила, что правительство, напуганное развитием революционного движения, издает этот закон не для того, чтобы облегчить по-настоящему положение рабочих, а лишь для того, чтобы лицемерно показать свою заботу.

Перевальский комитет, несмотря на неусыпную слежку, провел собрания, рабочие обсудили новый закон, рассмотрели устав больничной кассы.

Надо было убедить отсталых людей в том, что, хотя эти кассы являются только карикатурой на социальное страхование, все же они — новое завоевание рабочего класса, который должен теперь бороться за расширение размеров страхования.

Перевальский комитет помог провести страховую

кампанию в Лысогорске, в Таганайске, в Мохове, посылая туда партийных работников, забрасывая литературу.

В правление больничной кассы Верхнего завода прошли от рабочих большевики — Роман Ярков и Иван Занадворов.

Илья, уволенный из типографии после смерти старика владельца его благонамеренным сыном, устроился библиотекарем общества потребителей и стал по поручению комитета бороться за создание профсоюза торговых служащих.

После выхода закона тысяча девятьсот шестого года профсоюзы влачили жалкое существование. Чиновники особых присутствий, которым дано было право регистрировать и «разрешать» союзы, придирчиво рассматривать устав, вычеркивали все, что могло расширить деятельность союза. На общих собраниях, на заседаниях правления вдруг появлялась полиция, начинался обыск в помещении, наиболее деятельных членов союза брали под стражу.

Человек, не обладающий гражданским мужеством, не годился в руководители союза...

Когда комитет поручил Илье организовать профсоюз, он задумался об учредителях. После длительных поисков остановились на двух: солидном бухгалтере крупного торгового дома и на приказчике Гафизовых. Эти два человека так доверяли Илье, что только ставили свои подписи на составленных им бумагах.

Вначале все шло хоть хлопотно, но гладко.

Губернское присутствие утвердило и зарегистрировало устав. Учредители широко оповестили торговых служащих. Начались запись в члены, сбор вступительных взносов.

Илья подыскал недорогое помещение для Учредительного собрания. Подал, как полагалось, заявление полицмейстеру.

Словом, все шло гладко до Учредительного собрания, на котором произошел неприятный инцидент.

Надо сказать, что на собрании должен был присутствовать «полицейский чин», который, в случае «противозаконных разговоров» мог сделать предупрежде-

ние и в случае повторного предупреждения закрыть собрание.

Он сидел, слушал и ни во что не вмешивался, пока не назвали кандидатом в правление Илью.

— Я протестую!— заявил вдруг блюститель.— Он ведь поднадзорный!

Взял слово Илья.

— Гласный надзор давно снят,— сказал он, в упор глядя на блюстителя порядка.— Вы предупредили о негласном... благодарю! Но ваше начальство не поблагодарит вас...

Блюститель замолчал, как воды в рот набрал, и выборы пошли своим чередом.

Илью избрали секретарем правления.

Широкие возможности раскрылись перед ним. Он бывал на местах, направлял работу комиссий. В конфликтах и столкновениях членов союза с администрацией принимал самое деятельное участие. Он должен был обладать обширными знаниями законов, иметь авторитет. Очень многое зависело от выдержки и такта секретаря.

Члены правления скоро убедились в том, что выбор они сделали правильно. Работа сразу пошла стройно.

Первое время путался под ногами блюститель, то и дело заходил в правление, старался сунуть нос в дела. Илья скоро отвадил его. Как-то блюститель явился на заседание правления, но Илья немедленно попросил его удалиться:

— Вы вправе посещать только публичные собрания, а у нас заседание. Прошу вас выйти!

Первое время на общих собраниях и на заседаниях комиссий большинство молчало, а тот, кто осмеливался выступать, говорил о хозяевах и о своем положении весьма «политично», туманными намеками.

Понемногу люди осмелели, заговорили:

— По семнадцать часов в сутки работаем... Где закон шестого года?.. В праздник сходил бы, подышал бы вольным воздухом, но как уйдешь? У нас хозяин в девять часов вечера дверь запирает, к этому времени надо быть дома... Тюрьма!

— Вас хоть снаружи-то не запирают! А у нас после ужина загонят нас, молодцов, в комнату и снаружи запрут. Он боится, не сговорились бы зарезать его. Иной

раз не спишь, думаешь: а вдруг пожар? Забудет, не отопрет... прыгай в окошко с третьего этажа!

— Занятия?— говорил третий на вопрос Ильи.— Рад бы душой, Илья Михайлович, да хозяин говорит: «Что, будешь ерундой голову забивать? Сиди дома». В праздник увидит в руках книжку, вырвет, хлопнет тебя по лбу: «Иди-ко помоги кучеру коляску мыть, сбрую чистить... он один-то заплюхался там, а ты без дела же сидишь».

— Вам вот коляску мыть муторно,— тихо вставил подручный свечной лавки,— а вот я за ломовую лошадь сам работаю. Получаешь пятнадцать рублей в месяц, надо всем угодить, прилично одеться... я на тележке по десять пудов керосину вожу...

Илья убеждал их, что нельзя позволять хозяевам садиться себе на шею, надо протестовать, не подчиняться вздорным приказаниям, не допускать унизительного обращения. И мало-помалу классовое самосознание пробуждалось.

Илья ждал случая — показать силу профессиональной организации не на единичном мелком конфликте, а на конфликте целой группы людей. И такой случай вскоре представился.

Несколько приказчиков торгового дома Гафизовых заявили Илье о мошеннической проделке хозяев.

Гафизовы, выдавая своим служащим новые расчетные книжки, записали в графу «размер жалованья» только половину обусловленной платы. Вторую половину вписали в графу «за сверхурочные часы». Таким образом, они ухитрились обойти даже куцый царский закон. Жалованье оставалось прежним. За сверхурочные часы приказчики не получили надбавки.

— Те же штаны назад пуговкой,— мрачно шутили они.

Илья поставил вопрос на правлении. На другой же день он отправился в контору «братьев Гафизовых» и потребовал оплатить сверхурочные работы. Гафизовы отказали.

Тогда младшего Гафизова пригласили на заседание правления. Он пришел.

Это был делец нового типа, собранный, умный, внешне корректный человек. Он не походил на своего отца-купчину, который берет нахрапом, горлом, угрозой...

— А если мы не удовлетворим требования?— вежли-

во спросил Гафизов-младший.— Что вы иамереиы предпринять?

— Возможиа забастовка протеста,— ответил Илья.

Гафизов подумал-подумал... смущеиио улыбаясь, сказал:

— Я вижу, иадо подчиниться... иовое время, иовые песии. Коифликт считайте улажениым. Но... одно условие... Прошу ие касаться иашего торгового дома в печати...

— Такого обещания ие дадим,— отрезал Илья.

Победа иад Гафизовым сразу подияла престиж профсоюза.

Илье даже в ум не приходило, что из-за этого случая у иего начиutся иеприятиости с братом и с матерью.

Брат Михаил служил бухгалтером у Гафизовых пять лет. Его иадежды на брак с дочкой довереииого ие сбылись, но положеиие в торговом доме было прочиое, крепкое, хозяева цеиили его. Мысль о мошеииичестве с расчетиыми киижками прииадлежала ему. Поэтому он особеиио болезиеиио приияли вмешательство профсоюза. И когда молодой хозяии мимоходом сказал: «А у вашего братца сильный характер!» — Михаил подумал, что его подозревают в сговоре с Ильей, думают, что это он дал сведеиия в профсоюз. Молодой хозяин не измеиил отношения к нему; ио Михаила это ие успокоило, ои зиал, что тот никогда ие выдаст истииных чувств, а выждет время и уволит, любезно пожелав всего наилучшего.

В панике прибежал Михаил к матери и так иапугал ее, что оиа опрометью кииулась к Илье.

— Илья, Илья! Зачем ты ввязался в это дело! Мишеиькииу карьеру загубил. Подумай, Илья, как получилось — это Мишеиька предложил с киижками... Теперь хозяева могут подумать, что это он нарочио, чтобы их скомпрометировать!

— Поделом ему,— хмуро сказал Илья.— Мама, ты сама всю жизиь работаешь, трепещешь перед своими заказчицами... Пойми, Михаил помогает угиетать бесправиых людей!

— А зачем их баловать, Илеиька? Оии сыты, одеты...

Илья поиял, что говорить, доказывать бесполезио, и замолчал.

— Прошу тебя, Иля, заверь братьев Гафизовых, что брат ни при чем! Я умоляю... и что ты сожалеешь...

— Не проси, мама.

Мать заплакала.

— Ирочка, скажи ты ему, что так жить нельзя! Он опять в тюрьму попадет! Разве можно вооружать против себя таких влиятельных людей? Иля, ты должен обещать мне... Я как мать требую...

Илья всегда был почтительным сыном, но тут он не выдержал:

— Кончим этот разговор.

После молчания мать спросила разбитым голосом:

— Как же вы будете встречаться с Мишей после этого? Он так зол... так обижен...

Не поворачивался у нее язык отказать сыну от дома, но чуткий Илья угадал.

— Не бойся, мама,— тихо сказал он, не глядя на мать,— я не встречусь с ним... не буду приходить к тебе.

Мать еще горше заплакала.

— Дети, что мне делать с вами? Ты не слушаешь меня... опыта... рассудка... Чем убедить тебя?.. Будь, как все!.. Разве это трудно? Ира, скажи ему...

Ирина сидела, не подымая глаз. Она понимала, как больно, как обидно Илье, и с трудом сдерживалась, чтобы не ответить старушке резкостью.

«Нет у тебя ни брата, ни матери,— мысленно говорила она Илье.— Я буду тебе матерью... сестрой... верным твоим товарищем. Клянусь... И будем вместе!.. Я... нет, я и спрашивать тебя не буду!»

XVI

У Албычевых в этот вечер собрались Зборовские, Охлопковы с Вадимом Солодковским, Григорий Кузьмич и недавно выпущенный из тюрьмы Полищук. Мужчины картежничали, дамы рукодельничали и занимались пересудами. Тринадцатилетняя Катя от скуки кокетничала с Вадимом.

Ирина, не заходя в гостиную, прошла к себе. «Ночью объяснюсь с папой, — решила она, — утром уйду к Илье совсем!» Ее мучило нетерпение, била лихорадка. Комната, где она столько перестрадала и передумала, ка-

залась чужой, ненавистной. Ирина принялась укладывать вещи, но, сняв со стены портрет матери, задумалась, забылась над ним...

Так и застал ее Вадим Солодковский, войдя без стука в комнату.

Он заметил досадливый жест, вопросительный взгляд... Ирина поспешно закрыла шкаф. Вадим сел.

— Ревизию нарядам производите?

Ее нестерпимо раздражал этот нагловатый тон и фальшиво-ласковый взгляд. Ирина не ответила.

Она стояла перед нежеланным гостем, сложив руки, и даже не пыталась скрыть досаду. Было ясно, что, если ее спросить: «Я вам помешал?» — она без обиняков ответит: «Да!»

Вадим не спросил.

— Когда-то мы с вами были друзьями, Ира,— сказал он своим бархатным голосом.— И как-то так получилось... разошлись... Я часто спрашиваю себя: отчего?

«Оттого что ты — трус, эгоист!» — мысленно ответила девушка и пренебрежительно пожала плечами.

— Мечтали служить революции,— продолжал Вадим,— Герценом зачитывались. Да... юность... мечты!.. Вы жалеете, что они не сбылись?

Ирина молча глядела поверх его головы в темное, перечеркнутое крестом рамы окно.

— Но что я говорю? Ведь я не знаю, может, вы выполняете наше тогдашнее решение.

«Неужели Полищук не сказал ему? Быть не может!» — девушка испытующе поглядела, но ничего не прочла в выпуклых глазах Вадима.

— Вы боитесь, не доверяете? Напрасно!.. Да и шила в мешке не утаишь: вас часто видят вместе с поднадзорным Светлаковым...

Слово «поднадзорный» вылетело у него невзначай. Ирина отметила эту обмолвку: человек передовых взглядов не скажет так о революционере.

— Это мой жених,— просто сказала она.

Впервые взглянул на нее Вадим как на женщину. И вдруг он понял, сколько силы, страсти в этой тоненькой девушке... Глаза у него загорелись.

«Горгоньский ошибается,— тут не игра в революцию, а любовь... страсть к этому дохлому субъекту... Вероятно, вместе с ним и работает!»

— Ира, можно мне бывать у вас? — мягко спросил он.— Верните мне дружбу!

Она медленно покачала головой.

— Не обижайтесь,— через силу сказала она.— Я не могу принять вашу дружбу... и ответить на нее.

— Но почему? Почему?

— Простите, Вадим, но вы мне... неприятны... с того вечера. Помните? Когда вы дали слово Георгию Ивановичу...

«Вот напустить на тебя Горгоньского, любое обещание дашь,— подумал Вадим,— мигом форс слетит!» — и он закрыл рукой лицо.

Ирина сказала:

— Пойдемте к гостям, Вадим... И, пожалуйста, не сердитесь! В таких вопросах нельзя не быть откровенной.

Идя вслед за нею по коридору, он с удивлением обнаружил в себе противоречивые чувства: желание физической близости с Ириной и желание отомстить ей, унизить ее.

В гостиной Ирина подсела к Люсе Зборовской: из всех дам Люся была наименее неприятна.

Люся в этот период своей жизни сияла откровенным счастьем. А ведь ей предрекали горькую участь нелюбимой, покинутой жены,— все знали, что Зборовский женился на деньгах.

Но пока предсказания не сбывались.

Люся была нежна, кротка, искала, к кому бы притулиться, на кого бы опереться. Мужа обожала. А он, благодарный за то положение, которое помогло ему завоевать приданое, обращался с Люсей дружески, уважительно.

Зборовский шел в гору. К его мнению прислушивался сам Охлопков. Многими техническими нововведениями Верхний завод был обязан ему.

— Ира! Какие у тебя руки горячие! — ужаснулась Люся.— Что с тобой?

— Нездоровится...

В этот последний в отцовском доме вечер восприимчивость Ирины, ее нежная впечатлительность, как-то особенно обострились.

Она точно получила способность читать в душах окружающих.

Она понимала, что скрытная мачеха страдает от того, что стала неудержимо блекнуть. Антонина Ивановна избегает улыбаться, чтобы не выступили морщинки на щеках, избегает поворачивать голову, боясь появления складок на шее. Точно застыла в высокомерной позе, с высокомерным выражением на лице. Не позволяет себе следить глазами за Полищуком, но все ее внимание обращено к нему. Вот выступил румянец на поблекшем лице,— она услышала слова, сказанные Полищуком Кате: «Года через три, как роза, расцветет наша Кэти!»

Ирина долго не могла отвести взгляда от терпеливого, доброго лица дяди Григория. Она видела следы страдания, которых никто не замечал. «Как он любил тетю... Леню... и всех утратил!.. Чем он живет?»

Люся доверчиво стала рассказывать о доброте мужа, а Ирина вспомнила, как Зборовский издевался над Ванькой-стражником и как срезал его Илья. Илья!.. Вся комната вдруг точно дохнула его присутствием. Вон в ту дверь он вошел с террасы — бледный, суровый, в смазных сапогах. Стоя вон там, у рояля, рассказывал трагическую историю Ваньки-стражника. А когда Ирина (это была минута вдохновения, да, вдохновения!) при всех сказала ему словами Некрасова: «Уведи меня!..» — он шагнул ей навстречу...

После ужина гости попрощались. Ирина вместе с отцом вышла в переднюю, дождалась ухода последнего гостя. Горничная убирала со стола, гремела посудой в столовой. Мачеха, утратив гордую осанку, пошла, задумчивая, по комнатам, пощелкивая выключателями. В комнатах становилось темно.

Отец сказал:

— Беги, Ируська, спи! Ты пересидела сегодня, у тебя вид лихорадочный.

И с непривычной лаской потрепал ее по щеке.

— Мне надо поговорить с тобой, папа.

— Сейчас? Ночью? Завтра, дочка, поговорим.

— Папа! Это неотложно.

Албычев даже в лице переменился. Пытливо оглядел не только лицо — всю фигуру дочери. Молча вошел в кабинет и остановился у большого кресла.

— В чем дело? Надеюсь, ты не...

Албычев не договорил.

— Папа, я выхожу замуж!

— Снова эти разговоры? Вот приспичило,— брюзгливо сказал он.— Не позволю.

— Папа! Я не спрашиваю позволения. Я совершеннолетняя... Подожди, не горячись! Я уважала твою волю... долго... И вот решила твердо.

— Я думал — ты умнее.

Он сказал это с печалью.

Ирина поняла, что отец не будет, как раньше, запрещать ей.

— Жаль, жаль, Ируська,— сказал он простым, добрым голосом и по-стариковски всхлипнул.— Кроме несчастья, ничего из этого брака не выйдет. Но что с тобой станешь делать?

Он тяжело вздохнул, взъерошил седые волосы.

— Ну, что же... хоть и не с легким сердцем, а... пусть приходит, скажи ему, поговорим о приданом, свадьбу назначим.

После минутной тишины, от которой даже в ушах зазвенело, так она была томительна, Ирина сказала мягко, точно извиняясь:

— Свадьбы, папа, не будет...

Не сразу уразумел Албычев, о чем она говорит... а когда понял, не сразу смог вымолвить слово.

Что были все прежние вспышки и ссоры! Он раньше кричал, горячился, но никогда не оскорблял дочь. Сейчас с глумливым хохотом и отчаянным выражением лица он выкрикивал одну и ту же фразу на разные лады:

— И содержанкой не назовешь! Ему не на что содержать! Ты просто...— и он выкрикивал бранное слово, которое никогда от него не слыхала Ирина.

— Не дам покрыть себя позором! Тоня! Тоня!.. В тюрьму! В тюрьму ее!

Он так сильно побагровел, что дочь испуганно кинулась к нему. С неожиданной силой Албычев грубо толкнул ее в грудь и упал в кресло.

— Проклинаю! Забудь! Нет у тебя отца!

Ирина постояла еще, но, услышав неторопливые шаги мачехи, бурно разрыдалась и убежала.

«Ну и все! Ну и ладно...— думала она, беспорядочно

пихая в чемодан платья, белье и увязывая книги в стопки.— Вот и кончилось...»

Она слышала беготню и шепот прислуги, усталый голос мачехи, плач отца... Уложив вещи, она села на стул и стала ждать, когда все стихнет. Старалась не думать об отце, но он все стоял перед глазами. Тогда, чтобы не лишиться сил, не расчувствоваться, она призвала обидные воспоминания.

Вспомнилось, как мать терпеливо поджидала ночами отца, оправдывала его перед Ирой: «Задержался у больных»... как он приходил — капризный, утомленный: «Боже мой! Что за пытка! Опять обо мне беспокоились, ждали...»

Вспомнилось, как объявил о браке с Антониной: небрежно, даже как-то шутливо...

В день рождения покойной матери, в первый год брачной жизни отца, Ирина вбежала к нему в кабинет, чтобы позвать с собой в церковь на панихиду. Навсегда запомнилось, как мачеха с растрепанной прической, с красными пятнами в вырезе капота вышла из кабинета, а отец, растерянный и точно пьяный, буркнул:

— Никогда не входи без стука! Безобразие!

Тогда Ирина не понимала многого, но чувство сказало ей, что она одна оплакивает мать. Отец стал совсем чужим.

Мало-помалу в доме стихло. Ирина приоткрыла дверь: в коридоре было темно, в кабинете тоже. Все заснули, очевидно. Девушка оделась, подняла с полу тяжелый чемодан и тихо, на цыпочках, пошла.

Вдруг что-то скрипнуло. Ирина оглянулась. Дверь в комнату Кати приоткрылась, и девочка, стоя в полосе света, глядела ей вслед:

— Ира, ты совсем уходишь? Да, Ира?

Ирина вернулась и наклонилась к ней, но не поцеловала. Она увидела в глазах девочки не грусть, не сожаление, а жгучий, недетский интерес.

— Тише, Катя,— серьезно сказала она,— ты ведь не захочешь мне помешать?

Девочка горячо закивала в ответ.

— Закрой за мной дверь и... ложись спать...

Так было даже лучше,— не пришлось будить горничную.

Ирина осторожно прикрыла за собой дверь, подо-

ждала, пока Катя задвинет задвижку и уйдет, и только после этого спустилась по ступенькам крыльца.

Ночной воздух освежил, оживил ее.

Полная тишина стояла на улице, освещенной редкими керосиновыми фонарями. Блестели подернутые ледком мартовские лужицы. Идти было скользко. Чемодан оттягивал руку. Приходилось то и дело ставить его на тротуар.

Кое-как добралась Ирина до извозчичьей биржи. Ночные извозчики, подняв воротники тулупов, дремали. Казалось, и лошади спят стоя. С нее заломили неслыханную — совсем не по таксе — цену, но Ирина не торговалась.

У купеческого дома она отпустила извозчика и вошла в ворота, которые — она знала — не запирались ни днем ни ночью. Окно Ильи не светилось. «А вдруг его дома нет,— со страхом подумала Ирина,— куда я тогда с чемоданом?»

Она толкнулась в дверь подвала. Дверь была заперта изнутри.

Девушка подошла к окну, постучалась. Кто-то отдернул занавеску, приблизил к стеклу лицо. В свете дворового фонаря Ирина узнала Илью, и все в ней заликовало.

Илья тоже узнал ее, сделал рукой знак «сейчас!» и спустил занавеску. Зажегся свет в комнате. Илья оделся, открыл дверь и осторожно провел девушку по темному коридору, пропахшему кислой капустой.

Когда они вошли в сводчатую комнатку, он взял из ее рук чемодан.

— Что случилось, Ира? — спросил он.— Это литература в чемодане?

— Это приданое! — смеясь сквозь слезы, ответила Ирина.

XVII

В первом полугодии тысяча девятьсот четырнадцатого года рабочее движение пошло ввысь и вширь. На весь мир прогремела грандиозная стачка бакинских рабочих, по всем промышленным районам империи покатились забастовки. Бастовали и уральские рабочие.

Хотя промышленность на Урале оживилась, хотя обновлялась техника на заводах, рабочему жилось не легче...

Первого мая, когда партия призвала «присоединиться к общему потоку пролетарской борьбы», на Урале забастовало свыше двадцати тысяч.

В Перевале к началу года партийная организация объединяла свыше двухсот пятидесяти человек. Это были рабочие Верхнего металлургического, механического завода Яхонтова, ткацкой фабрики и мельницы Марковых, спичечной фабрики, железнодорожных мастерских, типографии, лесопильного завода, каретной мастерской.

Партийный комитет видел, что ближе прочих к забастовке Верхний завод — самое передовое, самое крупное предприятие, на котором работает свыше трех тысяч человек.

Любое политическое мероприятие находило здесь живой отклик.

Рабочие Верхнего завода первыми начали собирать деньги для семей расстрелянных на Лене рабочих, и в фонд «Правды», и в фонд бастующих бакинских нефтяников.

В начале четырнадцатого года на заводе было шестьдесят большевиков, готовых в любую минуту встать в ряды борющихся.

А беспартийная масса глухо бродила...

Поводов для недовольства было много: рабочий день продолжался по одиннадцать-двенадцать часов, рабочих донимали штрафами, оплата труда оставалась низкой... Антисанитарная обстановка, полное пренебрежение к технике безопасности, произвол администрации дополняли безотрадную картину. К июню положение стало настолько напряженным, что можно было каждый день ожидать стихийных выступлений.

Партийный комитет решил провести забастовку.

Ночью в малухе Ярковых собрались представители цеховых партийных ячеек, чтобы наметить план действий и обсудить пункты требований. От городского комитета присутствовал Илья Светлаков.

На скамьях, сходящихся углом под божницей, на кровати, на полу, на печи разместились кто где мог. Дверь и окно закрыли, и в малухе было нестерпимо душно.

В волнении все курили, и керосиновая лампа светила, как сквозь туман.

Собравшиеся горячо одобрили Илью, который предложил внести в проект резолюции такое заявление: «Рабочие Верхнего завода, верные идеям социализма, считают экономическую борьбу неразрывно связанной с политической борьбой — с могучим освободительным движением в России».

Пункты о восьмичасовом дне, о повышении оплаты, о спецодежде не вызвали особых разговоров. Это все было ясно и четко сформулировано.

Но вот зашла речь о непорядках в отдельных цехах, и тут каждый хотел сказать свое слово, выразить требования своего цеха. Коммунист из листобойного сказал, что при подмусоривании листов, когда угольная пыль стоит столбом, в цехе приходится разводить костры — иначе ничего не видно. Рабочий всю смену вынужден глотать угольную пыль и дым, многие стали «харкать чернедью»... Представители горячих цехов говорили, что чуть не каждый день приходится выносить из цеха на вольный воздух угоревших... Павел Ческидов заявил, что в механическом часты несчастные случаи — надо потребовать, чтобы администрация позаботилась об ограждении механизмов и заменила старые приводные ремни.

Когда пункт об улучшении условий труда был записан, перешли к вопросу об отдельных работниках администрации.

— У нас в механическом самый заядлый мастер Коровин.— И Ческидов обстоятельно начал рассказывать: — Он дает работу сверхурочно, а когда она готова, только тогда он пишет расценок... и пишет, как бог на душу положит... даст, сколько захочет. Наши рабочие требуют: убрать Коровина с завода.

— Убрать мастера Коровина,— повторил Роман Ярков, записывая это на листе бумаги.

— Заведующий станцией,— пиши, Роман Борисыч,— заведующий станцией, электротехник Ветлугин грубит рабочим, пьяница,— сказал пожилой машинист электростанции.— Масленщиков заставляет мыть пол во время работы машин, а кочегаров, когда работают котлы... Все шиворот-навыворот! Снять его к черту!

— Записал...

— У нас в крупносортном скоро от фамилии своей можно отвыкнуть... Свистнет мастер, как собаке,— и иди к нему... Всякая болезнь ему леностью кажется...

Так стачечный комитет наметил требования и в течение нескольких дней согласовал их со всеми рабочими завода.

Встал вопрос о том, кто же предъявит эти требования.

Решили выбрать солидных, опытных рабочих, которых администрация не посмела бы выбросить с завода. Членов стачечного комитета в депутацию не ввели.

В обеденный перерыв депутация направилась к Зборовскому, а несколько десятков рабочих заполнили полутемный коридор заводоуправления, как бы подкрепляя своим присутствием выборных. Услышав топот множества ног, стали выглядывать из дверей чертежники, счетоводы, конторщики, которые уже прослышали о том, что готовится забастовка. Очевидно, эти слухи дошли и до администрации. В кабинете Зборовского с утра сидел Охлопков — грозный, хмурый и неразговорчивый.

Зборовский принял выборных с ироническим добродушием, под которым угадывалась твердая решимость. Откинувшись на спинку кресла и поглаживая поручни, он выслушал требования.

— Сам я не могу ни принять ваши требования, ни отказать вам,— сказал он выборным,— оставьте свою «гумагу», положите вот сюда на стол... и отправляйтесь... Пошлю ее в Петербург, в правление акционерного общества... пусть хозяева решают.

— А вы с господином Охлопковым разве не хозяева? — спросил машинист электростанции, который был в числе выборных.

— Не хозяева! — резко ответил Зборовский.— Георгий Иванович управляет округом и к заводу имеет отношение постольку, поскольку... А я такой же наемный работник, как и вы...

Выборные поглядели друг на друга, не зная, что сказать. Доводы Зборовского показались им убедительными.

Охлопков во все время не сказал ни слова. Он стоял спиной к рабочим в открытых дверях балкона.

...А через неделю, когда пришел ответ из Петербурга

и Зборовский вызвал к себе выборных, Охлопков встретил их потоком площадной брани.

— Наслушались, сиволапые, агитаторов!.. А ну, бастуйте! Кто забастует, того вон с завода! К чертовой матери! — кричал он.

— Становитесь на работу,— сказал холодно Зборовский, когда Охлопков замолчал наконец и стал вытирать пот, обильно выступивший на его лице.— Георгий Иванович вам сказал уже, а я подтверждаю: ваши требования отвергнуты, никаких поблажек вам не будет. Становитесь на работу, и постараемся забыть эту... размолвку. Понятно? Ступайте!

И он заговорил с Охлопковым, не обращая больше внимания на выборных, которые не сразу пошли к дверям.

Едва дверь за выборными закрылась и в коридоре загудели сдержанные голоса, Зборовский замолк и стал прислушиваться, сдвинув брови.

— Должен признаться,— сказал он вполголоса,— я не совсем уверен... Мы в серьезную игру вступили... а вдруг...

Он не договорил, взглянул на часы...

До конца обеденного перерыва оставалось еще двадцать минут, а между тем во всю мочь заревел заводской гудок.

— Сигнал! — сказал Зборовский и вскочил с места.— Георгий Иванович! Они бастуют!

Охлопков мрачно выругался.

Гудок ревел не переставая. Заводской двор наполнялся рабочими. Зборовский наблюдал в окно. Он узнавал чумазых кочегаров, рабочих листобойного цеха, токарей в замасленных поддевках, крупносортников; не видно было только мартеновцев. Но вот из ворот мартеновского цеха вышли гурьбой рабочие в широкополых валяных шляпах с заткнутыми за пояс грубыми вачегами — рукавицами. Один из них крикнул ему в окно:

— Плавочку выпустили — и шабаш! Ничего не изовредили!

Тихо стало на заводе. Замолчали станки. Не шумит пламя в горнах и печах. Не лязгает железо. Не бухают молоты. Не свистит паровозик-кукушка. Умолкли голоса.

Зато зашумела, наполнилась народом площадь перед заводоуправлением. Рабочие не разошлись по домам, а сгрудились вокруг памятника Петру Первому. На постамент поднялся Роман Ярков.

Он поднял руку и голосом, в котором зазвенела вся удаль, вся ширь его натуры, закричал:

— Митинг объявляю открытым!

Охлопков и Зборовский, стоя у окна, видели и слышали все это и были не в силах помешать. Они слышали призывы: «Держаться до полной победы!», «Не выходить на работу, пока наши требования не удовлетворят!» Видели, как дружно подымаются руки при голосовании. Охлопков пожелал в бессильной ярости: «Хоть бы один дурак додумался — швырнул бы камень в окно... хоть бы угрожали, черт их побери!» Но митинг проходил без всяких эксцессов, и воодушевление выражалось только в полной дружной согласованности.

— Полицию вызову! Хоть попугаю...— решил Охлопков.

Но полиция не успела явиться. Митинг закончился, и рабочие мирно разошлись по домам.

Ясно было, что жандармы постараются схватить всех «зачинщиков забастовки», то есть стачечный комитет. Поэтому никто из комитетчиков не ночевал дома.

К Ярковым «архангелы» явились в первую же ночь, сделали обыск, но ничего не нашли. На вопрос: «Где муж?» — Анфиса ответила с вызывающей улыбкой:

— Загулял он у меня...

А Роман ночевал то у «тети», то у ломового извозчика, у которого жил Илья, то в поселке, где любой рабочий рад был ему, как дорогому гостю.

Умываясь утром у крыльца из чугунного рукомойника с рожком, Роман прикидывал в уме, что ему надо сделать сегодня: зайти к таким-то и таким-то (члены стачечного комитета каждый день обходили «колеблющихся»), назначить в пикет того-то и того-то, провести собрание.

— Что рано встал, Роман? — спросил, позевывая, хозяин, кряжистый горновой. — Спал бы да спал...

Они присели на ступеньку, ожидая, когда сварится картошка и хозяйка позовет их к столу.

— Пойти порыбачить,— сказал хозяин, вдыхая свежий утренний воздух.— На пруду сегодня благодать...

Вдруг того и другого разом подняло с места: они услышали гудок! Роман в испуге, в изумлении поглядел на своего товарища и, как был — без фуражки и без поддевки,— кинулся к заводу.

На площади уже собралась густая толпа. Ворота завода, на которых висело объявление о найме рабочих, были закрыты. У проходной будки стоял пикет.

— Что получилось? — отрывисто спросил Роман. От быстрого бега он раскраснелся, громко и часто дышал.

— Никого мы, Роман, не пропустили, муха не пролетела,— отвечали ему.— Разве через заводоуправление прошло человек до пятка! Не сомневайся, робить некому! А пары развести да гудок пустить — это дело немудреное.

— Ты слушай, что я тебе расскажу,— тихо начал один из рабочих, стоящих в пикете,— ты моего дядю Макара знаешь? В конторе сторожем он.

— Ну?

— Ночесь мне говорил... у них есть один конторщик — старик седой, Баталов Сергей Флегонтович.— Ну, он дяде Макару говорит: пусть, мол, забастовщики держатся! Каждые сутки простоя сколько-то тысяч стоят.

— Еще что?

— Из общества фабрикантов и заводчиков списки пришли, кого нельзя брать на работу. И наши будто им такой же список послали...

Он не договорил. Снова заревел умолкший было гудок.

Роман заметил, что рабочие показывают друг другу на балкон заводоуправления, и сам поглядел туда. На балконе стояли грузный Охлопков в вышитой чесучовой косоворотке и стройный Зборовский в тужурке со светлыми пуговицами.

Охлопков подошел к перилам, оперся на них, широко расставив руки и жмурясь, как от солнца, ждал, когда утихнет гудок.

Наконец гудок умолк.

— Ребята,— начал Охлопков грубым, громким голосом, слышным на всей затихшей и насторожившейся площади,— бросьте дурить, вставайте на работу! Я в последний раз говорю добром! Рассудите: забастовочно-

го фонда у вас нету... недолго профорсите. Мы на уступки не пойдем!

— А мы и подавно! — выкрикнул Роман.

Запрокинув непокрытую голову, он глядел в лицо Охлопкову и улыбался злой, вызывающей улыбкой.

— Ты! — гаркнул Охлопков и перегнулся через перила, будто собираясь броситься вниз.— Опять ты здесь, варнак!..— Он хлопнул в ладоши: — Эй, взять его! Вот этого... в синей рубахе... крикуна...

Из дверей заводоуправления выбежали несколько полицейских и, придерживая шашки, бросились к Роману.

Забурлила, заколыхалась, закричала толпа и плотной стеной встала перед полицейскими.

Роман исчез.

— Он там! — задыхаясь, кричал Охлопков, указывая пальцем.— Он у памятника!

Полицейские попытались пробраться к памятнику. Но, куда бы они ни сунулись, всюду натыкались на живую стену. Грозная веселость овладела рабочими. Послышался разбойный посвист, улюлюканье. Но все разом стихло при возгласе Романа:

— К порядку, товарищи! Если им нечего больше сказать — разойдемся по домам! Не дадим себя спровоцировать!

К перилам подошел инженер Зборовский.

— Ребята,— сказал он,— одумайтесь! Не верьте своим агитаторам, они ведут вас в пропасть! Порядок незыблем. Ничего вы не добьетесь. Если завтра не выйдете на работу, пеняйте на себя. Найдем других рабочих. Вас сбила с толку агитация!

— Лучшая агитация — на своих боках узнать... Знаем мы сладость капитала! — прозвучал опять насмешливый голос Романа.

Охлопков истошно завопил, выйдя окончательно из себя:

— Да что же это такое?.. Открыть ворота! — Ворота мгновенно распахнулись.— Загнать на двор всех!

Полицейские даже не пытались выполнить это глупое распоряжение, данное в запальчивости: под силу ли им было справиться с многосотенной толпой? Они стали хватать то одного, то другого и тащили поодиночке к воротам.

Рабочие вырывались из рук, увертывались, послышался сердитый смех.

— Поиграем, дяденька, в ляпки! — дразнил хмурого полицейского ученик токаря Володька Даурцев — круглоглазый паренек с ямочками на щеках и подбородке.

— Говорил ведь я, что эта затея с гудком ни к чему! Фарс какой-то...— с упреком проворчал Зборовский Охлопкову, но тот не слышал и кричал во все горло:

— Сдавайтесь, негодяи! Придете поклонитесь, за половинную плату будете коробку гнуть!

— Не поклонимся! — кричали ему в ответ.

Роман тщетно призывал к порядку. Шум все усиливался.

— Товарищи! — вдруг закричал Володька Даурцев, взобравшись на постамент памятника.— Глядите, предатели рабочего класса идут!

Звонкий голос его срывался от негодования.

На площадь вышло гуськом человек пятнадцать штрейкбрехеров. Их сопровождал наряд полиции. Они шли нестройной цепочкой: кто вразвалку, с засунутыми в карманы руками, кто — опустив голову и не глядя по сторонам. Степка Ерохин шел последним, нагло улыбаясь.

Роман видел, что наступил серьезный момент: стоит пропустить штрейкбрехеров к заводу, колеблющиеся рабочие — а таких в трехтысячном коллективе было немало! — могут последовать примеру.

— Товарищи! Не пропускайте!

Толпа отхлынула к раскрытым настежь воротам — преградила путь.

Пока полицейские пытались расчистить дорогу, рабочие окружили штрейкбрехеров и стали их усовещивать:

— Мы прав добиваемся, а вы нас по рукам ударяете!

Роман задушевно говорил старику рабочему:

— Тебя, дядя Миней, в беде не бросили, когда погорел... а ты товарищам в трудную минуту тыл показываешь! Стыдно, дядя Миней!

— Да ведь семью-то кормить надо...

— Семье пособим, сколько возможно... только не позорь ты себя, дядя Миней!

Старик стоял в тяжелом раздумье.

— Дядя Миней,— с силой сказал Роман,— и вы все, ребята! Вы на росстани стоите в эту минуту: либо с нами,— он повел рукой кругом,— либо с ними, проклятыми,— указал на белый, ослепительно сверкающий на солнце дом заводоуправления.— Или вы — товарищи наши, или проклятые иуды! Вот! Выбирайте.

— Иуда? — сказал Миней и поднял опущенную голову.— Нет, в иуды я пойти не согласен! Айда по домам, ребята!.. Лучше с голоду замереть, чем... так и старухе своей скажу.

Он решительно повернулся и стал тихо удаляться с площади. За ним потянулись и другие. Группа штрейкбрехеров растаяла.

— Войско! — крикнул Володька Даурцев.

Роман вскочил на постамент и увидел колонну солдат с ружьями на плечах и примкнутыми штыками. Громко, на всю площадь скомандовал он:

— Товарищи! Спасайтесь! Нас окружают!

В тот же день в лесу на полуострове состоялось собрание. Рабочие единодушно решили продолжать забастовку. Стачечный комитет объявил им, что коллективы завода Яхонтова и железнодорожных мастерских приветствуют бастующих и выражают солидарность с ними. Проводят денежный сбор в размере половины дневного заработка. Собравшиеся просили передать этим товарищам глубокую благодарность.

Затем стали обсуждать текущие дела.

Поселковые лавочники закрыли кредит на время забастовки. Это ставило бастующих рабочих в трудное положение. По предложению Романа Яркова собрание решило в свою очередь объявить бойкот лавочникам, если они не восстановят кредит.

— Увидят, как мы организованно действуем, небось испугаются! (Впоследствии так оно и вышло, как говорил Роман: лавочники восстановили кредит, чтобы не лишиться постоянных покупателей.)

Выяснилось, что на дому у многих бастующих побывал околоточный надзиратель — убеждал выйти на работу, говорил, что хозяева навербовали в других городах две тысячи человек. Собрание решило: усилить агитацию среди колеблющихся рабочих.

В заключение разговор пошел о штрейкбрехерах: решено было бойкотировать их...

Через две недели Зборовский пригласил рабочих для переговоров. Акционерная компания обещала ввести восьмичасовой рабочий день в большинстве цехов, увеличить плату, улучшить технику безопасности... «обязать Коровина, Ветлугина и других, перечисленных рабочими мастеров изменить обращение с рабочими, предупредив, что если они нарушат распоряжение хозяев, будут уволены».

Городской комитет решил, что забастовку пора кончать. Без стачечного фонда держаться дольше было невозможно. Рабочие, особенно многосемейные, уже терпели острую нужду.

И вот однажды утром снова заревел гудок, потекли толпы рабочих через проходную будку, чтобы вдохнуть жизнь в мертвые цехи. Веселые лица освещало горделивое сознание одержанной победы. Даже самые отсталые и те поверили в силу коллектива.

Товарищеский суд снял бойкот с бывших штрейкбрехеров, взяв обещание подчиняться воле коллектива.

Пока шла процедура товарищеского суда, Роман Ярков заметил, что Степан поглядывает на него не то с торжеством, не то с угрозой. Роман сразу насторожился: «Не останусь ночевать дома! Опасно!»

Но ему и до дому дойти не удалось: жандармы схватили его по дороге, усадили в пролетку и увезли к Горгоньскому. После допроса переправили в арестное отделение, где Роман нашел остальных членов стачечного комитета.

Рабочие, узнав об аресте, снова забастовали. «Пока наши выборные под замком — на работу не выйдем!»

Пришлось Охлопкову скрепя сердце просить Горгоньского об освобождении арестованных. Вместе с другими выпустили и Романа, но под условием, что он откажется от работы в больничной кассе.

XVIII

День мобилизации Роман вспоминал позднее, как бессвязный, горячечный сон. В этот день он был гулевым и в первый раз за все лето собрался сходить с Анфисой в лес по ягоды, по грибы.

Но они не успели уйти — задержала теща, которая отправилась «на побывку» к мужу в Вятскую губернию и по пути заехала к дочери. Старуха упрямо держалась в Ключевском — вязала, стирала, шила... жила без коровы, без лошади, держала только курочек... а бросить дом не хотела.

И Ефрем Никитич, и жена его все еще ожидали, надеялись, что в один прекрасный день над ним «смилуются» — позволят жить в Ключах...

Не успели Ярковы напоить гостью чаем и расспросить ее о житье-бытье, прибежал рассылка: мужиков звали на сход.

На сходе им зачитали царский манифест и приказ о мобилизации. Роман — единственный сын матери-вдовы — числился ратником ополчения второго разряда, и мобилизация его не касалась... Он пошел разыскивать Илью, так как понимал, что после объявления войны перед партийными организациями встали новые сложные задачи...

Он не мог самостоятельно определить эти задачи... Мысли двоились. Такой сумятицы чувств он не испытывал еще никогда.

«Немец напал... Неужели же сидеть сложа руки, ждать, пока нас не завоюет?» — думал он. Но все в нем восстало против мысли: «Царя защищать? Буржуев? Ну, нет! Дудки! Пусть сами кашу расхлебывают!»

Он нашел Илью дома, в сводчатой комнате. Илья поспешно писал что-то, перечеркивал написанное, думал и снова писал...

— Зачем пришел? — спросил он с неудовольствием.— Твое место в массе... в такой день!.. Как у вас на заводе настроение?

Роман смущенно ответил:

— С пустой головой в массу не ходят. Давыд! Поговорить с тобой пришел... уточнить... или вот с Ириной...

— Ира, подожди уходить,— сказал Илья,— поговори с ним... Через час — комитет, а у меня, как назло, не получается!

Илья хотел сегодня же выпустить листовку, утвердив ее содержание на заседании комитета.

— Что вас смущает, Роман?

Ирина остановилась у двери. Романа поразила горделивая осанка этой маленькой женщины, ее лицо — лицо человека, который сознает свою правоту и которого преследуют. А Ирину действительно преследовали: ее уволили из школы «за безнравственное поведение», то есть за гражданский брак, ей не кланялись знакомые, от нее отказался отец.

— Меня смущает, как к этой войне относиться,— спросил Роман.— Поскольку Германия напала...

— А вы сами как думаете? — и, не дожидаясь ответа, она продолжала звенящим, чистым голосом: — Кому выгодна эта война — рабочим или буржуям? Разве вы не видите, как они стремятся отвлечь внимание рабочих от классовой борьбы? Натравить русских рабочих на рабочих Германии?

— Это правда, но поскольку напала все же Германия — это война оборонительная?

— Нам говорят: «Германия напала!» Немцам скажут: «Россия напала!» А на деле, может быть, война была еще тогда решена, когда к нам Пуанкаре приезжал! Как выгодно и нужно капиталу, так и делается.

— Понятно,— сказал Роман,— я к тому же склонялся: вести агитацию, разъяснять понятно...

Только сезонники да подрядчики Верхнего завода кричали «ура» и пели «Боже, царя храни». Коренные рабочие говорили о войне возмущенно:

— Затеяли войну, чтобы от революции спастись, рабочих на фронт загнать? Промахнутся! Пусть только нам винтовки выдадут, мы знаем, на кого дуло направить!

— На военных-то заказах наживутся, распыхаются, толстопузые!

Мобилизованные рабочие решили требовать платы за две недели вперед. Собрались на площади перед заводоуправлением и послали ходоков к Зборовскому. Роман Ярков пошел вместе с ними.

Зборовский принял ходоков немедленно и сразу же согласился выдать двухнедельное пособие.

Охлопкова не было. По слухам, он уехал в Лысогорск в первый день мобилизации.

Оповестив рабочих о митинге в лесу, Роман побежал домой перекусить.

Запыхавшись, он вбежал во двор, одним прыжком

вскочил на крыльцо и, потный, красный, рухнул на лавку.

— Кваску дай, Фисунька!

Но жена всплеснула руками, всхлипнула:

— На войну тебя берут!

Он не сразу понял.

— Квасу дай мне...

И тут только до его сознания дошли ее слова. Он увидел, что мать пришивает лямки к котомке, а Фиса гладит рубашку. Роман, подняв бровь, прочел повестку, положил на стол.

— Да брось ты, ошибка это... Вот выясню схожу... Ты мне квасу давай, до смерти пить хочется.

Но это не было ошибкой, и негде было искать защиты. Уж если начальство решило сбыть с рук беспокойного человека,— никто этому человеку пособить не в силах.

К вечеру наголо обритый Роман оказался в казарме.

«Что тюрьма, что казарма!» — думал он, оглядывая длинное беленое помещение со сплошными нарами посредине. На нарах лежали тюфяки из мешковины, набитые соломой. Новобранцы со вздохами укладывались спать.

Роман, как и в ночь ареста, старался не думать о семье... воспоминания сами лезли в голову. Он еще чувствовал прикосновение нежных детских рук, отчаянные Анфисины поцелуи, горький вкус слез на ее губах... слышал разбитый голос матери: «Не дождаться мне тебя...»

Мучила его тревога: как теперь пойдет подпольная работа на заводе? Он прикидывал в уме, кого возьмут в армию, кого оставят. Выходило, что самых надежных, боевых товарищей на заводе не останется.

Он хотел стряхнуть унылые мысли, не поддаваться тревоге... и стал думать о революционной работе в армии. «Отовсюду слетятся соколы! Никакому начальству не уследить! Мы еще развернем работенку!» Надежда тихо, как ветерок, опахнула его: «Партия объединит нас, солдат, в большую силу! Может, это подвинет вперед революцию?»

— Роман! — раздался вдруг шепот, и с нар тихо поднялся новобранец с решительным, вдумчивым, строгих линий лицом.

— Чирухин! Миха! Вот где...

Это был тот белокурый мужик, который рядом с Ефремом Никитичем боролся за покосы.

— Вместе нам все же будет веселее.

— Верно, Миша! Вместе будем держаться... если нас не разведут по разным частям.

XIX

Жандармский полковник Горгоньский приехал на вокзал встречать жену и сына. В такое время, когда по деревням и заводам волнуется народ, неразумно было бы оставлять их на даче.

В ожидании поезда он прогуливался по платформе, наблюдая от нечего делать за отправкой эшелона новобранцев.

Вот узкоплечий юноша наклонился и почтительно слушает длиннолицую бесцветную старуху. Она что-то шепчет и мелкими крестами крестит его, а он дрожит мелкой дрожью.

Вот... «Нет, что за лицо! Карменсита!» — подумал Горгоньский, увидев Анфису. Она с отчаянной любовью глядела на мужа и что-то быстро-быстро говорила ему. Тут же стояла сгорбленная старушка с белокурой девочкой на руках. Старушке трудно было держать ребенка, но мать не замечала. Своими расширенными глазами она видела только одного мужа. Шарфик сполз на плечи, кудри распушились, и она была так хороша, что Горгоньский невольно промурлыкал про себя:

Одес-сит-ка... вот она какая!
Одес-сит-ка... пылкая, живая!

Вдруг женщина почувствовала его пристальное внимание, вскинула глаза и точно ударила его: столько ненависти, ярости было в ее коротком взгляде.

Она что-то сказала мужу, и тот обернулся.

«Да ведь это Ярков! Ага! Забрали! Прелестно!» — подумал Горгоньский, глядя на бледное, злое, насмешливое лицо Романа. Это лицо точно отвечало ему на его мысли: «Подожди, не радуйся! Приеду — рассчитаюсь за все!»

Горгоньский повернулся на каблуках и пошел на

другой конец платформы по направлению к водокачке. Когда он возвратился обратно, поезд уже взял с места. Толпа провожающих побежала рядом с эшелоном. Свисток паровоза, скрип, стук, крики, рыдания, песни, возгласы — все смешалось.

— Вечно ты мне все портишь, Константин! — капризно говорила жена, сидя рядом с Горгоньским в пролетке.— Ему захотелось — бросай дачу, мчись, изволь, в город, в пыль, в духоту...

За эти годы Зинаида утратила живую легкость речи и манер, отяжелела. Сейчас, когда покачивались рессоры, ее полное тело колыхалось, и это раздражало Горгоньского. Он ничего не ответил жене и спросил четырехлетнего сына, сидевшего у матери на коленях:

— Весело было на даче, карапуз?

— На даче, папа, было весело,— обстоятельно ответил мальчуган, картавя,— я специально натаскал кучу песка. Дядя Вадя со мной в лошадки играл. Шарик там все лает, к нему нельзя подходить, он не играет, а кусается... Дядя Вадя маму богиней звал...

Не желая расспрашивать, но чувствуя привычное «покалывание» (как мысленно называл Горгоньский ревнивое чувство), полковник искоса взглянул на жену.

Слишком равнодушно, слишком уж небрежно («переигрывает!» — отметил муж) Зинаида уронила:

— Глупый мальчишка... Солодковский!

Горгоньскому показалось, что ее улыбка полна воспоминаний... Он сказал ядовито:

— Придется богине снизойти к простому смертному, поскучать здесь... ничего не сделаешь.

Неискренний шутливый ответ жены не успокоил его:

— Богиня снизойдет! Она наскучалась о тиране...

Он ни на минуту не задержался дома — отправился в канцелярию. Ему, действительно, было некогда. В дни мобилизации рабочие и крестьяне Урала ясно выразили свое отношение к несправедливой войне. В селе Ключевском мобилизованные разгромили волостное правление, избили старшину Кондратова.

Мобилизованные рабочие Лысогорского завода потребовали двухнедельного пособия. По совету Охлопкова, находившегося здесь по делам службы, управитель

наотрез отказал. Рабочие зашумели. Тогда администрация и полицейские забаррикадировались в заводоуправлении и начали стрелять из окон. Палки, куски руды, камни — все полетело в ответ. Рабочие — охотники, а таких в Лысогорске было немало, притащили ружья и стали палить в окна.

Несколько конторщиков, сторож и чертежник были убиты. Охлопков и казначей заводоуправления легко ранены.

Происходили вооруженные столкновения и по другим уездам. Вся губерния бурлила. Весь штат и вся агентура, не зная отдыха, шныряли среди рабочих, вынюхивали, прислушивались. Сотни рапортов за день стекалось к Горгоньскому.

Едва Горгоньский, усевшись за стол, начал просматривать бумаги, ему доложили об Охлопкове. Подавив раздражение, Горгоньский поднялся с любезной, выражающей сочувствие улыбкой:

— Георгий Иванович! Какими судьбами? Милости прошу!

Охлопков опустился в кресло и точно окаменел. Боль в раненой шее не позволяла ему двинуть головой.

— Полковник! — сказал он своим грубым, отрывистым голосом.— Я еду в Петербург!

— Да?

— Думаю обратиться в совет съездов...

Охлопков имел в виду совет съездов горнопромышленников Урала, находившихся в столице.

Горгоньский ждал, придав лицу вопросительное выражение.

— Вы знаете, что из губернии войска на фронт отправляют?

— Простите, Георгий Иванович, я не совсем понимаю, что мне...

— Надо хлопотать, чтобы оставили,— раздраженно сказал Охлопков.— Не справиться вам с этим зверьем. Осатанел народишко. Вы и губернское управление должны поддержать мое ходатайство.

— Я не поддержу,— холодно сказал Горгоньский,— и губернское управление... совет съездов может хлопотать, но мы... мы не распишемся в своем бессилии. Эксцессов больше не будет! — отчеканил он.

— Поди-ка, думали, и в Лысогорске большевики

паиньками пойдут на фронт... А вот что получилось! — и Охлопков указал пальцем на свою забинтованную шею.

— Это не большевики,— небрежно ответил Горгоньский, всем своим видом показывая, как он шокирован.— Это стихийное выступление.— И он снова изменил тон, придал ему доверчивую задушевность: — Подумайте, Георгий Иванович, все наиболее активные отправлены на фронт! Так? Меньшевики и эсеры призывают народ защищать отечество. Резюме: рабочее движение идет на убыль и скоро сойдет на нет.

Охлопков поднялся.

— А все-таки о войсках я похлопочу.

Горгоньский пожал плечами: как хотите! Прощаясь, он пригласил Охлопкова к себе:

— Я уже не на холостом положении, семья возвратилась сегодня.

Охлопков даже остановился в веселом удивлении:

— Вот как! А у нас... племянник сегодня прискакал!

— Не понимаю, какая связь...

Горгоньского покоробило. Он с ненавистью взглянул на хохочущего Охлопкова, и, когда тот застонал, неосторожно двинув шеей, Горгоньскому стало приятно.

— Ну, связи-то, может, и нет, а флирт... тот налицо,— сказал Охлопков,— примите меры, полковник.

В девять часов вечера Горгоньский, не позвонив жене, явился домой. Открыл дверь своим ключом и быстрыми шагами направился в гостиную. Успел заметить, как поспешно отошел Вадим Солодковский от Зинаиды, которая сидела за пианино и напевала: «Отцвели уж давно хризантемы в саду».

Солодковский явно был смущен, от смущения осклабился и вертел длинной шеей, точно тесен был ему воротничок.

А Зинаида и ухом не повела!

— Котька! Как хорошо, что ты освободился! Сейчас — чай... с вареньем из княженики... Умница, что пришел так рано! — и, покачивая бедрами, пошла в столовую.

Горгоньский проводил ее недобрым взглядом.

Душно ему стало вдруг в этой гостиной, среди пуфиков, ковров, цветов, канареек.

Искательно глядя на Горгоньского и в то же время стараясь сохранить достоинство, Вадим сказал:

— Мы с вашим Кокой большие приятели, Константин Павлович!

— Весьма рад! — кратко, по-военному ответил Горгоньский и стал расхаживать по паркету, громко печатая шаги. Ему хотелось зашуметь, хватить палкой по клавишам, разорвать кружевные занавески, растоптать и букет, принесенный Вадимом, и вазу, и птичьи клетки...

Сдвинув колени и сидя в почтительной позе, Вадим трусливо наблюдал за полковником. Встать бы, попрощаться и уйти. А Солодковский сидел, как парализованный.

Молчание затянулось.

Но вот Горгоньский прокашлялся, громко высморкался и остановился перед своим гостем.

— Каковы ваши намерения, молодой человек, хотел бы я знать?.. Насчет воинской службы спрашиваю!

Испуг, мелькнувший было в глазах Вадима, погас, и лицо стало просительным.

— Я как раз об этом и хотел. Я надеялся... Ведь от вашего слова... Вам только слово стоит сказать, Константин Павлович!

— Ну-с? Вижу, вам в школу прапорщиков не терпится поступить?

Выпуклые глаза Солодковского опять налились испугом:

— Что вы! Совсем нет! Я надеюсь... вы должны согласиться... Я здесь вам полезен, Констан...

— Об этом не беспокойтесь. Мы без вас не пропадем, а вы столь же полезны будете в армии. Я сообщу кому следует о ваших... способностях.

— Но у меня зрение! — с отчаянием говорил Солодковский, чувствуя, что сопротивляться бесполезно и Горгоньский «упечет» его в армию.— Зрение!

— Зрение у вас превосходное,— не без ехидства ответил Горгоньский. Уже серьезно он добавил: — Очки не помеха... при желании... Не беспокойтесь, я вас устрою!

Он повеселел и, похлопывая Вадима по плечу, объявил жене, что тот едет в армию, вот какой герой!

Скоро Вадим ушел, и супруги остались одни.

— Скучал? — протяжным шепотом спросила Зинаида, обняв мужа и изображая любовное нетерпение.

В другое время Горгоньский принял бы это за чистую монету, но перед ним всплыло лицо «Карменситы», обращенное к мужу. Он знал теперь, как глядит непритворная любовь!

XX

Подпоручик Валерьян Мироносицкий приехал на побывку в Перевал. Ему тут было нечего делать, он приехал с намерением встретиться с Августой. Упрямое чувство к ней тревожило его по временам, как зубная боль... Остроумный, дерзкий офицер Мироносицкий пользовался большим успехом у «сестриц» и прочих дам и не отказывался от легких побед.

«Встретимся, погляжу на нее — может, пройдет дурь!.. Все они одинаковы... Надо вырвать этот больной зуб!»

С вокзала он приехал к своей бывшей квартирной хозяйке. Но, как говорится, даже не оследился там. Ефросинья успела-таки за это время выйти замуж за телеграфного чиновника. Он отправился в гостиницу.

Отдохнул, помылся, побрился, весело пообедал в ресторане с залетными офицерами и, приятно возбужденный, пошел наводить справки.

Жена Охлопкова сказала ему, что Августа все еще в монастыре.

Простодушная женщина покраснела, смешалась. Теребя платок и не глядя на Рысьева, продолжала:

— Валя, скажите мне как матери! Вы любите Гутю?

Он откровенно сказал:

— Сам не знаю. Забыть не могу.

— Боже, дай вам силы убедить ее! А если... если... Вообще знайте, что Гутя не бесприданница! И я и муж выделим ей средства...

Рысьев никогда не помышлял о браке. Слова Охлопковой натолкнули его на эту мысль.

Валерьян думал, что в бедной келье он увидит желтую, иссохшую двадцатипятилетнюю девицу. Его поразили и роскошь обстановки, и вид Августы.

Разумеется, не было здесь ничего недозволенного — ни безделушек, ни светских книг, ни больших зеркал, но в пределах возможного Августа устроилась с комфортом. На стене — богатый ковер, на полу — тоже. Красивые драпри. Резной платяной шкаф. Мягкие удобные кресла. Репродукция «Явление Христа народу» в дорогом багете. Тона преобладали мягкие, темно-коричневые. И молодая красота Августы особенно поражала, рельефно выступала на этом темном фоне. Нежный овал, задумчи́вый взгляд, золотистая прядь на лбу, золотистая коса... «Хоть картину с нее пиши! — восторженно подумал Рысьев.— Неужели Ленька похоронен, наконец?»

Августа стала расспрашивать его о войне, причем он видел, что ей хочется услышать о во́йне красивой, романтичной — о лихих атаках, о могучих героях, о благородных поступках. Рысьев же рассказывал о войне, как она есть: с грязью, сырыми блиндажами, с трупным запахом, преследующим даже во сне.

Августа участливо следила за его живым рассказом.

— А вы — сильный человек, Валерьян! — сказала она задумчиво.— Так видеть все это, так воспринимать — и в то же время остаться живым, энергичным!.. Да, это — сила.

Его согрела эта скупая похвала.

Спустились сумерки, легкие, весенние. Зазвонил монастырский колокол,— кончилась великопостная всенощная.

— Если вам, Гутя, надо в церковь — гоните меня... Сам я не уйду!

Она медленно покачала головой.

— Это из церкви идут, а я... На меня здесь уж рукой махнули. Игуменью раздражает и обстановка,— она повела белой рукой,— и поведение... В церковь не хожу, романы читаю, соблазн другим. Ах, Валя, вообще...

Не договорила, задумалась.

— Вы о Петербурге... расскажите!

Негромко, но оживленно он заговорил о том, что могло ее интересовать: о новых пьесах, новых книгах.

— Жаль, у вас здесь пианино нет!

— А то бы?..

— Изобразил бы вам... Появился новый певец... Собственно, не певец, голосом он не богат... Это — испол-

нитель интимных песенок... очень модно увлекаться им... Выходит в костюме Пьеро... Вертинский! Слыхали?

— Да. И что же?

— Я бы вам спел,— сказал Рысьев, волнуясь.

— Ну и спойте... потихоньку!

— Нет... не выйдет... лучше просто прочту... Любопытно... вообще...

Он сжал кулаки, попытался овладеть собой. Начал декламировать сдавленным голосом, то и дело перебивая сам себя:

Я люблю вас, моя сероглазочка,
Золотая ошибка моя...

— Вы и впрямь моя ошибка! Вернее, не ошибка, а горе! Боль вы моя!

Вы вечерняя жуткая сказочка.
Вы цветок из картины Гойя.

— Цветок, ей-богу, цветок! Не знаю, какой там был у Гойя, а мне вы — как шиповник на темном бархате...

Как естественно, мило и ласково
Вы, какую-то месть затая,
Мою душу опутали сказкою,
Сумасшедшею сказкой Гойя.

— А за что месть? Это я должен мстить — всю жизнь мне перековеркали!

Я люблю ваши пальцы старинные,
Как у только что снятых с креста...—

говорил Рысьев, как в бреду. Подошел к креслу, взял сопротивляющуюся руку Августы, стал перебирать и поглаживать пальцы. На нее пахнуло жаром. Она чувствовала: рядом горячий, сильный, любящий ее мужчина.

...Ваши волосы сказочно длинные
И углы оскорбленного рта...

Рывком поднял ее с кресла, припал к губам. Задохнувшись в поцелуе, отпустил, почти оттолкнул.

— Завтра приду,— отрывисто говорил он, путаясь в рукавах шинели,— подумай, ответь. Или ты, или к черту на рога!

Задыхаясь и дрожа, Августа накинула пуховый

оренбургский платок, пальто полумонашеского покроя и выбежала из кельи. Чтобы успокоиться, прийти в себя, она устремилась на кладбище.

Августа торопливо переходила от могилы к могиле, будто искала что-то. Ни разу не присела на скамейку, как бывало раньше, не остановилась.

Она чувствовала усталость, ей хотелось домой. Но страшно было оставаться со своими беспокойными мыслями. Решила зайти в певческий корпус.

Войдя в сени, Августа увидела в сумраке красивое лицо Доры, которая, перегнувшись через перила, внимательно глядела на Августу.

— Ой, вы к нам?

Смущение, тревога слышались в этом вопросе. Казалось, Дора колебалась, не знала, как ей поступить. Потом она сказала просительно:

— Вы ведь не нажалуетесь?

Августа, недоумевая, шагнула в комнату, куда выходили двери четырех келий и где по вечерам за большим голым столом рукодельничали певчие. Чем-то теплым, домашним пахнуло на нее. Она не сразу поняла, что это — запах мясного супа. Девушки вскочили с мест и недоверчиво, боязливо глядели на нее.

— Пожалуйста, не стесняйтесь... и не бойтесь меня,— сказала Августа.— Можно, я посижу у вас?

Несмотря на жаркий, удушливый воздух, в комнате топилась круглая, обитая листовым железом печка. Очевидно, ее затопили только для того, чтобы сварить жирные мясные щи — кушанье, строго запрещенное монастырским уставом. Смущенные улыбки румяных девушек, лукавые блестящие взгляды говорили о том, как сладко запретное и как приятен риск.

Кареглазая толстушка Маня Смольникова поставила глиняный горшок на стол и каким-то удалым жестом рассыпала по столешнице деревянные ложки. Тесный кружок сдвинулся.

Маня предложила ложку Августе, но та отказалась, хотя запах супа дразнил ее, вызывал аппетит.

В ту минуту, когда ложки погрузились в горшок, распахнулась дверь и Дора вбежала впопыхах.

— Матушка благочинная!

У девушек испуганно округлились глаза. Прятали ложки в карманы, куски хлеба за пазуху. Маня, при-

хватив полотенцем горшок, металась, не знала, куда его сунуть. А ступеньки лестницы поскрипывали, покряхтывали — матушка благочинная приближается! Вот лестница перестала скрипеть. Шаги послышались у двери. Едва успела Маня поставить горшок под скамью, под юбку матери Миропии, благочинная вошла.

Красные, тяжело дышащие девушки прилежно склонились — кто над коклюшками, кто над пяльцами. Все дружно ответили «аминь» на молитвенное приветствие благочинной.

— Жарко у вас, на что печку топите? — проворчала она.

Ей никто не ответил. Еще ниже склонились над работой румяные лица.

Благочинная втянула ноздрями воздух и гневным взглядом обвела комнату. Все замерло.

Несколько раз она открывала рот, чтобы спросить... но присутствие Августы мешало ей. Когда стало ясно, что в присутствии «чужой» она не будет искать вещественных улик и допрашивать, напряжение упало. Девушки тихо стали разговаривать между собой. Благочинная постояла-постояла и уже хотела уйти, как вдруг мать Миропия протяжно застонала.

Лицо ее переменилось, как от сильной боли. Благочинная неприветливо спросила, что такое с ней. Миропия не ответила. Опустив вязанье на колени, она беспомощным, слабым голосом повторила несколько раз:

— Господи милостливый! Прости меня, грешницу!

Наконец благочинная, видя, что Августу не переждешь, вышла, грозно оглянув девушек и старую потатчицу — Миропию. Ясно было, что пошла она к игуменье и что придется всем певчим бить поклоны и сносить попреки.

— Девки-и,— плачущим голосом сказала Миропия, — ошпарили вы меня-а-а!

И действительно горячим паром обварило ноги. Кожа покрылась пузырями.

Горько и смешно стало Августе, когда девушки понесли старуху в постель и стали искать, что бы приложить к ожогам, чем бы унять боль.

Этот случай как бы вобрал в себя все лицемерие, всю нелепость монастырской жизни.

Августа точно проснулась.

— Дико! Затхло! Прочь отсюда надо! Прочь!

Она с удовольствием, с наслаждением представила себе свою комнату в доме Охлопковых, рояль, красивые платья. Ей захотелось шума, движения, веселья, жизни. Подумала об Алексее и с удивлением поняла, что мысль о нем вызывает не то досаду, не то скуку.

— Жить хочу! Жить!

XXI

По просьбе жены Охлопков пустил в ход петербургские связи — Рысьева перевели в Октайский полк, в город Перевал.

А уж здесь, на месте, никакого труда не представило устроить ему вольготную жизнь.

После свадьбы молодые стали жить на отдельной квартире, обставленной и украшенной стараниями тетки.

Первое время Рысьев жил только Августой и для Августы. Несложные служебные дела были ему несносны. К собственному удивлению, он оказался ревнивым. Не подавая виду, недоверчиво следил за каждым движением и взглядом Августы, когда у них были гости или они были в гостях. Он страдал, зная, что жена находится в каком-то постоянном возбуждении, скрытом под скромной, достойной манерой обращения. Он ревновал ее не только к мужчинам, а даже к ее работе в дамском комитете.

Рысьев не сразу восстановил связь с революционной организацией Перевала. «Дам себе каникулы! — думал он с циничной расчетливостью.— Главное, не упустить момент... когда волна взмоет — оседлать ее! Оказаться наверху!»

Все личные честолюбивые планы Рысьев строил с расчетом на революцию.

Он видел, что революционное настроение охватывает все более широкие круги народа. Чутко подмечал признаки «смертельной болезни» царизма.

Тяжко стало жить не только рабочим и крестьянам, жалуется и трудовая интеллигенция. Буржуазия и та ворчит на свое правительство.

Ворчит... но спекулянты, поставщики на армию, акционерные общества, владельцы заводов — все они

преуспевают, грабастают миллионные прибыли, хватают, рвут правительственные субсидии «на переоборудование заводов».

Рысьев охотно поддерживал связь с родственниками жены... даже писал письма Вадиму на фронт.

С «дядюшкой» Охлопковым у него установились самые добрые отношения. Умный Валерьян держался независимо, голову перед «дядей» не сгибал, но тонко давал понять, что считает его незаурядным человеком. Племяннику разрешалось и возразить дяде и поддразнить его.

— Уважаю вас, дядюшка, за широкий размах... Вы как большой корабль в большом плаванье! Интересно, как этот корабль покажет себя в полосе туманов, в шторме? Не налетит ли на подводный камень?

— Яснее можно, Валерьян? — снисходительно спросил Охлопков.

— Можно. Я начну не с одного «большого корабля», а со всей эскадры, с буржуазии. Вы — буржуазия — гнете свою линию уже давненько... Забрали в руки местное самоуправление, Думу, земский союз, союз городов. Но аппетит пришел во время еды, и вам этого стало мало. Ваш брат — заводчики — пролезли в особое совещание... забрали в лапы военную экономику... Требуете создать ответственное министерство...

— Ну?

— Это уж вы подбираетесь к по-ли-тическому руководству, чтобы «гегемонить», чтобы короны снимать и надевать! «Хочу быть царицей морскою!»... Как та баба в «Рыбаке и рыбке».

Охлопков в раздумье погладил жирный бритый подбородок.

— Ты умен как бес, Валерьян! Да, к этому идет, брат! Этот пень в короне бездарен, как свиной пуп, ни для кого не секрет... кажется, всерьез подумывает о сепаратном мире...

— А дядюшка связан с английским капиталом! — заметил Рысьев.

— Михаил умнее и покладистее... Ему и карты в руки.

— Кабы не «бы»!

— Не понимаю...

— Попробуйте устройте переворот! Да что переворот... Пусть-ка Дума попробует всерьез бороться с царским правительством... Такое начнется движение в народе, что ахнете, дядюшка! Революция будет!

И Рысьев захохотал резким мефистофельским смехом.

— Тогда ваша эскадра вверх тормашками перевернется! Хотите договор, дядюшка? Когда вы будете наверху, мне помогайте, я буду наверху — вам помогу... А такая возможность не исключена! Нет! Ну?.. Руку!

И он схватил маленькой жилистой рукой толстую руку Охлопкова.

XXII

Декабрьский вечер. Луна. Мороз. Времени — восемь часов, а поселок Верхнего завода тих, безжизнен, как поздней ночью. Узкие тропки слабо видимы в голубой тени сугробов. Полозница блестит под луной. Беломохнатые, в инее, стоят кусты в палисадниках. Домишки нахохлились под снежными шапками. Сквозь замерзшие окна нетопленых изб чуть брезжит свет керосиновых коптилок.

Угрюма малуха Ярковых. Старушка лежит в густой тьме на печке, ногами к трубе. Неверный свет коптилки по временам падает на костлявое коричневое лицо, на белые пряди волос.

Анфиса присела на край деревянной кровати, обняла укутанную Манюшку, которая опять к вечеру разгорелась и все время просит пить.

У стола сидит сестра Анфисы, Фекла, когда-то разбитная, веселая бабочка. Подпершись рукой, она не мигая глядит на огонь и тихим, прерывистым голосом говорит:

— Он был у нас, тятя-то наш, хороший мужик: не пил шибко-то, табак не курил, матерно не ругался. Нас сызмальства к работе приучал... Помнишь, Фисунька, вы с мамой в Ключах, а мы с тятей в Лысогорске робили, на руднике? Помнишь горочку-то с ельничком?

— Помню.

— Утром, бывало, слушаешь: не шумит ли по крыше? В дождик мы не робили. Разбудит тебя тетка, и

вот тебе кажется, что ты умылась, оделась... а сама спишь опять! Посадят тебя в тележку, а у тебя голова, как у цыпленка, болтается... Но на работе тятя меня жалел: уж не надсадит, чтобы камни класть большие, кидаешь мелочишку. Ямочку выроет, посадит туда, чтобы не упала — и гонишь. А свальщица поможет вывалить. Ей за это тятя, как получит выписку, обязательно фунт пряников купит.

Фекла рассказывала тихим, вздрагивающим голосом:

— А большая стала — одна у тетки жила,— сядешь с подружками в одну тележку да так до свалки и катишь! В троицу березку завьем, украсим, на свалку поставим, песни поем. Девушки в белых платочках, в вышитых запонах, лошади бумажными цветами украшены.

— Ты красивая была,— сказала Анфиса и вздохнула.

— Я по своей бойчине — от петли отрывок была,— продолжала Фекла,— и на работе скорая и попеть-поиграть... Тимка-то Кондратов недаром за мной ухлястывал!.. Доняло его, что свататься пошел!

— За отказ он тятеньке и не простил, со свету сжить хочет, из деревни выжил!

— В то время уж познакомилась я со своим Митрофаном... Полюбила... Уж он тебя не схватит, не тиснет. Уважительный был... все добрым порядком...

— Как голуби вы с ним жили,— тихо сказала Анфиса, с состраданием глядя на сестру.

— Он меня жалел. А в гости придем — я весь-то убор надену,— глаз не отведет... таково любо смотрит! Хорошо мы жили, пока не разлучила нас война. А уж, когда написал, что в плену — с ума сходила... Господи батюшко! И что со мной сделалось? И как это я совесть свою забыла, мужа не пожалела?

— Не вспоминай, Феня,— сказала старушка.

— Как не вспоминать, бабушка? — и слезы побежали привычным путем по блеклым щекам Феклы.— Каждую минуту казнюсь! Как это и стыда во мне не стало? Почему? Вспомнишь мужа, резнет тебя по сердцу, а ты словно отмахнешься от дум.

— Приворожили тебя,— с глубоким убеждением вставила старушка.

— Как забеременела, сразу опомнилась: что же это

я наделала?.. Руки на себя наложить не могу, а страм тяжелее смерти кажется... Пришла к старушке, к лекарке... такая была хорошая, лечила со словом божьим и никому ничего не сболтнет, не выдаст. Спрашивает: «Вытравить хочешь?» Я только голову наклонила. «А человека ты можешь убить?» — «Ой, что ты, бабушка, родименькая!» — «Ну, и я не могу! Я и трав таких не знаю и знать не хочу. А совет дам: умела грех сделать, умей и кару принять». Сколько-то дней я все ходила, думала, думала... и пала в ноги свекру-тятеньке с мамонькой. Они так руками схлопали и заплакали. Принесла им горя-то! Тятенька месяц дома сидел, стыдно было людям глаза показать. А сколько разговоров пошло! Батюшки!

— Ребеночка-то не обижают? — спросила старушка.

— Любят! — с рыданием в голосе ответила Фекла.— А свекор-тятенька все от меня поклон отписывает Митрофану. Так он и не узнает, пока из плена не придет... И что только будет с нами?..

Она замолчала и стала думать свою невеселую думу.

— Фисунька! — сказала старушка после молчания.— Поставила бы самовар, напоим гостьюшку чайком да и спать!

— Чайком! — с сердцем повторила Анфиса.— Где он, чаек-то? Пустую воду хлебать? Чтобы в брюхе булькало? Сухой корки — и той нету в доме... Зачем самовар?

— А согреться,— робко ответила старушка,— погреешься, голодок-то и обманешь... замрет на время.

Анфиса резко вскочила с кровати, рывком выдернула из-под лавки самовар, загремела ковшом, трубой... Старушка печально наблюдала за нею. Глаза их встретились. Анфиса остановилась перед печкой.

— Мамонька! Прости меня! — вырвалось у нее из глубины души.— Не злюся я, горе меня одолело! Бьюсь-бьюсь, и все ни в сноп ни в горсть! Не дотянуть мне вас с Манюшкой — помрете...

Она схватилась за горло, словно пытаясь удушить себя.

Семья Ярковых дошла до крайней нищеты. Первое время Анфиса работала на спичечной фабрике, и они кое-как тянулись. Но вот заболела свекровь — отказались служить ей ноги. Пришлось Анфисе перебиваться на случайных заработках — мыть полы, стирать белье,

воду носить. Сено вздорожало — корову продали. Вздорожали дрова, да и достать их стало трудно — перешли жить в малуху. Приданые половики, одеяло, перину, подвенечное платье — все распродали. Свекровь вконец обессилела. Пятилетняя Манюшка стала кашлять, таять, блекнуть. Питались они почти одной картошкой. Помогала Ярковым заводская партийная организация. Но голодных семей фронтовиков было много, а фонд помощи так мал, что рассчитывать на частые получения не приходилось. Пока приходили письма от Романа, Анфиса крепилась, но вот уже второй месяц пошел, как писем не стало...

Вскипел самовар. Анфиса поставила на стол котелок с холодной картошкой, солонку. Помогла свекрови слезть с печи. Закутала Манюшку в одеяло, усадила к себе на колени.

— Опять ты у меня каленая! — Анфиса стиснула девочку в объятиях, поцеловала горячий лоб.— Манюшка, долго мать пугать будешь?.. Поешь картовочки?

Девочка помотала головой.

— Пить! — хрипло попросила она, припала к жестяной кружке с холодной водой и не оторвалась, пока не выпила все.— Мама, знаешь что? Купи мне, мама, кыску!

— Не продают их, Маня.

— Ну, выпроси... котеночка!..

— Ох ты... а чем его кормить будем?

Девочка задумалась.

— Кабы Красулю мы не продали...

— Кабы не «бы», выросли бы в роту грибы,— с сердцем сказала Анфиса. Напоминание о корове так и резнуло ее по сердцу.

— Я ведь не ем,— сказала Маня рассудительно,— пусть он мой хлеб ест. Выпросишь, мамушка?

Проще всего было пообещать, успокоить ребенка хоть на время. Но Анфиса никогда не обещала того, чего не могла выполнить. Она сказала:

— Не проси. Не под силу нам кошку кормить... Вот обожди, война кончится, будет замиренье, тогда...

Крепко прижала к себе беспомощно плачущую девочку, стала баюкать и похлопывать, как малого ребенка. Маня затихла, забылась... а из неплотно закрытых глаз все еще катились крупные слезинки.

— Фисунька, поешь ты сама-то,— просила свекровь, протягивая ей трясущейся рукой очищенную картофелину.

— Не хочу, мамонька...

— Вот, Феня, все «не хочу» да «не хочу»,— пожаловалась старушка.— Чем только она жива, не знаю. Ешь, Анфиса, я тебе велю! Ты теперь наша надежда, тебе силы надо!

— Ей богу, мамонька, не могу! Опять горло у меня сдавило и сердце в комок сжало.

Старушка умолкла, безнадежно повесив голову. В тишине слышны были только шумное дыхание Анфисы да замирающая песенка самовара.

Фекла сказала:

— Не мучь себя, Фисунька, понапрасну! Вот воротится твой Роман, заживете лучше прежнего. Все забудется, зарастет... Хочешь поворожу? Где у вас карты, бабушка?

— Нету у нас,— сказала строго старушка,— и не велю я ворожить. От ворожбы много худа бывает. Подсади-ка меня, Феня, на печку, да будем спать ложиться, что зря коптилку жечь! А я вам сказку ли, побаску ли про эту самую ворожбу расскажу на сон грядущий... Ты, Фисунька, с ночи в очередь пойдешь?

— В три часа. Очередь займу. Феню провожу на станцию.

— Как пойдете, меня с печки-то сдерните, девки-матушки! Я с Манюшкой лягу, все теплее девчоночке нашей будет... да мне без вас и не слезти... Вода у нас есть?

— Полкадушки.

— А дровца?

— Вон под лавкой.

— Картошечки не забудь принести из подполья.

— Не забуду. Ну, я гашу!

Фиса погасила коптилку, осторожно положила дочь рядом с Феклой и легла с краю на широкую деревянную кровать. Обняла горячее тельце Мани и разом заснула.

XXIII

Рысьев пришел к Илье получить задание комитета. В то время — в конце тысяча девятьсот шестнадца-

того года — Перевальский партийный комитет работал в полную силу. Наладили технику. Установили крепкую связь с Центральным Комитетом. Ожили подпольные ячейки предприятий и гарнизона. Вошла в русло стачечная борьба. Больничные кассы города работали под большевистским влиянием. Комитет помощи беженцам снабжал паспортами бежавших политических ссыльных. Ирина и другие большевички работали в комитете помощи солдаткам и семьям погибших на войне, писали письма на фронт по просьбе неграмотных солдаток, помогали им отправлять посылки... а в письма и посылки вкладывали отпечатанные прокламации: «Письмо на фронт» и «Письмо солдатам».

Словом, большевики Перевала собирали и укрепляли силы, готовились к надвигающимся революционным событиям. Надо было созвать конференцию, выбрать областной комитет. На организационном совещании одобрили лозунг о превращении империалистической войны в войну гражданскую... Избрали временный комитет. Обязали его подготовить областную конференцию.

Потолковав о делах, Рысьев остался пить чай у Светлаковых. Его интересовали отношения этой пары, ее быт.

В комнате все говорило о спартанской умеренности: ничего здесь не было лишнего, только самое необходимое. Одежда чистая, из дешевой ткани, скромного фасона. Пища скудная. Вместо чая сушеный брусничник... Рысьева удивляло, что ни Илья, ни Ирина будто не замечали своей бедности, не тяготит она их.

С завистью подметил Рысьев их полное единодушие. Смутно он почувствовал, что, отдав щедро друг другу всю любовь, каждый из них становился богаче, сильнее. Ирина, несмотря на плохое питание, суровую простоту жизни, развилась физически, окрепла. Не такою она была в родительском доме!

Прихлебывая брусничный чай, Рысьев рассказывал о столкновении женщин с полицией, которое он наблюдал только что.

Муки не хватило, и женщины подняли шум, начали ломиться в лабаз с криком: «Хлеба! Хлеба!» Выломали дверь, набросились на хозяина и приказчика. Полиция забрала несколько женщин в арестное отделение.

— Одно лицо не могу забыть... до чего знакомое! — говорил Рысьев задумчиво.— Съежилось в кулачок, промерзло до синевы, а глаза — сумасшедшие, большущие — горят! Постойте! Вспомнил! Да ведь это она!

— Кто?

— Жена Яркова... Ну да! Кудрявая!.. Я один раз ее видел мельком, в тюрьме в девятьсот девятом... Она!

— Слышишь, Ира,— сказал Илья жене, которая на минутку выходила к хозяевам,— Анфису Яркову арестовали.

— Когда? — как будто спокойным голосом спросила Ирина и сняла с гвоздя свою поношенную шубку.

— Только что,— ответил Рысьев,— беспорядки в очереди.

Одеваясь, Ирина выразительно взглянула на Илью. Тот пошарил в ящике стола, нашел несколько бумажных рублей и марок, заменявших в те годы разменную монету. Ирина той порой высыпала в кулек ржаные сухари, поданные к чаю, и весь сахар из сахарницы. Рысьев потянулся за бумажником и с непривычным для него смущением протянул Ирине деньги. Она просто взяла — даже и спасибо не сказала.

— А ты, Илья, на завод?

— Да. Надо выручать... хоть и неправильно, неорганизованно действовали...

Не дожидаясь, пока муж и гость оденутся, Ирина поспешно вышла из комнаты.

Войдя во двор Ярковых, она увидела на замерзшем окне малухи игру огня, как бывает, когда топят русскую печь. Видимо, старушка еще не знает об аресте невестки, занимается хозяйственными делами... «Но что это?» — ей послышалось заглушенное рыдание. Ирина распахнула дверь.

Старушка сидела на кровати растрепанная, космататая и плакала с причетами. Мать Паши Ческидова и какая-то молодая женщина обмывали тело Манюшки, распростертое на чистой мешковине на полу у печки.

На столе лежало праздничное розовое платьице, ленточки, стояла чашка с молоком, и резко выделялось на темной клеенке нераспечатанное письмо.

Старушка заметила Ирину, потянулась к ней и еще горше заплакала:

— Посадили мою голубушку... а я, старая, не уберегла внучечку!.. Слышит ли твое сердце, Фисонька? Чует ли оно?..

Ирина села рядом с нею, крепко взяла ее за руки, сказала с силой:

— Фису выпустят! Скоро!

Старушка помотала опущенной головой.

— Рабочие будут требовать! Комитет помощи солдаткам — тоже! Верьте мне, Фиса скоро будет дома.

— С трех ночи в очереди, в проклятущей, мерзла... Стоит, а сама об нас думает, об старом да об малом... а хлебушка не досталось... Как это перетерпишь, из себя не выйдешь? Хоть об этом бы подумало начальство... Мученица она... моя...

Женщины надели на Маню розовое платье, вплели в косички ленты, связали на груди руки, связали ноги, уложили на лавку. Молодая соседка ушла, вытирая слезы. Осиротевшая старушка сидела в мрачном отупении.

— Как прибежали к нам да как сказали, что, мол, Анфису Ефремовну вашу заарестовали...— начала она, ни к кому не обращаясь, глухим, ровным голосом,— как только нам это сказали, Маня моя плакать да кашлять, плакать да кашлять. Рвота началась, кровь из носу, из горла пошла... Захватило мою Манечку.

И старушка опять залилась, бессильно повесив голову.

— Бабушка,— сказала Ирина,— почему Фиса ко мне не пришла? Уж чего-чего, а хлеба-то бы мы достали.

— Ох ты, милая! Да совесть-то у нас есть, поди! И так нас не бросаете. У вас у самих-то не густо!..

Взгляд ее упал на стол, на чашку с молоком.

— Что есть не хлебнула, моя Манечка! Глоточка не пропустила!.. А как любила молочко! Вчера вспомнила Красулю... Принесли добры люди, да поздно.

— Сама выпьешь,— сказала Ческидова, утирая слезы,— не пропадать же ему, выпей-ко!

— Что ты! Душа не принимает!

Ческидова не стала настаивать.

— Поставлю на окошко, потом съешь, когда захо-

чешь...— И обратилась к Ирине: — Вы бы, барышня, прочитали письмо-то нам. Бывает, от Ромаши оно... может, что хорошее в нем. Его с утра принесли, да мы все собрались люди темные... грамотейку нашу поджидали, Анфису Ефремовну...

Письмо действительно оказалось от Романа. Он писал из госпиталя, что два месяца тому назад его ранили в грудь. Долго был без сознания. Выпилили ему два ребра. Скоро выпишут и отпустят домой — или на поправку, или совсем.

XXIV

Медленно передвигая ноги в кожаных шлепанцах, Роман Ярков вышел из комнаты, где заседала комиссия, и побрел в свою палату.

«Значит, завтра прощай Нижний Новгород!» В палате попахивало махоркой, и весельчак Бобошин размахивал рукой, разгоняя предательский дымок.

— Ну как, друг Ярков? — спросил он.

— На три месяца отпустили, на поправку.

— Я думал, в чистую его отпустят,— стонущим голосом проговорил сосед по койке Тупицын, дрожа от озноба.

Роман снял серо-желтый халат, улегся, заложив руки под голову.

— Поезжай, поезжай, жена тебя лучше вылечит! — сказал Бобошин.

Слабо улыбнувшись в ответ, Роман задумался...

Кто помнил веселого, быстрого на слово и на работу Яркова, тот не узнал бы его в этом тихом и серьезном человеке с запавшими глазами, со свистящим дыханием.

Сам Роман замечал в себе только перемены внешние: болен, слаб, в груди свистулька, ребра, ключицы обозначились. Не задумывался он над тем, насколько изменился душевно за эти три года.

Он глубже и тоньше стал понимать людей. Взять сестер милосердия. Все они бережны и внимательны к больным. А Роман понимает: сестра Елена пошла сюда с горя, после гибели жениха. Острота горя уже прошла, и сейчас она как бы любуется своим подвигом.

Для нее важно не то, что больной успокоился, а то, что она сумела успокоить... Сестра Катя — молоденькая, нежная — та всю душу свою отдает. Надолго ли хватит такого горения и что будет, когда она привыкнет к чужому страданию, как сестра Надежда? У той заботливость стала привычкой, но раненые ее любят. Да, разная бывает ласковость, и грубость бывает разная! Главный врач Кузовников, в сущности, не груб; но он точно и не видит никого. А вот доктор Федулов груб: может закричать, затопать... но это бывает только тогда, когда больной нарушил его предписания, сам себе повредил. Да, поступки могут быть у людей одинаковые, а причины — разные.

В этот последний вечер в лазарете Роман с особым чувством присматривался к соседям по палате.

Палата жила своей обычной жизнью. Бобошин и Куценко играли в чет-нечет, зажимая в руках спички. Уплетая яблоки, принесенные барышнями-гимназистками, Поткин рассказывал вполголоса похабную сказку про царя, и слушатели его — молодые парни — прыскали в кулак. Шестаков шуршал газетой, читал.

Пробегали мимо двери санитары — тащили судно и утку из «тяжелой» палаты, колотый лед на тарелке, кипяток в резиновом пузыре — в «тяжелую» палату. Пронзительные стоны неслись из-за стены: пришел в себя после хлороформа гангренозный, которому днем отхватили обе ноги.

Принесли кашу с маслом в эмалированных мисках и чай в жестяных кружках. Перед сном ходячие больные вышли в уборную покурить. Потом огни в палатах погасли, и все улеглись спать.

Роману не спалось. Он присел на кровать к Шестакову, они пошептались, пообещали писать друг другу. Когда Шестаков задремал, Роман ушел на свою кровать и стал думать о будущем.

«Робить в цехе едва ли придется, надо будет искать работку полегче. Теперь я не только клещами... клещи-то пустые не подниму! А вдруг не поправиться? Может, они меня околевать выпустили?»

Так думал Роман, но вопреки этим мыслям росло в нем жадное желание жить в полную силу, работать, как прежде, и бороться пуще прежнего!

Он стал думать об отъезде.

Выпишут его с утра. Поезд отходит вечером. Он успеет сходить на Балчуг — купить гостинцев семейным, куклу Манюшке... Куклу он, не доходя до дому, посадит в карман шинели, чтобы дочь сама, своими руками достала. Представилась ему Фиса — то в розовом венчальном платье, то у лиственницы — задумчивая, с шевелящимися на ветру кудрями, то бегущая по платформе с малиновым шарфиком в руках. «Успокоить ее... намаялась, поди, одна-то, работая. А, мама, поди, совсем постарела... родимая матушка моя!»

С Балчуга он решил пойти поискать домик, где жил Максим Горький,— это где-то совсем близко, на взвозе. Хотелось ему прогуляться по откосу, зайти в старинную башню, которую видно из окна палаты,— она заслоняет заснеженную Волгу и ширь Заволжья. В Сормово хотелось заглянуть, но он от этой мысли отказался: зайти там не к кому, а на завод не пустят.

— «Залезть», «сходить», «заглянуть» — пороху-то хватит ли? — сердито и насмешливо оборвал он сам себя.

Утром пришло письмо от Анфисы. Она сообщала о смерти дочери.

Половина письма была вымарана цензором.

Может быть, это обстоятельство, может, то внутреннее чутье, которое выработалось у Романа,— что-то навело Романа на мысль: «Уж не с голоду ли? Или обыск какой-нибудь... напугали?»

Злая тоска и невозможность «ускочить» сейчас же домой, утешить жену, погоревать вместе с нею — точно связали Романа. Он никуда не пошел, ничего не купил жене и матери. Забрался на вокзал и, не пивши, не евши, просидел в углу до вечера.

...Паровоз взял с места, но длинный и тяжелый товарно-пассажирский состав точно примерз к рельсам. Еще рывок... еще... и болтнуло так, что не один пассажир помянул крепким словом машиниста, железную дорогу и неминучую нужду — ехать.

Роман проснулся.

Он лежал на верхней багажной полке, в тепле. Махорочный дым, застлавший с вечера весь вагон, теперь ушел куда-то, не разъедал больше глаза и легкие. В вагоне стоял разноголосый храп, такой могучий, что

он слышался, несмотря на дребезжание и скрип ветхого вагона.

Дверь с площадки отворилась. Вошли двое: высокий —в бобровой шапке, в шубе с бобровым воротником и низенький — в борчатке и мерлушках. Они прошли до конца вагона и возвратились: свободных мест не было. Низенький хотел разбудить кого-то на нижней скамье, но его спутник воспротивился:

— Бросьте, Николай Иванович! Подумаешь — один перегон! По крайней мере, поговорим на свободе... Минут через двадцать опять разлетимся, когда еще встретимся!

Они стали разговаривать вполголоса.

Вначале Роман не вслушивался, но слово «старец» привлекло его внимание. Разговор шел об убийстве Распутина — об этом только сегодня оповестили газеты.

— Н-да... наверху сейчас переполох,— язвительно говорил Николай Иванович.— Фактически старец был монархом...

— Тише! — с неудовольствием прервал спутник.

— А я что сказал,— громко начал Николай Иванович.— Я сказал, что фактически покойный старец был мо-на-хом!

И он зашептал что-то быстро и сердито. Разобрать можно было только отдельные слова: «Всякие видения... наступать на Ригу...» Потом, забыв осторожность, заговорил громче:

— Мой тезка — дегенерат! Это факт! Расстроенная фантазия... жесток и упрям, как осел!

— Вообще, там бедлам,— презрительно сказал высокий,— в том-то и ужас.

— А Сашетт!.. Это религиозное умопомешательство...

— Но интересно, интересно: кто сделал это «чик»! Один на один против темной силы!

— Вероятно, не один на один! Это кто-нибудь из...

— Мишель, может быть?

— Николай Иванович!

— Что? — невинным голосом спросил низенький.— Я вспомнил, что жена заказывала мне купить вермишель... а вам что послышалось?

— Не очень ловко, милейший,— пробурчал высокий.

И они опять понизили голоса.

«Алеша... гемофилия... Маклаков и Пуришкевич... спасти самодержавие... Мишель...» — расслышал Роман. Он понимал, что дегенерат, тезка Николая Иваовича,— это царь, Сашетт — его жена. Мишель — великий князь Михаил... Смутно он стал подозревать, что речь идет о готовящемся дворцовом перевороте. По-видимому, слухи докатились и до этих двух господчиков.

«Не спасут вас никакие перевороты!» — И вдруг Роман всем существом почувствовал близость больших событий. Он знал настроение солдат, крестьян, трудовой интеллигенции...

Горячей волной обдало его.

— Эй вы, почтенные!

Оба собеседника враз подняли головы. Они увидели злое, грозное, насмешливое лицо худого, как скелет, солдата, в упор глядевшего на них.

— Что вы? — неуверенно спросил высокий.

Роман не отвечал, продолжал жечь их немигающим взглядом. Ему хотелось сказать, что не поможет самодержавию никакой дворцовый переворот, что трудовой народ сбросит к черту и царя, и всех его наследников и прихвостней. Но сказать это было еще нельзя. С нарочитой грубостью он произнес:

— Вы что тут разоряетесь? Марш отсюда!

Те обменялись тревожными взглядами, высокий пожал плечами. Постепенно стали они подвигаться к двери и вышли на площадку.

XXV

Чекарев вернулся из ссылки перед самой Февральской революцией. Перевал, как и вся страна, чутко следил за событиями в Петрограде.

Стачка Девятого января. Демонстрация рабочих и присоединившихся к ним солдат. Забастовка восемнадцатого февраля, перекинувшаяся с Путиловского завода на другие предприятия... Демонстрация трудящихся женщин в международный день работницы... Всеобщая политическая забастовка петроградских рабочих, столкновения, с полицией, попытки восстания... Расстрел демонстрации — и новая, еще более могучая революционная волна... Братание с солдатами... Манифест бюро ЦК о вооруженной борьбе против царизма...

Переговорив обо всем этом, Илья и Сергей Чекарев решили, что свержения царизма можно ждать со дня на день. Настают боевые дни. Люди жаждут борьбы.

— Я изголодался по работе! — сказал Чекарев.— Считай меня с этого дня в активе. Пожалуй, я у тебя и остановлюсь пока, чтобы не тратить время на поиски квартиры.

Илья странным, беспокойным взглядом поглядел на него.

— Сережа,— сказал он бережно, точно подготовляя к чему-то.— Я был бы рад, ты знаешь... но ты сам не захочешь... Мария здесь! Она устроилась у Романа...

— Бегу! — просиял Чекарев.— Лечу!

— Подожди, одно слово... Должен предупредить тебя... Беспокоит меня ее здоровье, состояние ее...

— Больна? Лежит?

— Нет, не лежит. Работает. Бросилась в работу, не дает себе отдыха...

Встревоженный Чекарев полетел к Ярковым. Распахнул дверь.

Роман поднялся навстречу, а Фиса застыла на месте, испугавшись его взволнованного вида.

— Где Маруся?

— Она в малухе... Мы просили... она не хочет здесь... Я сбегаю за нею,— заговорили враз Ярковы.

— Потом, потом, прости, Роман, я потом... После обо всем!..

И он исчез так же быстро, как появился.

Роман и Анфиса с недоумением взглянули друг на друга.

— Повидаются, придут сюда,— сказал наконец Роман.— Как приснился!.. Вот чудо...

— Поставь, Фисунька, самовар,— раздался стонущий голос с печки,— картовочек свари...

Мария в черном глухом платье сидела за столом, писала при свете тоненькой восковой церковной свечки, свет которой терялся во мраке закопченной, угрюмой избы. Она не подняла головы, услышав, как открывается дверь, только досадливо пошевелила бровью. Чекарева поразила ее внешность: волосы коротко острижены, щеки впали, лицо удлинилось, потеряло свежесть...

но не это испугало его... Испугало его сдержанно-трагическое выражение — морщинка на лбу, надломленная бровь, сжатые губы.

Он хотел броситься к ней, но что-то удержало его. Задыхаясь от прилива любви, острой жалости, тревоги, он протянул к ней руки, прошептал:

— Это я, Маруся!

Ее точно ударили. Мария откинулась к стене и вперила в мужа дикий, мрачный взгляд. Она раньше не умела глядеть так!

— Не пугайся! Это я, Маруся,— повторил Чекарев и осторожно, сдерживая себя, подошел.

Мария вся как-то насторожилась и, казалось, даже дышать перестала. Не ответила на поцелуй. Высвободилась из объятий, отодвинулась, вытянула руку, как бы отталкивая его.

Деревянным, невыразительным голосом сказала:
— Я — нечистая.

Чекарев не вскрикнул, не пошевелился, бровью не повел... Почувствовал: в груди оборвалось что-то горячее, опустилось... распространился тошнотворный холод. Голову закружило. Он побледнел, закрыл глаза. Мария закричала отчаянно:

— Сережа! Сережа! Сережа!

Но не притронулась к нему.

Она видела, как вместо напугавшей ее бледности по лицу мужа разлилась багровая краска. Он сидел с закрытыми глазами, сжав кулаки, сдерживал тяжелое дыхание — боролся с собой. Мария видела: на виске быстро бьется жилка, точно выстукивает какое-то слово — не то «тяжко-тяжко-тяжко», не то «больно-больно-больно».

— Все равно чистая... всегда...— тихо сказал Чекарев.

И Мария зарыдала, не сдерживаясь больше.

Чекарев бережно поднял ее, положил на постель, встал на колени у кровати. Слезы их и дыхание смешались. Мария прерывистым шепотом рассказала ему все. Не за себя страдал Чекарев. Он с ужасом думал, как пережила это надругательство гордая, чистая Мария.

Чекарев бережно ласкал ее.

— Переживем! Победим и это... воспоминание... Нельзя нам распускаться.

Голос его вздрагивал, и рука дрожала.

— Пойми! Пойми! — рыдала Мария.— Все загажено! Все! Вот ты... самый... самый мой родной... а я боюсь... не могу... быть женой.

Так говорила Мария, и Чекарев понял, что только выдержка, терпение, братская заботливость и полное забвение себя помогут ему вылечить тяжелую душевную рану жены.

Когда он вышел утром из малухи, Роман с удивлением, с тревогой воззрился на него... и долго не мог привыкнуть к его новому облику. Широкие русские черты в одну ночь утратили добродушную мягкость, затвердели. Сквозь привычную усмешку больших глаз глядела суровая печаль.

Среди ночи Роман забарабанил в дверь малухи, закричал, ликуя:

— Вставайте! Вставайте! Революция! Экстренное собрание!

В эту ночь, впервые выйдя из подполья, собрался открыто временный комитет РСДРП, собрал актив, представителей предприятий.

Илья зачитал только что полученные телеграммы о свержении царизма и о Временном правительстве.

Все восторженно зааплодировали и запели «Марсельезу»...

Но вдруг радостное опьянение разбил трезвый, суровый голос Сергея Чекарева:

— Товарищи! Взгляните, каков состав Временного правительства! По пути ли нам с таким правительством? Предстоит суровая, жестокая борьба с буржуазией... с лакействующими партиями... Прежде всего мы должны создать Советы, как в пятом году!

Решили: этой же ночью, не откладывая, провести летучие митинги на заводах, разъяснить рабочим события, подготовить к демонстрации.

Чекарев предложил послать телеграмму высланным депутатам Думы, членам большевистской фракции. Тут же составили текст:

«Перевальский комитет РСДРП просит известить о дне проезда через Перевал. Счастливы будем встре-

тить дорогих товарищей — истинных борцов за народное дело...»

Второго марта все население Перевала вышло на улицы. Возникла «манифестация», как называли еще по старинке торжественное шествие. Еще недавно запретный красный цвет разлился повсюду — знаменами, лозунгами, лентами, повязками... На площадях, на перекрестках шумели митинги.

У обывателей кружились головы: какое разнообразие лозунгов, речей, песен! Все партии вышли из подполья — ораторы говорят каждый о своей партии, агитируют, зовут... один к борьбе против войны, другой — к войне до победы.

Баринова ревет белугой: царь нас бросил, отперся от нас. Как будем жить? Кабы знал, где падешь, соломки бы подостлал... не грубить бы Сергею Иванычу, когда его арестовать пришли, не сулиться бы вилкой глаза копать... теперь бы он как пригодился!

Доктор Албычев бегает по комнате, ерошит волосы, одышливым, умиленным голосом повторяет слова, якобы сказанные народом монархисту Родзянке: «Будь другом народа, Родзянко!» Албычев снова считает себя либералом и высказывает свободные мысли... Вспомнив об Илье, назвал его зятем... Охлопков, довольный составом Временного правительства, говорит Матвею Кузьмичу:

— Старый ты мальчик, Матвей! Сколько в тебе этого самого... одушевления...

— Горизонт ясен! — и Полищук делает рукой плавный округлый жест.— Бескровная революция совершилась!

А Григорий Кузьмич кротко убеждает учеников, что бескровных революций не бывает. Впереди — бури, потрясения. Каждый юноша должен уяснить себе, определить свои убеждения и твердо держаться своей линии.

Самоуков с котомкой за плечами зашел к Ярковым на перепутье. Он говорит зятю:

— Привел бог, дожили до матушки-слободушки! Теперь меня из Ключей колом не вышибешь! Сколочу артелку, будем платину добывать!

— Настоящую свободушку будем еще добывать, папаша,— отвечает на это Роман.— Это ведь только присказка... сказка впереди будет!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Апрельский вечер. В окна новой квартиры Светлаковых льется закатный свет.

Чистая, сухая, светлая комната... именно такая и нужна Илье. Слишком долго жил он в сыром полуподвале.

Правда, здесь пустовато: шкафы — платяной и посудный, узкие опрятные кровати, стол под клеенкой, три стула, книжная полка — вот и вся меблировка. Зато какой простор!

«Хорошо — выбрался вечер, посидим дружным кружком»,— думает Ирина, стоя у посудного шкафа. Счастливым взглядом она обводит собравшихся.

Чекарев читает вслух «Правду» — апрельские тезисы Ленина. Газета только что получена. Больше недели добиралась она до Перевала.

Андрей сидит наискось от Чекарева за столом. Подперев голову рукою, неотрывно смотрит на чтеца.

На подоконнике — Илья, у окна, верхом на стуле, Рысьев, на кровати Мария. Все внимательно слушают тезисы. Это программа большевиков в новых условиях борьбы за переход к социалистической революции.

Только что закончилась Первая уральская свободная конференция. Резолюции написаны и приняты. И каждый невольно как бы сверяет, сличает эти резолюции с ленинскими тезисами: так ли, правильно ли мы решили? Вел конференцию Андрей, но он не мог знать тезисов: Центральный Комитет послал его на Урал в самый день приезда Ленина из-за границы.

Ирине вспоминается, как обрадовался Илья приезду Андрея: «Нельзя было выбрать лучше. Именно Андрей должен был приехать, именно он. Его здесь знают, его помнят, верят ему.

И правда, укрепление партийной сети, организация рабочей молодежи, крестьянской бедноты, женщин, работа в армии, подготовка к изданию областной партийной газеты, конференция — во всех делах Андрей участвовал сам, а опорой его были те большевики, которых он вырастил в годы подполья.

Ирина впервые видит Андрея так близко. До сих пор встречала его только на собраниях, видела за столом президиума на председательском месте, видела на трибуне конференции. Три доклада сделал он сам. Со страстью, с огнем выступал в прениях. Дал бой оборонцам. Наголову разбил тех, кто стоял за объединение с меньшевиками: «Не всегда верно, что в количестве сила. Не всегда выгодно собрать больше народа под знаменем. Сила — в дисциплине и качестве. Можем ли мы учинять бесформенное объединение? Нет! Только когда среди вас нет разногласий, только тогда и объединяйтесь... Меньшевиков мы в партию не берем!»

Слушая сейчас ленинские тезисы, она радостно отмечала в уме: «Конференция встала на позиции Ленина. Это наша заслуга... Вот что значит единомыслие, когда оно опирается на марксизм, на ленинскую теорию».

— Товарищи! — сказал Андрей, едва чтение закончилось.— В основном, как видите, мы правильно решили на конференции ряд вопросов. Но...

Он вскочил со стула, прошелся по комнате.

— Мы допустили ошибки. В свете ленинских тезисов они ясно видны.

Андрей остановился. Все глянули на него.

— Одна ошибка, когда в резолюции говорим о контроле партийных организаций над Временным правительством. Какой контроль? При любом контроле это контрреволюционное правительство не будет выполнять требований пролетариата. Вторая ошибка — слова о диктатуре пролетариата и крестьянства... Что вы подняли брови, Рысьев, чему удивляетесь? Ленин выдвигает лозунг борьбы за диктатуру пролетариата и беднейшего крестьянства. Поняли, в чем разница?

— Да,— сказал Чекарев,— но по духу резолюции не расходятся с тезисами. Мы дали правильную характеристику Временному правительству. Правильно оценили роль Советов. Наметили верную политическую линию.

— Давайте еще раз прочтем, вдумаемся, обсудим,— предложил Андрей.

Около полуночи Ирина вышла на кухню. Поджарила картофель, нарезала хлеб, поставила чайник на керосинку. Поколебалась: не попросить ли у хозяев чаю

на заварку? — и заварила неизменный брусничник. Сахара не было, она развела в кипяченой воде щепотку сахарина. «Хотелось бы не так угостить Андрея... но не в этом дело. Покрою стол двусторонней скатертью, мамины вязаные подстаканники выну...

Она поймала себя на том, что стоит, напряженно вытянувшись и крепко сжав руки.

«Отчего мне так хорошо? Нашла дело своей жизни... нужное для народа дело. Полна сил, здоровья. Любима! У меня верные, испытанные друзья...»

Вот оно — счастье!

И все — Илья! Он раскрыл во мне то, что раньше было замкнуто, запрятано...

А без Ильи? Могла бы я работать, радоваться... могла ли бы я жить без Ильи?

Нет, лучше не думать... не надо думать об этом...»

И, точно убегая от пугающих мыслей, Ирина поспешила в комнату, захлопотала у стола.

— Я свободу слова не так понимаю, как иные,— говорил Рысьев.— Привык высказывать, что думаю. А вот сказанул на конференции, и мне сразу штемпелек: «Соглашатель».

Андрей живо повернулся к нему:

— Это вы на мой счет? Интересно, как вы понимаете свободу слова: вы свободны говорить, а я не свободен выразить свое мнение?

— Наше общее мнение,— вставил Илья.

— Выражать мнение — это одно, а оскорблять — это другое,— дрожащим голосом произнес Рысьев и, побледнев, резко отодвинулся со стулом от стола.— Вы меня оскорбили... меня... меня... Я для того сюда и пришел, чтобы высказать, выяснить. Повторяю: если Андрей хочет, чтобы в партии были люди абсолютно одинаково мыслящие, он останется один.

Илья и Чекарев сказали вместе:

— Опять за то же.

— Опять за рыбу деньги!

Андрей упорно смотрел на Рысьева.

— Вы сказали, что признаете свою ошибку, и голосовали за размежевание с меньшевиками, Рысьев. Значит, вы солгали конференции?

— Нет! Не солгал. Но я вам говорю: абсолютно одинаково мыслящих людей нет на свете. Это вы должны признать. Вы меня не понимаете...

— Я вас понимаю, Рысьев... Вот вы выступали сначала против размежевания, потом покаялись. Я видел, как вы кивали Полищуку, когда он разглагольствовал о поддержке Временного правительства в его борьбе с «внешним врагом»...

— Я голосовал против.

— Но кивали «за». Берегитесь, Рысьев, если вы ведете двойную игру!

— Не веду я двойной игры!

— Тем лучше. Но тогда продумайте свои ошибки, и вам станет ясно, что, хотите вы этого или нет, вы находитесь под буржуазным влиянием.

— Он под влиянием буржуазной родни находится,— с грубой прямотой сказал Чекарев.

Рысьев вскочил.

— Буржуазная родня? А считаю я Албычевых родней? Зборовского? Охлопкова? Я только в целях конспирации общался с ним. Он мне и моим делам ширмой был! Моя жена не ему племянница, а его жене. Я давно — ни ногой к нему.

— А жена ваша каких взглядов? — спросил Андрей.

— Взглядов, взглядов...— проворчал Рысьев.— Никаких у нее взглядов нет.

— Это вы бросьте, стыдно говорить глупости.

— Вне! Она вне политики.

— Значит, у вас нет с нею общности интересов?

— Где это видно, в какой программе, чтобы вмешивались в частную жизнь? Что, я плохо работал? Изменял? Да, были ошибки, может, и еще будут... Я живой человек... Но разве мои дела не за меня говорят?

И Рысьев стал перечислять все поручения, выполненные им.

Когда он кончил, Андрей сказал:

— Если вы не покаетесь сам перед собой, Рысьев... если не осознаете, что вы уклоняетесь от ленинской линии, ошибки ваши умножатся. А партия не будет без конца прощать их вам.

Рысьев отказался от чая, ушел. Остальные уселись тесным кружком, придвинув стол к кровати. Стало уют-

но и весело. Андрей, отхлебнув из стакана, спросил Ирину:

— Брусничник?

— А как вы разгадали мой секрет? — весело, почти шаловливо отозвалась она.

— Ведь я в Сибири жил,— сказал Андрей.— Брусничник... У меня о нем, можно сказать, нежные воспоминания. Это неплохо, особенно зимой после поездки за дровами или за сеном. Намерзнешься...

— За сеном? — удивилась Ирина.— А зачем вам сено?

— Зачем? — задумчиво повторил Андрей.— А вот представьте себе: Максимкин яр... тайга... снега — с головой увязнешь.

Ты оторван от работы, от жизни. Что с товарищами, что с твоей семьей — не знаешь... полная неизвестность. Нет книг, газет. Переписка под контролем. Стражники — по пятам. А быт... Ну, что об этом говорить, всем ясно. Так вот, чтобы не расхныкаться, не утратить бодрости, я и приналег на физическую работу. Ездил за водой, за сеном, за дровами, ухаживал за хозяйскими лошадьми, убирал снег со двора, ездил неводить, лед долбил... А пальтишко — питерское, на рыбьем меху! — уже весело продолжал он.— Намерзнешься, попьешь вволю такого чайку — и заснешь как убитый...

Андрей махнул рукой, точно отгоняя воспоминания. Все молчали.

Ирина глядела на мужа. Сегодня он был в том приподнятом настроении, которое она знала и любила. Сдержанного Илью многие считали сухим. Как-то в минуту душевной близости она спросила, почему он кажется людям холодным. Илья ответил так:

«Пожалуй, потому... потому... В детстве я был слишком нежным, мягким... И когда ушел в подполье против желания мамы... сердце разрывалось... Я не мог не причинять ей горя. А она так на меня надеялась: «Вырастешь, поступишь на хорошую службу, будем жить припеваючи...» — только и мечтала. Чтобы полностью отдаться своему делу, я должен был подавить многое в себе... Может быть, с этого началось? Я никогда не думал, что женюсь... Аскетически был настроен... сама знаешь».

Сейчас, при взгляде на помолодевшее лицо мужа,

Ирине хотелось сказать: «Товарищи! Ну, посмотрите на него!..»

Она настолько погрузилась в свои мысли, что перестала вслушиваться в разговор. Машинально наполняла опустевшие стаканы. Какая-то неясная тревога проснулась в ней. Она силилась разобраться в противоречивых чувствах — и не могла. Чего же мне недостает? Мы с Ильей не разлучались и не расстанемся никогда... Ссылки уже нет и не будет! Как это Андрей и его жена пережили? Она взглянула на Андрея,— тот, помешивая чай, разговаривал с Чекаревым.

Ирина не видела его жену. Знала, что редко ей приводится бывать вместе с мужем. В девятьсот шестом их разлучила тюрьма. С того времени и до девятьсот пятнадцатого года (а в пятнадцатом она приехала к нему в ссылку, в Туруханский край) они встречались редко, на короткое время. Правда, однажды она с сынишкой перебралась к мужу в Нарым — «на жительство», но сразу же стала вместе с его товарищами готовить Андрею побег. Полиция была уверена, что семья привяжет его к месту. Надзор ослаб. Бежать стало легче. Андрей бежал.

...Ирина пыталась поставить себя на место жены Андрея: «Смогла ли бы я затаить горе, хлопотать о побеге Ильи, о разлуке с ним?» И ответила себе: «Да, сделала бы... но какое это страдание!»

— Андрей! Вы любите свою жену? — внезапно спросила Ирина звонким, вздрагивающим голосом... и сразу же поняла всю бестактность этого вопроса.

— Крепко люблю, — сказал Андрей, — и жену, и детей. Почему вы спросили?

Ирина не ответила. Слово «детей» вдруг осветило ей всю путаницу неясных желаний и мыслей. Она удивилась, обрадовалась, покраснела до слез.

— Вы извините... я как женщина... Вот она рожала и не знала, где вы... Что она переживала! А вы не знаете, здорова ли она и ребенок жив ли, здоров ли...

Андрей глядел на нее ласково, глубоким, понимающим взглядом.

— Да,— сказал он, когда Ирина замолчала,— трудно было, тяжело. Зато какова радость материнства, отцовства! — И весело закончил: — Надеюсь, и вы эту радость узнаете!

II

— Зарвался хам! Убью! — хрипел Охлопков, искал мутными глазами, что бы еще ему разбить, разорвать, хоть немного утолить бешеную ярость.

Размахнувшись, хватил о пол графин с водой, слоновьими ногами топтал осколки. Сгреб в горсть ковровую скатерть, сорвал со стола — полетели цветы, горшки, пепельницы... Стал швырять книги в толстых переплетах, запустил диванным валиком в дверь... Рванул ворот, распластнул свою вышитую рубаху. Потный, обессиленный, рухнул на диван...

Такие припадки за это лето случались с ним не раз. При посторонних он еще сдерживался, дома не мог и не считал нужным.

...Начиная с первых дней Февральской революции дела его пошатнулись.

В Верхнем округе было «неблагополучно».

В марте и апреле рабочие прогнали с заводов троих управителей... и Охлопков не мог «навести порядок»... Съездил в губернский город, к комиссару Временного правительства. Тот ничем не помог и дал ненужный совет: «Как-нибудь, где-нибудь надо устроить пострадавших!»

Как удар, свалилось на него постановление Совета о том, что с первого апреля вводится восьмичасовой день для рабочих и шестичасовой для служащих. Он приказал управителям:

— Не подчиняться!

И все-таки восьмичасовой день был установлен с легкой руки рабочих Верхнего завода. Проработав восемь часов, они уходили, не обращая внимания на запрещение администрации.

На собрании Охлопков обвинил рабочих и руководство Совета в том, что они «нарушают порядок... революционную законность», привел в пример Лысогорский завод, где Совет «не нахрапом действовал», а убеждал заводоуправление! И даже когда заводоуправление не согласилось, рабочие не позволили себе «самочинных действий». Лысогорский Совет послал телеграмму в Петроград: потребовал, чтобы Временное правительство декретировало восьмичасовой рабочий день... «Вот так борются люди сознательные!»

— Тоже мне борются! — с места сказал Роман Ярков. — Меньшевистские фокусы это, обман рабочих!

Охлопков не ответил, только поглядел на Яркова долгим, ненавидящим взглядом... В этом человеке как бы воплотилось все бунтарское, вызывающее, все, что доводило Охлопкова до белого каления.

После собрания посоветовал Зборовскому выбросить с завода этого бунтаря.

— Страсти разгорятся, Георгий Иванович!

— Пусть разгораются! Пусть они какой-нибудь фортель выкинут! Того и жду! Я приказываю уволить Яркова.

Но рабочие никакого «фортеля» не выкинули, а применили свое оружие — забастовку. Выставили требования: восьмичасовой рабочий день, повышение заработной платы, восстановление на работе Яркова, увольнение неугодных им мастеров. Из Петрограда пришел приказ: забастовку прекратить, идти на уступки.

— Хорошо, — сказал Охлопков, опомнившись после очередного приступа бешенства, — примем их условия... но примем и свои меры!

Бессонной ночью в тиши кабинета он выработал план, как сократить производство и, стало быть, выбросить за ворота множество рабочих. «Наплевать теперь на прибыль! Обуздать их надо! Обуздать!»

Скоро оказалось, что «из-за недостатка топлива и сырья» завод должен наполовину сократить работу. Уже было вывешено объявление об этом, вывешен был список сокращенных рабочих, как вдруг...

«Это он, Ярков!» — думал Охлопков, когда на завод, как снег на голову, явилась комиссия, посланная Советом.

Охлопков не ошибся. Роман Ярков по поручению партийной организации обратился в Совет, попросил проверить дела заводоуправления:

— Тут какая-то хитрая механика, товарищи!

Механика, впрочем, оказалась не очень хитрой. Комиссия сразу нашла злостные ошибки в планировании, замороженное сырье, невостребованное топливо. Зборовскому пригрозили судом.

Словом, сократить производство и выбросить на улицу половину рабочих не удалось. Пришлось подчиниться Совету. До июля Охлопков не мог успокоиться, пере-

стал бывать на заводе, чтобы «не видеть ненавистную морду!».

В июле он несколько передохнул. Правда, его огорчил провал наступления на фронте, зато радовали вести о последующих событиях. Он молодел, читая в газетах о расстреле демонстрации питерских рабочих, о репрессиях, которые обрушились на партию большевиков.

— Наконец! Бросили миндальничать... в демократию играть! Небось и здешние большевички струсят, прижмутся к месту!

— Рано радуетесь, Георгий Иванович! — предостерегал Зборовский.

— Да ну тебя, Петруха! Иди ты...

После июльских событий горнопромышленники перешли в наступление. По-иному заговорили они с рабочими. Забастовок не боялись, наоборот, грозили сами локаутами... знали, что для уральского рабочего, привязанного к месту, закрытие завода — самое страшное из всех зол. И перед рабочими Верхнего завода акционерное общество поставило жесткие условия: хотите работать — удлините рабочий день, не требуйте повышения заработка, подымите производительность труда.

Шли слухи, что на других владельческих заводах дело дошло даже до снижения зарплаты. В Лысогорске, где меньшевистский Совет распустил вожжи, начались аресты рабочих, увольнения, штрафы... как при царском режиме! А по казенным заводам Горный департамент разослал письма, в них говорилось, что при попытках рабочих вводить свой контроль заводы будут закрываться.

Читая в местной большевистской газете о том, что «горнопромышленники выработали общий план наступления, на что мы должны ответить общим отпором», Охлопков только похохатывал: он знал, кто организовал горнопромышленников и подсказал «план наступления».

Зборовский не склонен был радоваться. Видел, что большевистская партия становится сильнее, массы отходят от меньшевиков и эсеров.

— Сегодня пришел на завод депутат Совета, — рассказывал он тестю, — записывал желающих в Красную гвардию: «Товарищи! Пора взяться за винтовки!»

— А вы бы его в шею!

— Прошло то время, Георгий Иванович! Как бы нам с вами не дали по шапке!

— Трус ты, Петр!

— А вы слепец. Не видите — надвигаются страшные события.

Однажды ночью, после заседания Совета, Полищук, находившийся в числе депутатов, позвонил по телефону Охлопкову и Зборовскому: решено ввести на Верхнем заводе рабочий контроль. Это будет сделано буквально завтра же. Отказаться от контроля нельзя: окружной съезд предложил Советам готовиться к захвату предприятий, владельцы которых не подчинятся контролю.

— Достукались! — мрачно сказал Охлопков и стал натягивать рубаху и штаны. Он условился встретиться с зятем в заводоуправлении, пересмотреть и, если надо, уничтожить часть переписки с петроградским правлением. Неизвестно было, во что выльется контроль и каковы будут функции «контролеров». Может, и в переписку сунут нос.

Сторож не сразу впустил их, не понял спросонок, что стучится начальство.

— А я уж думал, и Нефедыч наш забунтовал, пускать не хочет,— мрачно пошутил Охлопков и, не слушая уверения — «да я... да, господи!..» — приказал: — Иди досыпай и никому ни слова! Понял?

Переписки накопилось много.

Зборовский с трудом открутил чугунный винт, поддерживающий печную дверцу. За лето винт заржавел.

Принялись просматривать бумаги.

Черный список рабочих, присланный союзом заводчиков, полетел в огонь... Письма о локауте туда же... К утру в сейфе и шкафах осталось только то, что «не боялось» чужих глаз.

Настало утро. Зборовский откинул шторы, позвонил. Нефедыч принес им умыться, вскипятил самовар. Вскоре собрались все служащие, и старинное здание наполнилось звуками голосов, шагов, скрипом дверей, стуком костяшек на счетах.

— Предупреждаю, Петр: если эта морда появится, я за себя не ручаюсь!

Зборовский, зная, что речь идет о Романе Яркове, сказал внушительно:

— «Морда» появится, это несомненно... Надо быть готовым... только не к мордобитию! А то доставите им высокое наслаждение — бросить вас в тюрьму.

— Ого!

Впервые вспылил Зборовский, говоря с тестем, — ночная тревога, ожидание истомили его.

— Ничего не «ого», — сердито сказал он, — не будьте бабой, владейте своими нервами, черт вас возьми!

И добавил обычным тоном:

— Ушли бы вы лучше.

— Не уйду! — с сердитым вызовом ответил тесть.

В коридоре послышались властные, неторопливые шаги. Шло несколько человек. Без стука распахнулась дверь.

Первым вошел незнакомый пожилой, широкий в кости, широколобый, широкоскулый человек. Он сразу полез за пазуху за мандатом и положил его молча перед Зборовским. Это был депутат областного Совета Васильев. Ему поручили «выполнить решения о рабочем контроле на Верхнем заводе».

Следом за Васильевым вошли солдат, тоже депутат Совета, Ярков и машинист электростанции. Все они также предъявили свои мандаты.

Зборовский внимательно прочел документы, помедлил и сказал холодно:

— Чем могу служить?

— Вот соберем весь контрольный комитет, надо будет познакомиться нам с делами, — сказал Роман.

— С делами ты, Ярков, давно знаком не хуже меня.

— Да нет, я думаю, ты лучше моего разбираешься!

Второй раз сдали у Зборовского нервы. Это «ты» из уст простого рабочего он переварить не мог. Надменно взглянув на Романа, сказал:

— Не «тыкай»! Мы с тобой на брудершафт не пили.

— А я думал, пили — только я запамятовал, — громко усмехнулся Роман. — Ты первый «тыкать» стал...

Депутат Васильев прервал их:

— Давайте кажите дела, кличьте своих конторщиков, казначея... Канителиться нам некогда. — Он вопросительно взглянул на Охлопкова: — А это что за гражданин?

Ответить Зборовский не успел.

— Управляющий горным округом, господин Охлоп-

ков, — заговорил Роман с едкой насмешкой в голосе и во взгляде, — бывший гроза и ужас!

По дрожанию подбородка, по сузившимся зрачкам Зборовский понял, что тесть сейчас устроит скандал. Повелительно взглянул на него.

— Вы хотели идти домой, Георгий Иванович!

Ни с кем не прощаясь, Охлопков вышел...

Разгромив свой кабинет, он свалился на диван и заснул тяжелым сном, — хрипел, вздрагивал, завывал сквозь сжатые зубы.

Перед вечером проснулся, но продолжал лежать, тупо оглядывая перевернутую мебель, чернильные потеки на стене, осколки на ковре. В окно видно было косматое багровое небо, — это походило больше на пожар, чем на закат.

Он лежал, ни о чем не думая и только чувствуя раздражение от того, что в коридоре слышались тихие шаги и вздохи.

Наконец сказал хрипло:

— Ну, войди!

Жена как-то неловко, точно крадучись, вошла. Она не смела заметить страшный беспорядок, не смела и спросить, что случилось.

— Обедать, Гоша?

— «Обе-е-дать!» Дура... ужинать пора.

— Ужинать, — повторила она покорно. — Встанешь или сюда принести?

— Нет... Ка-а-кая ослица! Уродится же!.. Что я — расслабленный, паралитик?

Это значило, что он выйдет в столовую. Жена сказала, уходя:

— Все готово, велю суп подавать.

Охлопков выпил стакан водки, но это не приободрило его. Опухший, молчаливый, он сидел за неубранным столом.

Немного оживился, услыхав голоса дочери и зятя, позвал зятя в столовую.

— Ну, рассказывай!

Зборовский выпил рюмочку, закусил, поморщился:

— Полномочия им даны большие. Поступит заказ — они будут проверять, как он выполняется, как идет от-

грузка, как расходуются средства... Принялись ретиво. Взяли на учет запасы сырья, топлива... в склады лазили... Сунулись в делопроизводство... Ну, думаю, поплывут! Как бы не так! Разбираются... У этого Яркова незаурядный практический ум... Яркая личность!

— Петр, назло, что ли, ты мне!..

— Не назло... Мне кажется, вы его недооцениваете...

— Напрасно кажется... Я его так ценю, так ценю,— почти с пеной у рта заговорил Охлопков,— он мне во сне снится, каналья! В печенку въелся. Не успокоюсь, пока его не сживу! И ты мне поможешь!

Зборовский свысока взглянул на тестя.

— В заговорщики я не гожусь, Георгий Иванович! Поймите вы! Не в одном Яркове дело! Сживете с завода Яркова — десять найдется таких же...

— Не с завода, со света,— прохрипел тесть.

III

Три раза в неделю, после первой смены, Роман Ярков, не заходя домой, отправлялся с боевой дружиной на учение.

«Заводская милиция», «боевые отряды», «боевые дружины» начали возникать с первых чисел марта. Они охраняли заводы и общественные здания. Вооружались кто чем мог. Было оружие, отобранное у полицейских и жандармов, было «своеручное» — своедельное, изготовленное в ночную смену на заводе.

Из этих рабочих дружин выросли позднее отряды Красной гвардии.

После июльских событий по постановлению партийной областной организации началось военное обучение боевых дружин.

Отряды росли... Военному делу их обучали рабочие-фронтовики и те, кто в революцию пятого года состоял в боевых дружинах. Больным вопросом оставался лишь вопрос вооружения.

Несмотря на свою «пробойность», Роман, сколько ни бился, полностью вооружить свой отряд не мог.

...Двести человек, четко отбивая шаг, шли шеренгами по улицам, неся на плечах винтовки, а то деревянные

модели винтовок. Винтовок было мало. При стрельбе в мишень они переходили из рук в руки. При изучении приемов обходились моделями. За колонной лошадь везла на телеге мишени, «чучела», лопаты — словом, всё необходимое для учения.

Уходили далеко за город, на урочище Кучковку. Здесь был достаточно широкий для строевого учения луг. Овраги, река, крутая каменистая гора создавали «условия пересеченной местности».

Шли с песнями, в ногу... Роман время от времени садился на телегу — его еще мучила одышка. Подмечая, у кого нетвердый, невыработанный шаг, он кричал громко, весело:

— Левой! Левой! Тверже! Топай! Красна гвардия идет!

Командир он был веселый, но строгий — спуска не давал.

Объявив перекур, он собирал членов дружины в кружок и превращался в пропагандиста.

— Ну, хорошо, Корнилов — контра, это я знаю... А вот чего он добивается? — спрашивали его.

— Он хочет революцию задавить, военную власть утвердить... Чтобы генералы страной управляли.

— Так он буржуев к ногтю?

— Нет, Миша, к ногтю он не прижмет! Одной свиньи мясо... Буржуи — и русские и заграничные — его деньгами снабжают.

— А Дутов, он кто такой, откудова взялся?

— Казачий атаман. Временное правительство его в Оренбург послало, уполномоченным по продовольствию... но это, видать, была только маска. Он отряды формирует из казаков, Корнилову помогает.

— Ах, стервы-казаки. Против трудового народа пошли.

— Казаки-то бывают разные... Кулацкие сынки идут к Дутову, вот кто! Вам ясно, товарищи, что, поскольку контрреволюция зашевелилась, нам надо дать ей по зубам. Нашей рабочей дружине, может, скоро придется против дутовцев идти... Не должны мы подкачать, товарищи! Знать должны военную науку...

Домой Роман являлся поздно и каждый раз узнавал, что за ним приходили с завода, а то из Совета был посыльный, то в партийный комитет требовали.

— Заплюхался, не успеваю, — досадовал он. — Чисто девушка-семиделушка!

Анфиса сочувственно кивала... Чем могла, она поддерживала мужа: выполняла поручения, старалась накормить его поплотнее и, главное, скрывала от него злую тоску о Манюшке. Отводила душу только со свекровью. Останутся вдвоем — наплачутся вволю.

— Сказать бы мне: «Куплю тебе кыску, достану!» — а я ее пообидела напоследок. Она захинькала тихонько и ко мне же головушкой припала...

Это воспоминание сводило Анфису с ума.

После смерти дочери, после своего ареста Анфиса сильно переменилась.

Строгие черты стали еще резче, лицо выражало бесстрашие... Она с ненавистью глядела на нарядных «господ», говорила сквозь зубы: «Только бы дожить, когда их под корень изведут!»

Потускнела ее слава обиходницы — она перестала заботиться об уюте. Было бы чисто, а теперь не до красоты в доме!

Прямо, резко выражала она свое отношение к людям. Соседи Ерохины совсем не заглядывали к Ярковым: мать Степки, завидев Анфису, уходила с завалинки. Степка, выслужившись на фронте в прапорщики, даже не кланялся соседке.

Анфиса читала газеты, ходила на все собрания, куда было можно. С пылом рассказывала неграмотным женщинам, что за мразь такая Милюковы и Гучковы, почему товарищу Ленину пришлось уйти в подполье, как вошел в силу Керенский, кто его подсадил на коня... Роман не раз говорил, что ей надо вступить в партию. Анфису удерживало только одно: «Вступлю — панихиду на могилке отслужить будет нельзя!»

— Да ты разве все еще в бога веришь?

— Кто его знает, Ромаша... Но без панихидки-то как? Мне совесть не позволит... Бросили ее в яму — и все!

— Милка моя! Да бога-то ведь нету!

— Ну и пусть.

— Панихида-то ни к чему, только попу доход.

— Пусть ни к чему... А не могу я, чтобы Манюшка заброшенная лежала. Да и мамонька этого не позволит!

Как-то в августе Ярковы пришли на выборы волост-

ной управы. Перед этим большевики развернули агитацию, но все же опасались, как бы в управу не прошли эсеры. В то время даже среди рабочих находились еще люди, которым эсеры были по душе. А уж о подрядчиках, коновозчиках, подсобных рабочих, о мелкой буржуазии, которой немало было в поселке, и говорить нечего: готовы черта выдвинуть, только бы не большевика!

Большевистская организация наметила своих кандидатов, эсеровская — своих... На собрание эсеры пришли группой, окружили Семена Семеновича Котельникова.

Да, Котельников стал эсером... а утвердившаяся за ним слава народного «ходатая» сделала его лицом популярным. Сбивчивые, страстные речи, вид изголодавшегося неопрятного фанатика — все это действовало на непроницательных людей.

Котельников оказался на виду. Стал членом Совета.

Давно добирался до него Роман, давно ему хотелось сразиться с Котельниковым, сразиться не один на один, а на большом собрании.

Он подтолкнул локтем жену:

— Наподдаю ему сегодня! Започесывается!

А Котельников, как нарочно, сам сделал неловкий ход. Он попросил слово и, захлебываясь, с воодушевлением заявил:

— Товарищи! Мы выбираем волостную управу... учреждение, которое будет, я надеюсь, послушно воле нашего народного правительства. Я предлагаю, дорогие товарищи: примем присягу Временному правительству! Заявим о своей сыновней преданности!

От удивления все рты разинули. Потом разом загомонили. Послышались выкрики:

— Долой Временное правительство!

— Не присягу, а метлой их!

— Тише, тише! — кричали эсеры.

К столу вышел Роман. Лицо его пылало.

— Товарищи! Большинство нашего собрания возмущено этим предложением. Правильно! И надо возмущаться!.. Но дивиться? Дивиться нечему: предложение о присяге внес Котельников... А кто такой Семен Котельников? Многие считают его другом трудового народа. Так ли это? Давайте копнем поглубже, увидим... Вы ведь эсер, гражданин Котельников?

— Эсер, — откликнулся тот, привстав и тряся петушиным гребешком седеющих волос, — эсер и горжусь этим!

— Товарищи, — продолжал Роман, загораясь, — не мудрено, что эсер предлагает присягать своему эсеровскому правительству. Это правительство ему глянется, оно ему подходит... по Сеньке и шапка!

Каламбур заставил всех расхохотаться, но Роман поднял руку, и смех прекратился.

Он с возмущением перечислил преступные деяния правительства, рассказал о предательстве меньшевиков и эсеров. Перешел к местным фактам.

— На собрании железнодорожников гражданин Котельников призывал строить «беспартийный профсоюз», хотел, чтобы этот профсоюз оказался под влиянием буржуазии.

— Под нашим! — выкрикнул Котельников.

— Под вашим? А вы — лакеи буржуазии!

— Нет! Не лакеи!

— Разберемся! Когда Перевальский Совет в мае заявил о недоверии Временному правительству, кто улюлюкал, бешеную агитацию разводил, демонстрации устраивал... добился перевыборов? Кто? Меньшевики, эсеры! Что они добились? Затормозили на время революционную работу в угоду своим хозяевам-буржуям! Так, Семен Семеныч? Как же не лакеи? А не нравится лакеи — скажу попросту: холуи! — Эсеры шумели все сильнее, и Роман повысил голос: — А что делали эсеры, тот же Котельников в гарнизоне? Охмуряли, отуманивали солдат! Хотели их опорой контрреволюции сделать... Не вышло!.. А на электростанции? Кто агитировал против Красной гвардии?

— И снова повторяю, — вынырнул из толпы Котельников, — не надо битв! Не надо крови, товарищи!

— Чьей крови не надо? — закричал что есть силы Роман. — Рабочую кровь льют, вы не жалеете? Что в июле было? Что? Вам кровь буржуев жалко! Вот что!

Эсеры вскочили с мест.

— Лишить его слова! — кричали они и, работая локтями, стали пробираться к Роману. Он стоял с поднятой головой, с румянцем гнева, с вызовом в глазах. Начался шум.

Рабочие поднялись, заслонили Романа.

Котельников надсадно завопил:

— Товарищи! Покинем собрание!

С шумом и руганью эсеры вышли.

— Хорошо прохладиться после такой бани,— говорил Роман Анфисе, шагая по темной улице. Августовская ночь уже спустилась. Падали звезды — чертили золотые линии по черному небу. Из палисадников пахло цветами, из огородов — травой.— Что, милка, приумолкла?

Обнял ее и сказал задушевно:

— Похудела-то как! Все ребрышки обозначились!.. Но ничего! Были бы кости, мясо нарастет. Выдюжим.

— Я про тятю вспомнила, когда Семен Семеныч выступал... про Ключи,— тихо сказала Анфиса,— он, Ромаша, верно, за народ всегда стоял. Я думаю и придумать не могу, почему он к буржуям спятился. Мне его почему-то жалко.

— Ну вот, «жалко»! — с сердцем сказал Роман.— Станет жалко, ты подумай: лили рабочую кровь — он не жалел... Сволочь он!

Анфиса не возразила. Несколько шагов они прошли молча. И вдруг из мрака возникла длинная тень — поднялась со скамеечки у ворот, шагнула к Роману. Тот сунул руку в карман, нащупал револьвер, остановился.

— Не сволочь я! — надорванным голосом сказал Котельников.— Нарочно ждал вас, товарищ Ярков.

— Ну? В чем дело?

— Хочу, чтобы вы поняли меня.

— Я понял.

— Да нет! Вы считаете — искренне считаете! — что я против народа. Не так это! Я не против народа, я против крайностей! За гражданский мир!

— Некогда мне трепаться с вами, агитировать вас,— жестко ответил Роман.— Сами могли бы разобраться, грамота у вас большая. А что касается собраний... на собраниях буду разоблачать и в дальнейшем, чтобы народу глаза открыть. Пошли, Фиса.

— Подождите!.. Я слышал, Фиса, твои слова и благодарен тебе... Завтра поеду в Ключи... Что передать отцу?

— Тяте поклон... маме...— сдержанно сказала Анфиса и, почуяв, что муж недоволен, добавила: — А мои

слова... Мне не вас жалко, Семен Семенович, а жалко вчуже, что вы меж трех сосен плутаете.

Она взяла мужа за руку. Они пошли, размахивая сплетенными руками, как ходили в первое время после свадьбы.

Обогнув угол заводской стены, Ярковы, чтобы сократить дорогу, решили пересечь дровяную площадь. Она лежала в выемке. Здесь были склады нефти, керосина, стояли штабеля дров для пудлинговых печей, хранился торф, уголь. По ночам дежурил старик сторож. Красногвардейцы делали обход несколько раз в ночь. Курить было строго запрещено.

Проходя по борту выемки, Роман заметил, как во мраке площади, где смутно белели только длинные поленницы, ярко вспыхнул огонек.

Он подумал, что кто-нибудь из охраны не вытерпел, закурил... Но тут же в голову ему ударила мысль о поджоге. Не сказав ни слова, он спрыгнул вниз и с револьвером в руке побежал между штабелями торфа, скорее угадывая, чем видя темные и смутные очертания человеческой фигуры. Руки поджигателя, должно быть, дрожали — слышно было, как мелко постукивают спички в коробке. Что-то неясно белело у штабеля — свиток ли бумаги, береста ли.

— Стой! — закричал Роман.— Руки вверх!

Поджигатель бросил спички, прыгнул за штабель. Роман выстрелил. К нему уже бежали красногвардейцы, а дед-караульщик, одурев, лупил в чугунную доску.

Началась погоня по темным «коридорам» между штабелями... поиски под навесами, крики: «Вот он, вот!» — и снова поиски... Наконец увидели: ловко, как обезьяна, злодей карабкается по стене разреза. Роман еще раз выстрелил. Поджигатель вскрикнул от боли, но продолжал лезть. Так бы он и ушел, если бы не задержали его рабочие, которые шли в ночную смену.

Поджигателя поволокли к заводу. В свете заводского фонаря с него сорвали шарф, скрывающий лицо. Перед ними был Степка Ерохин.

— Кто тебя купил, гад? — тряс его за плечи Роман. Степка кряхтел, молчал.

— Вот пырну штыком — заговоришь,— пригрозил Володя Даурцев. Глаза у него округлились, он готов был ударить... Роман удержал его.

— Смотри, анархию брось!

— Да, дядя Роман!..

— Ничего не «дядя»! Ты боец Красной гвардии... следи за собой!

— Расстрелять его, гада!

Роман вызвал милицию. Пошли на дровяную площадь, чтобы составить акт о попытке к поджогу. Но сколько Роман и Володька с товарищами не искали, нигде они не нашли ни брошенного коробка со спичками, ни свитка бересты. Ясно было, что пока ловили и вели Степку, кто-то уничтожил все следы.

На допросе Степка показал, что он и не думал поджигать, а только закурить хотел. В кармане у него нашли спички, папиросы. Никакую он коробку не бросал, бумаги или бересты не видал. Роман Ярков по злобе показывает на него... А убегал он — боялся, что Роман с товарищами, пьяные, изобьют его. Зачем на площади был? Да солдатку Дарешку поджидал, пусть ее спросят, так или не так. Спросили солдатку. Она подтвердила. И Степка отделался несколькими днями ареста.

IV

После Февральской революции крестьяне Западного и Южного Урала стали захватывать земли помещиков и кулаков-хуторян. На Среднем Урале бедняки боролись главным образом за леса и покосные земли.

Ключевские крестьяне весной захватили лес, а в конце лета — лога, где прежде были их покосы, отнятые заводоуправлением.

Оттягав эти лога в тысяча девятьсот двенадцатом году, владельцы провели изыскания и начали строить прииск, набирать рабочих.

Окрестные жители, знакомые с рудничной и приисковой работой, шли на новый прииск неохотно. Все знали, каково живется приисковому рабочему,— слава богу, нагляделись и сами натерпелись!

Россыпи здесь залегают на глубине от трех до восьми сажен. Шахты сырые, сверху каплет. Вылезет мокрый забойщик в зимнюю пору — обледенеет, пока до казармы добежит.

Жить в казарме без привычки не всякий согласится.

Казарма строена из тонких бревен, проконопачена

плохо. С пола холодит, от стен дует, а потолка нет, и крыша чуть дерном покрыта.

Такую же казарму построили владельцы на новом прииске Часовом. Срубили дом для смотрителя и служащих. Отрыли пласты, начали вскрышные работы. До половины выстроили здание промывочной фабрики... да на том и остановились.

Началась война, мобилизация. Рабочих стало находить труднее. А тут умер старый владелец, наследники перессорились, начали выгонять из заводоуправления старых работников, ставить новых... и прииск Часовой заглох, запустел. Узнав, что ключевские крестьяне захватили лога, выехал к ним новый управитель завода. Крестьяне разговаривать с ним не стали.

— Не о чем судить! Наша земля! Дедовская! Теперь слобода и — катись отсюдова колесом, пока цел!

Управитель обратился к уездному комиссару Временного правительства.

Комиссар решил послать в Ключи Котельникова.

— Вас они уважают, верят вам. Убедите их, что нельзя самочинно захватывать землю... Надо отдать ее владельцам! Пусть ждут Учредительного собрания. На всякий случай я распорядился: по вашему вызову немедленно будет выслана воинская команда.

Котельников самонадеянно сказал:

— Не потребуется!

Увлекшись своей «политической деятельностью», Котельников давно не заглядывал в Ключи. По дороге с полустанка он с наслаждением принюхивался к лесным запахам, любовался предосенней пестротой перелесков.

Семен Семенович ехал в превосходном настроении. Он чувствовал свою значимость, свой вес, предвкушал радостную встречу с односельчанами, с родными. Он давно не видался с матерью. Старушка не заглядывала к сыну в город с той поры, как поняла его отношения с квартирной хозяйкой. Разбил он лучшую ее мечту о доброй невестке, о внучатах.

«Какая уж теперь сноха, какие внучата,— тихо пеняла старушка,— забрала тебя в руки старая модница!»

Подремав под звон бубенчиков, Котельников разговорился с возницей.

Узнал, что ключевские мужики сколотили артель, работают на прииске артельно. Главари у них — солдат

Чирухин да Ефрем Самоуков. Сами получают немного, все почти сдают государству, Советам. Мечтают, что им разрешат драгу построить, промывочную фабрику достроить. Почти все туда переселились, торопятся больше успеть сделать до зимы.

— Что и делают! Эвон как пластают!

Увидев Большую сосну, Семен Семенович приказал вознице свернуть на лога. Ему захотелось прежде посмотреть на прииск, а уж потом собирать сходку.

Он ехал по лесной дороге, пестрой от солнечных бликов, и вспоминал, как в двенадцатом году скакал верхом по этой дороге... задыхался, рыдал оттого, что лога незаконно отошли к заводу. Теперь ему приятно было вспомнить о своем «бескорыстном служении народу».

Лес кончился. Блеснула Часовая. Завиднелась вдали знакомая дымчатая гряда гор... Но место, где когда-то травы росли по пояс и до самой страды стояла зеленая тишь и глушь, нельзя было узнать.

Широкой длинной рыжей полосой тянулся разрез, в котором копошились мужики и парни — копали пески, нагружали одноколесные тачки и палубки, стоящие на дорогах. Сильные, рослые ключевские девицы погоняли лошадей и возили вручную тачки.

Вода из Часовой по желобам текла на машерты — самодельные вашгерды старателей. Женщины ровняли песок, баламутили воду.

По всему логу трава была исхожена, вытоптана, выжжена кострами. Темнели отверстия пробных ям и заброшенных шурфов, глинистые края которых поросли высоким малиновым кипреем.

На пригорке стояла контора, а против нее, на другом скате,— казарма. Стены этих зданий не успели потемнеть. Кое-где по склону лепились шалаши — балаганы.

Котельников невольно залюбовался широкой картиной артельного труда. Народ работал весело, согласованно... Но вдруг Семен Семенович вспомнил, зачем его послали. Нехорошо стало у него на душе. Он подумал, что лучше, пожалуй, уехать, пока его не заметили, но было поздно. Его увидели, узнали. Побросали лопаты, тачки, пехла [1], устремился к нему народ.

[1] Пехло — клюка, мешалка.

— Семен Семенович! С приездом!
— Милости просим!
— Наша взяла, Семен Семенович!
— Отняли мы лога-то! — спешили порадовать мужики своего верного ходатая и печальника.

Они ждали: обрадуется, расплывется в улыбке, начнет трясти, пожимать руки, хлопать по плечам: «Так, так, друзья мои! Чудесно! Великолепно!» А он стоял с похоронным видом, молчал.

Самоуков спросил:

— Или не с доброй вестью, Семен Семенович?

— Не с доброй...— тихо ответил Котельников.

Толпа сдвинулась теснее.

— Должен вам напомнить, друзья мои, товарищи, что я крепко-накрепко связан с вами,— начал Котельников.— Болею вашей болью, живу вашими интересами.

— Знаем! — растроганно прогудел Самоуков и помотал кудрявой головой от избытка чувств.

— Спасибо тебе!.. Помним твое добро! — заговорили мужики.

— И в партию я пошел в вашу, в крестьянскую! — продолжал Котельников.

— Это в какую, в крестьянскую? — настороженно спросил Чирухин.

— В эсеровскую, друзья мои! Эта партия народная, крестьянская.

— Кулацкая! — вставил Чирухин и, сузив глаза, насмешливо и разочарованно присвистнул.

Все неуловимо переменилось. От молчаливо глядевшей на него толпы будто холодом потянуло. Неприветно, одиноко почувствовал себя Семен Семенович.

— Верно, что не с добром прикатил,— сказал Самоуков.— Эх, Семен Семенович!

— Я вижу, друзья мои, что вам наврали на эсеровскую партию. Мало ли ходит сплетен? Не солнышко, всех не обогреешь! А вы не верьте! Смутьяны на нас клевещут, большевики!

— Эй, полегче на поворотах!

Это сказал Чирухин. Сказал властно, громко, как отрубил.

— Да что его слушать? — с ленивым пренебрежением молвил рослый парень в выцветшей гимнастерке.— Пошли робить, мужики!

Артель сразу потеряла интерес к Котельникову, начала расходиться.

— Друзья! — завопил Семен Семенович, устремившись за ними.— Выслушайте меня! Я совет вам дам... предупредить хочу!.. Вам опасность угрожает.

Мужики остановились.

— Друзья! Вы сделали недостойный и вредный поступок... самочинно захватили землю... Постойте! Не перебивайте! Знаю, знаю ваши права, ваши мучения, все знаю, все помню... Но... подождать надо! При царе не бунтовали, а при своем народном правительстве бунтуете...Верните землю, разойдитесь по домам, ждите... Клянусь: из рук Учредительного собрания вы получите землю.

— Сами не возьмем — шиш получим,— прогудел Самоуков, выбуривая исподлобья на своего бывшего друга.— Чем сказки рассказывать, ты лучше нам скажи: чем тебя улестили, Семен Семенович, что ты за лжу против правды пошел?

— Странный ты человек, Самоуков,— нервно сказал Котельников, начиная сердиться.— Не хотите слушать моего совета. Что же. Раскаетесь!

— Не стращай, мы не пужливые.

— Я не пугаю, Самоуков. Но ведь, если вы не вернете землю добром, приедет воинская команда, разгонят вас... разошлют по разным местам... а кое-кого и в тюрьму посадят.

— Сиживал, не боюсь.

— Будет, товарищи, что с ним...— сказал Чирухин,— пошли, что ли, работать.

На этот раз все разошлись по местам: кто в разрез, кто к тачке, кто к вашгерду. Котельников остался один.

Хмуро, коротко отвечая на расспросы родителей, Котельников напился чаю и пошел к священнику Албычеву. Он знал, что из кыртамской ссылки отец Петр приехал больным, врачи признали у него чахотку. Но он не ожидал встретить такого изможденного — кожа да кости — человека. Его поразило, что ходячий скелет этот шутит, горячится, интересуется политическими событиями, будто забыл о близкой смерти.

Попадья исстрадалась, «вся избеспокоилась» о муже,

о дочери, которая уехала уже в Перевал, так как учебный год начался.

— В городе тихо? Вы не обманываете, Семен Семенович? Девушке не опасно жить там?

— Что вы, матушка! В городе полный порядок.

— А мне уж всякие мысли в голову лезут...

— Повидал бы я Илью Михайловича,— сказал отец Петр, наливая в чай кагора,— честный мужик... и видит далеко. Когда мы с ним в Питер ездили...

— Что вы, отец Петр! — ужаснулся Котельников.— Он, да Чекарев, да еще Роман Ярков — Самоукова зять... да еще «товарищ Рысьев» — Мироносицкий... они... нет, я даже говорить спокойно не могу!

Отец Петр насмешливо заострил глаза:

— Какую они вам дорожку пересекли?

— Не мне! Не мне, батюшка! Народу!.. Большевистская, я прямо скажу, зараза сбивает народ с толку. Мы идем к катастрофе! Теперь они свою рабочую гвардию сколачивают... а для чего? На фронт не идут, родину защищать не хотят, революцию не хотят защищать... Для чего им гвардия? Для разбоя в государственном масштабе, вот для чего! Вырезать им хочется всю буржуазию, всю интеллигенцию, все разрушить, исковеркать!

Заметив ужас в глазах попадьи, отец Петр ласково положил руку ей на плечо:

— Не трясись ты, мать, не трясись!.. Совсем ты у меня дергунчиком стала. Чего ты боишься?

— Вон что Семен Семенович рассказывает... У меня ведь дочь!

— Не умирай раньше смерти. Семен Семенович через край хватил. Я читал большевистскую программу, и совсем они анархию не признают!

— Отец Петр! Вас ли я слышу?!

— У меня с большевиками расхождение только из-за религии, а учение у них справедливое.

— Учение?! Да это же приманка одна... Приманка для бедноты. И вы своим светлым умом... Вас ли я слышу, отец Петр?!

— Батышко!..— попадья взглядом договорила: «Не болтай так при чужом человеке!»

Она позвала кухарку, велела подогреть самовар, зажгла висячую лампу-молнию. При свете стало уютно. За стеклом шкафа привычно блестели ободки фарфоро-

вых чашек. Между расходящимися книзу половинками штор в окно заглядывала рябина. Фикус с темно-зелеными, будто навощенными, листьями распростер свои ветки. Весело пестрели домотканые половики. Важно качался маятник...

Здоровенная молодая кухарка внесла самовар.

— Еще стаканчик, Семен Семенович! — предложила попадья.

Но Котельников даже не взглянул на нее. Он нетерпеливо ерзал на месте.

— Вот вы говорите о справедливости, отец Петр... А у вас под носом большевики мутят, сбивают с толку... Вы, как пастырь, должны были бы внушить крестьянам, что не имеют они права брать чужое!

— Постойте,— с недоумением взглянул на гостя священник,— давно ли вы из кожи лезли, доказывали, что земля эта — крестьянская? Они взяли свое.

— Но самовольно! Самовольно!.. Хорошо, пока оставим это... А где ваша земля, отец Петр?

— А у меня ее и не было.

— Вы отлично понимаете... Где церковная земля, я спрашиваю? В тех же руках, что и лога.

— А скажите, почтеннейший Семен Семенович,— начал с прежним своим задором отец Петр,— зачем земля...— он кашлянул, скороговоркой докончил: — служителям церкви? — и неудержимо закашлялся.

Жена поднесла ему стакан воды, он отмахнулся. Наконец приступ кончился. Отец Петр откинулся на спинку дивана, протер очки и дрожащими от слабости пальцами набил трубку. Струи и клубы дыма замутили чистый воздух комнаты. Отец Петр жадно затянулся.

— Попробуйте, Семен Семенович, беспристрастно взглянуть... со стороны... Это полезно... Знаете, за что меня в Кыртамке гноили?

— На епархиальном съезде вы что-то сказали?

— Сказал, что в Семеновском монастыре попойки бывают, когда Распутин туда приезжает... о пьянстве архиерейского клира говорил, о взятках...

— Петенька! Не вспоминай! — молила попадья.

Он не слушал.

— Сослали на покаяние! А в чем, интересно, я должен был каяться? В правдолюбии своем должен я был каяться? И стал я думать. Всю жизнь свою обдумал...

о государственных делах, о религии размышлял. И к печальному я выводу пришел, Семен Семенович! Всегда считал, что живу честно, безупречно... гордился... А напрасно! Тут, видите ли, мне стало ясно: если я действительно служитель Христа, а не своего пуза, я должен был жить не так, а как древние христиане — посвятить себя всего служению сирым и убогим... А если... Ну, словом, советую вам подумать, отвлечься от партийных драк, от мысли о своем благополучии, коли хотите служить народу... с точки зрения народа и думайте!

— И у народа разные устремления, отец Петр! Один хочет так, а другой — этак! Пресловутая артель, например, захватила землю, а другие ключевляне к этому не причастны.

— А вы таких, как Катовы-Кондратовы, к народу не относите!

— Но послушайте, однако! Нельзя же обезземелить посессионные заводы! Если отобрать, национализировать заводы, и леса, и землю, надо и монастыри разогнать и попов по шапке!..

— Попов давно пора по шапке и тунеядцев-монахов — вон! В одном я не согласен — религию не надо трогать... Трудно человеку без бога...

«От слабости, от болезни он сам не знает, что мелет,— думал Котельников, выйдя из поповского дома.— Схожу-ка я лучше к Кондратову, посоветуюсь. Кондратов — мужик тактичный... министр!»

По совету Кондратова Котельников еще раз поговорил с мужиками на сходе, и в протоколе были записаны их резкие слова против правительства.

Возвратить прииск мужики отказались.

Возвращаться в город ни с чем Котельникову не хотелось. С тем же азартом, с каким он выступал во время тяжбы крестьян с заводоуправлением, он стал действовать сейчас против крестьян. Написал уездному комиссару. Прибыла воинская команда.

Снова собрали в волостной управе сход. Снова отказалась артель возвратить прииск. После схода, подстрекаемый Кондратовым, Котельников потребовал арестовать Самоукова, Чирухина и других «вожаков».

Солдаты не выполнили этого приказа.

V

Октябрьская ночь. Дождит непрерывно. Фонарные столбы, как большеголовые призраки, вырастают перед пешеходом. Жилые дома темны. Из окон учреждений сочится слабый свет, лампы горят вполнакала. На дворе холод. В домах — промозглая сырость. Обыватель ранним вечером забирается в постель с головой под одеяло.

А в доме Лесневского освещены все окна. Только что закончился окружной съезд Советов, который решил «мобилизовать трудящихся Урала на захват власти».

Чекарев, вчитываясь в резолюцию, которая так и дышит революционным жаром, думает, что такое настроение не только у делегатов Перевальского округа, такое настроение у большинства рабочих и солдат... только в Мохове и Лысогорске еще сильны меньшевики и эсеры.

Сергей Иванович Чекарев возглавляет областной комитет партии,— к нему стекаются сведения со всех концов Урала.

Шестой партийный съезд, участником которого он был, призвал к вооруженному восстанию. Существует план восстания в Петрограде и Москве. И Урал к борьбе готов...

Советы стали большой силой. Ими руководят большевики. Реквизируются предприятия, вводится рабочий контроль.

Красная гвардия растет, обучается военному делу. Окрепли профсоюзные организации. Солдаты гонят эсеров из своих казарм, поддерживают большевиков. В деревнях вырастают большевистские ячейки. Узнав, что на областной партийной конференции решено «добиваться передачи государству и уральскому областному самоуправлению недр и лесов», беднота пошла за большевиками.

Но буржуазия не думает сдавать позиции без боя.

Уральское бюро совета съездов горнопромышленников, контрреволюционная часть инженеров пакостят как могут,— оставляют заводы без денег, без топлива, объявляют локауты. Будь у них за спиной надежные войсковые части, еще не так бы они развернулись!

Глухо бродит городская буржуазия... деревенское кулачество... духовенство... мещане... Вероятно, зреют заговоры, на помощь черным силам призвана «костлявая

рука голода». Хотя меньшевики и эсеры начинают терять влияние в массах, все же эти предательские партии еще не разоружились и сторонников у них много.

В такое время как воздух необходимо партии железное единство... железная дисциплина! В тридцатитысячной армии уральских большевиков много людей необстрелянных, не участвовавших в подпольной борьбе. Есть и слабо подкованные, их надо учить, предостерегать от ошибок.

Чекарев вспомнил о Рысьеве и сердито нахмурился: есть и среди «подкованных» люди, которые часто ошибаются.

А ведь за Рысьевым идут! Он популярен в массах. Умеет оглушить звонкой фразой. Сверкает, как бенгальский огонь... Вот избрали председателем Совета... А за ним надо глаз да глаз! Отец... впрочем, с отцом он порвал давно и бесповоротно. Но вот жена... Волей-неволей он связан с ее буржуазной родней: Августа бывает у Охлопковых, у Зборовских, жена Охлопкова, жена Зборовского — частые гости у Рысьевых. Нехорошо!..

Чекарев вспомнил разговор о Рысьеве с Андреем, когда они ехали в составе уральской делегации на Всероссийскую апрельскую конференцию: «Он неустойчив, может быть, неискренен. Надо обратить на него серьезное внимание, разобраться в нем».

И мысли Чекарева невольно перекинулись на эту поездку в Петроград. Ехали, думали — Андрей вернется на Урал, строили планы, а он остался в Петрограде, стал секретарем Центрального Комитета.

В коридоре хлопнула дверь. По четким, молодцеватым шагам Чекарев узнал — идет к нему председатель штаба Красной гвардии Данило Хромцов, присланный Центральным Комитетом на Урал после шестого съезда. Чекарев просветлел. Красавец матрос работал весело, горячо, любил крепкую шутку и жаркую схватку.

Хромцов вошел в расстегнутой солдатской шинели (словно ему было жарко), в лихо сидящей бескозырке. Широкая грудь ходила ходуном. Бело-румяное лицо дышало живым, горячим счастьем:

— Победа, Чекарев! Победа!

— Ты... о чем?

— На ленту, читай, если умеешь! На железнодорожном телеграфе получена... Ура! Наша взяла!

На всех этажах, во всех комнатах, коридорах особняка уже началось радостное движение. Хлопали двери, слышались возгласы. Бежал по коридору Рыгьев, кричал резким голосом:

— Товарищ Светлаков! Баженов! Товарищ Куркина! В комитет!.. Да, да! Победа!..

Чекарев, стоя посреди комнаты, прочел:

«Военно-революционный комитет, созданный исключительно Петроградским Советом рабочих и солдатских депутатов, в настоящее время фактически стоит у власти. Зимний дворец взят. Министры арестованы».

Кровь ударила Чекареву в голову. Он не заметил, как окружили его товарищи, заглядывали через плечо. Кто-то сжимал его руку. Чье-то дыхание жгло щеку.

Громко, победно он начал читать вслух:

— «Военно-революционный комитет...»

Когда он кончил и поднял взгляд, его поразили глаза Ильи: немигающие, огромные, они жарко горели на худом лице... Чекарева резнуло по сердцу: «Сгорает!.. И отдохнуть некогда...» В эту минуту он впервые подумал, что Илья проживет недолго. Ему захотелось послать Илью на отдых, но он сказал:

— Придется тебе, Илья, набросать обращение! К утру надо выпустить... А с газетой что думаешь делать?

Илья редактировал большевистскую газету.

— В газете дадим эту телеграмму на первой полосе и, если удастся, первые отклики рабочих, митинги... Обращение сейчас напишу...

И он немедленно ушел в свою комнату, на дверях которой было написано: «Коллегия пропагандистов. Редакция газеты «Рабочий».

Дежурные ребята из Союза молодежи, вестовые красногвардейцы побежали по темным перевальским улицам звать членов обкома, горкома, исполнительного комитета на экстренное совещание...

В доме Лесневского есть зал с колоннами, с хорами, с двумя люстрами, похожими на церковные паникадила, с паркетными полами. В этом зале, под аркой, отделявшей уютный уголок, стоял стол, покрытый кумачом. Над ним, прибитое к колоннам, протянулось полотнище. Бе-

лыми буквами по красному фону написано: «Вся власть Советам». Вперемежку теснились табуреты, хрупкие позолоченные стулья, некрашеные скамьи.

Неярко горели электрические лампы — по одной в каждой люстре и третья переносная, на шнуре, под эмалированным абажуром, над столом. На стекла незавешанных, до половины выбеленных окон напирала ночная темень.

В этом зале, на хорах, бывало, до полного изнеможения дули в медные трубы музыканты. Давались шумные балы... концерты... интимные вечеринки с чтением декадентских стихов... А когда хозяйка с дочерьми уезжала на воды, грохотали здесь дикие холостяцкие попойки...

В этом зале перед взволнованными, стоящими, как в строю, людьми в рабочей одежде, в солдатских шинелях, Чекарев еще раз огласил телеграмму, и стекла зазвенели от громового «ура», от «Интернационала», который в суровом восторге пели могучие голоса.

На совещании решили:

Объявить Совет единственной властью. К утру выпустить официальное сообщение и обращение к народу. К утру же Красная гвардия под руководством Хромцова должна занять учреждения Временного правительства, железнодорожную станцию, телеграф, электростанцию. Рысьеву поручили немедленно послать сообщения всем Советам области, предложить взять власть в свои руки на местах. Обком информирует партийные организации в области. Горком организует митинги в ночных сменах и завтра в дневных по всем крупным предприятиям города. Завтра будет созвано расширенное заседание исполнительного комитета, где будет решен вопрос о работе в новых условиях.

Оставшись один, Чекарев с усилием подавил радостное возбуждение, которое тянуло его к людям, в массы — говорить, кричать, петь... Нельзя было упиться победой, нельзя забыться. Надо трезво обдумать положение.

Завтра — отправка на фронт солдат... Задержать!.. И хорошо бы ликвидировать винный склад: если реакция попытается поднять на погром — очень важно, чтобы не было водки... Эсеры, меньшевики — у них нос по ветру! — могут притвориться, «солидаризироваться»! Зорче глаз! Теперь борьба с горнопромышленниками начнется всерьез: кто кого!..

Растревоженные мысли метались, трудно было обуздать их. Хотелось думать не о мерах предосторожности, а о великом событии, которое увенчало многолетнюю самоотверженную борьбу!

Ирина нашла Илью в типографии, где он держал корректуру «Обращения» и первой, только что сверстанной полосы. Полоса шла под лозунгом «Вся власть Советам!». Под телеграммой, напечатанной жирным шрифтом, шли принятые по телефону сообщения о первых митингах и резолюции этих митингов. Информация о расширенном заседании исполнительного комитета, назначенном в городском театре, тоже помещена была на первой полосе.

Всегда сдержанная, Ирина горячо пожимала руки рабочим, радостно обняла мужа при всех.

— Бегу на спичечную, на митинг!.. На демонстрации увидимся?.. Ох, Илья!

И она убежала.

Закончив дела в типографии, Илья направился в коллегию пропагандистов.

Проходя по Кафедральной площади, он увидел огромную толпу солдат. На «трибуне» показался маленький, юркий человечек в темном пальто. Он закричал пронзительно:

— Ваш долг, товарищи, защищать революцию на фронте!

— А ну, слазь!

И, столкнув его, вытянулся во весь свой большущий рост Данило Хромцов. Соколиным взглядом обвел площадь. Снял бескозырку и, как флаг, выбросил вверх свежий номер газеты.

Все стихло.

— «Военно-революционный комитет,— читал Хромцов, отчеканивая каждое слово,— созданный исключительно Петроградским Советом рабочих и солдатских депутатов, в настоящее время фактически стоит у власти!...»

И, когда бурное «ура» прокатилось несколько раз по широкой площади, закричал каким-то неслыханным медным, трубным голосом:

— Братишки-и! Победа-а-а!

— Ура!.. Ура! Ура-а-а-а!
— Кончать войну!
— Ура-а-а-а!

Вставай, проклятьем заклейменный...—

начал Хромцов тем же металлическим, трубным голосом, и вся площадь подхватила:

Весь мир голодных и рабов!

В этот день впервые подморозило. Выкатилось большое солнце. Небо расчистилось, поголубело, стало высоким куполом...

Илья всем существом своим откликнулся на могучие слова:

И, если гром великий грянет
Над сворой псов и палачей,
Для нас все так же солнце станет
Сиять огнем своих лучей!

Сердце рвалось к подвигу, руки просили большой работы.

VI

«Оседлал-таки волну! — думал Рысьев. — Шишкой стал — председателем Совета, и именно в тот момент, когда партия взяла верх!.. Но... не возноситься! Будут еще сюрпризы!»

Один из таких сюрпризов уже ожидал его в виде расклеенных на афишной тумбе листовок.

Рысьеву бросился в глаза жирный заголовок: «Правда о событиях!» Под заголовком стояло: «Принято по телеграфу».

Он прочел, не веря глазам:

«Войска Керенского подавили восстание в Петрограде. Власть Временного правительства восстановлена. Большевики заперлись в Петропавловской крепости».

«Центр Москвы в руках правительственных войск. Вся демократия против большевистского переворота...»

Побелев от ярости, Рысьев сорвал плохо приклеенную листовку, крикнул резким, высоким голосом:

— Провокация!

И быстро побежал к Чекареву в партийный комитет.

Тот уже знал о «телеграммах» и успел проверить. Телеграммы эти, подписанные центральным комитетом почтово-телеграфного союза, действительно, поступили на здешний телеграф. Больше из Петрограда никаких сведений нет... Можно предполагать, что телеграммы эти — провокация... Надо немедленно поставить на телеграф своего комиссара. Рысьев ответил, что сейчас же соберет президиум.

Вбежав в помещение Совета, Рысьев увидел пожилого, обрюзгшего человека, в форме почтово-телеграфного чиновника. Движение, которым тот прижимал к груди подбородок, складки на щеках, кислое выражение глаз показались ему знакомыми. Присмотревшись, Рысьев узнал Фроськиного мужа, Петухова.

— Вы ко мне?

— Да.

— Ага! На ловца и зверь бежит! Что же вы, господа чиновники, начинаете бедокурить? — быстро и резко говорил Рысьев, проходя в свой кабинет вперед посетителя.— Садитесь!

Петухов не сел. Опершись сложенными руками на толстую трость, он внимательно поглядел на Рысьева и сказал:

— Общее собрание решило: мы объявляем нейтралитет!

— Как? — весело удивился Рысьев.

— Мы объявляем нейтралитет,— упрямо повторил Петухов.— В дальнейшем ваши распоряжения и всякие обращения передавать не будем.

— Ого!

— Да...

— По-смотрим! Есть еще дела ко мне? Нет? Тогда до приятного... Часа через два придется передавать телеграммы всем Советам Урала... позаботьтесь, чтобы линия была свободна!

Петухов ничего не ответил, пожал плечами и вышел из комнаты, гордо неся голову.

Данило Хромцов и депутат Совета Дружинин явились на телеграф в сопровождении взвода красногвардейцев.

Хромцов, грохоча сапогами и оставляя за собою грязные следы, прошел по коридору и без стука, по-хозяйски распахнул дверь кабинета.

— Телеграммы Совета отправлены? — спросил он начальника, показывая ему свой мандат. Начальник телеграфа не ответил. На одутловатом, бледном лице проступило выражение испуга и упрямства.

— Оглох? — грозно спросил Хромцов.

Начальник опять не ответил, только указал пальцем на стопку неотправленных телеграмм.

— Немедленно передать! Последнее предупреждение!.. И вот вам комиссар,— Хромцов указал на Дружинина. Тот ничего не сказал, но решительно пошевелил своими необыкновенно густыми бровями.

Начальник телеграфа ответил:

— Не будем подчиняться!

— Ка-ак?

По молодому лицу Хромцова словно судорога прошла. Кулаки сжались. Но он овладел собой и, подойдя к двери, кивнул кому-то. Вошли два красногвардейца — молодые заводские ребята. Хромцов сказал начальнику телеграфа:

— Вы арестованы!

Потом красногвардейцам:

— Взять его!

И, заметив невольное движение начальника:

— Обыскать!

В левом внутреннем кармане, куда хотел сунуть руку арестованный, лежал браунинг.

Упавшим голосом начальник сказал:

— Вы не имеете права арестовывать меня... Я подчинялся директивам...

— Чьим?

— Цека нашего союза...

— Надо голову на плечах иметь! Контрикам подчинялся, а законной власти не хочешь! Одевайся, пошли.

Хромцов приказал провести его в аппаратную. Там в это время митинговали чиновники, узнавшие о «вторжении» Красной гвардии и об аресте начальника.

Хромцов, будто не замечая враждебных взглядов, сказал, подняв руку:

— Товарищи! Совет узнал, что контрреволюционный Цека почтово-телефонного союза...

Его прервали насмешки и злобные выкрики. Он увидел, как Петухов рвет телеграфные ленты, сует в карман, а двое под шумок орудуют около аппаратов, отвинчивают какие-то мелкие детали.

— Ти-хо! — трубным, раскатистым голосом скомандовал Хромцов.

И все стихло.

Вошли красногвардейцы, стали обыскивать чиновников, выгружать из карманов ленты и детали аппаратов.

Хромцов сказал:

— Злостный саботаж налицо! Причина есть всех вас забрать и арестовать, но, может, есть среди вас люди, которые за Советскую власть?.. Подымите руки!

Ни одной руки не поднялось. Чей-то сдавленный голос сказал:

— Мы без вас обойдемся!.. Вы без нас попробуйте!

Обыск закончился. Чиновников, портивших аппараты, увели. Хромцов бешеным жестом указал остальным на дверь:

— Вон! Телеграф закрыт!

Он сам повернул рубильник, выключил ток. Помещение опечатали. У наружных дверей поставили караул.

При обсуждении вопроса о текущем моменте на объединенном заседании обкома и горкома голоса разделились.

Чекарев, Хромцов, Светлаков считали, что слухи о разгроме восстания — провокационная ложь и надо твердо вести свою линию: укреплять Советскую власть, решительно бороться с контрреволюцией, с саботажем.

Рысьев и его сторонники сомневались: возможно, Временное правительство победило... и, чтобы не загубить большевистские кадры Урала, надо подумать о временном отступлении.

— Вы что предлагаете? — сурово спросил Илья.— Говорите прямо, Рысьев! Оружие сложить?

— Было бы что складывать! А вы что предлагаете, Светлаков, на рожон переть с голыми руками?

— Красная гвардия встает на защиту завоеванного, весь рабочий класс! — сказал Хромцов, с угрозой глядя на Рысьева.— Ишь, какой паникер нашелся!

Рысьев ударил по столу крепким своим кулачком. Подпрыгивая от возбуждения на месте, стал доказывать:

— Кого выставите против войск Керенского? Солдат? После эсеровской работки неизвестно, куда они

штыки повернут! Красногвардейцев? Где оружие? Оружие где? С пистолетами их пошлете против пулеметов? Взорвать мосты хотите? А где взрывники? Динамит? Где, я спрашиваю?

— Не клевещи на солдат! — крикнул ему в ответ Хромцов. — Я их настроение знаю! Сто двадцать шестой полк, верно, заражен... Но мы его разоружим и...

— Так они и дались!

— Дадутся! — во всю силу легких крикнул Хромцов. — И взрывников, и динамит найдем на любом руднике!

— Эсеры бьют отбой,— надрывался Рысьев,— они уже решили не признавать диктатуры большевиков!

— А ты уж и в штаны наклал?

Чекарев сказал, грозно усмехаясь:

— Старуха с возу — кобыле легче! Не плачь, товарищ Рысьев, об эсерах! Не стоит!

В яростном, никогда не бывалом споре сторонники Рысьева требовали пойти на соглашение с эсерами. Сторонники Чекарева, Ильи и Хромцова на соглашение идти отказывались. Результаты голосования оказались тоже невиданными: половина на половину.

Вопрос оставили открытым до завтра, до возвращения из командировки остальных товарищей.

Ранним утром к Рысьеву, который заночевал в Совете, явились эсеры — Котельников и Любич.

— Пора нам объединиться, товарищ Рысьев,— начал Котельников охрипшим, слабым голосом.— Мы два дня заседали, обсуждали вопрос об органе власти... и, наконец, пришли к общему знаменателю... Позвольте вручить вам нашу резолюцию... Отнеситесь к ней без партийной нетерпимости! Верьте нашему искреннему желанию сотрудничать! Выхода-то ведь нет... Не объединимся, нас растопчут силы контрреволюции, сомнут...

В резолюции говорилось о том, что необходимо создать орган власти из представителей революционных партий и демократических организаций «без диктатуры какой-либо партии».

Угрюмо задумался Рысьев над этой резолюцией. Вчера он сам говорил о таком органе, а вот сейчас засомневался: может быть, не к чему сдавать позиции? Может, настоящей реальной опасности не существует?

21*

Может, не сегодня-завтра придут вести о торжестве пролетарской революции? «Но тогда опять по-своему повернем,— подумал он.— Сейчас надо выиграть время!.. Время!..»

— Учтите, почтово-телеграфные служащие поддерживают нас! Обещали подчиниться новому органу власти,— сказал Любич.

Рысьев заложил руки за спину, несколько раз пробежался из угла в угол. Потом сел за стол, вытащил список, отметил крыжами ряд фамилий, велел секретарю немедленно вызвать этих людей.

Он понимал, какую начал опасную игру без ведома партийной организации... Вызывал только тех, в ком был уверен.

Через два часа протокол о создании нового органа власти был подписан. И скоро вестовые Совета расклеивали объявления о создании революционного комитета, о том, что телеграф сегодня начнет работать, что арестованные Советом люди уже на свободе...

Улыбка Рысьева часто казалась дьявольской,— столько было в ней злого вызова, насмешки... Блеснет в глазах, пробежит, как молния, по лицу.

С такой улыбкой стоял Рысьев перед столом, за которым сидели председатель Чекарев и секретарь Светлаков. Собрались, чтобы обсудить проступок Рысьева.

Первым взял слово Данило Хромцов, но сказать связно он не мог... Обрушил зычную брань на Рысьева, на эсеров, на новый орган власти.

Ни эта брань, ни возгласы возмущения не испугали Рысьева. Низенький, бледный, с оскаленными мелкими зубами, он стоял — руки в карманах — и покачивался с пяток на носки, с носков на пятки.

— Шкурник! Трус! Предатель!— бушевал Хромцов, размахивая наганом.— Как смел? Как, гад, смел?

— Перестань орать — скажу!— был ответ.

— Тише, товарищ Хромцов! Тише, товарищи! К порядку!— сказал Чекарев.— Рысьев! Говорите!

— Товарищи, вы что, ослепли? Оглохли? Не слышите, подземная лава забурлила? Вы мне потом спасибо скажете: я парализовал такие силы, как эсеры, меньшевики, бундовцы...

— ...почтовые чиновники, кооператоры!

— ...и не только парализовал, они на нас работать будут!

— Как могли вы, Рысьев,— сурово, как судья, спросил Илья,— как вы смели действовать без ведома обкома, вопреки его воле?

— Без ведома... потому, что времени не было на продолжение вчерашних прений. Против воли? Вспомните, что здесь вчера было: мнения разошлись. И вы своей волей и волей Чекарева не подменяйте волю всей организации! Не выйдет!— с неожиданным взрывом сказал Рысьев, глядя в горящие глаза Ильи:— Можете меня судить... Я уверен: сделал полезное для революции дело — может быть, спас город и всех вас...

Говоря так, Рысьев в то же время прикидывал в уме: кто будет за него, кто — против.

Решили так: Рысьеву за нарушение партийной дисциплины дать строгий выговор с предупреждением.

Чтобы исправить ошибку Рысьева — ликвидировать ублюдочный ревком,— пошли члены комитета в рабочие коллективы, в казармы гарнизона, поставили вопрос на обсуждение. Трудящиеся всех районов, всех предприятий города, почти все солдаты заявили на митингах: «Признаем и будем защищать только власть Советов». Грозная вооруженная демонстрация — колонны красногвардейцев и солдат — устрашила новоявленный «ревком». Он сложил с себя «полномочия», рассыпался... Между тем закончилась забастовка почтово-телеграфных саботажников, в Перевал пришли центральные газеты, декреты правительства. Красная гвардия навела в городе порядок. Приехал по заданию ЦК Гордей Орлов.

Он так приветствовал Рысьева:

— Ну! Наломал дров? Отличился?

Как набедокуривший школьник, стоял перед ним Рысьев.

— Ты понимаешь, как тебе надо работать, чтобы товарищи поверили в тебя? Кровь из носу! Вот как...— И Орлов обратился к Чекареву:— Под особым наблюдением его надо держать... И напрасно вы его не исключили.

Рысьев и сам понимал, что работать надо вот как... и что его семейные связи вызывают подозрения.

Недрогнувшей рукой он подписал распоряжение — реквизировать лошадей для нужд Совета по такому-то списку... зная, что в этом списке первой стоит фамилия Охлопкова.

— Приходила тетя,— рассказывала ему вечером Августа,— вчера у них такой был ужас! У дяди хотели отнять лошадей... он пошел в конюшню и... выстрелил Золотому в ухо... Потом так рыдал... Ну, ты знаешь дядю, просто всех перепугал дома... Я обещала пожаловаться тебе.

Рысьев притянул жену, усадил на колени.

— Это я распорядился, Гутя.

— Ты?!

Она рванулась с его колен, но муж цепко держал ее.

— Для тебя, для Киры,— он кивнул на бело-розовую колыбельку,— я хочу стать большим человеком!

Удерживая ее одной рукой, он отрывал другой ее руки от лица, целовал в губы и короткими щекочущими поцелуями шею.

— Ты должна понять!

И постепенно он усыпил ее гнев, губами выпил слезы, требовательными ласками утомил тело. К утру Августа уже поняла, что Валерьян не может щадить ее дядю: дяде этим не поможешь, а себе и семье навредишь.

— Сиди-посиживай в своей башне из слоновой кости... мечтай... бебешку нашу лелей... А предупредить дядю об опасности я обещаю!

...У Охлопкова отняли револьвер, и он уплатил штраф за ношение оружия без разрешения.

Вскоре племянница предупредила, что есть решение — отобрать его дом в числе других богатых домов. Жена не спала всю ночь: думала — подожжет с четырех углов, и выскочить не успеешь. Охлопков не поджег. Потихоньку вывез из дома ценную мебель, книги, ящики с посудой и бельем, ковры. Все это он отдал на хранение надежным людям. А драгоценности и часть золотого запаса взяла Августа.

Охлопков переехал с женой в тот флигель Бариновой, где когда-то жили Чекаревы. Зборовский приглашал тестя к себе, но Охлопков угрюмо отказался:

— Не по пути нам, Петр Игнатьевич!

В доме Охлопкова устроили клуб, столовую и школу взрослых. Огромный сад с весны должен был открыться для народных гуляний.

Вскоре Совет обложил буржуев контрибуцией,— нужны были деньги на содержание школ, клубов, Красной гвардии и различных учреждений. Этот список, в котором стояла фамилия Охлопкова, подписал опять-таки Рысьев.

Ночами через сад и через двор (Баринова видела, да не видела!) приходили к Охлопковым люди в надвинутых на лоб шапках, с поднятыми воротниками.

Рысьев подозревал, кто вдохновляет бюро горнопромышленников на сопротивление Советской власти... подозревал, но помалкивал. Августа поклялась, что, если он подведет дядю под расстрел, она покончит с собой... а такая истеричка способна на все!

«Помимо меня раскроется,— говорил он себе,— не бог знает, какие конспираторы! Скоро провалятся!»

А перевальское бюро из кожи лезло, стараясь выполнить приказ Петроградского совета съездов: не признавать декрета о рабочем контроле, не подчиняться Советам. Промышленники закрывали один завод за другим, не давали средств, не платили заработную плату. Бюро призывало заводских служащих, техников, инженеров к саботажу. Им обещали выдавать жалованье и в случае остановки предприятия.

На областной конференции фабзавкомов рабочие с гневом и болью говорили о страшной разрухе.

— Ее создали капиталисты!— гремел Роман Ярков, председатель завкома Верхнего завода.— Они хотят, чтобы по слову паразита Рябушинского костлявая рука голода схватила нас за горло!

После конференции Совет постановил: доложить о саботаже горнопромышленников Москве, просить помощи...

Вскоре были арестованы правления уральских заводов в Петрограде. Началась национализация горных округов.

Охлопков еще не знал об аресте совета съездов в Питере и о том, что Перевальский Совет решил арестовать местное бюро. Вечером к нему пришла Августа.

— Дядя! Вам следует немедленно скрыться!

Он не удивился. Спросил:

— Конкретнее не можешь сказать?

— Не могу... Сама не знаю. Муж дает возможность спастись вам... но не другим. Предупреждать кого-либо — неблагоразумно... можете попасться.

Охлопков с минуту сидел потупив голову. Потом поднялся, повязал под сорочкой пояс с золотом, положил в карман браунинг, надел шапку, доху.

Жена беспомощно заплакала.

— Не на век... чего ревешь? — буркнул он, смягчился и подставил ей щеку для прощального поцелуя. Наказал жить здесь, ждать от него известий. Пожал руку Августы:

— «Спасибо» можешь мужу не говорить, но... будет время, я отслужу ему.

VII

На закате солнца в мае Петр Игнатьевич Зборовский прямо с завода, не переодеваясь, зашел к Албычевым пригласить их на крестины новорожденного сына.

Горничная сказала, что господа пьют чай в саду, и Зборовский, пройдя по тихим, прохладным комнатам, вышел в сад, пахнущий черемухой, сиренью и свежеполитой землей.

В вечерней тишине слышался надсадный голос Котельникова:

— ...в высокой степени уважал ум и честность человека, какого бы он ни был сословия... И если кажусь жестким в глазах невежд и фанфаронов, так это зависит от прямоты души, которую я не коверкаю перед сильными мира — будь то царь или будь то большевики! А у вашего родственничка Рысьева,— простите, Антонина Ивановна,— у него, в сущности, плевое реноме...

Албычев капризно прервал его:

— Ах, да будет вам, Семен Семенович, что говорить о нем? Он всегда был с вывихом. Печально не это... печально, когда подлинные интеллигенты, умные люди, начинают «краснеть», подлизываться к плебеям... Перед златым тельцом я не гнул спину, не согну и перед «товарищами». Нет! И, таким образом, мы с вами, Семен Семенович, да еще такая сильная натура, как

свояк Георгий, последние могикане! К сожалению, этого нельзя сказать о нашем дорогом Петре Игнатьевиче!

— Матвей,— холодно сказала Антонина Ивановна,— довольно сплетничать!

Зборовский остановился на песчаной дорожке, иронически поднял брови. Момент для появления явно неудачен...

Он бесшумно нырнул под ветки — вышел на смежную аллею... «Фу ты! И здесь я некстати!»

Под зеленым крылом липовой ветки стояли Катя и Полищук. Он положил руки ей на плечи и говорил что-то тихим, умоляющим, прерывистым голосом. Катя слушала, приблизив к нему белое лицо. Веселый вызов, острое любопытство, сознание крепнущей власти оживляли ее. В изгибе шеи, в беспокойных движениях фигуры было что-то хищное...

«Трагедия в стиле Мопассана!— брезгливо подумал Зборовский.— Мерзавец!» Незаметно отойдя подальше, он направился к чайному столу.

Албычев поднялся ему навстречу:

— Петруша, каким ветром?.. А мы только что тебя вспоминали! Легок на помине, умрешь, нельзя будет вспомнить, призрак явится!.. Как Люся? Садись... Тоня, чайку!

Зборовский иронически улыбнулся при слове «вспоминали», но больше ничем не выдал, что слышал слова болтуна-дядюшки. Он отлично знал, что Албычев, Охлопков, Котельников считают его перебежчиком. Знал, что Полищук чернит его как только может с той поры, как он отказался бойкотировать Деловой совет национализированного Верхнего завода, стал работать там. А уж когда Деловой совет решил уволить всех забастовавших служащих и принимать обратно только тех, кто искренне пожелает работать с большевиками, Полищук начал метать громы и молнии: «Ужас! Предательство! Он должен, обязан был уйти, отряхнуть прах этого совета с ног!»

Приняв из рук хозяйки стакан душистого чая, Зборовский сказал, подсмеиваясь над своей ролью:

— Пришел пригласить вас, тетушка, в крестные матери!

— Сын?— спросила Антонина Ивановна.

— То-то он сияет!— закричал Албычев с хохотом и захлопал в ладоши.— Браво! Браво!

— Сын, тетушка,— ответил молодой отец, не обращая внимания на Албычева,— Люся чувствует себя хорошо, проделала всю эту процедуру гениально... поэтому решили назвать сына Ев-Гением...

Он говорил в привычной насмешливой манере, но видно было — тронут...

Антонина Ивановна доброжелательно слушала его.., но вдруг в глазах ее что-то дрогнуло, она опустила веки и коротко, хрипло вздохнула. Зборовский понял: увидела тех, двоих. Он отвел от нее взгляд.

Непринужденно повернулся к Албычеву:

— Люся просила и вас на крестины.

— Придем, придем, выпьем за здоровье Евгения Петровича!

Скользящей походкой Катя подошла к столу. Сделала общий поклон. Красивая, возбужденная, глубоко дыша, откинулась на спинку садового кресла, бросила на стол полные руки:

— Чаю, мама!

— Вежливее нельзя?— тихим, задыхающимся голосом спросила мать.

— Будьте любезны, мама, налейте, пожалуйста, мне чаю!— смеющимся голосом сказала девушка, глядя на мать с высокомерным торжеством.— По вашим старинным правилам вежливости так надо?

Не глядя на Полищука, девушка приказала ему:

— Сливок, Михаил Николаевич! С вами можно без китайских церемоний?

Полищук поспешно поднялся, подал Кате сливочник. Что-то трусливое, неловкое было в его движениях, даже голова ушла в плечи. Украдкой взглянул на Катю... но этот взгляд перехватил Албычев.

— Пропал! Погиб! Смотри-ка, Тоня, что наша Котишка выделывает — головы начинает кружить! — Он подтолкнул локтем Полищука, который сидел, не подымая глаз.— Сочувствую тебе, Михаил Николаевич! Видит твое карее око, да зелен виноград! Котишку мы тебе не отдадим! Верно, Тоня? Староват!

Всем стало неловко, даже Катя нахмурилась. «Вот старый дурень!— удивился Зборовский.— Неужели он так и прожил, не зная?..»

Наступила недобрая, настороженная тишина.

— Ну, рассказывай, Петр Игнатьевич, как ты там... с большевичками,— беспечно начал Албычев,— что там

на заводе настряпали, нарушили новые «килигенты»? Придумали тоже твои большевики: Деловой совет! Чем он «деловой»? А? Что?

— По-настоящему деловой! — ответил миролюбиво Зборовский. — У вас превратное мнение о большевиках, Матвей Кузьмич. Вот вы говорите «настряпали»... А учли, какое им хозяйство досталось? И вот сейчас, в условиях невероятной разрухи, в условиях всяческих кризисов — топливного, сырьевого, финансового, продовольственного... Что делается на заводах? Знаете?

— Не интересовался!

— Напрасно! Именно сейчас и начинается техническое обновление заводов.

— «Есть у нас лыгенды, сказки! Ха-а!» — фальшиво пропел Албычев, развалившись в кресле. — Не верю. Снится тебе, Петр Игнатьевич!

— Ну, не верьте. Доказывать не буду... спросите хоть Семена Семеновича, он был на съезде представителей национализированных заводов в качестве гостя. Пусть он скажет.

— Фантазеры! — воскликнул Котельников. — Говорили-говорили... Комиссию создали... А какие возможности переоборудования? Где ресурсы? Хлеба нет, народ голодает, ни денег, ни черта нет.

Зборовский насмешливо поглядел на него.

— Ресурсы есть! Но эти ресурсы особенные... нам с вами они не приснятся... У нас на заводе зимой был момент: нечем уплатить коновозчикам, они заявляют: «Не заплатите, завтра без нас, как знаете, робьте!» Ярков созывает собрание. Кадровые рабочие решают: откажемся, ребята, от получки, перебьемся пока! Пусть коновозчикам заплатят, чтобы работа не остановилась! Видали такие ресурсы?

— Петр Игнатьевич говорит о так называемом энтузиазме, — тихо сказал Полищук. — Я не согласен с вами, Петр Игнатьевич. Одно дело — сделать разок этакий жест, а другое...

— Плохо знаете рабочих, не охочи они до «жестов». Большевики разбудили в народе какие-то новые силы. Во имя будущего массы готовы на большие жертвы.

Котельников вдруг хватил кулаком по столу:

— Сломят! Сломят себе шею большевики!

— Ах, не кричите так, Семен Семенович! — сказала Катя и сделала вид, что хочет зажать уши.

Котельников опомнился.

— Виноват!

— Катя! Не мешай моим гостям говорить,— глухо сказала Антонина Ивановна.

— Хорошо!— Катя встала.— Вы напились, Михаил Николаевич? Пойдемте побродим, не будем мешать маминым гостям...

Заметив холодный, осуждающий взгляд Зборовского, спросила:

— Вы шокированы? Но подумайте, Петр Игнатьевич, здесь все сидят люди пожилые, солидные, семейные... Только мы с Михаилом Николаевичем свободны от нерасторжимых уз... Можем бегать и дурачиться... Вы идете, Михаил Николаевич?

Это сказала она властно, даже бровки нахмурила. Полищук встал, поплелся за нею как невольник. Албычев проводил их веселым взглядом.

— Командир-девка! Огонь! Охо-хо! Молодость!.. А с вами я согласен, Семен Семенович, большевики сейчас сломят голову, ничего путного не сделают. Не сделают, Петр Игнатьевич!.. Да, я хотел еще вопросик задать. Товарищи вышибли палку из рук владельцев... как они правят своим ленивым и бодливым стадом?

— Большевики считают, что только крепкая дисциплина, дисциплина сознательная поможет преодолеть разруху и выполнить новые — огромные — планы. Профсоюзы выработали «Положение о трудовой дисциплине»... Установлены нормы выработки.

— И что же? Все переродились, стали сознательными, все выполняют свои нормы?

— Нет, не все. Невыполняющих переводим в низшие категории.

— А бездельников, если есть таковые?

— Есть и лодыри. Их увольняем с завода.

— Ага, ага! Тоже, значит, из-под палки работают? И, не слушая больше Зборовского, Албычев обратился к Котельникову:

— Вот видите, наша с вами правда, Семен Семенович!

— Истинная правда, Матвей Кузьмич! Я всегда говорю: у большевиков мнимое человеколюбие!

...Крестили Евгения Зборовского дома — как пожелала Люся. После крестин гости выпили, закусили и разошлись.

Зборовский выкурил папиросу на веранде и прошел в спальню.

Проходя по комнатам, он невольно подумал, как считается жена с его желаниями. Она все устроила по его вкусу: солидно, холодновато, просторно. Даже в спальне нет ковров. На окнах висят легкие шелковые занавески. Две кровати, разделенные ночным столиком, поставлены посреди комнаты. Платяной шкаф вынесен.

Зборовский сел на край постели жены, заглянул под положок люльки. Ребенок спал.

— Ты какой-то необыкновенный сегодня,— тихо сказала Люся, робко прикоснувшись к жилистой руке мужа.

— Необыкновенный?

— Ты такой добрый со мной... Но мы не пара... И деньги лопнули...

Она тихо заплакала.

Чем-то родным пахнуло на него. Захотелось быть искренним, как в детстве, быть доверчивым. «С нею можно! Не обманет, не предаст!»

— Ты права, Люся,— сказал он,— женился я, как говорят, «на деньгах», но теперь... я... Теперь я оценил тебя, твою дружбу...

— Любовь!— шепнула она, прикрыв глаза рукой.

— Да... и ты мне стала самым близким существом. Думаю — навсегда. До брака я перебесился... можешь быть покойна.

— Я некрасивая...

— Вздор! Ты как статуэтка!

— Лицо... голова большая.

— Что ее мучит!— ласково сказал Зборовский.— Не думай ни о чем таком, прошу! А чтобы не воображала, что зловещие планы вынашиваю, изволь, скажу... Кажется, Люся, я нашел по душе хозяина... и работу.

— Уезжаем? Собираться?

И Люся привстала на постели.

— Нет. Дело, видишь ли, вот в чем... Но я должен сделать предисловие... Ты не устала?

Она энергично помотала головой.

— Большевики, Ленин работают с перспективой... необычайно рационально, умно... Меня просто поразило! Задумали гигантское дело. У нас на Урале огромные запасы руды, в Западной Сибири — уголь... Решили соединить, создать такой комбинат... Словом, меня при-

глашают в технический отдел Управления национализированными заводами... участвовать в разработке технического проекта. Увлекает меня... будущий разворот техники. Как ты смотришь?

Что-то мелькнуло в ее глазах... не осуждение, нет, скорее удивление.

— А, может быть, их разобьют,— робко сказала Люся,— мама говорит, папа писал... И ты себя запачкаешь, скажут — «работал с большевиками!»

— Не знаю, Люся, не знаю! Пока они все атаки отбивают. Разобьют? Не знаю, Люся... А если не разобьют? До сих пор никогда я не руководствовался соображениями политического порядка. Я не политик. Мне все равно, какая власть. Пропали деньги. Жаль... но черт с ними, в конце концов!.. Мне дайте интересную работу, чтобы она меня захватила... Большевики такую работу предлагают. Рискнем, Люся?

— Если тебе хочется, Петя, соглашайся,— сказала Люся, желая только одного — чтобы муж всегда был таким добрым и доверчивым.

VIII

Пустые улицы легко просматриваются сквозь неплотный сумрак июньской ночи. В домах темно. В городе непривычная тишина: по улицам раздаются только четкие шаги патрулей...

Перевал на осадном положении.

Приблизившись к особняку Лесневского, Роман Ярков увидел среди темного ряда окон два светлых — значит, Чекарев еще здесь, не ушел домой. Роман назвал пароль, и караул пропустил его внутрь здания.

Облокотившись на письменный стол, Чекарев просматривал телеграммы и телефонограммы, полученные вечером. Он кивнул Роману, указал на стул:

— Посиди минутку! Я сейчас...

Положение было серьезное.

За те две недели, что прошли с момента мятежа чехословацкого корпуса, лучшие партийные силы Урала встали на оборону. Кроме красногвардейских отрядов по городам и заводам начали возникать партийные дружины... Но этого мало! Строительство Красной Армии только-только началось. Декрет о реорганизации воен-

ных отделов в военные комиссариаты был издан восьмого апреля, а Перевальский Совет раскачался — принял постановление только двадцатого мая, за пять дней до мятежа! Военный округ создан лишь в самом конце мая... Работа шла вяло, пока не приехала на днях высшая военная инспекция.

Роман узнал, что левые эсеры и такие люди, как Рысьев, стояли за партизанские методы борьбы, за увеличение числа партийных дружин. Убеждали: «Строить регулярную армию нельзя без кадров военных специалистов, а их нет».

— Рысьев больше не бузит?— спросил он.

— Примолк... А кое-где еще живут партизанские настроения... Оперативный штаб старается связать воедино отряды. Главнокомандующий объехал самые опасные участки. Комиссары посланы. Вот таково положение... Формировать армию приходится на ходу... Ты ко мне по делу, Роман?

Роман не успел ответить — в комнату вошел Илья Светлаков.

За эти тревожные дни он еще больше похудел, но казался окрепшим, молодым в своей белой рубашке с отложным воротничком.

Илья заведовал агитационным отделом обкома. Он выпускал газету, снабжал пропагандистов литературой, руководил коллегией пропагандистов, выезжал на места. Он безотказно работал как агитатор, читал лекции, разъяснял задачи текущего момента... и вербовал добровольцев в армию.

Крепко пожав руки своим друзьям-товарищам,— и только этим и выразив, что рад их видеть,— сказал:

— Надо подумать, Сергей, о партийных дружинах, и подумать всерьез. Все члены партии встают под ружье... это ослабляет партийную и советскую работу на местах.

— Пойми, Илья, такие дружины — пример! Это дисциплинирует остальную красноармейскую массу!

— Да. Но совсем оголять заводы нельзя!— говорил Илья с силой и сдержанной страстностью.— Тебе известно вот это?— И он подал листовку, призывающую к свержению Советской власти:— По стилю, по истерическим выкрикам узнаю автора... Котельников!.. Это правые эсеры выпустили... Видишь? Лагерь темных сил

тоже растет!.. Активизируется... Можно ли забирать всех партийцев, расчищать поле для таких элементов?

— Тут мы с тобой не сойдемся,— сказал Чекарев.— А я думаю, нельзя дробить силы в такой момент!

— Вся нечисть зашевелилась!— воскликнул Роман Ярков, стукнув кулаком по ладони.— И чего Чека смотрит, не выловит их?

— Чека не дремлет,— строго сказала Чекарев,— но всех сразу не выловишь.

Кроме явного врага — белочехов — Уралу угрожал внутренний враг. В Перевале, в Апайске, в Мохове в то время содержались под стражей члены царской фамилии, и матерые монархисты стекались на Урал со всех концов страны, чтобы освободить Романовых, сделать их своим знаменем и поднять восстание. Немало выловила Чека офицеров, нашла винтовок и патронов... Уже было раскрыто два заговора, и ясно было, что зреет третий...

— Я сейчас из Чека,— заговорил Роман, понизив голос,— засомневался я... не глянется мне Осинцев из «Союза фронтовиков»... пусть разберутся...

Он помолчал, как бы всматриваясь в лицо Осинцева, всплывшее перед ним. Мучительно знакомым казался Роману этот лысый, безбровый человек с острой густой бородкой. Кого-то напоминали ему светлые — с ярким кружком зрачка — глаза. И походка, и движения гибкой фигуры были знакомы...

— ...Какой он бывший фельдфебель?— продолжал Роман в раздумье.— Ничего он не фельдфебель! Может, в большом чине был... Лекции начнет, как соловей зальется!.. Ребята мне говорили: он о текущем моменте совсем неладно говорит... Вот и пусть возьмут его на заметку. Случись что — в гарнизоне только наш резервный отряд да конный эскадрон...

— Боевая дружина коммунистов формируется,— сказал Чекарев,— а это сила! Из округов прибывают все новые отряды... и Андрей... я все его по-старому!.. Свердлов обещает сильное подкрепление — и людей, и оружие на днях получим...

— Когда ты говорил с товарищем Свердловым?— встрепенулся Илья.

— Только что... по прямому... Предлагает принять все меры к учету контрреволюционных элементов, объявить осадное положение. Я сказал: «Уже объявлено». Он говорит: «Хорошо! Все меры примите, обеспечьте

тыл...» Просил передать привет товарищам, тебе, Илья, вспомнил и Романа...

Бледное лицо Ильи порозовело от радости.

Наступило молчание. Чекарев взглянул в окно, на яркую полоску утренней зари.

— Кончается ночь... Часа два-три надо поспать, а то выдохнемся!

Он поднялся во весь большой рост, потянулся широко, до слез зевнул.

Поднялся и Илья.

— Постойте, друзья-товарищи!— сказал Роман, обнимая одной рукой Илью, другой — Чекарева.— Время такое, что смерть, черт ее возьми, может из любого угла выскочить! На той неделе стреляли в меня, когда домой шел, вчера в окошко камнем запустили... Но я не о себе, вы не подумайте...— Он улыбнулся, и странно было видеть эту застенчивую улыбку на его решительном лице.— Фисунька моя на сносях... если же меня убьют...

— Будь спокоен... и без твоего наказа...— заговорили оба враз.

— Нет, у меня наказ особый, Кто из вас останется в живых, сына моего как своего наблюдать! Выучен чтобы был! Как следует!

— Сына!— с ласковой насмешкой произнес Чекарев, ероша волосы Романа.— Почем ты знаешь, что сын будет?

Совсем смутился Роман.

— Я не знаю, конечно, но бабы говорят... мать моя сказала, что коли у нее брюхо не в бока раздалось, а востренькой копной — мальчик, мол...

Роман прибежал домой, когда заря стояла вполнеба. Солнце еще не выкатилось из-за леса, но все предметы приобрели уже ясные формы и четкие краски. Поселок еще спал. Неподвижно стояли черемухи, березы, рябины. На просторные лужайки, казалось, никогда не ступала человеческая нога — так они были зелены и чисты.

Анфиса не спала. Она дала Роману поесть. Он лег в сенки на холодок. Сказал: «Разбуди, милка, в шесть!» — и заснул.

В то тревожное время Роман не мог спать по-настоящему: час-два мертвого сна, а потом полусон-полуявь, то смутное состояние, когда неясно слышишь шаги, го-

лоса, различаешь отдельные слова, начинаешь сознавать, что пора тебе встряхнуться, встать.

Сквозь сон Роман услышал голос Павла Ческидова — председателя районного Совета:

— Придется его разбудить!

— Не придется,— пробормотал он,— не сплю. Чего стряслось?

— Да вот именно «стряслось».

Новость оказалась не из приятных. «Союз фронтовиков» собирает народ на митинг. Приказано быть всем членам союза в двенадцать дня на церковной площади. Фронтовики грозятся: «Получим оружие и из вас, молокососов, мокренько сделаем!» Во всяком случае, надо привести отряд резерва в боевую готовность.

Штаб резерва помещался в здании районного Совета на Верхнем поселке. Когда Роман пришел, коллегия штаба оказалась в полном составе. Вскоре по улицам побежали вестовые с приказом к пехоте, конникам и пулеметчикам — явиться немедленно. Володя Даурцев полетел верхом в Перевал с запечатанными пакетами в обком и в Чека.

В райсовете между тем Павел вел заседание президиума. Обсуждали, какие надо принять меры, чтобы предотвратить возможные беспорядки.

В то время когда Роман докладывал президиуму о принятых мерах, письмоводитель Совета, просунув голову в дверь, торопливо сказал, что с митинга пришел в Совет делегат... Он не успел договорить, дверь распахнулась, и, оттолкнув письмоводителя, в комнату вошел бывший писарь Горгоньского, двоюродный брат Степки Ерохина.

Он был в «подпитии», наглое лицо красно, как из бани.

— Две тыщи за моей спиной,— начал он громким «митинговым» голосом,— я изложить пришел наше требование к Совету: немедленно нас вооружить!

— Вливайтесь в Красную Армию — получите оружие,— сказал Ческидов.

— Не желаем!

— Чего же вы желаете?

— Требуем немедленно разоружить Красную гвардию,— бешено закричал Ерохин.— Мы сами поддержим охрану порядка!

Выпрямившись на своем председательском месте, Павел сказал:

— Ваши требования принять не можем. Совет приказывает вам мирно разойтись по домам. Все. Можете идти.

Ерохин не уходил.

— Пусть Совет все же подумает! Стоит мне сказать — весь митинг будет здесь, камня на камне не останется...

— Эй, Ерохин, не грози!— сказал Роман, подымаясь с места.

— Ты сам не грози... не велик в перьях-то! Чего встал, шары на меня уставил? Задержать хочешь? Слабо!.. Попробуй задержи, сейчас все придут!

Он повернулся к выходу.

— Стоп!

Это крикнул Роман Ярков резко, повелительно... одним прыжком настиг Ерохина, схватил сзади за локти, не дал сунуть руку в карман. Вбежали красногвардейцы, скрутили Ерохину руки, отняли револьвер, увели.

— К ногтю их, контриков!— задыхающимся от бешенства голосом сказал Роман и выглянул в окно. Перед штабом уже стронулись конники и один за другим собирались пехотинцы.

— Подожди, товарищ Ярков,— строго сказал Павел Ческидов,— слышишь, Роман? Сядь — охлынь! Прежде надо поговорить с ними, открыть им глаза, немало, поди-ка, у них есть обманутых людей.

— Не маленькие, понимать должны,— пробурчал Роман... но волна гнева, отуманившая мысли, уже отхлынула, и он ясно увидел, что Паша прав.— Конечно, товарищи, я их сначала попробую сагитировать, но уж если...— он не договорил и сделал жест, как бы перерубая что-то.

Церковная площадь, пересеченная тенью высокой колокольни, вся была покрыта серо-зеленой неспокойной толпой.

Люди в выцветших защитных гимнастерках или в «своих» рубахах и армейских заплатанных штанах в ожидании Ерохина сидели, лежали, собрались шумными группами. Махорочный дым и запах пота, осипшие голоса, знакомые армейские словечки — от всего этого на Романа пахнуло до боли знакомым... Разве не с та-

кими вот солдатами в такой же жарко сверкающий день выбежал он из окопов навстречу серо-голубым австрийцам, которые подняли руки, бросили ружья на рыжую землю?.. Не может, не может того быть, чтобы эти солдаты, действительно страдавшие на войне, пережившие две революции, снова поддались, пошли за буржуями!

Поискал глазами, увидел руководителей митинга — безбрового медно-красного Осинцева и анархиста Кочеткова. Они стояли в тени тополей у голого стола, закапанного воском и чернилами. По пыльным следам на столешнице Ярков понял, что это и была трибуна для выступающих. Он сказал:

— Хочу выступить на вашем митинге.

— Где наш делегат? — прищурив глаза, спросил Осинцев. — До его возвращения я не разрешу выступать!

Толпа пришла в движение, колыхаясь, придвинулась к столу. Осинцев повторил отчетливо и раздельно:

— Где наш делегат?

И вдруг его злобный, напористый взгляд, повелительные нотки в тоне, которым был задан вопрос, напомнили Роману Горгоньского. Не стало красивых крутых бровей, шевелюры, ямка на подбородке прикрыта клинышком волос... но это он! Это он! У Романа застучало сердце, затокало в висках... Не отвечая, он вскочил на стол и выкрикнул:

— Товарищи! Мне, бывшему фронтовику, не дают говорить с вами! А я хочу высказаться!

— Говори! Высказывайся! Валяй! — раздались голоса.

— Товарищи!.. Вам известно, что такое империалистические хищники Европы, Америки, Японии... Сколько лет они из кожи лезли сделать Россию своей колонией! А царское правительство им потакало, продавалось им. Мы, уральцы, видели, в чьи лапы плывут золото, платина, медь, в какую прорву валились народные деньги! А для кого мы, товарищи, кровь проливали на фронте? Для буржуев, для их прибылей! После трех лет бойни турнули мы с трона царя... Хорошо... Но западные империалисты из кожи лезли — помогали буржуазному правительству. Турнули мы к чертовой матери Временное правительство, свою власть поставили — этого их печенка не стерпела... Они сговоры устраивают. Хотят на

части рвать нашу страну! Как вы думаете, наша победа, победа рабочего класса, не отразилась там, у них? Угнетенные народы не воспряли духом? Конечно, воспряли! Свободная Россия — пример для них! Тем более буржуазия хочет нас задушить, не дать ходу: а вдруг да встанем во главе всего трудящегося человечества?.. Антанта и Америка дотолковались: «Навалимся все вместе, уничтожим диктатуру пролетариата, раздернем Россию на куски — хватай кому какой любо!..»

Осинцев-Горгоньский и его приспешники поняли, куда гнет Роман, и попытались сбить его:

— Хватит! Долой! Нечего нас агитировать!

Но в толпе в свою очередь кричали:

— Пусть говорит!

— Так какого же черта!— заорал во всю мочь Роман, подавшись вперед.— Какого дьявола вам туманят голову, зовут мириться с карателями... захватчиков зовут братьями? А ну, давайте бросим оружие, допустим «братчиков» сюда, сдадим Урал, откроем двери страны... Что будет? Придется подставить свою рабочую спину буржуазии: «Езди, матушка, как ездила!» Этого хотят те, кто хочет мира с чехами! Этого самого! Чехи — славяне, это верно...— кричал он, перекрывая шум,— но братья рабочему только те чехи, которые на нашей стороне борются, а не на буржуйской!

Искренняя горячность Романа, правда его слов начинали пробивать дорогу к сердцам фронтовиков. Едва успев порадоваться этому, заметил Роман, как один за другим пробиваются к трибуне люди со всех концов площади, мало-помалу оттесняя внимательных слушателей. Сбившись вместе, они закричали бешеными голосами:

— Долой Красную гвардию! Долой Советы!

Они наседали на трибуну, стол покачивался. Роман увидел, как Степка Ерохин занес руку... Он инстинктивно отклонился в сторону. Камень, брошенный Степкой, ударился в беленый столб ограды. Все чувства Романа обострились. Он следил за каждым движением наседающей на него ватаги... И вдруг увидел в переулке своих конников, угадал, что Ческидов с пулеметчиками тоже здесь, может быть, за его спиной, в церковной ограде...

— Да здравствуют Советы!— крикнул он во всю мочь.

В воздухе замелькали камни, палки, пуля ударилась в беленый столб...

Из переулка на рысях вылетели конники. Задрав рыльца к небу, заговорили пулеметы грозной скороговоркой. Толпа бросилась врассыпную — в улицы, в переулки, через огородные изгороди... Роман не упустил момента: прямо со стола прыгнул, как рысь, на Горгоньского, сшиб с ног. Они бешено катались по земле, пока Ческидов не помог обезоружить бандита.

Документы, зашитые в рубцах одежды, удостоверяли, что полковник Горгоньский командирован в Перевал для «выполнения специального задания», как человек, хорошо знающий «кадры в/п (очевидно, «верноподданных») и изучивший обстановку». Но добиться полного его признания в Чека не могли. На допросах он молчал.

Его бывший писарь Ерохин, наоборот, захлебываясь от усердия, пытался смягчить вину добровольным признанием. Но знал он далеко не все.

Назвал видных членов своей организации: Охлопкова, Котельникова, Гафизова... и — совершенно неожиданно — командира гарнизонного конного эскадрона, бывшего поручика Акишева... Указал место сборищ — за городом, в лесу, на даче бывшего начальника горного управления.

Подтвердил, что мятеж фронтовиков был задуман как попытка свержения власти.

Темной облачной ночью отряд резерва окружил дачу. В кустах у дороги встали дозоры. Чекисты сообщили бойцам пароль и отзыв бандитов, поэтому удалось без труда снять их заставы.

Все было тихо. Дача стояла темная, немая.

Это было двухэтажное здание с мезонином в виде башенки и с острым шпилем наверху. Фронтон украшала белая резьба. Такое же белое кружево спускалось с карнизов, обрамляло окна. Приглядевшись, можно было различить доски, которыми была забита дверь, ведущая на веранду.

Задняя кухонная дверь была плотно прикрыта, но не забита. Против этой двери, под сараем для дров, устроилась засада.

Время ползло. Стуча и пыхтя, пронесся двенадцатичасовой поезд за лесом, вольно раскатился гармоничный

рев гудка. Снова наступила тишина. Роман уже начал думать, что сведения ошибочны или что заговорщики переменили место встречи... как вдруг увидел: узкая полоска света скользнула по внутреннему краю оконного косяка.

Он разом понял: окна занавешены плотной черной материей! Вот почему дом кажется нежилым.

Поколебался: может быть, заговорщики все уже собрались, заседают, и нечего ждать — надо обрушиться именно сейчас.

Пока он раздумывал, вдали послышался перестук копыт. Роман понял, что это изменник — командир конного эскадрона.

— Ага! И Акишев жалует!

Акишев, по-видимому, чуял неладное: он не явился на вызов Чека, и его нигде не могли найти. Адъютант его тоже исчез.

Стук копыт стал явственнее. В мезонине тихо раскрылась форточка.

Кони остановились. Как ветер в кустах, прошелестели неразличимые шепотные слова. Ческидов выступил из кустов, потребовал: «Пропуск!» «Кинжал!» — шепнул Акишев. «Кострома!» — отозвался Ческидов и предложил спешиться: уведу, мол, коней подальше в лес, так, мол, приказано... Ни звука не дали проронить бандитам! Молодцы!

Сколько ни прислушивался Роман, не слыхал, закрылась ли форточка... зато его ухо уловило скрип ступенек: кто-то поспешно спускался с мезонина. Этот бандит, очевидно, почуял опасность и сейчас предупредит заговорщиков.

Команда «вперед!», как шорох, пролетела. Бойцы полезли. Цепь сомкнулась. Новая команда — и бойцы поднялись, кинулись на приступ.

Роман кричал в азарте:

— Сдавайся, Охлопков! Сдавайтесь, гады!

Скрип, треск, звон стекла — и балконная дверь подалась. С двух сторон — из кухни и с веранды — хлынули в дом бойцы. Электрические фонарики наперекрест осветили просторную пустую комнату, стол с остатками еды, отброшенные в поспешном бегстве стулья. Из кромешной тьмы внутреннего коридора грохнул выстрел. Посланная туда пуля нашла цель: кто-то болезненно

закричал. Кто-то крикнул: «Сдаемся!» Где-то на втором этаже открылось окно:

— Господа! Мы окружены!

Беспорядочные выстрелы. Железо загремело на крыше.

— Уйдут! Держи! Держи!

Из кухни вышел высокий, тучный человек в шинели, с винтовкой, побежал тяжелыми шагами к кустам, крича:

— Сдавайтесь, бандиты!

«Это не боец! Это — Охлопков!» — точно стукнуло Романа. Он кинулся следом.

— Стой! Стреляю!

Но патроны кончились, стрелять было нечем. Роман даже зубами заскрипел.

Он выхватил винтовку у молодого бойца, выстрелил. В кустах зашумело.

— Попал!

Светя фонариком, они обыскали кусты. Нигде не было ни тела, ни следов крови...

Из дома между тем выводили на полянку арестованных заговорщиков.

Электрический фонарик осветил попеременно: мертвенно-желтое лицо Котельникова, дрожащую бороду звероподобного протодьякона, надменно опущенные глаза Гафизова-младшего... Много было незнакомых — решительных и жестких — офицерских лиц.

Подошел Ческидов. К арестованным присоединились изменник Акишев и его адъютант.

— Эх, упустил ты Охлопкова! — говорил с сожалением Чекарев Роману через два дня после облавы. — Они, беглецы ваши, знаешь, что наделали? Паровоз захватили — и драла по горнозаводской линии! А теперь мятежи по заводам подымают! Почитай-ка сводку!

Роман прочел:

«В Лысогорске вспыхнуло контрреволюционное восстание, поднятое правыми эсерами, монархистами, меньшевиками. В помещение Совета брошена бомба. Члены Совета арестованы. Председатель убит. Поставлен новый Совет из представителей эсеров, кадетов, меньшевиков.

В Кисловском заводе эсеры, меньшевики и кулаки

ближних сел подняли на мятеж отряд автомобилистов. Совет разогнан. Коммунистов расстреливают.

В Лешковский завод явился отряд белогвардейцев из Кисловского завода, арестовал членов Совета и всех советских служащих. Население спешно организовало оборону, изгнало белогвардейцев...»

— Почему думаешь, что это все — Охлопков?— спросил Роман.— Не мог он поспеть: в одно время все вспыхнуло!

— Это дело рук той самой организации. А Охлопков твой теперь в Кисловском заводе коммунистов расстреливает.

— Послушай, Лукиян! Будь другом! Пошлите наш отряд резерва по горнозаводской линии! Ручаюсь — подавим сволочей! Разобьем!

— Нельзя. Нельзя дробить силы,— твердо сказал Чекарев.— Помни одно: чехи близятся! Чехов надо задержать! А на заводы апаевские отряды посланы.

Зазвонил телефон. Чекарев взял трубку.

— Здесь,— ответил он и подал трубку Роману.— Тебя... из оперативного штаба.

Выслушав приказ и ответив кратким «есть!», Роман поднялся с места:

— Прощай, Сергей, пойду! Отряду нашему дали работку... Бандиты разгоняют сезонников на торфянике... Если их не ликвидируем, перебои будут с торфом...

IX

Кулацкие восстания в тылу, предательская деятельность шпионов и провокаторов помогли объединенному наступлению чехов из Сибири и контрреволюционных частей с юга и с севера. Бандитские шайки появлялись уже в окрестностях Перевала...

Все слышнее становились орудийные выстрелы, похожие на раскаты грома.

Илья понимал, что в эти грозные дни каждый большевик должен научиться владеть оружием.

Ежедневно уходил он в сад Общественного собрания. Здесь коммунистов обучали рассыпному строю, заставляли маршировать, учили стрельбе в цель.

Затем Илья читал лекции в партийной школе, ин-

структировал агитаторов, писал конспекты, передовицы для газеты... Потом начинались заседания, митинги, встречи...

С тех пор как выступили чехи, постель Ильи все чаще оставалась нетронутой. Он еще сильнее похудел. Глаза горели мрачным огнем.

После заседания, на котором решили вопрос об эвакуации, Чекарев позвал Илью к себе в кабинет. Время отправки на фронт Коммунистического отряда приближалось, и Чекарев попытался убедить его, что при слабом здоровье он должен работать в штабе, что он не вынесет суровой жизни бойца.

— Нет!— резко ответил Илья.— В штабах должны сидеть люди, искушенные в военном деле... А здоровье... Думаю, что от других не отстану и выполню все, что придется выполнять.

После молчания Чекарев сказал:

— Значит... расстаемся, Илья...

Голос дрогнул. Чекарев отвернулся, стал вынимать из сейфа партийные документы, укладывать их в стальной сундучок, выложенный внутри асбестом. Он тоже готовился к эвакуации.

— Мария с тобой едет?— спросил Илья.

— Маруся остается здесь, на подпольной работе... на время уедет в Лысогорск, может быть...

Чекарев силился говорить размеренно, спокойно, но голос его обрывался, замирал.

На каланче пробило десять...

— Попрощаемся...— тихо сказал Илья.

Взявшись за руки, они с минуту глядели в глаза друг другу: Сергей — влажным, Илья — горящим взглядом...

Возвратившись домой, Илья сказал жене:

— Завтра придется выступать в Лузино... Как твое отношение?

И, не дождавшись ответа, добавил:

— С утра пойдем в казарму... совсем...

Он взял стоявшую в углу винтовку, начал чистить и смазывать ее. Ирина свою уже приготовила к походу. На столе лежала ее сумка с перевязочным материалом, на полу два вещевых мешка.

Наконец Илья поставил на место винтовку и подошел к небольшому книжному шкафу. Распахнув дверцы, обвел глазами книги, аккуратные ряды книг.

Перед отступлением он решил тщательно спрятать свое единственное богатство. Еще несколько дней назад устроил тайничок — оторвал плинтус, выворотил две широкие половицы, проделал углубление в кирпичной кладке фундамента.

При помощи Ирины перенес книги, бережно уложил их в тайник.

Пробило двенадцать часов.

Ночь не принесла прохлады. Густой пыльный воздух был жарким почти как днем.

Муж и жена сели у раскрытого настежь окна.

— Надо быть наготове,— предупредил Илья,— сегодня возможны всякие случайности... если заговорщики догадаются, они именно сегодня могут повторить попытку.

Казалось, приближается гроза. Романовы готовились к побегу. Они знали, что их ждет открытый суд, понимали: уральские рабочие не пощадят бывшего царя и его приспешников.

Не один заговор был раскрыт за это время. Охрана находила записки в приношениях монашек «узникам». Писали на оберточной бумаге, на пакетах. Была обнаружена записка в пробке бутылки с молоком. Недавно удалось перехватить письмо Романовых в конверте с цветной подкладкой. В письме ничего подозрительного не оказалось, но между подкладкой и конвертом лежал тщательно вычерченный на папиросной бумаге план дома с указанием, кто в какой комнате находится.

Этот дом, окруженный дощатым забором и густыми тополями, стоял на склоне холма. Только два с половиной квартала отделяли квартиру Ильи от этого дома...

В городе было тихо. По каменным плитам тротуаров изредка проходили патрули. Слабо слышались отдаленные паровозные гудки. Орудийная пальба смолкла.

— Иди поспи, Ира!

Она покачала головой и теснее прижалась к мужу. Она сидела так тихо, что Илья подумал: спит... Заглянул в лицо и встретил взгляд широко раскрытых глаз. Спросила несмело:

— Ты был счастлив со мной?

Обнимая жену, Илья снова заглянул ей в лицо, увидел на глазах слезы, сказал сурово и нежно:

— Ира! Ну, можно ли унывать? Посмотри: Сергей едет, оставляет Марусю... Роман — свою Анфису, а она скоро родить должна!.. А мы с тобой вместе, вместе будем! Ведь это — счастье!

Настойчиво она повторила:

— Ответь! Был ты счастлив со мной?

— Всегда.

— Любишь?

— Да, Ира. Глубоко...

— И... если... все может случиться... будешь горевать?

Расплакалась, уткнувшись ему в грудь.

Он гладил ее, нежно просил успокоиться, овладеть собой:

— Ирочка, ведь ты — боец!

— Какой я боец! Мне вот кажется, город сдадим — и все погибло. Знаю, что это не так... но вот болит, болит сердце...

— Ира! Ничего не погибло! — с силой сказал Илья и, оторвав ее руки от лица, глянул ей в глаза сильным, горячим взглядом.— Ира, верь! Если народные силы пришли в движение, ничто их не остановит! Через месяц, через полгода, через год будем в Перевале! Залечим раны! Оживем!..

Сборный пункт отряда был в клубе. Сюда собрались коммунисты со всех предприятий Перевала.

Бойцов разбили по ротам, взводам, отделениям. Выдали винтовки, патроны, котелки. Часть получила обмундирование, но большинство пошло на фронт в «своем»,— обмундирования не хватало.

В отряде было четыре сестры милосердия: Ирина Светлакова, пожилая дородная «тетя», старая большевичка, Наталья Даурцева и совсем молоденькая, тонкая, как вербочка, светловолосая Аганя, работница ткацкой фабрики. Все они окончили курсы сестер, организованные еще зимой, после первого выступления Дутова.

Командовал отрядом Василий Толкачев. Построились, двинулись пешком по Вознесенскому проспекту, потом по Арсеньевской улице, идущей к вокзалу.

На вокзале особенно чувствовалась эвакуация. Из депо, тяжело пыхтя, выходили паровозы, подтягивали пустые составы. В товарные вагоны сотни людей спешно грузили снаряжение, боеприпасы, продовольствие. На платформы по гнущимся и скрипящим доскам вползали броневые автомобили, тяжелые орудия.

То и дело в сторону Мохова уходили груженые составы. Встречные поезда, не задерживаясь на станции, проходили до следующего разъезда, где начиналась «линия фронта». Пятясь с разъезда, привозили раненых. В Перевале их переносили в санитарный поезд, а порожний состав ставили под погрузку.

Толкачев вместе с Ильей несколько раз выходили на платформу, останавливали дежурного по станции:

— Когда наконец нас погрузят?

Пожилой, толстый, измученный дежурный отвечал плачущим голосом, вытирая пот с лица:

— Вы видите, видите, товарищи? Видите, что делается? Идите к начальнику!

Шли к начальнику станции, принимались доказывать, что отряд надо отправить немедленно, что заслон на Лузино — первоочередная мера. Если белые перехватят линию, грузы, боеприпасы, продовольствие — все попадет в руки врага.

Начальник станции соглашался с этим, обещал: «Вот только отправлю этот эшелон, подтянем ваш...» Но время шло, а посадки не было.

— Пойду к коменданту,— сказал Толкачев, сердито хмуря светлые брови.— А тебе советую брякнуть в обком... может, еще не уехали.

Илья позвонил в обком, в Совет, никто не отозвался.

Бойцы пообедали. Солнце пошло к закату. Состав все не подавали.

К вокзалу уже перестали подъезжать груженые возы. Прибежал Толкачев, взбешенный до крайности.

— Сколько времени потеряно! Искал коменданта... все в него упирается... боюсь утверждать, но, мне кажется, дело неладно...

— Комендант Зотиков — бывший поручик... все возможно в такое время,— медленно сказал Илья.— Пойдем, Василий! Ждать дольше — преступно!

Сказано — сделано... через пятнадцать минут раздалась команда:

— На посадку!

Поезд готов был отойти, как вдруг на платформу выскочил маленький рыжий человек и, увидев Илью, вскочил на площадку вагона.

Это был Рысьев.

— Почему вы, товарищ Рысьев, отстали от своего эшелона?

— С семьей прощался,— отрывисто ответил тот.

— Разве ваша семья здесь осталась?

— Ребенок болен,— так же отрывисто ответил Рысьев, пряча глаза.

Чуть было не сказал Илья, что семье ответственного работника опасно оставаться в городе, обреченном на сдачу... но вспомнил, что к семье Рысьева это не относится, у этой семьи найдутся защитники!

— Напрасно вы с нами поехали,— сказала Ирина.— Наш поезд, как вы знаете, не дальнего следования.

— Это ничего. Разведку вам налажу,— сказал Рысьев.— Побуду у вас... а может, и останусь с вами... Там видно будет.— Он отдышался от быстрого бега и уже владел собой.— Ну, как, Ирина? Отправляемся в partie de plaisir? [1]

Ирина не ответила. Ее покоробил насмешливый тон Рысьева. Она взглянула на мужа. Тот не слушал. Задумчиво глядел на удаляющийся город, точно окутанный пыльной завесой.

X

Без кожаной тужурки, в изодранной гимнастерке, безоружный, шел Рысьев по лесу, едва волочил ноги. Чувство глухой, неотпускающей боли, безразличие к окружающему, слабость, как после ранения... но ведь раны-то нет, нет ничего, кроме синяков и ссадин, полученных в первой схватке. Да и боли, в сущности, нет... так, одно воображение!

Но вот Рысьев зажмурился, оскалил зубы, рванул

---

[1] Partie de plaisir (*франц.*) — увеселительная прогулка.

волосы и бросился к подножию сосны лицом в ржавую, теплую колючую хвою.

«Так глупо... так глупо попасться».

Он сжал зубы.

Прошедшие полсуток круто переломили его жизнь.

...В полночь, когда поезд приближался к станции Лузино и отряд готовился к высадке, из темноты начался обстрел... Поезд ускорил ход и буквально проскочил мимо станции.

С опасностью для жизни Толкачев и Рысьев, перебираясь из вагона в вагон по буферам, добрались через тендер до паровоза, приказали машинисту остановиться.

Поезд встал в железнодорожной выемке. Бойцы повыскакивали из вагонов.

Положение создалось затруднительное: отряд не знал, где свои, где враги. Необходимо было разведать расположение белых, связаться с отрядами Верхнего и Лосевского заводов и с эсеровской дружиной, то есть с частями, которые должны проводить операции во взаимодействии с Коммунистическим отрядом.

Рысьев вызвался идти в разведку по направлению к Лузино. Взял с собою двух бойцов. Они пошли по лесу, пользуясь предрассветной темнотой.

«Так глупо влопаться!»

Острый приступ злости заставил Рысьева застонать. Затем он попытался успокоить себя такими рассуждениями:

«Но если бы на месте Стефанского оказался другой, я теперь валялся бы продырявленный... Хоть он и взял эту проклятую подписку, но, в общем, поступил гуманно... И подписку бы не взял, если бы не тот плешивый черт!»

Рысьев зажмурился от отвращения и, перевернувшись на бок, подпер голову кулаком.

«Что я так терзаюсь? Отчего? Что особенного случилось? Рассказал об отряде и о смежных частях? Но что значит «рассказал»? Только подтвердил и уточнил сведения, которыми они располагали... И нечего об этом думать и переживать... Сделано — и все!.. Зато я жив, Августа в безопасности, Кира... Подписка? А кто о ней узнает? Итак, все идет ладно, идет даже лучше, чем шло! И нечего распускаться. Надо встать, идти до первого селения, изобразить бежавшего из плена...»

«Нет, стоп! Скажу «из плена» — и тут не оберешься подозрений. Итак, что же со мною было?.. Ага! Мы дошли... нет, мы на подходе к Лузино столкнулись с вражеской разведкой. Схватились врукопашную. Бойцы убиты, я контужен, лежу без сознания, принят за мертвого. Это более складно... Очнулся — долго не мог ориентироваться. Попробуйте расследуйте, если сумеете вести следствие на вражеской территории! Я ползу к своим, но в это время... Конечно, Стефанский моргать не будет, он нападет на отряд врасплох. Если кто и уцелеет, вынуждены будут прятаться по лесам. И я... надо примкнуть к уцелевшим... и уцелеть самому во время боя...»

Рысьев сел, достав из внутреннего кармана расколотое зеркальце. Один глаз у него подпух, на скуле темнел синяк. На лбу за одну эту ночь прорезались морщины. А волосы...

— Тьфу, наваждение!

Волосы его, пронизанные солнцем, казалось, налились кровью и дыбом стояли над бледным лбом.

«Слабонервный подумал бы, что это кровь... Илья! Ах, жаль Илью! Погиб человек! Жестокая штука — жизнь!» Рысьев поднялся. С мрачным спокойствием стал соображать, куда ему идти.

По его расчетам, он был далеко в тылу, в стороне от Коммунистического отряда, преданного им на разгром. Он решил добраться до следующей станции, предъявить документы и на попутных поездах догонять Чекарева. Чтобы выполнить задание своих новых «хозяев», он должен занять свое прежнее место.

«Ну там видно будет, выполню или нет...»

Толкачев отправил людей в разведку, чтобы установить связь со смежными частями. Утром, когда взошло солнце, так и не дождавшись связных и разведчиков, он оставил заслон в сто пятьдесят человек и отправился с отрядом на следующую станцию, чтобы снестись по телеграфу со штабом фронта. Он велел ждать приказаний и отходить только в случае явного превосходства противника.

Получив приказ выставить секрет у тракта, идущего на Лосев, Илья разбил бойцов на три поста.

Ночь медленно текла...

Время от времени Илья проходил по лесу, проверял посты.

Торжественная тишина леса, его густой аромат, стоявший в неподвижном воздухе, успокаивали напряженные нервы, навевали сон. Были моменты, когда Илья чувствовал, что засыпает на ходу.

Наконец рассвело. Солнце хлынуло на вершины кустов, среди которых текла шумная речушка. Все здесь заросло вербой, смородинником, кипреем, белым, легким, как пена, лабазником. На поляне у опушки леса вперебой трещали кузнечики, а в кустах пели, чирикали, щебетали птицы.

«Какой мир, покой, какой целебный воздух!»

Илья снова проверил посты и остановился, глядя на пустынный Лосевский тракт, откуда всю ночь ждал появления кавалерийского отряда.

Вдруг один из бойцов указал в глубину соснового бора, где два незнакомых красноармейца собирали землянику в фуражки.

— Задержать!— жестом приказал Илья.

«Ягодников» — это, несомненно, были вражеские разведчики — отправили к командиру заслона, в выемку.

Близился полдень.

Все словно вымерло, и тишина эта угнетала, тревожила Илью.

Беспокоило отсутствие Лосевского отряда.

Если б знал Илья о предательстве Рысьева! О том, что Лосевский отряд разбит еще ночью за десять километров до этого места, что ординарец Толкачева схвачен, убит, а связные в плену, переносят тяжелые пытки.

Но он даже предполагать не мог измены... и хотя тревожился, терпеливо ждал.

Явилась смена, и Илья с бойцами пошел к лагерю, удобно расположившемуся в небольшой низинке.

Свободные от несения службы бойцы сидели и лежали на разостланных шинелях и на траве, нагретой солнцем. Было очень жарко. У бочонка с водой скопилась очередь. «Ягодники», задержанные Ильей, сидели поодаль связанные. Их караулил молодой боец Иван Брусницын.

Командир подошел к Илье и заговорил вполголоса:

— Беспокоит меня, товарищ Светлаков...

Он не договорил... Без крика, без команды из леса началась стрельба, показались белогвардейские солдаты.

— К оружию! К оружию!— раздалась команда.

Отряд отстреливался, но видно было, что силы неравны.

«Надо отступать!» — подумал Илья, услышав пронзительный паровозный гудок со стороны Лузино... И тогда командир приказал отступать. Отстреливаясь, бойцы начали отходить. Илья приподнялся... и вдруг его будто стукнуло палкой по голове.

У просеки, которую замыкает дикая угловатая гора, остановился бронепоезд белогвардейцев: паровоз, два вагона и платформа. Когда сознание Ильи прояснилось, он понял, что он и еще пять бойцов Коммунистического отряда находятся в кругу белогвардейцев. Краткий бой закончился.

Контуженную голову кружило. Солнечный жар тяжело давил на темя. Блеск рельс резал глаза. Из бронированного металлическими листами вагона кошачьей поступью вышел красивый высокий капитан, небрежно помахивая стеком..

За ним спустился низенький, плешивый офицер с видом бравого служаки.

Высокий сказал:

— Так! Хорошо, «товарищи» коммунисты...

> Это все, что от вас осталось!
> Ни обид, ни смешных угроз,
> Только сердце немного сжалось,
> Только в сердце немного слез...

Ни один из пленных не шевельнулся. Солдаты услужливо посшибали с них фуражки.

— Эй ты, курносый, какой части?— весело, зло выкрикнул капитан и ткнул пальцем Брусницына.— Отвечай!

Щуплый Ваня, вытирая пот, шмыгал носом и молчал.

— Ты что, глухонемой?— капитан ожег Ваню стеком, рассек губу.— Отвечать!

Ваня молчал.

— Расстрелять хама!

Ваню повели.

Быстрым взглядом обменялись пленные — точно искра пробежала из глаз в глаза... но каждый понимал, что сопротивляться бессмысленно, когда за руки крепко держат палачи.

— Прощай, Ваня! — с чувством сказал Илья.

Ваня откликнулся издали:

— Прощайте!

Раздался одиночный выстрел.

— Дураки! — весело сказал капитан. — Отказываетесь отвечать! Да я и вопросы-то задаю больше для проформы. Я все знаю! Вы принадлежали к блаженной памяти Коммунистическому отряду... Командир отряда Толкачев, комиссар — Светлаков... Вот он! — изогнувшись, он насмешливо ткнул Илью пальцем в грудь. — Пожалуйте сюда, господин комиссар, побеседуем!

Илья даже не взглянул на него.

В первые минуты пребывания в плену все в нем билось и клокотало... но, убедившись, что бежать невозможно и осталось одно — с достоинством встретить смерть, он сделал усилие и усмирил волнение. Одна мысль захватила его: как поддержать, как приободрить того из товарищей, который ослабеет духом. Но скоро он понял, что об этом заботиться нечего. «С чего я взял, что кто-то раскиснет? Ведь это же лучшие, отборные люди, герои...» Он гордился ими, любил их всем сердцем.

— Замечтались о своих утопиях, господин Светлаков?

— То, о чем я мечтаю, не утопия, — сказал Илья спокойно, — вы в этом скоро убедитесь.

— К сожалению, не могу вам обещать, что вы со временем убедитесь в абсурдности своих «идеалов»... времени у вас остается в обрез, — он взглянул на часы. — Вам остается пребывать на сей земле три минуты. Очень сожалею, что помешал вам прославиться, стать великим человеком, как вы хотели, — издевался капитан.

— Я не стремился стать великим, — сказал Илья, — но я участвовал в великом деле...

— Молчать! Без агитации! — разъярился капитан. — Отзвонил своим языком, паршивец, долой с колокольни! Раз-де-вайсь!

Илья неторопливо разделся, остался в одном белье.

Он опустил глаза,— казалось, разглядывает свои белые ноги с розовыми полосками от складок портянки или зеленую траву под ногами... но он смотрел не видя, сосредоточился на какой-то одной последней важной мысли.

Потом сурово, бесстрашно глянул в направленное на него дуло нагана горящими черными глазами.

— Э, нет!— сказал капитан, опуская наган.— Дешево хочешь отделаться! Мы еще тебя красной звездой украсим!..

Отряд Верхнего завода выступил из Перевала последним.

Роман Ярков на минутку забежал домой — проститься: было условлено, что мать и жена уедут в Ключи.

— Это хорошо, папаша, что ты приехал как раз, говорил он тестю,— а то у меня сердце было не на месте. Забирай к себе мое семейство! Здесь им не жить. Беляки им за меня голову отъедят.

— Не поеду я, сынок,— сказала мать.— Обе-то уедем, весь дом расхитят.

— Опять за то же, мама! Черт с ним, с домом, пусть жгут, хоть с четырех углов, лишь бы вы с Фисунькой целы были.

— Ничего мне не будет! Старо мясо-то не съедят...

Анфиса сказала запальчиво:

— Ты не поедешь, и я не поеду! Что будет, то будет.

— Вот видишь, мать,— упрекнул Роман.— Поупорствуешь — под корень изведут ярковское семейство.

«Значит, не привел бог помереть в своем гнезде, как желалось»,— подумала старушка и сказала тихо:

— Ваша воля, не моя... Запрягай, нето, сват, своего Бабая...

Через несколько минут Роман уже был у штаба и стал во главе своего конного батальона.

В городе все неуловимо изменилось.

Чья-то враждебная рука уже успела сорвать с забора обращение Совета с крупными словами наверху: «Мы еще придем!» Город опустел... но за запертыми воротами и дверьми особняков чудилось радостное оживление...

В зале третьего класса на станции Перевал-второй

Роман увидел под стражей Зборовского, двух начальников цехов и двух мастеров Верхнего завода. «Заложников взяли»,— объяснили ему.

— Пойми, товарищ Дружинин,— вполголоса стал он убеждать командира отряда,— ты на руку буржуазии играешь! Пойдут разговорчики, что, мол, красные увезли на расстрел ни в чем не повинных людей... И на кой черт таскать их за собой? Отпусти, опростай руки у охраны!

— А ты отвечаешь за них? Головой?

— Головой не поручусь, но думаю, что вреда от них немного. Более зловредные остались, только тебе на глаза не попали...

— А черт с ними, пусть все уходят!— сказал вдруг командир, махнув рукой.

Роман подошел к заложникам, которые сидели рядком на станционном деревянном диване с высокой спинкой. Увидев Романа, Зборовский надменно опустил глаза.

— Здравствуйте, Петр Игнатьевич!

Зборовский едва наклонил голову. «Обижается!» — подумал Роман.

— Петр Игнатьевич,— сказал он открытым, доверчивым тоном,— я вас знаю и думаю, вы ни с какой партией не связаны... Одним словом, идите домой, вы свободны... и вы тоже,— кивнул он остальным заложникам.

Зборовский даже порозовел от неожиданности и весь как-то потеплел. Он поднялся, но не спешил уйти.

— Это мы вам обязаны?

— Ничего не мне... Было недоразумение.. оплошка...

— Вам!— сказал Зборовский, прощаясь и благодаря Романа крепким рукопожатием. Неожиданно для себя добавил:— Желаю счастливо вернуться.

— Спасибо! Постараемся!— бодро ответил Роман и пошел приглядеть за погрузкой коней в теплушки.

XI

Проводив Романа, старушка и необыкновенно молчаливый Ефрем Никитич стали собирать вещи. Анфиса сидела на скамье, безучастно смотрела на эти сборы. Всегда такая энергичная, она и пальцем не шевелила сейчас. Потом, будто проснувшись, сказала:

— Куда столько набираешь, мамонька? Сесть будет некуда.

Но старушке жаль было оставлять вещи «на разграбление»: каждая ложка-плошка нажита тяжелым трудом.

— Складем, сватья, все кухонно в ящик, а ящик спустим в подпол,— говорил Самоуков, видя, что груда вещей грозит занять целый воз.

— Найдут, сват, в подполе!

— Ну, в репну яму положим да засыплем.

— Докопаются!

— Тьфу ты!— рассердился он.— Другие всего лишаются, да помалкивают, виду не подают, а ты... Поди-ка, наши кулаки Кондратовы так над золотом не трясутся, как ты над расколотым горшком!

— Богатому жаль корабля, а бедному кошеля!— с тихим упрямством твердила старуха.

— Ничего этого не надо брать!— вдруг сказала Анфиса, подымаясь с лавки.— Шубы возьмем, одежу — и только. Подумай, мамонька, может, дорогой-то нас и обчистят, об чем спорить?

— Ладно, Фисунька, будь по-твоему: шубы да одежу... одеяла, подушки... Давай ставь самовар. Попьем да поедем с богом... Самовар-то возьмем, сват? Ужели и самовар оставим?

Уселись пить чай.

Еда не шла на ум, но уезжать, не подкрепившись, было не положено.

— Пей, любезный сватушка,— угощала старушка,— чего подгорюнился? Пей!

Молчал-молчал Ефрем Никитич, покрякивал-покрякивал и наконец заявил:

— Только, бабы, мы ведь не в Ключи поедем!

— Пошто не в Ключи? А куда?

— В Ключи ехать нам никак нельзя... прямо волку в зубы угодим! Надо нам пробираться в Лысогорск, к Фене. Моя старуха, поди-ка, уж там! Не хотел я Фисуньке сказывать, поскольку она на сносях, да и пришлось! В Ключах у нас дела неважные.

В селе Ключевском еще минувшей осенью беднота разогнала кулацкий совет, выбрала свой. Самоуков стал членом Совета. Выбрали и боевую дружину.

Дружина вчера ушла, и подкулачники сразу подня-

ли свои змеиные головы. Слетали за Кондратовыми, но приехал только старший. Люди слышали, грозился: «Самоукова живого освежуем, кожу снимем! У него зять шибко вредный и сам — вражина!»

Угрозам Самоуков не верил до сегодняшнего дня. Перед восходом солнца они поехали со старухой на покос, сгребли, скопнили остаток сена. Едут обратно, видят — в селе пожар.

А от поскотины навстречу им бежит Романова тетка, и от страху у нее зуб на зуб не попадает.

— Ой, сватушко! Не езди! Твой дом горит, и бела армия что есть никому тушить не дает... Грозятся тебя в огонь бросить.

— Кака-така бела армия? Откуда взялась?

— Тимка-палачонок привел артель. Не езди, сватушко!

Старик рассказывал спокойно, как о чужой беде, но под конец не выдержал, заплакал.

Анфиса сказала:

— Говори, тятя, всю правду! Мама не жива?

— Жива, жива! Бог миловал!

— Ну и хорошо! Лишь бы всем живыми остаться... Запрягай Бабая-то!

Заперли дверь на висячий замок. Забивать гвоздями не стали, чтобы Ерохины не услыхали. На мостик у ворот Анфиса бросила рогожу, чтобы не застучали по дереву колеса. Ефрем Никитич вывел лошадь, повел под уздцы по улице. Анфиса со старухой шли крадучись возле дома. Потом свернули в переулок и все уселись на телегу.

Вдруг старушка тихо охнула:

— Батюшки! Иконы-то я оставила! Воротиться бы, сватушко!

— Выбрались, никто не видал — и будь довольна, сватья!

— Да там мои венчальные свечки... и Фисины...

Ефрем Никитич не ответил, взмахнул вожжой, Бабай перешел на рысцу.

Так они ехали некоторое время, сворачивая из улицы в улицу, и с великим страхом приблизились наконец к выезду из города. Нарочно выбрали дорогу не трактовую, а малую, по которой ездили только угольщики да мужики на свои покосы.

И вот темный, затихший Верхний поселок остался позади, а впереди зачернел лес.

Проехали мимо заброшенного куреня, где еще недавно работали углежоги. О их работе напоминал только легкий запах пожарища.

Торная дорога кончилась. Узенький следок круто повернул влево.

Ефрем Никитич остановил лошадь и призадумался.

— А как да она уведет нас в другу сторону? Нам доехать бы за ночь хоть до Казенного бора, схоронились бы на день... Я там все места знаю, и полесовщик мне знакомый.

Старушка сказала:

— По этой дорожке как поедешь, сват, упрешься в зады Грязнухи-деревни.

— Оо! Это нам фартнуло, сватья, если так! Из Грязнухи я путь в Казенный бор знаю!

Дорога до Грязнухи была так узка, что ветки хлестали по дуге, а телега кренилась, наезжая на придорожные пеньки.

Анфиса терпела-терпела и не выдержала — застонала.

— Тятя! Шагом бы... трясет шибко!

— Нельзя, дочь, шагом! Терпи. До свету надо в Казенный лес. Ободнюем там, отдохнешь.

Восток начал светлеть. Далеко-далеко на этой светлой полосе обозначился круглый лесистый холм.

— Ох, не могу больше! — сказала Анфиса слабым голосом.

Отец не ответил, стал торопить лошадь.

— Сват, знать-то, ее схватило! Что станем делать?

— Что делать? Ехать! — ответил старик, не оборачиваясь. — Ты бы легла, Фисунька, может, легче будет.

— Чего уж легче... смерть моя!

Свекровь начала растирать ей поясницу.

— Не тронь, мамонька!.. Лучше не тронь...

Старик погонял Бабая, сидел, как истукан, не поворачивал головы. Сердце у него ломило от жалости.

Въехали в лес. Бабай пошел шагом, да и то через силу, Ефрем Никитич спрыгнул с телеги.

— Слезай-ко и ты, сватья! В гору-то ему тяжело!

Вдруг из темноты раздалось:

— Стой! Стрелять буду!

Самоуков с такой силой натянул вожжи, что Бабай попятился.

— Куда? Стой, тебе говорят!

— Стою! Стою!— повторял Самоуков.— Побойся бога. В кого хочешь палить? В старика, в старуху да в родильницу?

— Кто такие?— спросил вышедший на дорогу человек с винтовкой.

Ефрем Никитич молчал. Если это красные — хорошо, преотлично... А вдруг да беляки?

— А вы сами-то кто такие?— спросил старик.

Из-за дерева вышел второй, уставил на Самоукова наган.

— Сознавайтесь, кулачье проклятое: добро повезли хоронить? Ишь, прихрюнились, на одной лошаденке плетутся!

Самоуков так обрадовался, что долго не мог слова сказать.

— Товарищи! Бог послал!.. У меня мандат... я на платформе!

— Марш за мной!— сурово сказал первый боец.— Там разберемся, на какой ты платформе!

— Разберемся, разберемся!— поддакивал Ефрем Никитич, оживившись.— А это, на возу-то, дочь... Может, слыхали Романа Яркова? Его жена... а старуха — мать Романа... он зять мой...

Они двинулись в гору: Самоуков вел Бабая, за возом шла спотыкаясь старушка, за нею боец с винтовкой. Скоро на светлеющем небе обрисовалась ажурная деревянная вышка. На вышке стоял часовой в шинели. Избушка полесовщика в два оконца приткнулась между соснами. Витой плетень огораживал двор. Во дворе стоял тоже сплетеный из виц небольшой хлевушок.

Красноармейцы проверили документы, расспросили полесовщика о Самоукове и успокоились. Ефрем Никитич распряг Бабая, пустил его на волю. Низенький, плечистый полесовщик стал кипятить самовар, спускал в трубу вместо углей сосновые шишки.

Анфиса, сдерживая стоны, направилась в лес... свекровь остановила ее.

— Прости ты нас, Иван Матвеевич,— трясясь от волнения, говорила она полесовщику,— привезли тебе беспокойства-то... Не обессудь... Местечко бы ты нам

отвел какое... Так ведь и говорится, что, мол, родить — нельзя погодить!

— Вот беда! — сказал старик, почесывая в голове.— Бани-то у меня нету-ка!

— Да хоть в хлевушок бы... в пригончик...

— Это можно.

Старики накосили в две литовки травы, устроили в хлеву постель...

Потом Ефрем Никитич ушел в лес, лег ничком, зажал уши.

— Ты кричи, Фисунька! Кричи! — просила свекровь.— Кричи — легче будет!

— Стыдно, мамонька...

Взошло солнце, поднялось, встало над головой... а Фиса все еще мучилась. Полесовщик каждый час доливал да подогревал самовар, чтобы была горячая вода обмыть ребенка. Ефрем Никитич вышел из леса, но есть не стал. Сходил на ключик, наносил в кадушку воды, напоил Бабая и опять ушел в лес.

Часу в четвертом глухие стоны в хлевушке прекратились, послышался плач младенца.

— Сын! Здоровый, как мякиш! — объявила бабушка и положила деду на руки ребенка.— В вашу породу, однако, издастся... такой же кудряш-бодряш!

Бойцы советовали не задерживаться. Белая армия близко, может пересечь Кислинский тракт. Тогда в Лысогорск не попасть.

Переночевав у полесовщика, утром выехали на тракт. Проехали одну деревню... другую... Деревни эти полны были шума и движения — в них стояли красноармейские отряды. Окаймленный огромными вековыми березами тракт лениво извивался по скучной местности, заросшей невысоким сосняком и ельником.

Вечером пала роса, и Кислинский завод выступил из тумана, как из моря: четыре белые церкви, белая наклонная башня с большущими часами, которые в старину, говорят, «играли музыку». Чугуноплавильный и железоделательный Кислинский завод стоял. Трубы безжизненно чернели в тумане. Здесь у Ефрема Никитича много было знакомцев. Заехали они к сундучному мастеру, который к Фисиной свадьбе изготовил горку сундуков, покрытых жестью «с морозом».

Утром выехали до света, потому что у хозяина сена

не было и Бабай за ночь отощал. Через несколько верст съехали на проселок и остановились у речки.

Анфиса села на бережок, дала сыну грудь.

Последний день пути выдался тяжелый. Навстречу шли и шли отряды. Ефрем Никитич сворачивал в канаву, пережидал. Было страшно жарко. Анфиса чуть не задушила своего Борю — укрывала, чтобы мальчик не наглотался пыли.

В Лысогорск приехали поздно вечером. Их несколько раз останавливали в городе патрули, проверяли документы.

Как сквозь сон, видела Анфиса неясный отсвет пруда, громаду Лысой горы, господский дом с колоннами, длинную церковь напротив, неподвижные фигуры памятника Сан-Бенито, черные трубы умолкшего завода.

Проехали по плотине. Пошли здесь улочки с маленькими домами, как в Верхнем поселке. На душе стало повеселее... Вот и Феклин домок, обшитый тесом, приукрашенный любовно руками Митрофана.

На стук выбежала Фекла и, не отпирая ворот, спросила:

— Не ты ли это, родимый тятенька?

— Отпирай, свои! — отозвался Самоуков.— Привез тебе гостей целый воз. Дорогого гостенька привез старухе своей — Бориса Романовича!..

XII

Анфиса так устала, что только бы ей голову до подушки донести... Однако крепким оказался только первый спень, как у них в деревне называли первый сон. Лежа в полудремоте на Феклиной двуспальной кровати в боковушке, она прижимала к себе Борю — оберегала от племянника, спавшего у стены. Трехлетний Тюшка спал неспокойно.

Ефрем Никитич с Феклой вышли дать корму Бабаю. Мать, оставшись вдвоем с Фисиной свекровью, растужилась:

— Куда мы свои головушки приклоним, сватьюшка?

Как бы в ответ на эти слова послышался голос Феклы — она убеждала Ефрема Никитича, что Митрофан всех их оставит у себя.

Шагнув через порог, Ефрем Никитич сказал жене:

— Слышишь, мать, что Феня говорит? Не знаю, как тебе, а мне жить у Митрохи — против совести...

Фекла заплакала:

— Мне-то муж простил, тятенька с мамонькой... только ты, родимый тятя, не прощаешь, укоряешь.

— Я и не должен прощать: я тебя воспитал, с меня взыск... А разве я когда учил тебя худу?

Старушка Яркова вступила в разговор:

— Сватушко! Простил бы дочь-то! Она свой грех кровавыми слезами оплакала, я — свидетель, как она себя казнила... да еще, поди, муж взбутетенькивал сколько времени... Пожалей!

— Муж не потрогал! — громко сказала Фекла.— Тятя, послушай! Подивись на моего Митрофана... может, сердце твое отмякнет!

И она начала рассказывать тихим, дрожащим голосом:

— Житье мое, пока Митроша не пришел, было ужасти подобно... вы от меня отказались, народ смеется... И вот... помню, как сейчас... в воскресенье... только дожжичек прошумел, солнышко воссияло — стук-стук под окошком... Соседка... «Фекла! Ничего не знаешь? Митрофан идет! Сейчас будет! Жди!» А я схватила Тюшку, не знаю, куда деваться: то ли топиться бежать, то ли спрятаться куда. Тятенька сидит — почернел весь. У мамоньки зубы чакают. Она зачем-то стала лампадку зажигать...

И вот идет мимо окошка мой Митрофан: в казинетовой визитке, в белой шапочке, все неруськое... Идет, голову повесил,— ему ведь та же самая соседка сразу же и наязычила на меня! Идет он, ступя не ступя. Мы никто навстречу ему не бежим. Вот уж и на крылечко взошел... грязь с сапогов скребком обдирает... Стоял, стоял... Мы затаились, не дышим, а он все чего-то думает. Как зашел в избу, забилась я в угол.

А он сел с приходу на лавку, не поздоровался, захватил вот так вот голову: «Сняла ты, Феня, с меня головушку!»

Я говорю невнятно: что, мол, ты хочешь, то со мной и делай, воля, мол, твоя. Он посидел, помолчал... «Да ведь что с тобой делать-то?»

А Тюшка вырвался от меня, подбегает к тятеньке,

к свекрушку моему, сует ему в руки баклушечку, говорит: «На, тятя, на! Я кинулась, ловлю Тюшку за подольчик, увести его с глаз долой подальше... А Митрофан вдруг говорит: «Учи его меня тятей звать».

Последние слова она произнесла благоговейным шепотом. Наступило молчание. У Анфисы весь сон прошел. Она лежала, дивилась: «Вот какой, оказывается, Митрофан-то! Как это он мог переломить себя». Анфиса перебирала в памяти известные ей случаи, когда солдат, возвратившись, узнавал, что жена без него согрешила. Один выгнал свою жену, другой бьет смертным боем, а то, бывало, и совсем убивали...

Кто-то властно постучал у ворот, и Фекла, сказав: «Митроша!» — легко, как на крылышках, полетела отворять. Слышно было, как она торопливо рассказывала, что приехала к ним родня...

Властные, четкие шаги зазвучали в сенях. В горницу вошел рослый Митрофан.

— С приездом, тятенька и сватьюшка! — сказал он, сдерживая свой густой голос.— Милости просим! А Анфиса Ефремовна где? Здорова ли?

— Спит...— робко, искательно ответил старик.— Уж прости, наехали... беда пристигла... Квартеру найдем, ослободим, Митрофан Спиридонович.

— Тятенька,— строго сказал Митрофан,— о квартере не поминай! Или и вправду ты нас за родню не считаешь?

— Спасибо тебе, Митрофан Спиридонович, за доброту твою... Давай, нето, рассказывай о своих делах. Фекла говорит, ты в отряд записался. Не боишься свою семью осиротить, как наш Роман Борисыч?

— Я знаю одно: надо защищать революцию от белых гадов.

— Мы ехали — видели: окопы роют... видно, ждете гостеньков?

— Ждем,— ответил Митрофан.— Гостинцы им готовим! — добавил он с угрозой.

В сентябре вторая дивизия с боями отошла к Лысогорску. Командование знало, что стоит врагам захватить Лысогорск, и они отрежут первую дивизию, «запрут» ее в районе Восточной железной дороги... Третья

армия резервов не имела, и гибель двух дивизий была бы страшной катастрофой.

Всего этого не знал и не мог знать рядовой боец Митрофан Бочкарев, но чутьем бывалого и умного солдата он угадал, что опасность нависла большая, и не скрыл это от родных.

— Как начнется орудийный обстрел по Лысой горе, залазьте все в погреб и носу оттуда не показывайте! А я больше пока домой приходить не буду, отлучаться из казармы нельзя.

И вот вражеская дивизия Войцеховского, при десяти орудиях и двух бронепоездах,— по линии, по шоссе и по лесам навалилась на Лысогорск.

Бой начался на рассвете. От близких разрывов заходила под ногами земля. У Бочкаревых в доме все переполошились, побежали в погреб... только Анфиса спряталась с Борей за печку, боялась она простудить малыша. Увидев, что любимой дочери нету с ним, вылез Ефрем Никитич. А за ним и Фекла, и старушки выползли на белый свет. В погребе, в темноте, было страшнее...

Вражеская артиллерия била все ближе... Но и своя батарея на Лысой горе не дремала — палила и палила!

Но вот орудийные выстрелы умолкли, и слышно стало пулеметную стрекотню... даже отголоски «ура» долетели до слуха. Фекла помертвела.

— Знать-то, сюда их допустили! Знать-то, в Голяцком палят... Ох, не видать мне Митрошу! Отступил! Меня оставил!.. Побегу узнаю...

Выскочила за ворота и оробела: улица была совсем пустая, а на дороге ни с того ни с сего пыль взвилась облачками. Почему-то страшно стало ей от этих беззвучных вспышек.

Мимо шел раненый красноармеец с рукой на перевязи. Разорванный рукав болтался.

— Дяденька, милый, неужто наши подались? Отступили?

— Дай мне пить, молодушка...

Фекла притащила туесок с квасом, напоила раненого. Он сказал:

— Не робей, тетка! Гадов мы понужнули, теперь бегут от Лысой от горы!

Пыльные облачка больше не взлетали над дорогой.

Стрельба стала затихать. «Да ведь это пули были!» — в страхе подумала Фекла.

Анфиса сказала ей:

— Давай, Феня, вытащим бочонок на улку, может, пойдут еще раненые или вообще бойцы, пить запросят.

Сестра с радостью согласилась: нет того хуже, как сидеть без дела, когда другие жизнь свою на кон ставят.

Ефрем Никитич тоже вышел за ворота.

— Слушайте, девки! Не буду я сидеть, как запечный сверчок, пойду на позицию! Что в самом-то деле... не баба ведь я!.. Пойду!

Он ушел, а через час возвратился сердитый.

— «Сиди дома, дед!» А? «Сиди дома, дед!» — возмущенно повторял он сказанные кем-то слова.— Окопы рыл, так «молодцом» был!.. а теперь «дед»! Погодите, ужо я вам докажу, какой я дед!..

Ночью забежал Митрофан.

— Наклали им, не скоро сунутся! — говорил он охрипшим веселым голосом.— Прохвастались со своим бронепоездом!

— А что?

— А то! Наша артиллерия издали не берет... в атаку идти на бронепоезд — много своего народа лягет... А у линии-то кустарничек стоит... кустики... Командир говорит: «Товарищи! Хотя бы две пушечки подтащить к линии! Незаметно!.. Есть охотники?» — «Как не быть?» — отвечаем...

— И ты пошел?!

— Пошел, Феня!.. Подтащили... Да прямой наводкой! Да как зачали-почали! Смотрим — он и кувыркнулся, ноги кверху!

— Бронепоезд?

— Ага! Вот это подняло у нас дух!

...После двадцатидвухчасового боя растрепанную, разбитую вражескую дивизию отбросили на двадцать верст от Лысогорска.

Об этой победе напечатали в газетах. В частях Красной Армии и заводского отряда перед строем зачитали телеграмму ВЦИК, подписанную Свердловым.

— Он горячий привет нам послал,— рассказывал до-

ма Митрофан.— Вы, говорит, доблестно сражались за торжество социализма!.. В девятьсот пятом я совсем еще зелень-парнишка был, когда товарищ Свердлов приезжал в Лысогорск... а зажмурю глаза — так его и вижу! Мы на шихане собрались, все рудничные... и заводские подошли... Помню, он выступал... и так тебя за живое забирает!..

— Как ты думаешь, Митроша, белы-то больше не придут? — спросила Фекла.

— Лешак их знает,— отвечал Митрофан, любовно глядя на жену,— ровно бы и не должны... Одно знаю — увольнения нам пока не дают, что, мол, можете идти к своим бабам, только утром будьте в казарме.

Дождливый день. У стариков все ноет и болит, ребята хнычут и уросят. Тошно глядеть в рябые окна на желтую грязную дорогу, на пустые разоренные гряды в огороде с гнилой ботвой в бороздах. Анфиса растосковалась о своем Романе. У Феклы глаза на мокром месте: запоговаривали об отступлении и о том, что противник идет в обход.

— Германия с Австрией покорились, развязали руки Антанте, она против нас и поперла,— объяснял Митрофан,— хочет нас подмять.

...Фекла ходила от окна к окну, не один раз выбегала за ворота. Наконец увидела высокую фигуру мужа... Побежала к нему под дождем. Он укрыл ее полой шинели.

— Почему-то сердце у меня неспокойно, Митроша,— говорила она, прижимаясь к мужу.— Боюсь я чего-то, сама не знаю.

— Значит, вещун — твое сердце... Отступаем.

— А я?

— Ехать надо, Феня.

— А Тюшка?

— Можно у родителей оставить.

— Не оставлю,— тяжело задышав, сказала Фекла.— Его не оставлю и от тебя не отстану. Гинуть, так вместе!

— А не простынет он дорогой?

— Не маленький!

Тюшке только что исполнилось три года.

Муж и жена вошли в горницу. Фекла громко и, как показалось всем, весело сказала:

— Ну, дорогие родители, домовничайте тут. Мы с Митрошей отступать будем.

И, предоставив Митрофану отвечать на расспросы, начала собираться.

Митрофан наказывал тестю, как им жить: на какой делянке дрова заготовлены, кто может указать ему покос, когда потребуется за сеном ехать.

Самоуков слушал, слушал и вдруг перебил зятя:

— Что ты мне расписываешь, где что? Я не отстану, я с вами поеду.

— Подумай сам, тятенька: Фису, мамашу, сватью, Борьку с кем оставишь? С моими? Тятя мой на ладан дышит... и кто об них всех позаботится?

— Всех заберу! На телегу ссажу — и айда!

— Боря мой не выдюжит... и мама, и мамонька...— тихо сказала Анфиса.— Вон какую падеру несет! — и она кивнула на окно. Стекла запотели. Косыми струями падал дождь, смешанный с ледяной крупой.— Езжай, тятя, одни проживем...

— Нет, так не выйдет,— сказал старик.— Придется, видно, с белыми гадами оставаться... Роман приедет, спросит: «А мой старикан бабьим пастухом сидел, пока я воевал?» Придется, видно, ответить: «Так точно, зять... просидел!» Что другое ему скажу? Хвалиться-то нечем будет.

— «Нет,— скажешь ты Роману Борисовичу,— не на печке я грелся...» — начал Митрофан каким-то особенным, значительным тоном.— Ты скажешь: «Поручил мне другой-то мой зять дело опасное и нужное... Это дело я и делал».

— Зачем я ему врать стану?

— Врать не придется, тятенька, если согласишься. Воевать ты не можешь — стар, изробился... а в тылу у врага орудовать можешь вполне.

Молчание.

— Удивил ты меня,— сказал в раздумье старик.— Никогда я об этом не думал, что на линию политики встану... Ну, что же, зять... По рукам!

И он сильно ударил по широкой ладони зятя.

Смеркалось. Крупа повалила гуще. Дрожащий белесоватый сумрак стоял в горнице. Вскипел самовар. Ан-

фиса заварила сушеный брусничник, поставила на стол горшок с горячими репными паренками, стала резать хлеб.

Вдруг стукнули ворота. Сквозь дрожащую белую сетку видно было: высокая тонкая женщина в черном пальто и черной маленькой шляпке прошла по двору. Митрофан сорвался с места, кинулся навстречу.

Женщина вошла и остановилась у порога, сбивая перчаткой крупу с плеч и рукавов. Чертами лица она напоминала кого-то Анфисе: знаком был и прямой нос, и красивый рот, и бледные щеки, и нежный подбородок... Но ни у кого не было таких черных волос, спускающихся полукружиями на уши, таких гордых смоленых бровей...

Незнакомка подняла синие глаза.

— Маруся! — закричала Анфиса.

— Меня зовут Ольга Назаровна,— ответила женщина строгим голосом Марии Чекаревой,— я жена прапорщика Лугового.

И она крепко обняла подбежавшую к ней Анфису.

— Ольга Назаровна, будьте как дома,— с уважением сказал Митрофан.— Захотите, здесь поживете, нет — папаша отведет вас к Вагановым. Но, я думаю, здесь вам будет спокойнее. Фису и сватьюшку лучше меня знаете... Вот познакомьтесь с моим тестюшком... я говорил с ним... Он готов.

— Я тоже готова! — порывисто сказала Анфиса.

XIII

Делегаты Третьей всесибирской конференции подпольных большевистских организаций разъезжались из Омска по домам.

Носильщик купил билет и усадил Марию Чекареву в вагон третьего класса... Соседи ее подозрений не вызвали. В отделении кроме нее ехали похожий на раскольника бородатый строгий старик с женой, смешливая барышня, два солдата да какое-то мещанское семейство, загромоздившее своими вещами и багажные полки и проход между скамьями.

Так, в тесноте, в шуме и в махорочном дыму, она ехала, то засыпая, то просыпаясь. Большая часть дороги осталась позади, и все было благополучно.

В полдень Мария решила выйти на вокзал, подышать серым мартовским воздухом, да и продукты кончились. Она купила у торговки бутылку молока и крестьянских пирогов с морковью.

На перрон в это время вышла подгулявшая компания офицеров. Мария узнала Солодковского и заторопилась в свой вагон... как вдруг какой-то толстяк с чемоданами и заплечным мешком толкнул ее, пробегая,— и сверток с пирогами упал прямо перед Солодковским. Тот занес было ногу — отшвырнуть, но взглянул в лицо Марии и сразу подтянулся. Поднял сверток и, козырнув, почтительно подал. Она холодно поблагодарила. Быстро, легко взбежала по ступенькам,— Солодковский успел, однако, поддержать ее под локоть.

Слышно было, как офицеры шутили над Солодковским, советовали ему «пренебречь вторым классом и ехать с таинственной незнакомкой».

— А хороша, правда? — говорил Солодковский.— Где-то я ее видал...

«Надо взять чемодан и сойти здесь... дождаться следующего поезда!» — думала Мария с внезапным волнением... Но, пока пробиралась она к своему месту, поезд тронулся.

До Перевала оставалось двенадцать часов езды.

Миновали разъезд, станцию... еще два разъезда... Солодковский не показывался. Мария успокоилась и перестала думать о неприятной встрече. Задремала, откинувшись в угол.

Ее разбудило предзакатное солнце.

Поезд стоял на маленькой лесной станции. Небо было чистое, глубокое, сосульки весело искрились...

— Мадам! Простите...

Только привычка к постоянной опасности помогла ей удержать на лице выражение безмятежного покоя. Мария не вздрогнула, не изменила положения.

— Что вам угодно?

— Простите, мадам, мне кажется, мы с вами встречались...

Солодковский стоял, почтительно склонив голову и прижимая к груди фуражку. Выпуклые глаза настойчиво искали ее взгляда.

— Нет, не встречались,— сказала Мария равнодушно.

И отвернулась к окну.

Всего труднее было сохранить ровное дыхание,— сердцебиение усилилось. «Постоит-постоит и уйдет! Не буду оборачиваться!.. Можно не отвечать... что удивительного — женщина не любит дорожных знакомств...»

Она услышала сдержанный вопрос Солодковского:

— Можно присесть? Это место не занято?

И грубый, отрывистый ответ старика:

— Видите — свободно!

Смешливая барышня слезла со своей верхней полки, села рядом с Марией. Солодковский заговорил с нею. Она охотно отвечала...

Мария закрыла глаза, но, как назло, контролер пошел проверять билеты, и пришлось «проснуться».

Солнце уже зашло. В фонарике над дверью зажгли свечу. Сумрак укрыл Марию.

Подавшись к ней, Солодковский сказал проникновенно:

— Если бы вы знали, какое светлое видение вы мне напомнили!

— Я вас не знаю,— сухо ответила Мария.

— Но я знаю вас!

Она пожала плечами.

— Каштановые волосы... гордые плечики... Щеки пылают... глаза... Горделивая поза... бесстрашное лицо... В заплеванной, страшной комнате — видение!

«Узнал!»

— Вы бредите, господин офицер.

— Может быть... Мария...

— Меня зовут не Мария.

— А как?

— Я не говорю своего имени случайным... дорожным спутникам,— сказала она.

— Я узнаю ваше имя! Вы в Перевал едете, я видел ваш билет. Я не отстану...

— Меня встретит муж,— холодно сказала Мария.— Он не любит навязчивых людей.

— Кто ваш муж?

— Офицер.

— Его фамилия?

Мария не ответила.

— Пристал, как банный лист,— проворчал старик

в пространство,— есть люди, хоть по лбу их бей... Охо-хо!

Солодковский поднялся. Козырнул:

— Итак, до свидания в Перевале!

Сильный свет вокзальных фонарей ударил в окна. Все засуетились: Перевал был конечным пунктом.

Мария быстро прошла через площадку в ближний вагон, потом во второй, в третий и только тогда спустилась на перрон. Огибая здание вокзала, увидела — Солодковский, не дождавшись, лезет в опустевший вагон. Сейчас он поймет, как она схитрила, и бросится вдогонку.

Не торгуясь, взяла извозчика.

Не надо было ей оборачиваться!.. Он растерянно искал ее. Их взгляды встретились.

— Куда везти? — спросил извозчик.

— Дом Бариновой!

Мария надеялась: Баринова в это время спит. Дворник, старик Елизар, поможет... проведет через сад в переулок.

Мария долго стучала у ворот. Она убедилась теперь в настойчивости Солодковского. Сквозь голые кусты палисадника видно было извозчика на углу.

Наконец хлопнула кухонная дверь. Захрустел под ногами ледок. Незнакомый женский голос приказал собаке: «Цыц!» — спросил:

— Кого вам надо?

— Олимпиаду Петровну... «В крайнем случае — на испуг ее возьму... трусиху!»

— Оне спят. А вы кто такие?

— Племянница... Вера... из Барнаула...

— Да господи! А оне горевали, что вы при смерти!

Лязгнул замок. Упала цепь. Отодвинулся засов. Ворота приоткрылись.

До боли знакомый двор... амбары... крыльцо... полоса света из кухонного окна...

— Заприте ворота,— приказала Мария.— Я подожду.

Она слышала воровские шаги Солодковского.

«Поверил? Знает, что Чекаревы жили здесь? Уедет?..»

Но извозчик по-прежнему стоял неподвижно.

Женщина задвинула засов, вложила в кольца дужку висячего замка, дважды повернула ключ.

«Не входить в дом, через сад бежать... Но нет, она крик подымет! Будь ключ от калитки!.. Через стену с чемоданом не перелезть! Бросить его? Нельзя! Надо сохранить литературу!»

— Что же вы? Пожалуйте!

В сенях Мария сказала:

— Тетушку не будите. Не надо ее тревожить. Постелите мне в гостиной. Есть я не хочу.

— Что вы! Как можно!

— Не надо ее будить, а то она потом всю ночь не заснет... Знаете, как с ней бывает?

— Ох, знаю!

Стараясь не шуметь, вошли в кухню, и Мария пристально взглянула на кухарку: молодое, простодушное лицо, грустные глаза...

Взяв ее за руку, Мария прошептала:

— Не пугайтесь и не кричите! Ни звука! А то погибнет много людей... Только не пугайтесь!.. Я не племянница.

— Ой-еченьки.

— Тише, прошу вас! Зла я не сделаю! Елизар где? Дворннк?

— По... помер...

— Во флигеле кто живет?

— Никто не живет... но у нее, у самой-то, риварверт под подушкой.

— Не хотите вы понять меня! Не собираюсь я разбойничать... сама от разбойника спасаюсь. Через ворота я не могу выйти, там караулят. Помогите мне...

— Ой, господи, да как?

— Приставим лестницу в саду к стене...

— Грех, поди, на душу возьму?

— А каково вам будет, если меня убьют?

— Да за что вас убивать, если вы не... это самое?

— А теперь разве все только виновных убивают?

Кухарка вздохнула.

— Вы из бедной семьи... трудящаяся женщина... и не знаете, как без вины убивают?

— Ой! Знать-то я поняла! — всплеснула она руками.

Находясь целыми днями в Перевале, Мария сняла квартиру в привокзальном районе, в избушке у Нюры Песельницы. Домишко построен был на деревенский лад: сени отделяли кухню от горницы.

Хозяйка работала в кустарной гранильной мастерской. Родных у нее никого не было, кроме старухи тетки, которая жила в богадельне.

Мария относилась к ней ласково, уважительно. Жили они дружно.

«Домой, домой! Вот денек выдался! — и Мария поспешно шла по затихшим ночным улицам...— Нет, что за невезение! — подумала она, увидев сквозь щели ставня свет в своем окне.— Обыск, что ли?!»

Постояла у окна, послушала... тихо! Не брякнув щеколдой, тихонько вошла во двор. Нюра еще не спала,— сидела в кухне у стола, подперев руками голову. Как будто никого чужих нет!

Мария вошла в кухню.

— Нюра! Здравствуй! Кто у меня там?

Серое плоское лицо хозяйки похорошело от доброй, радостной и грустной улыбки.

— Здравствуешь, Ольга Назаровна! К тебе гостенька добрым ветром занесло.

— Кого?

— А кого сердцу надобно? Муж твой.

— Нет, Нюра... не шути! Как он назвался?

— Прапорщик, говорит, Луговой... муж Ольги Назаровны.

— С кем он пришел? В чем он одет?

— Один... в пальте... Такой большой мужчина, глазастый...

— Нет, нет, нет,— твердила Мария, решительно направляясь в горницу,— конечно, не он! Я и огорчаться не буду, ведь я знаю, что ему нельзя быть... Нет, нет, глупо надеяться...

Она вошла.

— Сережа!

И распахнула объятия.

Погасли огни во всех ближних домишках. Нюра заснула. Погас огонь и в маленькой горенке.

— Нет, нет! Я здорова! Бодра! — отвечала с преж-

ним счастливым смехом Мария на расспросы мужа.— Ну расскажи, как ты жил, Сережа, все расскажи!

— Прежде ты, моя Маруся! Золотое ты мое солнышко...

— Нет, уже не золотое,— со счастливым смехом шептала Мария, ласкаясь к мужу,— твое солнышко перекрасилось, стало чернявое... Теперь уж я — черна ноченька!

— Дня не было, чтобы не думал о тебе...

— А я о тебе!

— Ты сюда приехал на работу? — спрашивала Мария, положив голову мужу на грудь.— Давай рассказывай...

— Яков меня в Лысогорск направляет.

— В Лысогорск... Хорошее там тебе осталось наследство! Знаешь, кто там работал? Твой тезка... Лука.

— Работал? Как ты странно сказала... А теперь?

— Его расстреляли, Сережа... Но организация жива. Вот было восстание мобилизованных... большое!

— Если там хорошо поставлена работа, зачем мне ехать?

— Яков рассказывал тебе о наших делах?

— Рассказал. В общих чертах... Нам помешали сегодня... Ты, оказывается, член бюро?

— Да... потому и разъезжаю все...

— Какие новости привезла ты с конференции? — расспрашивал Сергей.— О чем говорили?

— О подготовке восстания, конечно...

И жена с увлечением начала ему рассказывать о партизанских отрядах на Южном Урале, о работе среди мобилизованных, о технике, о том, как создаются запасы оружия.

— Народ кипит! Знаешь, сколько в одной нашей губернии замучено и расстреляно? По неполным сведениям, не меньше двадцати двух тысяч человек. Заводы разрушают, увозят оборудование. Этот стервятник Колчак больше трех миллионов пудов одного золота выкачал из Урала и Сибири... роздал своим иностранным хозяевам. Не говоря уж о продуктах, пушнине. Раздает направо и налево концессии. Рвут нашу землю на части!

Разговор пошел о жизни в Перевале.

— Слышал, здесь свое «правительство» было? —

Мария сердито рассмеялась: — Скоморохи!.. Смешно и противно: даже закон был издан о... флаге Урала!

— О государственном флаге?

— Сказать «государственный» все же не посмели, написали «отличительный знак»... Шуты!.. Охлопков был министром горных дел, Полищук — управделами совета министров...

— Теперь «правитель» им прищемил хвосты?

— Как сказать?.. Охлопков наверху — он «уполномоченный» верховного правителя. Его помощник, полковник Стефанский — страшная дрянь, мерзавец, связан с контрразведкой... Ты знал, Сережа, соседа Ярковых, Степку Ерохина? Знал? Да? Представь, это теперь страшное имя в Перевале! Подобрал себе полсотни головорезов... Это как бы филиал контрразведки... Да, я ведь Колчака видела!.. Приезжал сюда...

— Расскажи...

— На стервятника походит... горбоносый... с такими вот большими глазами, застывший какой-то... мрачный... Рассказывают, что говорит «красиво и литературно»... Но хватит о них! Об Андрее расскажи, как он живет.

— Не знаю, Маруся. Виделся я с ним перед отъездом, указания получил... тебе он шлет привет!.. Он готовит восьмой съезд партии... Мне он показался нездоровым... а может, просто устал,— он только что с Украины вернулся и всю дорогу работал в поезде.

Чекарев не подозревал, что его встреча с Андреем была последней. В то время, пока Сергей пробирался через линию фронта, Яков Михайлович Свердлов, первый председатель ВЦИК, сподвижник Ленина, боролся со смертельной болезнью, доживал последние дни.

— Илья не знаешь где? — спросила Мария.

— Илья пропал без вести после первого же боя... Я надеялся вместе с Ириной, что он здесь, в тылу... Сейчас начинаю побаиваться: ладно ли с ним? Может, в тюрьме, а может...

Сергей глубоко вздохнул.

— Маруся! Даже подумать страшно, если... Он должен жить! Но он такой стал слабый, худой... Нет, я боюсь, боюсь за него!

— Роман как?

— Роман? Комиссар полка!

— Ну?!

— Да... А как его семья, Маруся? Ерохин не сцапал? Живы?

— О, еще как! Анфиса и все они в Лысогорске. Анфиса и ее отец — полезные в подполье люди... бесстрашные!.. А правда, Сережа, что Данило Хромцов убит?

— Правда, Маруся...

В щели ставней виднелись уже полоски белого дня. Нюра проснулась в своей кухне, а муж и жена все еще говорили...

XIV

Убедившись, что незнакомка осталась у Бариновой, Солодковский поехал домой к дяде.

Дом Охлопковых был весь освещен, Вадим с досадой вспомнил, что сегодня именины тетки. «Придется расстаться с одной из польских вещичек!» — он имел в виду драгоценные безделушки из разнесенной снарядом ювелирной лавки.

Вадим Солодковский жил теперь опять в своей прежней комнате, а Августа с маленькой Кирой — в своей. Только Люси и не хватало, а то бы вся семья была в сборе. Дядя не пускает на глаза зятя, а Люся неожиданно проявила характер — не приходит. Вероятно, и поздравление матери прислала с посыльным.

Судя по удрученному лицу тетки, так это и было, Вадим знал, сколько надежд возлагала именинница на этот день: «Люся придет, и они с папой помирятся!» Тетка с трудом скрывала свое разочарование и горе под неестественной улыбкой.

Общество собралось большое. Самая верхушка была здесь. Охлопков как-то пресыщенно поглядывал кругом и разговором удостаивал немногих.

Вадим послонялся по комнатам, представился кому следует, почтительно поговорил с пожилыми дамами и остановился в дверях гостиной, где собралась молодежь, прислушиваясь к негромкому говору и смеху.

«Ого! Катюшка голову Стефанскому пытается завертеть! Дурочка!»

Катя Албычева, в золотистом под цвет волос креп-

дешиновом платье, выделялась из всех барышень. Дерзкая, быстрая, она глядела на Стефанского с почти неприличной настойчивостью. Вертелась на месте: то ножку выставит, то оборку одернет, то тряхнет головой, отбросит локоны. Кивком подозвала к себе Солодковского:

— Вот Вадим нас рассудит! Он — знаток!

— Катя!

И Стефанский склонился, умоляюще заглянул девушке в глаза.

— Не показывать? — с гордым вызовом спросила она и подняла лицо почти к самым губам Стефанского.

Достала из-за корсажа листок с золотым обрезом.

— Вот, Вадим, смотри! Полковник Стефанский поэт! Это следует напечатать! Да?

Вадим прочел:

Кате

Сегодня веяло весенней влажностью,
Весенней мягкостью, всегда волнующей...

После пейзажа шли речи о «миражных снах», о «страсти безбрежной» и о «грусти безнадежной» — словом, признание в любви по всей форме.

Самолюбивая Катя пылала... Солодковский не жалел ее. Даже злорадная мысль пробежала: «Учить надо таких дур! Пусть обожжется! Сюрприз будет ее высокомерию — тетке Антонине!»

— Замечательно! — сказал он.

Смешливые искорки запрыгали в карих глазах Стефанского.

— Вы мне льстите!

Обмахиваясь надушенным платком, Катя спросила:

— Отчего ты так поздно, Вадим?

— Таинственную незнакомку преследовал, Катюша!

— Какую?.. Сейчас, мама, сейчас... Извините, господа! — и мелкими шажками прошла на зов матери. У двери, не останавливаясь, обернулась, улыбнулась.

Мужчины отправились в кабинет покурить.

— Нет, в самом деле, это вы написали?

— А как же? Собственноручно пере-писал! — Стефанский обнял Вадима и доверительно сказал: — Голубчик мой! Мы с Валькой Мироносицким всегда объ-

яснялись в любви чужими стихами... Но... не выдавать! Рассказывайте о вашем дорожном приключении!

В кабинете никого не было. Вадим рассказал.

Во время его повествования вошел угрюмый Охлопков, закурил трубку. Когда Вадим кончил, он сказал:

— Дурень! Да это и была Чекарева! Мы жили у Бариновой, наслушались... Они в том самом флигеле квартировали, она все ходы-выходы знает.

— Но, дядя...

— Ворона! В руках была, а ты... тьфу!

Стефанский мягко спросил:

— Георгий Иванович сегодня не в духе?

— Не в духе. Да.

— Можно узнать причину?

— Да вы что, с неба свалились? Не слыхали, что новобранцы бунт устроили?.. На заводах забастовочки начинаются...

— Тыл начинает трещать,— мрачно заявил Охлопков.— И это в то время, когда готовится наступление! Действуют, действуют «товарищи»!..

Стефанский загадочно улыбнулся.

— Скоро всех выловим!

— Это как?

— Секрет...

— Бросьте вы!.. Что за секрет? Ну-ка, выйди, Вадим!

Но в это время в комнату вошли гости-курильщики и разговор оборвался.

Катя ожидала, что за ужином Стефанский сядет рядом с ней. Но он оказался кавалером Августы.

Жена «красного», Августа не чувствовала никакой неловкости в этой среде. Имя дяди, как щит, прикрывало ее. Установилось мнение, что она интересна, а ее история романтична.

Сама Августа была того же мнения.

Как-то дерзкая Катя задала ей вопрос: если красные перейдут в наступление, уедет она с дядей или мужа будет дожидаться?

Августа не ответила, отделалась загадочной улыбкой... но долго в ту ночь не заснула.

За ужином Стефанский улучил момент, попросил уделить ему пять минут.

— Очень важная для вас новость... с той стороны!

После ужина Августа увела его в свою комнату и выслала няню:

— Побудьте в коридоре, Савельевна!

В бело-розовой комнате было жарко. Рядом с узкой постелью Августы стояла детская кроватка под кружевным положком. На столе в отдалении горел ночник.

— Вот вам письмо от супруга.

Августа с удивлением взглянула на гостя. Он не шутил. Он вытащил из внутреннего кармана письмо. Она несмело взяла... развернула...

— Ничего не понимаю!

Рукой Валерьяна были написаны непонятные слова: «О явке — следующий раз».

Стефанский прикусил губу, выхватил записку.

— Виноват, не то... Где у меня голова? Это ваше розовое гнездышко меня одурманило... Вот ваше письмо!

Муж писал со страстью и тревогой, просил написать, здорова ли она, Кира, хорошо ли ей живется.

Августа разрумянилась, читая письмо под взглядом Стефанского.

— Где он?

Полковник не ответил. Сказал:

— Пишите. Я перешлю.

— Но он... на свободе?

— Разумеется. Пишите же!

Она присела к столу, написала полстранички. Полковник ждал стоя.

Подавая сложенное, но не запечатанное письмо, Августа попросила:

— Не делайте ему зла!

Они стояли вплотную, и Стефанский по укоренившейся привычке не пропускать ни одну сколько-нибудь привлекательную женщину пристально и ласково глядел на нее... Августу начинал волновать этот пристальный взгляд.

Вдруг дверь распахнулась, и Катя встала на пороге.

— Няню выслали... меня не вышлете? — с нервным смешком проговорила она.— А я хожу ищу, где наш поэт.

Ревнивая злоба дрожала в ее голосе. Стефанский подумал: «Э, да ты, малютка, готова!»

Забавно было бы подразнить ревность этой малень-

кой тигрицы, но необходимо было ехать в контрразведку, где ждут только письма Августы. Человек готов к отъезду, «на ту сторону». Если Мироносицкий сдержит слово, пришлет явку в Перевале, очень легко будет ввести своего агента в неуловимую подпольную организацию.

XV

С тяжелым сердцем собиралась Вера Албычева на выпускной вечер.

Недавно из Ключей пришло письмо с расплывшимися от слез строчками. Мать писала: «Папино здоровье не улучшается, приезжай, Верочка, скорей!» Дядя Григорий, у которого она жила сейчас, за последнее время ходил мрачный, что совсем не вязалось с его обычной ласковой, грустно-шутливой манерой. В своих сердечных делах Вера запуталась, не знала, как ей быть...

Помимо всего этого Веру мучило «угрызение».

За последний год как-то незаметно для себя она сблизилась с Катей. Подруга вовлекла ее в дело, против которого все в Верочке восстает.

Когда Катя, рыдая, попросила: «Помоги мне! Я погибаю! Клянись, что поможешь!» — Вера просто сказала: «Клянусь, Катя...»

Тогда-то Катя ей все и рассказала.

— Но почему ты хочешь бежать? — спрашивала Вера, и ее простодушное, свежее лицо выражало ужас и осуждение.— Пусть он придет и попросит твоей руки.

— Женат! — был отрывистый ответ. Катя пренебрежительно повела плечом на возглас подруги: «Какой ужас!»

— Вот, если не удастся побег — тогда будет ужас, да... Я не буду жить... А бежать с ним не ужас, а счастье!

Она зажмурилась и порывисто прижала к груди диванную подушку.

— Это убьет твою маму, Катя!

Катя презрительно рассмеялась.

— Не беспокойся, не убьет. Ты знаешь наши отношения... она до сих пор ревнует ко мне...

— Катя! Не надо!

— ...своего лысенького Полищука. Она меня ненавидит. Ей будет неприятно, правда, ведь мама горда, как римский профиль! — Катя рассмеялась своему сравнению.

— А его жена...

— Довольно! — отрезала Катя.— Ни слова о ней! Не хочу! Я никогда его к ней не отпущу!

— Где она?

— В Саратове где-то или в Самаре... не знаю, не хочу знать!

— Одна?

— С сыном. Сын моих лет. Зовут Игорем. Довольно! Разве это по-дружески... терзать?

— Да, это по-дружески, Катя. Друг обязан... я обязана тебя предостеречь.

— Это от чего?

— Ты его мало знаешь. А вдруг он окажется непорядочным?

Катя зажмурилась и уши зажала.

— Хочу быть с ним! Хочу праздника! Ласк! Страсти хочу!

После этого разговора Вера с тайным отвращением к своей роли передавала Катины записки Стефанскому и его письма Кате. Помогла подруге вынести из дома вещи...

В белом платье, румяная, грустная, вышла Вера из своей комнаты. Сказала дяде:

— Вечер, дядечка, кончится поздно... я у подруги заночую.

— У Катюши?

— Нет...

— У кого же?

— У Тюни Доброклонской... это два квартала от гимназии.

— А почему не у Кати?

Девушка не ответила.

— Неужели поссорились?

Подавляя желание рассказать дяде все, Вера проговорила:

— Завтра, завтра, дядя Гриша!

И поспешно убежала.

Чтобы не встретиться с Антониной Ивановной, Вера прошла садом, через калитку. Несколько раз останавливалась: ей хотелось вернуться, не участвовать в этом деле. «Она сама не понимает, что делает! — думала Вера.— В такой день... в такой день она музыкой занимается!»

Из гостиной неслись звуки рояля. Катя вкрадчиво, взволнованно роняла слова:

И розы, как губы,
И губы, как розы,
Дурманят и манят,
И лгут, как мимозы...

Поднявшись на веранду, Вера увидела подругу.

Катя стояла, заломив в истоме руки. Гимназист Сергей Кондратов, рассеянно беря аккорды, глядел на нее жадными глазами.

— Сегодня, Верочка, я цыганка! — проговорила Катя весело. Легко подбежала к подруге, шумя белым шелковым платьем. Вера молчала. Ее встревоженное, печальное лицо обращалось то к подруге, то к Сергею... «Мимоходом отняла его! А ведь знает...»

— Не злись! Я просто дурачусь! — с нервным смехом шепнула Катя.

Вошла Антонина Ивановна, пригласила к чаю.

— Ах, не надо мама! Нам некогда, мы сейчас уходим на вечер.

— Когда тебя ожидать?

— Пожалуйста, не ждите! — нервно сказала Катя. Она не глядела на мать, вертелась перед зеркалом.— Я ночую у Веры... ближе идти... и во-вторых, сюда страшно идти одной, а вежливого кавалера едва ли найду.

— Я провожу,— поспешно сказал Сергей. Густо краснея под взглядом Веры, добавил: — И вас, и Веру.

Когда калитка захлопнулась, Катя взяла под руки Веру и Сергея. В соломенной шляпе раструбом, с локонами вдоль щек, возбужденная, быстрая, она выглядела красавицей.

— Пойдемте скорее! Шагайте же, увалень!.. Ты ничего ему не говорила? Тогда слушайте, Сережа! Вы — участник похищения сабинянки... Кроме шуток... Беги-

те за угол, берите извозчика, и мы помчимся на вокзал. Скорее!

— Как? Вы уезжаете? Куда?

— Не «куда», а «с кем»... Со Стефанским! В Омск! Бегите же!

Лицо у Сергея вытянулось, но он послушно побежал вперед.

Всю дорогу она не умолкала, не сидела спокойно. То с нервической нежностью обнимала подругу, то, наклонившись к извозчику, торопила:

— Пожалуйста, скорее! Мы спешим.

— Придется обождать, барышня,— угрюмо сказал извозчик, когда они приблизились к вокзальной улице.

Улицу пересекала длинная колонна арестантов.

Они брели, спотыкаясь. Костлявые лица их выражали боль изнеможения. В прорехи лохмотьев видна была свинцового оттенка кожа.

В это время один из арестантов упал. Конвоир толкнул его прикладом. Арестант не шевелился.

— Он умер! — вскрикнула Вера.— Катя! Ты видишь?!

Катя в это время глядела на часики.

— А-а! Ведь это — красные! — с нетерпеливой досадой отозвалась она.— Извозчик! Ну, разве нельзя объехать?

— Видите, пересекли дорогу, куда же объехать? — не поворачивая головы, ответил извозчик.

Конвоир оттащил мертвого к тротуару. Серая колонна медленно проползла. В хвосте шла пустая телега. На эту телегу конвоиры бросили тело, а на тело — рогожу. Извозчик тронул.

— Вера,— жестко сказала Катя,— вытри глаза!

— Может быть Ирочку... Илью Михайловича...

— Ах, оставь разводить мировую скорбь! Не порти мне день!

Стефанского они увидали издали, он стоял на ступеньке подъезда и нетерпеливо пощелкивал по сапогам кожаным стеком. Гибкий, стройный, моложавый, стоял он в группе офицеров. Он вынес Катю на руках, повел, обняв за плечи, склонил к ней свое лицо с лукавыми уголками губ и раздвоенным подбородком.

Купе второго класса украшено было коврами. На столике — букет белых роз, бокалы, коробка дорогих

конфет, на полу, в серебряном ведерке, во льду шампанское.

Какой-то незнакомый Вере офицер наполнил бокалы.

— Что можно сказать в этот момент, в лучший момент моей жизни? — сказал Стефанский, глядя в поднятое к нему Катино лицо.— Благодарю мою смелую Катю! Благодарю вас, друзья мои!.. Я молод! Я счастлив! Я влюблен! Выпьем, друзья, здоровье моей молодой жены!

«Выпьем здоровье! — с ужасом думала Вера.— Он, как вампир, высосет из Кати жизнь своими красными губами...»

Верино лицо осунулось, побледнело, но она с вежливым вниманием слушала тосты. Ей было неловко, тесно, душно в этом купе среди веселых офицеров. Было страшно за Катю... А Катя самодовольно сияла.

— Держись крепче! — шепнула она подруге на прощание.— Маме не говори! Не знаешь и не знаешь, где я... Ушла от тебя, мы с тобой поссорились... Хорошо?

...Поезд тронулся. Медленно поплыл вагон. В окне, над букетом белых роз — Катя в белом платье. Обняв ее, стоит улыбающийся Стефанский. Офицеры кричат им вслед веселое «ура» и, шутливо переговариваясь, расходятся. Ошеломленный Сергей Кондратов говорит:

— Вот это да-а! Размах у человека! Вы заметили, Вера, ковры какие дорогие... Умеет человек обставить свое наслаждение!..

За утренним чаем дядя спросил:

— Как вчера повеселилась?

— Да... то есть, нет, не особенно...

— Не обижайся на меня, Верочка, я хочу с тобой серьезно поговорить.

«О Сереже!» — подумала Вера, и сердце у нее екнуло.

— Этот мальчик... Кондратов... я бы на твоем месте подальше от него держался.

— Дядя, почему?

— Страшная у него семья, грубая... нехорошая.

— Но... если... ведь не с семьей мне жить!

И дядя, и племянница перестали есть и громко бренчали серебряными ложками, глядя в упор друг на друга: дядя сочувственно, Вера — растерянно.

— Так вы уж и о браке договорились?

— Нет.

— Умоляю тебя, Верочка, не торопись. Так легко, одним неверным шагом испортить жизнь себе и родителям.

— Ох, знаю, дядя,— отвечала Вера, думая о подруге.— Я, может быть, и совсем замуж не пойду! Поступлю учительницей.. буду жить в селе...

— И самое бы хорошее дело!

Они замолчали, вспугнутые резким звонком. Вера хотела бежать — открыть дверь, но старая нянька уже ворчала в прихожей:

— Иду, иду! И что это, как на пожар?..

Вошла Антонина Ивановна.

Она вошла быстрыми шагами, но внешне казалась спокойной... только белая, с черными мушками вуалетка трепетала от порывистого дыхания.

— Где Катя?

Ответа не было.

— Вера! Я тебя спрашиваю.

«Не знаю»,— хотела ответить девушка, но мысль, что после такого ответа ей придется лгать, изворачиваться, удержала ее.

— Не могу сказать...

— Что значит «не могу»? — с угрозой спросила Антонина Ивановна.— Ты должна.

— Почему не можешь, Верочка? — спросил Григорий Кузьмич.

— Я дала слово, дядя. Она сама напишет...

Антонина Ивановна села и поднесла руку к глазам, точно у нее закружило голову.

— Она уехала?

Нет ответа.

— Дрянная девчонка! Сводница! — низким мужским голосом проговорила Антонина Ивановна.— Скажу брату — тебя заставят ответить! — И она мстительно щелкнула замком ридикюля.

Григорий Кузьмич поднялся с места.

— Перестаньте, Антонина Ивановна,— серьезно сказал он.— Я понимаю, вам тяжело... но не извольте оскорблять мою племянницу! Этого я не позволю.

— Тогда заставьте ее признаться.

Он грустно и светло улыбнулся.

— Чтобы я... чтобы я принудил юное существо нарушить данное слово? Нет, я не буду этого делать!

— «Юное, чистое»,— пренебрежительно повторила Антонина Ивановна,— ах вы, старый вы... идеалист! Вчера это существо и мою дочь видели на извозчике, а порочный мальчишка Кондратов ехал с ними.

— Так и идите к Кондратову, Антонина Ивановна! Идите к нему! Там и угрожайте, и все...

— Дядя!

— Пусть идет к Кондратову, Верочка. Я знаю, ты ничего дурного не сделала... Посудите сами, Антонина Ивановна,— с возмущением сказал он.— Могла ли наша Вера повлиять на такую самостоятельную особу, как ваша Катя? Это она-то?..

Любовно, бережно погладил племянницу по склоненной голове.

Антонина Ивановна встала, выпрямилась, как королева:

— Благодарю, деверь... за урок... за сочувствие... за все!

— А не стоит благодарности! — вспылил вдруг тишайший Григорий Кузьмич и, чтобы не наговорить лишнего, вышел из комнаты.

Вера стала собирать свои вещи, укладывать в чемодан. Она прислушивалась, не зазвенят ли бубенчики под окном.

Расстроенный дядя сидел у стола и тихо говорил:

— Папе передай, пусть газетам не очень верит. Красные наступают, я из верных источников знаю. Летом я обязательно приеду к вам погостить, если... Напиши подробно, в каком состоянии папа... И знай, Верочка, если что с ним случится... знайте обе с мамой: пока я жив, я ваш, мои дорогие! И помни мой совет: подальше от Кондратова!.. Ты и мне не можешь сказать, где эта шальная Катя?

— Могу,— обливаясь слезами раскаяния, отвечала племянница. — Она со Стефанским уехала.

— Боже, боже!.. Несчастная!

— И он женат... сын у него Кате ровесник... и он отвратительный, как вампир...

— Как же ты ее не отговорила?

— Дядя, я так ее просила!! Все так страшно, дядя! Так страшно!.. Вчера... когда мы ехали... арестантов

вели... один умер... А у того — розы, шампанское! Как гадко все, дядя, милый... Где-то Ирочка? Илья Михайлович? Может... и они...

— Мы живем в страшное время, Верочка,— ласково сказал дядя.— Таким, как ты да я, горе! Нынче люди должны быть или такими твердолобыми, жестокосердными, как Охлопков, или убежденными, как Илюша... А мы с тобой ни то ни се. Между молотом и наковальней...

XVI

Дорога, заросшая ромашкой, полого подымалась к берегу. На берегу стояла виловатая береза: один ствол ввысь, другой — наклонно. В стороне маячил осиновый перелесок — Серебряный колок. На холме виднелось Ключевское. Крест на церкви теплился, как свеча.

К виловатой березе ездили на пикники. Все здесь было знакомо, привычно, как своя комната.

Вера шла пешеходной тропой через Серебряный колок.

Каждый день, отправляясь на прогулку, она ждала встречи с Сергеем. Но ни разу им не удалось встретиться. К Албычевым Сергей не ходил,— может быть, отец запретил ему? Нет! Сам он не искал возможности увидеться... Это было ясно.

На опушке колка Вера остановилась. Отсюда тракт был виден на большом расстоянии вправо-влево. В эти дни над ним не оседая стояла пыль. В сером тумане полз нескончаемый поток беженцев.

На большой улице села пыль стояла до крыш. Улицу невозможно было перейти — ехали в шарабанах, в пролетках, на телегах. Буржуазия со всего Урала хлынула по тракту в Сибирь.

Вера свернула в переулок и задами вышла на берег, открыла садовую калитку своего дома.

В столовой кухарка мыла посуду.

— Папа где?

— Батюшко на дворе, кормушку ладят,— ответила, блеснув белыми зубами, Настя.— Кормушка испорухалась.

— А мама спит?

— Плачет,— шепнула Настя.— Опять в бегство просилась... Батюшко рявкнул на нее, она и плачет.

— Писем не было?

— Почтарь без почты приехал, Верочка, говорят, уж все перервано, скоро красны придут! Ой, страшно, вдруг бой будет? — весело блеснула Настя зубами.

— С кем? Солдат-то ведь здесь нет, Настюша.

Вера вошла во двор.

Отец Петр, починив кормушку, мел двор. В старой шляпе, в вылинявшем подряснике, он медленно двигался, размахивая метлой, как косарь литовкой. Махнув несколько раз, отдыхал, склонив голову. Он стал худ и не по годам стар. Резко выдавались лопатки. Нос, на котором поблескивали очки, стал непомерно большим.

Отец поцеловал Веру, обдав ее привычным ей с детства запахом табака, и снова взялся за метлу.

— Папочка, поедем на Медвежку!

— Хорошо бы, мила дочь, но нельзя. Во-первых, мать расклеилась, а во-вторых, в два часа напутственный молебен заказан на дому. Охо-хо! — сказал он, насмешливо заострив глаза и морща орлиный нос.— Трудно житье поповское! Хочешь не хочешь, моли у господа бога счастливого пути такой гадине, как Кондратов.

«Едут! А Сергей даже проститься не идет!» — подумала Вера, с удивлением чувствуя: боли нет... уедет — не надо ждать и думать о встрече, и обижаться, и страдать.

Вера села на приступок крыльца, заслонила лицо от солнца. Жгло сегодня так, что на новом амбаре, как пот, выступила смола.

— Папа, я с осени поступлю учительницей,— сказала Вера.

— Одобряю,— ответил отец.

Перед закатом стали подъезжать ко двору беженцы, просились ночевать. Вот уже пятый день идет эта история. Чаще всего к Албычевым и к дьяку заезжали священники. Вечерами самовар не сходил со стола. Один Вера ставила на стол, а другой Настя — под трубу.

На этот раз остановились три семьи. Первым приехал чахоточный дьякон с дьяконицей.

Потом прибыл красавец священник Троицкий. В ще-

гольском экипаже рядом с ним сидела смуглая свояченица в ярком шарфике, а на возу пожитков — жена и два подростка-близнеца. Отец Петр брезгливо и холодно обошелся с Троицким и его свояченицей, а робкую попадью и двух подростков обласкал.

Сели за стол. Попадья держалась тише воды... от угощения отказывалась пугливо. Она, торопливо отхлебывая чай, вдруг поперхнулась, закашлялась... Муж сказал:

— Поди вон!.. Тебя, неряху, нельзя за общий стол...

— Сидите, матушка, сидите! — удержал ее хозяин.— Достоинство свое не теряйте! Вы — жена и мать, а не наложница... За свои права бороться надо. А я б на вашем месте до архиерея дошел! Что, в самом деле, в своей семье издевательство над собой терпеть?

Может быть, этот разговор добром и не кончился бы... но сцену прервал придурковатый священник Власов, просунувший в дверь свое круглое лицо:

— Мир сему дому!

Отец Петр от души расхохотался, глядя на его неуклюжую фигуру. Сразу было видно, что шаровары и косоворотку он надел впервые и что волосы острижены неумелой рукой попадьи.

— И ты в бегуны записался, «мужчина мужского полу»? А ну, повернись! Хоро-ош! Маскарад-от на что надел?

— Ну, а как ино? Не всяк узнает, что поп... А вдруг красные догонят?

— А что они тебе сделают? Всяк видит...

— Батюшко! К вам приезжий, батюшко! — сказала Настя.

— Зови сюда! — отец Петр с усилием поднялся и пошел к двери.

Навстречу ему шагнул через порог рыжий низенький попик с копной рыжих кудрей и жидкой бороденкой.

Вера сразу узнала «пуделя рыжего», схватила мать за руку: «Что-то будет?!»

Отец Петр остановился, не веря глазам. Мироносицкий улыбнулся, точно извиняясь.

— Я не знал, что это — Ключевское... Прошу прощения...

Отец Петр молчал. «Пудель» нерешительно взглянул на темнеющее окно:

— Но, может быть... перед лицом опасности... забудем прошлые раздоры?

— Раздоры? — свистящим шепотом переспросил отец Петр, и лицо его исказилось.— Для меня нет опасности! — грянул он.

Матушка забежала перед ним, он отвел ее рукою. Вера сказала: «Папочка!» — но отец не слышал.

— Кто был честным, тому не страшно! — кричал он.— А тебя, лизоблюд, верно, не пощадят! К кому теперь припадешь? Где твои защитники?

Закашлялся, рванул воротник и прокричал, подняв вверх дрожащую руку:

— Да будь благословенны те, кто давит таких вот гнид!

— Батюшко! Петя! Опомнись!

— И это — пастырь! — сказал Мироносицкий, пожав плечами.— Кричите — не боитесь, что окна раскрыты? Ваших красных друзей еще нет... как бы худа вам не приключилось! — Он был очень бледен, но иронически и нагло улыбался.

— Вот сидит прелюбодей... вот — нищий духом! — кричал отец Петр, указывая на Троицкого и Власова.— Всех приму! Всех накормлю! А тебе, выродок... Вон! — закричал он страшным голосом и снова закашлялся.

Мироносицкий, пожав плечами, вышел. Все молчали.

Проснувшись ночью, Вера услышала тихий разговор родителей. Мать плакала и сморкалась.

— Ну, что ты сопли распустила? — ласково говорил отец.— Не реви-ка!

— Да как же, Петенька,— всхлипывала мать.— Гибель приближается... Поедем! На коленях прошу!

После паузы отец ответил:

— «Пастырь добрый душу полагает за овцы». Не проси. Я — не рыжий пудель у верстовых столбов ножку задирать!

— Да какие овцы-то, Петя? — уныло спросила мать.— Кого защищать хочешь? Бедных и без тебя не потрогают.

— Дура! — ласково и печально ответил отец.— Не защищать... Кто посмотрит на мою защиту? Долг мой

быть с паствой. Не понимаешь ты слова «долг»! Не побегу. Не проси.

— Разорят...

— Ну, и пусть зорят. Бог дал, бог и взял. Не дури, старуха!

— А вдруг с Верочкой что сделают? Надо хоть одну Верочку отправить.

— Почему же в первое свое пребывание красные ничего такого не делали? Почему сейчас сделают? Пораскинь умом: красные — победители, а победители будут думать об устройстве...

— Петя, если белые так безобразничали...

— А почему безобразничали? Потому что знал подлец Колчак, что он — калиф на час!

— Петя, успокой мое сердце! Отправим Веру!

— Она не маленькая, сама скажет, если хочет... Но думаю, что нас не оставит.

Вера, приподнявшись на локте, сказала тихо:

— Папа! Я никогда вам не говорила... Я, папочка, тебя уважаю больше всего на свете!

— Знаю. Спи, глупышка,— растроганно ответил отец.

Вера взяла книгу и ушла в Серебряный колок: она хотела видеть отъезд ключевских беженцев, еще раз увидеть Сергея.

Около полудня, соединившись в один обоз, беженцы выехали из села.

Махал шляпой, прощался с кем-то молодой рослый дьякон. Усы и бороду он снял. Весело глядели его хмельные глаза.

Церковный староста стоял в коробке, придерживаясь за плечо жены, причитал по-бабьи и кланялся на все стороны. Парнишки и девчонки, глядя на отца, ревели в голос. Жена хмуро сидела, безучастная ко всему.

Следом за старостой ехали две старых девы-учительницы, купившие в складчину лошадь. Ни одна не умела запрягать. Не было у них ни денег, ни пожитков... Вера с мимолетной улыбкой вспомнила вчерашний разговор: «Как можно нам оставаться? А вдруг красные будут бесчестить девушек? Лучше смерть, чем позор!»

Дальше шло пять кондратовских подвод. На перед-

ней ехали старики, на второй — новая жена Тимофея с ребенком и нянькой, на третьей — приказчик Крутихин. Четвертая подвода шла сама собой. На пятой, на возу, опираясь лбом на сложенные руки, лежал ничком Сергей. Гимназическая фуражка была сбита на затылок.

Сжав руки, Вера глядела на него не то с печалью, не то с облегчением...

«Не простился, не зашел. Это — любовь?.. Это — пренебрежение! Это... но я... я, по-видимому, люблю... хотя и не уважаю... Господи, как пусто стало!»

Она поглядела кругом. Тракт уже опустел. Пыль осела.

Подул верховой ветерок. Торопливо зашелестели осины. Замахал крыльями ветряк на пригорке...

Девушка пошла домой.

Мать бросилась к ней навстречу:

— Папа плох... кровь горлом!.. Фельдшер сказал...

Попадья громко всхлипнула, зажала рот рукой, испуганно похлопала по губам.

В спальне раздался клокочущий кашель.

— Папа мой! Папочка!

Отец, захлебываясь, кашлял, судорожно пытался вздохнуть. Лицо побагровело. Костлявая грудь высоко подымалась. Седые волосы прилипли к потной шее.

Отдышавшись, он сказал:

— Аминь, видно, мила дочь! Отзвонил.

Вера припала к худой руке и заплакала.

— Мать не оставляй! — сказал повелительно умирающий.— Она у нас слабая, бесхребетная... Живи так, чтобы умереть не стыдно было, поняла? Больше и говорить об этом не будем... Только одно еще: в гроб меня не снаряжайте, как на гулянку... попроще оденьте... Крест медный... евангелье с медной доской.

Пришел седой краснолицый фельдшер, прослушал больного, сделал приятное лицо, сказал фальшивым голосом:

— Ну вот, и получше стало!

— Да не врите вы,— оборвал отец Петр,— знаю, не маленький.

Фельдшер ушел, оставив бутылочку микстуры.

— Ипекакуанка, она хоть помогает мокроте отде-

ляться,— сказал он Вере.— А больному все же приятнее, когда лекарство подают.

Наступил вечер. Отец не велел закрывать окна и зажигать огонь. Подул ветер. В комнате посвежело.

Больной задремал. В комнате стало совсем темно. Слышно было, как Настя ставила самовар, пила чай, возилась тихо на кухне. Потом она легла и скоро запохрапывала с веселым носовым присвистом. Утомленная мать тоже заснула, не раздеваясь.

— Ты здесь, мила дочь?

— Здесь, папочка! Вот я...

Девушка положила голову на подушку рядом с его головой.

— Ты мою жизнь знаешь, Вера. Сам хлебнул горя... оттого и ненавидел мироедов... а крестьянское сословие любил. Крестьянская жизнь тяжелая, горькая... Крестьянин, мила дочь, мученик! И нет ему облегчения, исхода нету...

Он попросил пить.

— Пожил бы, посмотрел бы, как большевики придут править... Интересно мне... До сих пор люди свое святое... как это?.. слово-то? испохабили. Что вышло из учения Христа? Его именем народ мучили!.. А наш брат?.. За кого хочешь иди замуж, только не за поповича и не за кулацкое отродье. Есть ли хоть одна чистая душа среди долгогривых дураков?

— Есть! — с ударением сказала Вера.

— Это ты про меня... а я не был пастырем добрым. Подлость сделал — струсил... не обличил Катовых... побоялся... прикрылся «тайной исповеди»... Сколько раз каялся, что принял сан!

В тоске он тяжело ворочался на постели. С ужасом Вера заметила, что дыхание у него стало отрывистое и затрудненное.

— Кротости, всепрощения во мне не было,— снова раздалось из темноты. И с каким-то вызовом, высоким надтреснутым голосом отец продолжал:

— Да и нужно ли это всепрощение?.. Не нужно оно!

Вера видела его смятение.

— Папа, есть бог? — тихо спросила она, желая заглянуть в самую глубь родной мятежной души.

— Есть! — строго ответил отец.— Всю жизнь верил и умру с верой. Веру мою ты не отымешь!

Он замолчал... забыл о том, что не один. С безысходной тоской, с мучительным призывом вытянул шею и поднял глаза к низкому сумрачному потолку. Белая рука мелькнула в воздухе, творя крест.

Прошептал из глубины души:

— Верую, господи!

И еще тише, еще мучительнее:

— Помоги моему неверию!

И вдруг пришел в исступление: стал кашлять, плеваться, грозил в пространство иссохшим кулаком:

— Зря жил!.. Ушла жизнь!.. Псу под хвост!.. Псу под хвост...

Жена, ничего не понимая спросонья, кинулась к нему, уронила стул:

— Худо тебе? Вера... фельдшера... Петенька... исповедаться?

— Исповедался уж... отстань...— устало распустившись весь на ее руках, сказал отец Петр и отвернулся к стене.

XVII

Из ворот тюрьмы вышла партия арестованных.

При первом взгляде могло показаться, что собрали сюда нищих, дряхлых стариков и старух со всего города. У одних — костлявые, у других — неестественно раздутые лица были одинаково по-тюремному бледны, глаза — тусклы. Никто не держался прямо. Почти все носили следы истязаний. Одежда была в лохмотьях, одинаково грязная.

Конвоиры прикладами «выравняли» ряды, и колонна поползла по Сибирскому тракту.

Первой справа в последнем ряду шла иссохшая седая женщина. Длинные волосы перевязаны были у затылка тесемкой. Шла она в порванном черном платье, свободном, как балахон, в башмаках на босу ногу. Левая рука висела на грязной повязке. После недавнего перелома рука срослась неправильно — пальцы, прижатые к ладони, не разгибались.

Так выглядела после трех месяцев тюрьмы Мария Чекарева.

В конце марта Перевальская подпольная организа-

ция провалилась, ее предал провокатор. Мария в это время уезжала и только после возвращения узнала о провале. Схватили Якова, который был послан в Перевал Андреем (Свердловым) и несколько месяцев руководил всей работой. Арестовали старую большевичку Оттоновну, весь комитет. Пятерки на предприятиях уцелели только потому, что провокатор не успел вынюхать их,— надеялся, что под пытками члены комитета расскажут все. Он просчитался.

Мария легко восстановила связи с заводами,— ведь она лично знала старых подпольщиков. Провели собрание, выбрали временный комитет. Комитет счел святым долгом прежде всего организовать побег товарищей: медлить с этим было нельзя, им угрожал расстрел.

Связь с заключенными установили через сестру одного из уголовников, который убил солдата, обесчестившего его жену. Сестра передавала записки и поручения брату, а тот — в камеру политических. Она должна была немедленно известить Марию, как только будет вынесен приговор. По дороге к месту казни (тогда казнили всех за кладбищем, в лесу) можно будет напасть и отбить осужденных.

Уже создана была группа, роздано оружие... Все расстроилось только из-за того, что на несколько дней запретили свидания с уголовными.

Вскоре арестовали и Марию.

Кто ее выдал, осталось неизвестным.

Она не назвала своего настоящего имени. На очной ставке Баринова опознала ее, но Мария продолжала твердить: «Я мещанка города Твери, Ольга Назаровна Луговая, жена прапорщика». Были очные ставки с другими заключенными, соратниками ее по подпольной работе. Ни она их, ни они ее «не узнали». Степка Ерохин, к счастью, в лицо ее не знал. Боялась Мария появления Солодковского, но того, по-видимому, не было в городе.

Так и осталось под сомнением, кто она. В тюремных списках значилось: Луговая — Чекарева.

Мария попала в страшный ерохинский застенок, и только через два месяца ее перевели в городскую тюрьму.

На допросы ерохинцы водили по ночам. На расстрел — тоже. Поэтому, когда вызывали из камеры, за-

ключенный не знал, на казнь его ведут или на новые муки. Допросы всегда сопровождались пытками.

Уже входя в комнату «следователя», Мария знала, что неопрятный человек с бабьим лицом будет задавать одни и те же вопросы: «Ты большевичка? Ты участвовала в расстреле августейшего семейства? Назови соучастников!» Не только всех мужчин, но и женщин, начиная с жены военкома Лёзова, кончая сторожихой райсовета Павловой, он спрашивал об этом,— всем старался «пришить» участие в расстреле Романовых.

Вопросы он задавал скучным голосом и так же скучно приказывал:

— Разложить...

Пороли всегда до обморока.

Самый страшный допрос был в присутствии Ерохина. В ту ночь ей стали втыкать булавки под ногти.

Это ни с чем не сравнимая мука... Одно желание — умереть, перестать чувствовать.

Палачи давали передышку:

— Будешь, стерва, говорить?

«Говорить?!» — Марию приводило в отчаяние уже то, что она не может сдержаться, не кричать... Говорить она не стала бы, даже если бы ей все пальцы отрезали!

Степка Ерохин стал выворачивать руки.

«Умираю...» — подумала с облегчением Мария.

Очнулась она в камере.

Больше ее не вызывали. Измученное тело отдыхало. Боль в раздутых багровых пальцах и в переломе день ото дня тишала... но душевным мукам не было конца.

Как-то перед утром возвратилась «с допроса» в камеру Поля — общая любимица, шестнадцатилетняя девочка, сидевшая за отца-красноармейца... вошла, рухнула на нары и завыла... ее изнасиловали ерохинцы.

Вскоре увели на расстрел жену комиссара Лёзова. В ту же ночь мать ее сошла с ума. В мертвой тишине камеры послышалось вдруг пение... свадебной песни. Старушка падала — «хлесталась» на нары, как невеста на стол, и причитала визгливым голосом:

Отдает роднмый батюшка
Из теплых рук во студеные,
Из мягкнх рук во железные!

— Ой! Не щиплите, гуси серые! — взвизгивала старуха, защищая руками избитое тело.

Не сама я к вам залетела!
Занесло меня неволею,
Что такой большой погодушкой!
И поставили младешеньку...

— К стеночке? — вдруг, точно опомнившись, спросила она и обвела взглядом плачущих женщин.— Это Лизу-то? Лизу-то? Рожоную?

А заключенным даже поговорить между собой нельзя было: за каждым словом следила «подсаженная» в камеру девочка-проститутка с хриплым голосом и большими бесстыдными глазами.

Смутная надежда бежать с этапа заставила Марию подумать, как ей сберечь остаток сил. Чтобы не тащить лишнюю тяжесть, она оставила пальто в камере... чтобы вылезшие гвозди не изранили ступни, она оторвала от платья тряпицу, положила вместо стельки в башмак.

Партию погнали по городу.

Поражало безлюдье на центральных улицах. Радовал вид распахнутых ворот и парадных дверей опустевших богатых домов... Солома, мочало, бумага, обрывки веревок — весь этот сор эвакуации радовал глаза!

От самой станции Перевал-второй до переезда вдоль линии раскинулся лагерь беженцев, еще не успевших уехать. Женщины, дети, подростки сидели и лежали среди своей поклажи. Мужчины, очевидно, были на станции, хлопотали об отъезде.

У переезда партия арестованных остановилась. Шлагбаум был закрыт, потому что поезда шли почти без перерыва. Воинские составы с прицепленными к ним классными вагонами, товарные поезда, за ними опять воинские и беженские.

Вдруг земля дрогнула от страшного взрыва и над станцией Перевал-первый заклубился черный, окрашенный пламенем дым...

Среди беженцев началась паника... крик... рев: «Кра-а-сные!»

— Господа! Спокойствие!— раздался сильный мужской голос. Мария узнала Зборовского. Одной рукой он придерживал велосипед, другую поднял, призывая толпу к молчанию.— Господа! Советую вам разойтись по домам! Надежды попасть на поезд нет!

Приподняв шляпу, он оседлал свой велосипед и укатил.

Сердитые, разгоряченные мужчины в это время подошли к ожидавшим их семьям. Мария слышала, как один из них сказал жене:

— Надежды нет!

— Что это было, Коля?— спросила жена.— Я до сих пор не могу прийти в себя... Мы думали — красные!

— Взрывы? Это вагоны с пленными взорвали.

— Ужас!

— Ужас в том, что не пожалели вагонов! Ехать больше не в чем!

...Полосатый шлагбаум поднялся, колонна арестованных перешла линию, двинулась по пустынному Сибирскому тракту.

Окаймленный толстыми плакучими березами с пестрой потрескавшейся корой, он уходил к горизонту широкой полосой цвета небеленого полотна.

Впереди горячий воздух прозрачен, а колонна шла в сером облаке... Слабые ноги бороздили пыль, доходящую до щиколоток,— она медленно оседала в безветрии.

От жары, от пыли, от жажды Мария изнемогала. В глазах стоял багровый туман.

Вдруг всем телом она почувствовала свежесть! Туман из глаз ушел, Мария увидела широкое озеро, покрытое у берегов зеленой цвелью.

Конвоиры и сами измучились от жары. Послышалась команда: «Стой!»

Арестованных к озеру не подпустили. Им приказали садиться, и каждый, где стоял, там и сел в горячую пыль. Конвоиры умылись, поели, мрачно ковыряя ножами в жестяных консервных банках. Голодных арестантов напоили из ведра мутной озерной водой.

Короткий отдых всех освежил... но, когда двинулись дальше, еще невыносимее стали жажда и пеклый жар.

«Хоть бы тучка!.. Хоть бы лесок впереди!» — думала Мария, едва переставляя ноги. Она увидела, как во сне, что на тракте лежит женщина, и колонна обходит ее стороной. Прошли. Сзади послышался выстрел. Никто не вздрогнул, головы не повернул. Запоздало пришла мысль, что это, наверное, пристрелили ту женщину. «Отмучилась!» — подумала Мария, борясь с желанием лечь на дорогу и не вставать.

Ночь пришла лунная, о побеге нечего было и думать. Арестованных уложили рядами, рассчитали по десяткам. На лугу не было ни кустика, ни ямочки — все, как на ладони.

Однако Мария не спала, ждала: не накатится ли тучка на луну, не задремлют ли часовые. Она видела: то тут, то там приподымется осторожно, осмотрится кругом арестант и поникнет снова головой в траву. Часовые не спят.

Перед утром линия очистилась, поезда ушли. На восходе солнца арестантов подняли и опять погнали по бесконечному тракту.

После вчерашнего дня и бессонной ночи Мария чувствовала полный упадок сил. В этот день арестованные шли медленно, и выстрелы хлопали чаще, чем вчера.

Около полудня Мария запошатывалась, стала спотыкаться. Свет из глаз ушел. В ушах зашумело и зазвенело. В это время послышалось:

— Стой!.. Садиться!

Мария дотащилась до канавы и села в тени шелестящей березы.

И она поняла, что больше ей не встать.

Вот снова раздалась команда, и на дороге зашевелились полуживые безмолвные люди.

Мария откинулась, прижалась к скату канавы.

Она видела, как строится колонна, как конвоиры идут от головы к хвосту... сейчас обнаружат, что ее нет.

И, как последняя вспышка жизни, к ней вернулась полная ясность мысли и способность чувствовать. «Жить! Жить!» Она попыталась подняться, но даже ногу согнуть не смогла.

Колонна сдвинулась с места... поползла....

Молодой конвоир с винтовкой на изготовку направился к Марии. Она слышала, как он сам попросил разрешения начальника: «Разрешите мне...»

«Подлец!» — и всю силу ожившей души вложила она во взгляд. Синий гневный блеск точно ударил солдата. Она с усилием выпрямилась.

— Не бойся, тетя! Я мобилизованный,— сказал он торопливо, приглушенно.

Дрожащими руками направил дуло винтовки чуть правее ее виска.

— Падай! Падай, дура!
И выстрелил. Мария упала. Парень побежал догонять колонну.

Когда пыльное облако, поднятое колонной, улеглось, Мария поползла к лесу. Задыхаясь, она ползла по пшеничному полю. Стебли колосьев рябили в глазах, раздвигались с сухим шелестом. Кроме этого шелеста да хриплого ее дыхания, не было слышно ни звука.

Наконец поле кончилось. Прохладный зеленый лес дохнул на нее.

Забившись в кусты, Мария заснула.

...Утро блеснуло так жизнерадостно, что все пережитое не то что забылось, но как бы заслонилось настоящим.

Мария нашла лесной ключик, умылась, напилась... Голод мучил ее, она набрала сыроежек, малины, поела немного.

«Лесами пойду обратно в Перевал! Ночью в какой-нибудь деревне попрошу поесть... Скорее, скорее к нашим!»

XVIII

Перевал освобожден.

На рассвете под звон колоколов и приветственные крики вступила в город дивизия-освободительница.

Бойцов встретили рабочие с молоком и хлебом. Заключенные, потрясая решетки окон, кричали «ура!». А в это время со станции уходили последние эшелоны белых, и над вокзалом стояло зарево подожженных пакгаузов.

Дивизия не задержалась в освобожденном городе, пошла дальше, погнала колчаковцев, цепляющихся за каждый рубеж, в глубь Сибири, к бесславному их концу.

Один из комиссаров полка — Роман Ярков — остался в Перевале на работе в только что созданном ревкоме.

Тотчас после освобождения началась восстановительная работа. Налаживать разрушенное белыми хозяйство было трудно. Не хватало топлива, электроэнер-

гии, хлеба, соли. Не было даже спичек и керосина. Разбитые паровозы и вагоны один за другим шли в ремонт. Белогвардейцы при отступлении взрывали мосты, портили и увозили заводское оборудование.

Большинство заводов замерло. В переполненных бараках металнсь в бреду тифозные.

Фронт с каждым днем отдалялся от Перевала, но дыхание его еще чувствовалось в городе.

По ночам разъезжали конные патрули. Красноармейцы охраняли ревком, военкомат, телеграф, электростанцию и другие важные пункты. На выезде из города стояли заставы. Рабочие обучались военному делу. Многие рвались на фронт добить врага.

Роман Ярков по уши ушел в работу. Он переживал счастливое время. Упивался победой. Восторженно радовался каждому новому успеху восстановительной работы. Гордился женой, которая так стойко боролась в подполье. Гордился кудряшом Борькой, красивым, смышленым мальчишкой, не мог нарадоваться тому, что мать жива и умирать не собирается.

Но были часы, дни и ночи, когда Роман становился мрачным, начинал тосковать и не мог заглушить тоску ни в работе, ни в семье.

— Места не могу изобрать, опять Давыда вспомнил! — жаловался он Анфисе.— Вот так стоит и стоит перед глазами... Такое торжество победы, а его нету! Да как к этому привыкнешь? Знаешь, Фисунька, я не успокоюсь, пока не найду его и с честью не похороним.

В Перевале уже было известно, где и когда погиб Илья.

— Где уж найти, Ромаша! Год прошел...

— Хоть косточки да найду.

— Наверное, в общую могилу зарыли.

Роман даже зубами заскрипел.

— С беляками, с гадами?! Нет, не успокоюсь...

Он вскоре же выехал на поиски.

От станции Лузино Роман пошел пешком по линии, расспрашивая будочников, случайных прохожих и ремонтных рабочих на линии.

Никто ничего не знал.

Он уже начал отчаиваться, как вдруг старый путеобходчик сказал:

— Стойте-ка, ребята! А не того ли он коммуниста ищет, которого мы зарыли?

Затаив дыхание Роман ждал.

— Он невысокий, черноватый?

Роман не мог ответить... закивал.

— Как его звали-то?

— Илья Светлаков...— с трудом произнес Роман.

— Он и есть! —оживился старичок.

И рассказал, как нашел среди трупов раздетого коммуниста. Он понял, что это коммунист, потому что на груди была вырезана звезда.

— Потужили мы, потужили, но что станешь делать. К жизни не воротишь. Я и говорю: «Давайте-ка, ребята, зароем его до времени! Не может того быть, что Советская власть совсем искоренилась. Придут наши! Может быть, кто будет искать. Уж если так его мучили, значит, человек видный был...» Мы осмотрели,— на белье метки есть: «И. С.». Мы эти же буквы над его могилкой и вырубили на сосне...

— На сосне? — беззвучно спросил Роман, делая усилие не разрыдаться.

— А вот пойдем, мы тебе покажем, раз такое дело... Это с версту, не больше!

Они пошли. Прерывающимся голосом Роман рассказал своим спутникам об Илье. Он не видел ничего кругом, шел, как слепой... Но, когда дошли до просеки и на синеве неба обрисовалась угловатая смуглая гора, ярость и горе снова забурлили в нем, как тогда...

Поодаль от стены леса, пощаженная почему-то лесорубами, стояла могучая сосна с шершавой корой. У подножия ее лежало поваленное бурей дерево, упавшее вершиной в малинник. Старичок обошел сосну кругом и показал буквы, грубо высеченные на стволе: «И. С.»

— Холмичек мы не насыпали... вот тут он и лежит...

Постояли в молчании. Потом Роман сказал отрывисто:

— Спасибо, друзья. Прощайте.

На объединенном заседании ревкома и организационного партийного комитета он поставил вопрос так:

— Товарища Давыда уральские рабочие чтут и любят... Надо устроить похороны... величественные! В его лице мы почтим тех, чьи могилы безвестны...

Помолчал.

— Если бы знать, где его жена, на руках бы принес!

Выбрали похоронную комиссию. Заказали цинковый гроб. Послали в редакцию газеты сообщение: «Перевальский организационный комитет РКП(б) извещает товарищей, что близ станции Лузино найдено тело расстрелянного белогвардейцами в июле прошлого года члена областного комитета партии коммунистов Ильи Михайловича Светлакова. Тело будет доставлено в Перевал. О дне и месте похорон будет объявлено завтра».

Из ревкома Роман вышел вместе с Марией Чекаревой, и они пошли в комитет, чтобы наметить группу товарищей, которые должны будут ехать завтра с Романом за телом Ильи.

В помещение комитета Мария вошла первая. Вдруг она вздрогнула, попятилась... и порывисто кинулась вперед.

Навстречу ей поднялась Ирина с заснувшим на руках ребенком.

XIX

Путь, разобранный отступающими белогвардейцами, только что восстановлен,— поезд осторожно ползет по свежей желтой насыпи. Медленно проплывает мимо сосновый бор, дышит в дверь теплушки прохладой и лесными запахами. Наискось лежит на полу жаркая солнечная полоса, искрится каменноугольная пыль.

В вагоне молчание. Все уже переговорено, рассказано... Каждый нетерпеливо думает: «Скоро ли Перевал?»

— Эвон та самая выемка, товарищ Светлакова!

Это сказал молодой красноармеец Никишин с забинтованной головой. Он стоял в дверях, вытягивая шею вперед, точно хотел опередить ленивый поезд.

Ирина кивнула. Она сидела в тени, на нарах, смуглая, в белой косынке, держала на коленях спящего ребенка.

— Пожалуйста, Наташа, присмотри за Машей! — сказала она своим выразительным голосом, сохранившим девический серебристый оттенок. Бережно приподняв полугодовалую Машу, Ирина уложила ее на пальто на нары и подошла к двери.

Год... нет не год, а тринадцать месяцев тому назад покинули они с Ильей родной город и расстались в этой выемке.

Она жадно вглядывалась в рыжий откос, точно он мог сохранить следы Ильи. А вот и куст шиповника возле обомшелого камня!

Вот следы боя: окопчики — бугорок и ямка, бугорок и ямка... Столбики с обрывками проволоки, расщепленное ложе винтовки, расплющенный котелок.

Бой!.. Ирине невольно пришло на память то первое сражение, в котором она принимала участие как сестра милосердия.

Во время боя Ирина не думала ни о себе, ни о муже. В первый раз встретилась она с людьми, страдающими от ран, и все ее мысли были обращены на то, чтобы утишить муки, успокоить страдания.

После боя ей пришлось везти тяжелораненых на станцию Полдень, но их там не приняли, так как госпиталь эвакуировался. Пришлось везти в Мохов.

Только сдав раненых в госпиталь, Ирина вернулась.

Нерадостные вести ожидали ее.

Оттеснить белогвардейцев не удалось. Отряд начал было наступление, но противник обошел его с фланга. Интервенты зашли в тыл, наткнулись на моряков, оттянутых на отдых. Балтийцы приняли врага в штыки. Но напор был силен. И балтийцам, и отряду Толкачева пришлось отступить.

О заслоне было известно только то, что он разбит. Смелые разведчики побывали в выемке, видели место боя, но ни раненых, ни мертвых не нашли.

Ничего не нашли, кроме огромной общей могилы.

Жив ли Илья, никто не знал. Была надежда: уцелевшие в бою товарищи могли пробраться лесами в Апайский завод, в Лысогорск и в Лосев.

Ирина вызвалась разыскивать их.

Ни минуты не сомневалась она, что муж ее жив.

Прежде всего она поехала по линии Лосев — Бердянск.

На остановках выходила, расспрашивала всех и каждого, не слыхали ли что об Илье и его товарищах. Заходила в штабы, в летучки, в санитарные вагоны, в теплушки. От станции ехала то в вагоне, то на платформе, то на тормозной площадке.

Иногда ей попадался зачитанный, с оторванными на закрутку полями номер областной газеты с новым адресом редакции: Кушвинский завод, заводской двор, вагон № 159... Все сорвалось с насиженных мест. Тихие заводы и станции стали местами кровавых сражений... И нельзя узнать, в чьих руках будет завтра тот пункт, где ты находишься сегодня. Ирина ехала и ехала, преодолевая дурноту и тошноту, свойственные беременности...

Лосевский комитет партии организовал поиски по окрестностям, дал знать углежогам, которые жили в лесных избушках. Не исключена была возможность, что Илья с товарищами пробирается лесами к Лосеву.

В Лосеве Ирина встретила несколько бойцов из заслона. Один из них видел Илью незадолго до налета белогвардейцев.

— Товарища Светлакова я видел живым, здоровым,— рассказывал он.— Мы после него заступили свою смену в секрете. Немного погодя в выемке началась стрельба. Разводящий пошел узнать, в чем дело, связь установить... Стрельба прекратилась, а он назад не идет. Смены мы не дождались. Видим, неладно дело. Решили идти. Но тут повалили белые — и конные, и пешие, нам пришлось скрываться...

Позднее отыскались многие... Одна группа вышла через леса и болота к Новой Бобровке, трое к селу Монастырскому, один добрался до Апайского завода... Ильи не было между ними.

Работая в походном госпитале в Лысогорске, Ирина встретила бойца, который был в секрете вместе с ее мужем.

— Глухих, где Светлаков? Ты видел его?

— Видел,— ответил Глухих.— Только что я пообедал, начал катать шинель, а белые как сыпанут из лесу! Нас окружили. Вижу, Светлаков отстреливается с колена. Я кричу ему: «Беги, товарищ Светлаков! К лесу беги!» — он не слышит, стреляет. Потом я пробился к лесу и больше его не видел.

— И не слыхал ничего о нем?

Глухих ответил, глядя в сторону:

— Смотри, жив ли он? Кабы жив был, уж он бы нашелся!

Но Ирина была твердо уверена, что муж ее жив.

Очевидно, он не успел пробраться к своим и остался в тылу белых, ведет подпольную работу.

Верилось, что они встретятся в Перевале, в освобожденном Перевале.

...Нельзя сказать, что Ирина, глядя на выемку, вспоминала последовательно свои поиски. Она лишь острее почувствовала тоску по мужу...

Поезд полз как черепаха.

Наконец он вышел из выемки и стал набирать скорость.

Вот и станция Лузино!.. Желтое здание вокзала с белой заплатой — новой двустворчатой дверью... сигнальный колокол с выбитым боком...

— Поехали!

Вдруг среди привычного лязга и постукивания послышался отдаленный гул орудийного выстрела. Все тревожно и вопросительно поглядели друг на друга...

— Это гром!..— со смехом сказал Никишин, и все рассмеялись. Почти невидимая тучка пролилась крупным дождем. Солнце пронизывало его. В вагон дохнуло прохладой. Луга ярче зазеленели. Вдали поднялась знакомая синеватая гряда плавных гор.

— Дай-ка нам, мамка, пеленку,— сказала Наталья Даурцева.

Ирина бросилась к девочке:

— Ай-я-яй! Маша, Маша!.. Такая большая!..

— Это я виновата,— сказала Наталья,— я проворонила.

Близился город. Все сгрудились у двери. Широко развернулся пруд. Завод с бездымными трубами показался на берегу — закопченные корпуса, пустой двор. Побежали мимо домишки пригорода, сады, огороды.

— Живой! Живой! — закричала вдруг Наталья, указывая пальцем на свой домик под тополями. Она смеялась и радовалась, точно вид домика говорил ей о том, что и Владимир жив и здоров.

Блеснул в кольце зелени второй городской пруд. Сверкнули кресты на церквах. Замелькали стройные широкие улицы.

Ирина надела заплечный вещевой мешок, взяла дочку на руки.

— К папе, девочка, к папе! — твердила Ирина вполголоса.

Ирина быстро шла по городу. От волнения, от усталости на лбу выступал пот, и она вытирала его концом пеленки. Маша весело таращила карие глаза и взмахивала ручонками, как крылышками.

Вот сад Общественного собрания, где в прошлом году они с Ильей проходили военное обучение... Вот клуб — место сбора отряда... Ирину начала бить нервная дрожь. Еще несколько шагов — и она дома! Как удивится, как обрадуется Илья нежданной дочке! Ирина еще не была уверена в том, что беременна, когда они уезжали из города, и ничего не сказала мужу.

«Окна закрыты... Ну, конечно, Ильи нет дома... Что он будет днем прохлаждаться? — думала Ирина, огибая угол.— Вымыться, почиститься и бежать искать его!»

Быстро, не чувствуя ни тяжести вещевого мешка, ни тяжести ребенка, она пробежала по коридору, потянула дверь.

Дверь подалась.

«Он дома!» — с каким-то радостным ужасом подумала Ирина. Не дыша вошла в крошечную переднюю. Кухонька казалась нежилой, запущенной. В комнате слышались медленные волочащиеся шаги. Страх охватил ее: «Болен? Ранен?» Она рывком распахнула дверь.

Незнакомый старичок остановился перед Ириной в недоумении.

Она узнавала и не узнавала свою комнату. Кровати их стояли на прежнем месте. Книжный шкаф исчез. Зато появился комод с зеркалом и с разными туалетными безделушками. Стояло несколько чужих стульев.

— Вам что угодно, гражданка?

— Это моя... наша комната.

Ирина с трудом овладела собой, ей хотелось плакать от несбывшегося ожидания.

— Простите, пожалуйста, я ворвалась к вам, как... Год назад мы жили здесь с мужем, и я думала...

— Товарищ Светлакова? — испуганно спросил старик.

— Да, я Светлакова,— Ирина подняла к нему умоляющее лицо.— Вы не знаете, не слышали, где он?

Старик смешался.

— Видите ли... нет! Да вы присядьте, отдохните,— он подставил стул.

Ирина села, почувствовала страшную слабость.

— Снимите мешок, дайте мне мальчугана,— говорил старик, заботливо и пугливо глядя на Ирину.— Пойдешь ко мне? — поманил он ребенка.— Как тебя зовут, пузырь?

— Это девочка... Маша...— сказала Ирина нетерпеливо.— Так его нет в городе? Вы верно знаете?

— В городе его нет, я точно знаю,— сказал старик.— А ваши вещи — платье, книги — белые конфисковали.

Ирина пренебрежительно махнула рукой.

— Машу мы устроим на постельке... Я чай вскипячу. Попьем чаю, и вы ложитесь. Вот тут вы устраивайтесь с Машей, а тут будет спать моя дочь, а я на полу. В тесноте, да не в обиде... правда? Моя дочь письмоводителем работает...

Ирина не слушала, сидела в мрачном раздумье. Старик раздел Машу. Девочка потягивалась. Он говорил: «Потягушечки-порастушечки! Вот мы какие красивые! Вот мы какие хоросые!»

— Я у вас оставлю мешок,— сказала Ирина, подымаясь.— Потом зайду. Извините.

— А чай? Куда же вы пойдете?

— К свекрови,— Ирина уже овладела собой, успокоилась. Почему непременно Илья должен был ждать ее в родном городе? Вот письмо от него — это реальная возможность. Кому он мог написать? Или матери, или дяде Григорию Кузьмичу. Надо побывать там и там.

Ирина взяла дочь на руки, пошла.

— Может быть, и свекровь моя... отсутствует,— сказала она грустным серебристым голосом,— и если не найду никого из своих... тогда уж я к вам... на эту ночь.

— Милости просим, милости просим! — кричал ей вслед старик.

Ирина шла и постепенно успокаивалась. Пришла победа — жданная, желанная, значит, и свидание будет рано или поздно. Озираясь, она жадно впивала то новое, что можно было заметить с первого взгляда.

Постояла у огромной карты фронта. Прочла табличку, писанную на жести: «Губревком»... И другую: «Городской организационный комитет РКП(б)».

— Зайду! — решила вдруг она.

В городском организационном комитете было голо и бедно. Ни занавесок, ни скатертей в приемной. Стоит длинный голый стол посредине, возле него некрашеные табуреты. На столе — толстая подшивка «Правды» и тоненькая — местной газеты. На стене большие плакаты и писанный углем портрет Карла Маркса.

Ирина направилась было в смежную комнату, но ее остановила беленькая тоненькая девочка-курьер.

— Там никого нет, обождите здесь, товарищ! Вышли ненадолго в ревком.

Ирина присела.

— Ребеночка мне дадите подержать? — помолчав, спросила девочка, глядя на Ирину веселым, приветливым взглядом.— Я не уроню! Я умею водиться!.. Мы поиграем, а мама газетки посмотрит,— сказала она, беря Машу на руки. — А мама наша пусть газе-етки почита-а-ет,— тихо пропела девочка.— Можно ее пометать немного? Я не уроню!

— А кто секретарь комитета? — спросила Ирина.

— Товарищ Чекарева.

— Мария? А она скоро придет?

— Скоро, скоро, скоро, скоро,— напевала девочка, подбрасывая на руке Машу. Ребенок взвизгивал, а нянька смеялась от удовольствия.

— А не знаешь, девочка, Ярков в городе или нет?

— Товарищ Ярков здесь. А вы чьи будете, что всех наших знаете?

— Светлакова,— ответила Ирина, раскрывая последний номер местной газеты и не замечая, что веселость девочки разом исчезла, сменилась выражением испуга и сочувствия.

Ирину захватило чтение.

Все девять номеров, вышедшие в освобожденном городе, были полны разнообразным живым материалом.

Каждая статья, каждое сообщение радостно волновали сердце Ирины.

«Мы не позволим Колчаку вернуться на Урал,— говорили на митинге рабочие Верхнего завода.— Если он вздумает вернуться, напорется на наши штыки».

«Отделом городского хозяйства составлена смета расходов по декабрь тысяча девятьсот девятнадцатого года. Она достигает четырех миллионов рублей...»

«Детский день прошел с успехом. Десять тысяч детей собрались на площади с плакатами «Мы, дети свободы, приветствуем труд!», «Дети воли и труда, сюда!» и т. д. Прошли с пением в сад «Красная звезда». Просмотрели спектакль, концерт, басни в лицах. Был оркестр. Были во всех павильонах питательные пункты. Учителя разносили на подносах горы бутербродов, орехи, конфеты, фруктовую воду. Скамеек не хватало. Дети завтракали, сидя на траве. Так веселились дети трудящихся в саду, который еще недавно принадлежал недоброй памяти буржуа Охлопкову...»

«На днях было вынесено обязательное постановление Перевальского губревкома о том, что одежда и обувь, оставшиеся от бежавших буржуев, передаются в распоряжение отдела социального обеспечения для снабжения приютов, богаделен, а также частных лиц, пострадавших от контрреволюции. Во исполнение этого постановления установлен такой порядок выдачи...»

Ирина листала страницу за страницей, приближаясь к первому номеру, который, как это всегда бывает, лежал на самом низу.

Она прочла о первом заседании губревкома, которое заслушало доклады о состоянии белогвардейских учреждений, оставшихся в городе...

О том что государственный банк «открывает свою работу»... что в бюро металла удалось привлечь нескольких специалистов, часть — очень видных... что «на заводах наблюдается сильный подъем энергии рабочих, а средний элемент не проявляет подобной работоспособности»...

О том, что «оргсобрание коммунистов обсудило организационные вопросы: кого и как принимать в партию, как разъяснять партийные обязанности»...

Отдел извещений свидетельствовал о широко поставленной просветительной работе — город захлестнуло потоком лекций, докладов, бесед.

В глаза ударила широкая траурная рамка и строки жирного шрифта: «Обнажите головы, рабочие Урала! Сегодня мы чтим светлую память уральских коммунаров, павших в борьбе за торжество социалистической революции!»

Сдерживая дыхание, Ирина пробежала глазами вступление, говорившее о том, что после освобождения

Урала закипела творческая работа пролетариев, но что радость победы омрачена скорбью о погибших товарищах. Она пропускала целые строчки, искала имена...

«...Не все вернулись в родной город...»

«...все силы свои отдали...»

«...они погибли с оружием в руках, как богатыри духа, товарищи...»

Имена Ильи и Хромцова, стоящие рядом, задрожали... буквы рассыпались, зашатались и снова встали с беспощадной ясностью. В глазах зарябило, померкло. Потом Ирина снова увидела страшные слова, и снова свет погас.

Она сидела неподвижно, боролась с дурнотой.

Но ведь предстояло еще узнать, где и как погиб... где искать могилу.

И Ирина сухими глазами прочла его биографию, сообщение, что он пал смертью храбрых в той самой проклятой выемке, в тот день. Нашлись очевидцы его геройской смерти.

Ирина машинально перевернула страницу. Одним взглядом окинула знакомое, давно известное стихотворение. Оно тоже стояло в траурной рамке:

Не плачьте над трупами павших борцов,
Погибших с оружьем в руках.
Не пойте над ними надгробных стихов,
Слезой не скверните их прах.
Не нужно ни гимнов, ни слез мертвецам,
Отдайте им лучше почет:
Шагайте без страха по мертвым телам,
Несите их знамя вперед.

Сколько раз она читала раньше эти строки... сама декламировала их не раз. А вот сейчас каждое слово точно к обнаженному сердцу прикасалось.

Она не могла бы рассказать, что чувствовала в эту минуту. Ощущение незаполнимой пустоты заслонило все.

— Да вы хоть дочку приласкайте! — услышала она прерывающийся голос девочки-курьера.

Взяла сонную Машу и снова застыла в неподвижности.

Так она сидела, когда седая синеглазая женщина бросилась к ней с криком:

— Ирина!

Это пришла Мария Чекарева и с нею Роман Ярков.

XX

Старушка Светлакова вымыла пол и села штопать чулки. Она рада была любому занятию, только бы заглушить тоску.

Вывеска, висевшая больше двадцати лет, снята. Мастерицы уволены. Делать нечего... Богатые заказчицы уехали с белыми, а бедным людям не до обнов, да и портниху они ищут попроще, подешевле.

Светлакова сильно изменилась за последний месяц. Под ее старым халатиком уже не шумит шелковое платье. Желтое, худое лицо не улыбается угодливой улыбкой, а движения утратили легкость.

За этот месяц вынесла она два удара: узнала о гибели Ильи и навек потеряла Мишеньку... Мишенька жив, но он «отступил» с белыми и даже из простого приличия не предложил матери ехать с ним... попросту говоря, бросил.

Много было передумано в одиночестве. Поняла наконец старуха, что Мишенька всегда был эгоистом, никогда ее не любил... Тем жальче Илью, тем больнее воспоминание о последней встрече и о давнишнем разговоре, после которого Илья перестал бывать у матери.

...Кто-то постучал. Старушка поспешно сняла очки, одернула капотик, пригладила волосы перед зеркалом. После этого подошла к двери, спросила:

— Кто?

— Это мы, мамаша.

«Мы!..» С кем, как не с Ильей, могла быть Ирочка? Трясясь от безрассудной, разом вспыхнувшей надежды, старуха отодвинула щеколду. В эту секунду она успела подумать о том, что бывают ошибки и «мертвецы» возвращаются... и о том, какой преданной любовью окружит она единственного сына! Она так и подумала — единственного! Дверь открылась.

Вошла Ирина с ребенком на руках.

Старуху поразило бескровное лицо невестки... и то,

что не Илья, а ребенок... и то, что она пешком, без вещей.

— Ирочка? Как? Когда?

— Возьмите скорее Машу.

Ирина с трудом дошла до постели.

— Я лягу... можно?

Легла навзничь. Застыла как мертвая.

А старуха с радостной, почти безумной улыбкой прижала к себе теплое детское тельце. Положила внучку на диван, нетерпеливо распутала пеленки и жадно стала целовать ручки, ножки. Девочка проснулась, потянулась, раскрыла карие глаза.

— Ирочка! Глазки-то у нее Илюшины!

Ирина не отозвалась. Она почувствовала, что слепнет, глохнет, падает куда-то. Мертвый сон, какой бывает после большого несчастья, когда разом истощаются все силы, сковал ее.

— Пусть поспит наша мама,— шепнула старуха внучке, которая внимательно всматривалась в незнакомое лицо, вдруг улыбнулась и ухватила бабушку за вихор.— Золото мое! Прелесть моя! Мы сейчас ванночку примем!

И, разговаривая с девочкой, старушка почти весело начала хлопотать.

Через полчаса Ирина проснулась так же внезапно, как и заснула.

Села, свесив с постели ноги в старых, штопаных чулках.

— Вы завтра сможете остаться с девочкой, мамаша? Она — спокойный ребенок. Молочка я ей оставлю.

— Ирочка! С удовольствием! Она мне... Илю... Илю напоминает...— Подавив приступ горя, старушка спросила: — А куда ты идешь завтра?

— Едем за Ильей. Нашли его тело.

— Господи? Ну, что ты говоришь? Год спустя?

— Ну вот, нашли...

Старушка зарыдала. Ирина глядела на нее сухими глазами.

— Ирочка! Мне жутко! Ты так смотришь... Дать тебе капелек? Валерьянки?

— Ну, что вы!

Старушка не настаивала, она и сама видела, что валерьянка не поможет.

— Умойся, Ирочка, приведи себя в порядок.

— Хорошо. Сейчас.

— Сними платье, я почищу, поглажу... тут вот, видишь — распоролось... надо зашить...

— Мамаша, к чему все это? — страдальчески сморщилась Ирина.

Старушка с недоумением посмотрела на невестку. Как же можно не следить за собой? Горе горем, но ведь тебя люди видят! И тем более жена Светлакова, такого уважаемого лица! Вон как о нем в газете писали!

Старушка смахнула слезу.

— Покойный Иля терпеть не мог неаккуратности,— сказала она.— Помню, бывало, мастерице не позволит войти в комнату, если у него ворот не застегнут... «Одну минутку подождите, пожалуйста!» Я ему говорю: «Ну, что за важность, Иля?» Он мне отвечает: «Надо уважать девушку! Это неуважение показаться ей в небрежном костюме!»

Ирина сидела, наморщив лоб, как бы пытаясь собрать разбросанные мысли.

С поезда сошли на разъезде. Роман уверенно вел товарищей. За ним шли Ирина, Сергей и Мария Чекаревы и другие товарищи Ильи. Позади на носилках несли цинковый гроб, изготовленный рабочими Верхнего завода, и несколько железных лопат.

Ирина шла с трудом. День был жаркий. Путь казался бесконечным.

— Здесь! — сказал Роман.

Перед Ириной высилась старая сосна. На ее шершавой коре были грубо вырублены топором две буквы: «И. С.».

У подножия лежало поваленное бурей дерево, его вершина тонула в малиннике, разросшемся на просеке. «Пинь-пинь!» — кричали в лесу синицы. Слабый ветер ерошил малинник.

Роман, Сергей Чекарев взяли по лопате и начали бережно рыть землю.

Скоро открылись края могилы. Ирина встала на колени и стояла так до конца. Обессилев, припадала к поваленному стволу. Слез все не было.

Бережно достали тело. В тяжелом молчании уложили Илью и запаяли цинковый гроб.

До разъезда несли на носилках. Потом поставили на открытую платформу.

Поезд пошел.

Без сил, без слез сидела Ирина, положив голову на гроб. Перед нею проходили те же картины, которыми она любовалась вчера: луга, лес, дальние горы... Она ничего не видела.

Роман Ярков, присев на корточки, взял ее руку. Ирина увидела красные опухшие глаза, искусанные губы. Что-то поднялось в ее груди и хлынуло слезами.

XXI

В жаркий сухой полдень шли к вокзалу отряды коммунистов, рабочих, колонны профсоюзов, воинские части, делегации от советских учреждений города. К часу дня вся привокзальная площадь была заполнена теми, кто пришел проводить до могилы товарища Светлакова.

Тяжело было видеть густую, застывшую в молчании толпу. Все стояли, обнажив головы. Молчали оркестры. В безветренном воздухе льнули к древкам полотнища траурных знамен.

В половине второго товарищи Ильи бережно подняли тяжелый гроб и вынесли его из помещения.

Приглушенно зазвучал оркестр, и процессия двинулась.

Ее открывала длинная вереница венков.

Процессия медленно и торжественно двигалась по Вознесенскому проспекту. У ворот клуба, где в прошлом году был сборный пункт отряда, она остановилась. Сергей Чекарев произнес короткую речь.

Вышли на Главный проспект и повернули направо.

По пути в процессию вливались новые отряды. Перевал чтил в лице Светлакова всех героев гражданской войны.

Провожая Илью, каждый вспоминал и своих близких, которые кровью обагрили Уральские горы.

Борьба с интервентами еще не закончилась. Многие из провожающих готовились выступить на фронт. Все напоминало о войне: и карта, пересеченная красной ломаной линией, и забинтованные красноармейцы, глядящие из окон госпиталя...

Процессия подошла к открытой могиле, рядом с которой стояла трибуна, убранная красными полотнищами.

Оркестр и хор замолкли. Траурные знамена окружили трибуну. Провожающие тесно обступили могилу.

В черном платье, бледная, как неживая, стояла у гроба Ирина.

Роман Ярков поднялся на трибуну.

— Товарищи! Мы хороним дорогого учителя, воспитавшего многих из нас...— тут голос его оборвался, и все увидели, как этот сильный человек задрожал от боли.— Светлаков мужественно сражался на полях классовых битв... Не дрогнул наш Давыд и в свой последний час... Мстить за Давыда! За Хромцова! За Толкачева!.. За всех наших... Мстить белым гадам! Чтобы званья, чтобы помину не осталось! К оружию, товарищи красноармейцы!

Он не помнил себя. Забыл, что хотел сказать о борьбе на мирном фронте труда, о восстановительной работе.

— Я вижу у дорогой могилы море обнаженных голов... лес штыков красного воинства! Обратим наши силы, наши штыки против тех, кто отнял у нас дорогих товарищей! Смерть им!

Беззвучно рыдая, Роман спрыгнул с трибуны.

Заговорил Сергей Чекарев.

Его массивная фигура была совершенно неподвижна. Он стоял навытяжку, как в почетном карауле. Только самые близкие видели, как мучительно страдает Сергей.

— ...В час прощания с ним мы должны проверить себя: крепки ли наши ряды? Высоко ли мы держим партийное знамя? На могиле Давыда поклянемся нести в народ светильник коммунистической идеи. Быть, как Давыд!

Выступили у открытой могилы представители армии, Советов... Говорили красноармейцы — соратники Ильи... И все клялись бороться, как боролся Илья, быть чистыми и честными, как он.

Митинг закончился громовым салютом.

Бойцу революции Светлакову были отданы воинские почести.

Ночь. Беззаботно спит маленькая Маша, посапывая носиком. Наплакавшись вволю, заснула старушка... Тишина. Только слышен дальний мерный гул оживающе-

го завода да редкие паровозные гудки, вольно отдающиеся в горах.

Ирина сидит у раскрытого окна.

Душевная боль не утихает, но Ирина уже в состоянии собрать мысли, подумать о своем месте в жизни.

Нет у нее ни таланта Ильи, ни его стальной выдержки... ни его знаний. Она жила, всегда чувствуя его волю. Знала, что в минуту затруднения он поможет советом.

Сейчас надо научиться жить одной.

Что она может делать?

Очевидно, она может быть скромным, незаметным работником на каком-то небольшом участке. Что же... партии нужны и такие.

Может быть, учительницей? Воспитательницей в детском доме?.. Ее неудержимо потянуло вдруг к осиротевшим детишкам... Как бы она их любила! Как бы старалась воспитывать в них волю, честность, преданность партии!

Может быть, партия пошлет ее на работу в деревню? Скажем, в избу-читальню. Тоже широкое поле деятельности.

«В детстве он учил меня арифметике и правописанию. А когда выросли, учил думать, жить, бороться... любить...

Куда бы ни направили, буду работать так, как учил Илья...»

XXII

Весной двадцать первого года Гордей Орлов во главе комиссии приехал в Перевал, чтобы разобраться в делах Верхнего завода.

Трест Гормет решил превратить металлургический Верхний завод в машиностроительный. А пока его поставили на консервацию.

Директор завода Ярков, партийная и профсоюзная организации послали протест в совнархоз, но ответа не получили. А время не ждало. Уже приказано было рассчитать рабочих и служащих. Яркову — видимо, с отчаяния — пришла в голову мысль: рискнуть! Создать группу арендаторов и взять свой завод в аренду.

Гормет возражать не стал.

В день приезда комиссия посетила Гормет. Директор

треста, инженер Забалуев, ласковый и обходительный, не теряя достоинства, отстаивал свое мнение.

Снова привел доводы, уже известные комиссии... Нужен капитальный ремонт Верхнего завода, переоборудование и перестройка цехов... а средств нет, материалов нет... Да и надо в первую очередь восстанавливать те предприятия, которые дадут продукцию для товарообмена. Главный инженер Зборовский особого мнения... Но ведь у него «душа металлурга».

— Вы считаете нормальным явлением эту «аренду»? — сурово спрашивал Орлов.— Отвечайте, товарищ! Да вы говорите словами, я ужимки плохо понимаю.

— Аренда? Что же... это их дело...— Забалуев поспешно поправился: — Их желание! Может быть, и вытянут!.. А противозаконного, товарищ Орлов, тут нет ничего. Частные лица могут брать в аренду... Верхний завод отнесен ведь к третьей категории.

— «Частные лица»! — сердито повторил Орлов.— Ну, ладно!.. А ваше дело — сторона, если «арендаторы» не справятся?

Забалуев пожал плечами:

— Трест занят восстановлением других предприятий!

— Ну, до свидания,— резко сказал Орлов и встал с места.— Мы вас, вероятно, еще раз побеспокоим, товарищ Забалуев, а пока... Попрошу дать лошадь, забросить нас на Верхний завод.

Верхний завод производил странное и трогательное впечатление: он медленно оживал.

Едва войдя на территорию завода, комиссия увидела: по узкоколейке шел состав с торфом, и паровозик-кукушка тонким веселым голосом подавал гудки. На дворе, очищенном от лома, сора и битого кирпича, протянулся обоз, груженный блестящими рельсами. «Куда рельсы везете?» — спросил один из членов комиссии. «На рудник!» — ответили ему. Из ворот механического цеха выползла только что отремонтированная жатвенная машина, сияющая, как солнце, желтой окраской. Из чугунолитейного рабочий вывез вагонетку, наполненную колесами для тачек. Кто знал Верхний завод только во всем его блеске, тот при взгляде на эту картину опечалился бы... Но человек, видевший мертвый завод, с полуразрушенными цехами, не мог не радоваться: живет, дышит завод, выздоравливает понемногу...

— Где Ярков? — нетерпеливо спросил Гордей рабочего, подметавшего двор перед входом в столярный цех.

— Он на мельнице!

Члены комиссии с недоумением переглянулись и попросили проводить их на мельницу.

Это невысокое здание было построено в выемке плотины еще в годы империалистической войны. Мельница верно служила заводу. Ближние крестьяне везли сюда зерно. За помол платили мукой. Так «арендаторы» налаживали снабжение рабочих.

Спускаясь по пологому скату, Гордей издали увидел вереницу подвод с мешками зерна. Мужики, ожидая своей очереди, сидели на бревнах, сложенных у стены. Лицом к ним, спиной к Орлову стоял, расставив ноги, Роман Ярков в короткой, перешитой из шинели поддевке, в сапогах и в черной ушанке.

Судя по тому, как внимательно слушали мужики, разговор шел о чем-то важном.

Гордей неслышно подошел, ступая по тающему, размешанному ногами и полозьями снегу.

— Да, трактор может поворачиваться только на больших полях! — говорил Роман, перекрывая голосом рабочий шум мельницы.— Вот начнется сев, поезжайте, съездите в Угловский совхоз, поглядите, как работает трактор, поймете скорее, что надо нарушить межи к черту! Перейти от своих убыточных мелких хозяйств к крупным! А теперь я на ваш вопрос отвечу, дед! — уважительно обратился он к сутулому старику в лохматой яге и старой шапке.— Ленин видит далеко, как орел! Что он сказал — то крепко! Ну, вот он сказал примерно так: у рабочих и крестьян был военный союз... теперь нужен союз, чтобы восстановить хозяйство... чтобы построить социализм.

— Я не про то спрашивал,— прошамкал старик.— Налогом мы довольны, не в пример разверстке! Спасибо... Хлеб на лишке останется, это хорошо... Я спрашиваю, пошто кулакам ходу дали.

— Черт с ними! — сказал Роман.— Пусть до поры до времени поширятся! Мы вот окрепнем, придет время — совсем уничтожим капитализм в нашей стране...

— Митингуешь? — спросил Орлов, положив на плечо Романа свою тяжелую руку.

Роман повернул к нему лицо с обсыпанными мучным

бусом бровями. В радостном испуге раскрыл рот... и вдруг кинулся целоваться, крепко стиснув Орлова.

— Товарищ Гордей!

Оторвавшись, но не выпуская Гордея из объятий, он долго глядел на него, вспоминая и камеру, где он учился у Орлова, и массовку в лесу, и Софью...

— Да!.. А вот Давыда-то с нами и нету! — сказал он наконец.

Комиссия прошла по цехам, потом Ярков повел их в контору, в кабинет, где когда-то сидел Зборовский.

— Ну, рассказывай, как хозяйствуешь, как получилась эта аренда... Все рассказывай!

— Как получилось? — запальчиво начал Роман, и видно было, что его троиули за больное место.— Получилось безобразие! Единственное металлургическое предприятие в городе решили закрыть... Да хотя бы совнархоз ответил на наше письмо! Хоть бы гукнул нам «да» или «нет»! Безобразие!.. Вот только дела не отпускают, а то я бы до Ленина дошел.

— В совнархозе вашего письма нет, товарищ Ярков,— сказал член комиссии, представитель совнархоза.— После вашего письма в ЦК я лично пересмотрел всю подшивку — нет этого письма!

— Значит, перехвачено... Нам от этого не легче... А дело наше ясное...

И Роман принялся доказывать, что ставить Верхний завод на консервацию никак нельзя.

— Кровельное железо не нужно для товарообмена? Рельсы не нужны? Котлы не нужны? А хозяйственная шундра-мундра — вьюшки, заслонки, сковородки — не нужна? До зарезу наша продукция нужна и государству, и деревне, а нас прихлопнули, как надоедную муху!

— Денег нет на восстановление, товарищ Ярков,— сдержанно сказал представитель совнархоза,— средств нет, материалов...

Роман его не слушал. Он говорил, обращаясь к Гордею Орлову:

— Этим решением нас, как обухом по голове... и по рукам ударили. Ведь что здесь было после Колчака? Ведь с каким порывом народ пошел на восстановление! Ну, то-то, вот оно и есть... Стал я директором, пошли мы коммунисты, по заводу, сердце в комочек сжалось... Машины нарушены, топлива нету, рельсы разворочены,

кукушку белые угнали на станцию... Мартен закозлили — козел там, застывший металл. Ну, созвали общее собрание: так и так, восстанавливать, товарищи, надо родной завод! Вначале — кто в лес, кто по дрова, каждый кричит: наш цех надо сперва восстановить, потом другие! И у каждого свое доказательство. Потом мы договорились — механический стали восстанавливать...

Он рассказывал, и перед слушателями вставали картины общенародного труда.

Вот субботник по очистке завода... На дворе сотни людей — не только рабочие, но и их жены, отцы, сыновья и дочери. Складывают кирпич в штабеля, а обломки, мусор, щебенку заметают в яму. Лом тащат на копровый двор. Забивают фанерой зияющие отверстия в окнах. Наводят чистоту в цехах.

Вот на остатках топлива загудела электростанция, замерцало сквозь отверстия заслонки пламя в нагревательной печи. Загромыхал прокатный стан. Неподвижная паутина трансмиссий и приводных ремней в механическом цехе двинулась, задрожала, ожила...

Сотни землекопов наваливают насыпь, плотники несут шпалы, рабочие укладывают рельсы... И через две недели узкоколейка протянулась до самого торфяника, где сохранились огромные запасы топлива.

— И в это самое время нас — хлоп по рукам! — с возмущением говорил Роман, расхаживая по кабинету.— Что оставалось делать? Допустить, чтобы опять мерзостью запустения запахло на заводе? Рабочий класс Верхнего завода сказал: «Нет! Не позволим!» — вот и стали мы черт-те что... не государственный завод, а вроде частного предприятия,— с горечью добавил он.

В кабинет между тем, узнав о приезде комиссии, собирался народ. После Романа заговорили рабочие, стали требовать: «Снимите консервацию!», доказывали, что Верхний завод «надо утвердить хотя бы во вторую категорию!».

— Вот кончим снарядные заготовки, откуда будем брать металл? — спрашивал пожилой токарь с серебристыми висками.— Свой мартен еще стоит... Значит, покупай металл на других заводах? Так? Но ведь государственный завод не продаст нам, в плане на снабжение нас нет... значит, покупай у концессионеров? Так?

— Гормет нас толкнул на линию частника! — горя-

чился молодой рабочий на деревяшке.— Мы что, мы мельницей кормимся, верно, и зарплата нам идет из половины выручки... Но разве не обидно нам, коренным рабочим, разве не обидно нам, товарищи из центра, стоять на линии частника? Товарищ Ярков зубами заскрипел тогда... Заскрипишь!

— Успокойтесь, товарищи! — густым окающим басом сказал Орлов.— Для того мы и приехали, чтобы разобраться. Для меня лично дело ясное... Комиссия обсудит все это, и мы поставим вопрос перед совнархозом...

Пообещав Яркову прийти к нему завтра домой на целый вечер, попрощавшись с членами комиссии, Орлов пошел пешком в Перевал. Хотелось побыть одному. Все в нем кипело. Негодование душило его. Он не только был не согласен с решением о закрытии завода, его возмущало это решение. Он видел в нем чью-то злую волю...

Серенький теплый денек, когда нет солнца, но с крыш капает, в канавах журчит, снег исчезает на глазах, близился к концу. Гордей Орлов шел по бульвару, окаймленному сквозными кустами. Бульвар этот тоже носил следы разрухи: скамеек не было, только столбики напоминали о них. Кое-где и столбики выворотили из земли и сожгли в печурках...

Волнение стало утихать, и Гордей, оглядевшись кругом, вспомнил, как когда-то водил шпика за собой, как ехал в тюремной карете по этой улице. Вдали мелькнули очертания тюремных корпусов.

Хорошо пройтись по Перевалу, не думая о шпиках, не видя полицейских. Вспомнилась ему счастливая встреча с Софьей, вечер у Чекаревых, милый облик Марии... Молодостью пахнуло на него.

«Приеду, устроим вечер воспоминаний с Софьей... Эх! Описать бы это все! Подрастет Андрей — пусть узнает, как отец с матерью молодость проводили».

Он так задумался, что чуть не налетел на какую-то маленькую женщину, торопливо вышедшую из-за угла.

— Извините...

И он хотел пройти, но взглянул на ее сросшиеся брови и остановился.

— Вы жена Давыда?

— Товарищ Гордей?!

Узнал он и голос, серебристый, грустный.
— Да, это я. Я вам писал.
— Да... я тогда просто не могла. Простите.
— Понятно, понятно,— сказал Гордей.— Где вы живете, где работаете сейчас?
— В облоно работаю и по совместительству в облздраве. А живу вон там,— и она указала на двухэтажный дом с разбитой дверью парадного крыльца.
«В облоно,— с невольным разочарованием говорил себе Гордей, тяжело подымаясь по лестнице.— Думал, она боевитее!»
— И чем же вы там занимаетесь? Школами?
— Школами, детскими домами... Колонии организуем... Работа обширная,— ответила она.
Вслед за Ириной Орлов вошел в бедную чистую переднюю. У окна сидела напудренная женщина в дорогой поношенной шубке и шапочке. Она поднялась.
— Товарищ Светлакова!
— Опять вы? — с неудовольствием сказала Ирина.— Ведь я сказала вам...
— Да... я хотела... я решила все рассказать вам как женщина женщине!
На ее лице сквозь пудру проступили розовые пятна. Ирина сказала:
— Товарищ Гордей! Пройдите, пожалуйста, сюда вот... Я сейчас!
Он снял шинель, остался в защитного цвета гимнастерке,— она шла его мужественному лицу и статной фигуре, положил на полочку фуражку и вошел в комнату Ирины.
Огляделся, стоя у порога.
Посреди — стол под потертой клеенкой. Вдоль стен стулья, книжный шкафчик, секретер с рубчатой выдвижной доской, две кровати. На одной из них спит старик в ковровом халате со шнурками. Чисто выбритое обрюзгшее лицо его сморщилось в детскую капризную гримасу. Из дверей в смежную комнату выглянула старушка и снова скрылась. Гордей присел к столу.
Хотя дверь была плотно прикрыта, он слышал разговор в передней.
— ...Он мне сказал: «Но у жены ребенок!» Я ему говорю: «Но и у меня будет ребенок, я беременна!» И он уехал и все время пишет, спрашивает. Скоро обе-

щает приехать, только занятия кончатся... Поймите мое положение! Не могу же я допустить, чтобы он понял, что я обманываю!»

— Как обманываете? Разве вы не беременны?

— Это... подушка! — всхлипнула женщина.— Если вы не отдадите мне ребенка, я не знаю что... Он меня бросит!

— Дом матери не магазин: пришел, выбрал себе куклу! — жестко сказала Ирина.

— Но я знаю, вы отдавали на усыновление! Были случаи!

— Да. Но вам я не отдам.

— Почему?

— Вы морально неустойчивы. В воспитательницы не годитесь. Да и не любовь к ребенку вами движет.

— Любовь? А много любви встретит этот ребенок потом в детдоме? Я усыновлю, запишу на свое имя... Не все ли вам равно?

— Нет, мне не все равно,— сдерживая волнение, отвечала Ирина.

— Товарищ Светлакова! А если вам предпишут?

— Никакому предписанию я не подчинюсь в этом случае. Объясню, какая жизнь ждет ребенка...

— Товарищ Светлакова! Я доверилась вам как женщина женщине...

— И как женщина женщине я говорю вам: скажите все откровенно вашему возлюбленному! А ребенка вы не получите. Прощайте.

Ирина вошла в свою комнату. Щеки и глаза горели. С уважением взглянул на нее Гордей. Разумеется, каждая должна была бы поступить на ее месте так же, но не каждая с такой искренней страстностью относится к этим малышам.

— Расскажите мне, Ира, как вы живете? Это отец ваш?

— Да, это папа. Не удивляйтесь, если он назовет вас Илюшей, или Георгием, или Михаилом Николаевичем. Он перенес два тяжелых удара и...

— Паралич?

— Нет. Во время бегства умерла моя мачеха от тифа... в переполненном вагоне. Отец завернул ее в одеяло и похоронил в снегу возле станции. А второй удар совсем недавно. Возвратилась его неродная, но любимая дочь

Катя... зараженная сифилисом. Покончила самоубийством.

«Сумасшедший старик... отказавшийся когда-то признавать ее... Да... невесело... Удивительная у нее выдержка!»

— Мать Давыда тоже с вами живет? — спросил Гордей.

— Да, и мамаша... и наша дочка.

Сказав о дочери, Ирина не улыбнулась, но как-то вся просветлела.

— Вот проснется Маша — познакомитесь! Все говорят, что у нее глаза Ильи...

— Не знаю, как дочка,— медленно заговорил Гордей, подыскивая слова,— а мама ее многое унаследовала от Давыда. Вот я слушал вас, Ира, и мне казалось, что это он говорит... Его тон, его манера...

Она покраснела вся и улыбнулась... и тут же краска отлила, выражение острого страдания волной прокатилось по лицу. Казалось, вот-вот разрыдается... но слезы не пролились, рыдания не вырвались...

Орлов видел, с каким сосредоточенным усилием Ирина поборола волнение. Лицо ее прояснилось и стало спокойным.

...Поздний вечер.

Самовар пел-пел и перестал, закончил свою песенку, Мария моет посуду, Сергей вытирает холщовым полотенцем.

Все уже переговорено, все рассказано, а расходиться не хочется.

Гордей Орлов расхаживает по просторной комнате. Задумчиво поглаживает синеватый выбритый подбородок, хмурит плотные полоски бровей. Нет-нет и взглянет на Чекаревых...

Сергей все тот же «добрый молодец» — глаза с поволокой, русая прядь на лбу. Можно подумать, что с него, как с гуся вода, скатились все печали и тревоги. Завидное здоровье!

А вот Мария... Не может привыкнуть Гордей к ее седым волосам и к искалеченной левой руке. Ему вспоминается она — женственная, милая, с юношески чистыми линиями лица и фигуры, с улыбкой в синих глазах.

— Ты что, Гордей, запечалился? — спросил Сергей Чекарев.— Посмотришь на тебя, особенно когда ты в этой гимнастерке, вид самый боевой... а нос повесил!

— Марусю жалко стало...

Она горделиво выпрямилась:

— Гордей!

— В уме я всегда звал вас «золотистая голосистая»,— сказал Орлов смущенно, а оттого ворчливо.— Ну и жаль стало блеска и сияния... Сколько вам лет, Маруся?

— До старости еще далеко... хотя бы потому, что назад не оглядываюсь.

— Так его, моя Маруся! — сказал Сергей, любовно глядя на жену.

— Правильно! — смущенно рассмеялся Гордей...— Но что это? — прервал он себя, насторожившись весь.

Вдали послышалась боевая песня, и скоро дружные шаги отряда раздались на булыжной мостовой, точно всплески тяжелых волн.

Суровые мужские голоса пели:

Вперед, заре навстречу,
Товарищи, к борьбе!
Штыками и картечью
Проложим путь себе!

— Это курсанты отправляются,— сказал Чекарев, припав к темному стеклу. — Я же говорил тебе, что кулацкие банды опять скопились возле Перебориной.

— Враги! — сказала Мария, и ненависть зажгла ее взгляд, окрасила щеки.— С Польшей, с Врангелем покончили... и вот извольте — внутренний враг! Я думаю, Гордей, я говорила Сереже, это не случайно! Нет! И в Кронштадте, и у нас, и... чувствуется организующая рука... Ненавижу!

— Маруся! Вы сверкнули... страшной красотой! — сказал пораженный Орлов. — Сила молнии! Этого раньше не было. Так вот она какая у тебя стала, Сережа!

И помолчав, по какой-то еще неясной ему ассоциации, Орлов спросил:

— А как у вас здесь, Сергей, дискуссия прошла о профсоюзах?

— Победила ленинская линия... но не без труда далась нам эта победа. Ты ведь знаешь, какой демагог Ры-

сьев... Дрался, как черт, за способы и методы Троцкого. В конце концов, взбешенный, «подал в отставку»... А мы кланяться не стали, переизбрали его... и из профсоюзных вождей местных он стал невидным, незаметным работником Гормета.

— Гормета?

— Да... ведь у него три курса института, в технике маракует мало-мало.

— Да, друзья,— сказал Орлов.— Борьба не кончена... она только новые формы принимает! Но что же? Мы ведь народ к борьбе привычный, поборемся!

Он весело и многозначительно подмигнул карим глазом, раскинул руки и пошел по комнате, напевая глубоким окающим басом:

...Чтоб труд владыкой мира стал
И всех в одну семью спаял!

Молодой несокрушимой силой веяло и от этих слов, и от плотной могучей фигуры Гордея.

Оглавление

Попова Н. А.

П58 Заре навстречу. Роман. Свердловск, Средне-Уральское кн. изд-во, 1977.

432 с. с портр.

Переиздание известного романа уральской писательницы о подпольной работе большевиков в борьбе за Октябрь, о гражданской войне на Урале.

П $\frac{70302-069}{М158(03)-77}$ Р2

ИБ № 337

Нина Аркадьевна Попова

Заре навстречу

Редактор И. А. Кругляк
Оформление художника
М. И. Бурзалова
Художественный редактор
Г. И. Кетов
Технический редактор Л. М. Голобокова
Корректоры М. А. Казанцева,
Г. М. Смирнова

Сдано в набор 20/VII 1976 г. Подписано в печать 14/XII 1976 г.
Бумага типографская № 1. Формат $84 \times 108/_{32}$. Уч.-изд. л. 23,1. Усл. печ. л. 22,7. Тираж 75 000. Заказ 423.
Цена 1 р. 82 коп.

Средне-Уральское книжное издательство, Свердловск, Малышева, 24.
Типография изд-ва «Уральский рабочий», Свердловск, пр. Ленина, 49.

41

